

3 Мих. Слонимский

Мих.
Слонимский

904.



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ленинградское отделение

Ленинград

1970

Мих.

С о б р а н и е
с о ч и н е н и й
в
ч е т ы р е х
т о м а х

лонимский

Т о м

т р е т и й

И н ж е н е р ы



В е р н ы е

д р у з ь я

P2
C48

*Оформление художника
Б. Ворснецкого*

7-3-2

Собр. соч.

Инженеры

Роман



Часть первая

I

Старый профессор хотел отправиться на выставку новейших изобретений с любимым своим учеником — инженером Ланговым. Но к Ланговому не дозвонились — не показывался со вчерашнего вечера. Возможно, что он на заводе, а верней, что загулял. Желу профессора и не думал звать. Бог с ней! А Ниночка, дочка, пошла не ради выставки, не ради отца, а потому, что появился Николай Евгеньевич Белкин, частый гость, приват-доцент Санкт-Петербургского университета.

— Выставка? Это в манеже? У нас некоторые побывали. Советуют приобрести фонограф. Как вы думаете?

Он намерен наговаривать в фонограф книжки — меньше труда, чем водить пером по бумаге. Он способен молоть языком хоть сутки подряд, а двигать рукой ему лень.

— Фонограф! — воскликнула жена. — Я кончу с портнихой и тоже приеду.

Ей дела нет до выставки, но если Белкин, то и она.

Старый профессор перестает быть авторитетом для нее и дочери. Начались сплетни и слухи о каких-то его чудачествах. В каждом его слове и поступке хотят видеть нечто нарушающее общепринятые правила. Все преувеличивают, каждый пустяк раздувают в историю, скандал. «C'est impossible!»¹ — и делают большие глаза. Ниночка, дочь, росла здоровой, нормальной девочкой, а теперь перенимает нервные, порывистые движения, ее тонкие губы подрагивают, темные тревожные глаза устремлены на обожаемого приват-доцента. На

¹ Это невозможно! (франц.).

языке жены, на модном санкт-петербургском языке, это называется, кажется, — «артистическая натура».

— Надо взять извозчика, — сказал Белкин, когда они вышли на улицу.

В ответ старик молча направился к трамвайной остановке.

Когда сажались в вагон, Белкин не помог ему, он вскарабкался сам. Сходя с трамвая, он поскользнулся, и чья-то посторонняя рука поддержала его. Он поблагодарил. Белкин уже вел его дочь через улицу.

Было холодно, сыро, после нескольких теплых дней опять подморозило. Резкий, порывами налетавший ветер дул, казалось, со всех сторон сразу. Не зима, не весна, а неведомо что — петербургская погода. Вечерние сумерки ложились на побелевшие крыши домов, зажглись фонари.

Старик, укутанный в длинную, почти до пят, шубу (он был небольшого роста), медленно двинулся по улице. Он тяжело опирался на толстую суковатую трость, под которой хрустела ледяная корка тротуара, и поглядывал на дочь, шедшую впереди в каракулевом пальто. Она совсем не оборачивалась к нему, увлеченная беседой со своим спутником, спрятавшим лицо в поднятый воротник.

Старик следил, как она, склонив голову к плечу и прикрываясь от ветра большой муфтой, слушает ерунду — бесспорно, ерунду, — которой пичкает ее тусклый, как эти сизые фонари, петербургский болтун. С прошлого года пошли с ней эти нелады. Старый профессор надеялся, что она выйдет замуж за Лангового, его лучшего ученика, но ее потянуло к людишкам вроде вот этого приват-доцента, пустомели из нынешних философов, рассуждения которых противно слушать. Петербург полон самонадеянных невежд, шарлатанов, развратителей, уродующих молодежь. Развелись какие-то любители мрака, которые губят все живое, преследуют неотступно, как чудовищные неотвязные тени, ползущие по стенам города. Отвратительно. Самый страшный город в России — это Санкт-Петербург.

Старик недоброжелательно глянул даже на круглый сад, мимо которого проходил, — маленький, уютный садик с белыми аллеями и черными стволами деревьев, ни в чем худом не повинный. Судьба сулила ему бороться

за молодежь, за науку именно здесь, в Петербурге, памятники, дворцы, набережные, сады, все красоты которого так очаровали его много лет назад, когда он, покинув свой родной далекий поселок, впервые вышел с вокзала на прямые улицы блистательной, прославленной столицы, навстречу влажным морским ветрам.

У профессора много учеников в России. Но стать преемником его кафедры больше всех достоин Иван Терентьевич Ланговой. Одареннейший юноша, хотя и шалопай. Старик все устроил, все подготовил для того, чтобы Ланговой с осени мог занять освободившееся в институте место преподавателя прикладной механики — первую ступень к кафедре своего учителя. Кандидатура Лангового не встретила возражений по части научной, но были разговоры о его сомнительном поведении. «Все мы были молоды», — сказал тогда профессор, и его авторитет решил все. К лету Ланговой получит официальное предложение. Но неладное творится с ним в этих петербургских туманах. Вот и сегодня никак нельзя было доискаться его.

Так размышляя, профессор приближался к манежу, у входа в который его ждала дочь со своим спутником. Она нетерпеливо пошла ему навстречу.

— Папа, вот видишь, как тебе трудно! Николай Евгеньевич говорил же, что надо на извозчике.

Старик ничего не ответил.

У входа в манеж вертелись, гоняясь друг за другом, несколько мальчишек. Старик смотрел на них подобревшими глазами. С такими — оборванными и запачканными — прошло его детство в родном уральском поселке.

Швейцар вытолкнул из манежа одного из мальчишек. Тот вылетел на мостовую, удержался на ногах, огляделся и тотчас же направился к Белкину:

— Дяденька, меня не пускают, проведите меня...

Это был крепыш, в картузе и рваном пальтишке, в серых брюках с синими заплатами на коленках, в тупоносых башмаках, стертых и стоптанных, плечистый, с широкими кистями рук, вылезавшими из рукавов. Он уже несколько раз пытался прошмыгнуть в манеж, его выбрасывали, но он и не думал отступать, он лез опять и опять с каждым новым посетителем. Может быть, его привлекали фотографии у входа, на которых

изображены были аэропланы и аэростаты, может быть, его влекло сияние огней внутри и снаружи, но главным образом он, конечно, занят был борьбой со швейцаром. К Белкину он обратился из озорства, он безбоязненно дразнил солидного господина, зная, что в случае чего успеет удрать.

Белкин просто не замечал мальчика, он как бы даже и не слышал его голоса. Он опустил воротник шубы, открыв полное, дряблое лицо с синими щеками и таким изгибом бескровных губ, словно этот человек испытывал постоянное чувство брезгливости ко всему, что видели его большие водянистые, почти бесцветные глаза. Не молодой, но и не старый, не красивый, но и не уродливый, он представлялся старику совершенно никчемным, надутым, как свинка на вербном базаре, существом. Профессору было решительно непонятно, что могло привлечь его дочь в этом якобы ученом, который отравлял студентов и в университете и в Психоневрологическом институте, куда бегала на его лекции Ниночка, самыми ненужными измышлениями всех веков и, подробно рассказывая о каком-нибудь «главе небесных сил» Абраксаме, совершенно игнорировал всю историю точных, подлинных наук.

От мальчика не так легко было отделаться. Он повторял свою просьбу, настойчиво и заодно глядя на Белкина своими желтыми, немножко диковатыми, как у лесной птицы, глазами.

Но Белкин промолвил только:

— Брысь!

И слегка отодвинулся от него, как от заразы. Это рассердило старика. Он взял мальчика за плечо, повернул к себе и спросил строгим и добрым голосом:

— Как тебя звать?

— Вася.

— А кто твой отец?

Вася был хитрый, он имел некоторый жизненный опыт и сразу сообразил, что от этого старика в длинной шубе, пожалуй, худа не будет. Поэтому он отвечал без лишних слов:

— Слесарь.

Этот старикан с инеем на бороде и усах как пить дать проведет внутрь и билет на свои деньги возьмет. Старик осведомился с самым искренним интересом:

— С какого завода твой отец?

Мальчик назвал завод, и лицо старика омрачилось. Это был тот самый завод, с которым уже несколько лет связан Ланговой. Это был иностранный завод.

Вася заметил, что старикан почему-то нахмурился, и это озадачило его. Он насторожился.

Старик спросил:

— Хочешь сюда? — И он кивнул головой в сторону манежа.

— Да.

Теперь наступил решительный момент. Хотя старикан как будто не злой, но все же может случиться, что он вдруг схватит за шиворот и позовет швейцара или просто шелкнет по носу, сказав что-нибудь нехорошее, — господа любят шутить. Но старик взял Васю за руку и сказал коротко:

— Идем. — Он прибавил строго: — Только вести себя прилично. Понял? Прилично себя вести. — И стукнул тростью по тротуару.

Вася ответил не без важности:

— Я, дедушка, ничего там пальцем не трону. Я только погляжу и уйду.

Старик повел мальчика к подъезду, увитому гирляндами сияющих лампочек. Вася скосил глаз на толпившихся у входа мальчишек и остался доволен — те были потрясены и молча провожали его глазами, как героя. Швейцар и слова не посмел сказать Васе при покровителе в богатой шубе и шапке, только взглянул свирепо.

Старый профессор заметил, что Белкин пожал плечами и усмехнулся. Конечно же, он счел поступок старика очередным чудачеством.

Ниночка, преувеличенно переживавшая все за своего философа, шепнула ему:

— Я потороплю маму, тут, наверное, есть телефон.

Дома считалось, что только Евгения Львовна, жена, способна укротить старика. Но все же и Ниночка совершила попытку.

— Папа, — тихо промолвила она, указывая глазами на оборвыша.

Старику стало горько. Как изломали его дочку! Она стыдится, что ее отец ведет за руку мальчика в плохой одежке. А что может быть естественней, чем показать выставку новейших изобретений рабочему подростку?

Но в Санкт-Петербурге все самое естественное и нормальное считается чудачеством, вызывает насмешки, презрение, издевательства, а всякие извращения чувства и мысли признаются нормой. Если так, то пусть он — чудаки в этом городе.

II

Мальчик, которого профессор провел на выставку, был Вася Котляков, житель Выборгской стороны. Вчера, ко дню именин, он получил от дяди Яши подарок — небольшой кожаный кошелек. Дядя Яша пришел парадный, в хорошем пиджаке, при галстукке, снял очки в стальной оправе (под перемычку была подложена вата) и сказал Васе:

— Теперь ты большой, скоро и на работу.

Это значило, что к лету Вася оставит начальную школу и пойдет на завод. Сам дядя Яша — уже с восьми лет по разным заводам и фабрикам.

Тот же дядя Яша дал для прибытку три копейки. Он был другом Васиного отца, слесаря, и покровительствовал его семье. Он зарабатывал огромные деньги — пятьсот рублей в год, но Васин отец говорил, что этого мало и что такому мастеру, как дядя Яша, грех платить меньше, чем шестьсот.

На следующий день, придя из школы и покушав, разбогатевший мальчик отважился на далекое путешествие. Он побежал в Гостиный двор, чудесами которого любил хвастаться Петя, гимназистик из квартиры номер двадцать один, — отец его служил там в каком-то из магазинов. На Литейном мосту Вася немножко проехался на трамвайной колбасе, а за Невой на проспекте ввязался в драку мальчишек с барчуками и преследовал побежденных до самых ворот дома, где те жили и где их выручил какой-то мужчина в поддевке. Вася не мог не ввязаться в драку — этого требовало неписаное товарищество всех драчунов города. Затем он с разбегу попал в толчею у Шпалерной улицы; здесь кого-то словили или еще что-то случилось, но, во всяком случае, стараясь узнать, в чем дело, он свернул с прямого пути, и его занесло к Таврическому саду, где незнакомая девочка подошла к нему и дала яблоко по приказу высокой, плоской, как гладильная доска, дамы. Эту не-

жданную прибыль Вася тут же съел, не поблагодарив, конечно, девчонку, которая, презрительно сжав губы, пошла от него прочь. Яблоко оказалось очень вкусным, и Вася в самом чудесном настроении пустился бегать по незнакомым улицам, пока не выскочил обратно на проспект. Но он ни на секунду не забывал о драгоценном подарке дяди Яши и все время проверял, не вывалился ли кошелек из единственного нерваного кармана — левого кармана штанов. Затем он долго шел за пьяным чиновником, который выделявал удивительные узоры ногами и все пытался петь что-то очень громкое, но тотчас же обрывал. Вася опять уклонился от главного пути, но пьяного дразнила целая куча ребят, и нельзя было не принять в этом участия. Наконец Вася остановился на знакомом проспекте, и как остановился, так сразу же увидел у тумбы коробку из-под папирос «Лаферм». Он спрятал ее в пальто, чтобы дома снять с нее белую этикетку.

Все эти дела сильно задержали его, и в окнах домов уже зажглись кое-где огни. Он заторопился в Гостинный двор, ни на что больше не глядя, только на бегу хлопнул какого-то желтого реалиста по ранцу. Увидев большой матовый шар, окруженный светящимися лампочками, он перебежал через улицу, поглядел на выставленные фотографии и, не долго думая, сунулся в подъезд. Внутри мелькали разноцветные заманчивые огни, но тут швейцар больно толкнул его в спину — и Вася под хохот толкавшихся у входа мальчишек очутился на улице. Но он был не из тех, кто пугается и сдается. Он объявил войну швейцару в золотых галунах. Раз не пускают — значит, надо обязательно пробраться. Господа и дамы, к которым он приставал, отгоняли его, но Вася упорствовал, забыв на время о Гостином дворе, обо всех своих прежних намерениях, а полный сейчас одним-единственным непреодолимым желанием поглядеть, почему и зачем в этом доме столько огней. Ему повезло. Старик в длинной шубе провел его в манеж.

Так Вася попал в огромный зал, где гирляндами висели, куда ни глянь, электрические лампочки в виде воздушных шариков, а за прикрепленными к столбикам, повитыми красным бархатом канатами стояли машины самого разного вида. Действительно, жизнь полна

неожиданностей. Бежал в Гостиный двор, а попал — невесть куда.

Вася не зря обучался и у дяди Яши и в начальной школе, поэтому он легко прочел над первым от входа рядом машин — «Императорский аэроклуб». Что это значит — он не понял, зато он отлично понял, что здесь стоят те самые аэропланы, которыми все тот же Петя из квартиры номер двадцать один хвастался так, словно сам на них летал. А у этого Пети был всего лишь один игрушечный аэроплан, да и тот, чуть Петя запустил его из окна во двор, упал сразу наземь и сломался.

Старик почему-то не шел к аэроплану, который стоял тут же рядом, а остановился перед каким-то странным сооружением. Вася мгновенно разглядел, что оно состояло из обыкновенных велосипедных колес внизу, двигателя впереди и бака для бензина наверху. От бака шла к двигателю соединительная трубка. Вася бывал на заводе у отца, когда носил ему еду, и у дяди Яши, и машины были ему не в диковинку. Но сплетение длиннейших проволок, жердочек, проводов по бокам и сверху этой громадины было ему решительно непонятно. Старик крепко держал Васю за руку и не отпускал. А Белкин сразу же повел Ниночку в глубь манежа, к фонографам.

Возле непонятной Васе машины стоял сам изобретатель. Он, увидев старика, подался слегка вперед, и лицо его приняло почтительное выражение.

— Очень счастлив, — сказал он, — счастлив, что вы нашли время.... Не имею чести быть знакомым с вами, но...

Старик буркнул, перебивая его:

— Здравствуйте.

Он сунул ему руку, глядя не на него, а на построенный им аппарат. Досада охватила его. Это был орнитоптер — летательная машина с махающими крыльями, а он не верил в такие механизмы.

— Как будете управлять? — спросил он.

— Как птица, так и я, — грустно ответил изобретатель, с сомнением и любовью оглядывая свое неуклюжее детище, плод многих мечтаний и трудов, мучений и надежд.

Он был действительно немножко похож на птицу — только мокрую и подбитую. Истощенное лицо, в глазах — беспокойство и усталость.

— Все своими руками и на свои гроши, — промолвил старик.

Это был не вопрос, а утверждение.

Изобретатель молча повел плечами, словно озяб.

Вася не мог больше сдержаться и сам не уследил, как спросил:

— Дедушка, а что там за колбаса?

И он показал на огромный аэростат Фармана, который висел за аэропланом братьев Райт и загоразивал все, что было за ним.

Старик поглядел и объяснил:

— На такой сигаре хотят полететь на Северный полюс. Ты знаешь, что такое Северный полюс?

— Знаю, — отвечал во избежание недоразумений Вася, хотя имел весьма смутное представление об этом месте. Он слышал только, что там живут белые медведи, которых он видел в зверинце, куда водил его как-то дядя Яша.

— Врешь, не знаешь, — возразил старик, но тут, к счастью для Васи, вступил в разговор изобретатель орнитоптера, и профессор не проверил Васиных познания в географии.

— Северный полюс — это для рекламы, — заговорил изобретатель. — Умеют они себя рекламировать! У них там строят всё. Аэропланы — один за другим идут. Тот же Фарман, Вуазен, Блерио... — Изобретатель весь взъерошился. — А у нас свое, отечественное не берут, не помогают...

Старик перебил его строго:

— Вы хоть на выставку попали! А попробуйте поработать над обыкновенными, нелетающими механизмами. Попробуйте сунуться со станком или контрольным прибором новейшей системы — русской, заметьте, системы. Кому это интересно? Никому. Публике нужны фокусы. Фокусы! — повторил он, подняв трость и взмахнув ею. — Интеллигентное общество... Не понимают. Человек сам придумал машину, сам построил, сам сел в нее и оторвался от земли. Уважаю. Глубоко уважаю. И вас премного уважаю. Унывать нечего и при неудаче, тут — путь, большой путь. Сколько вам лет? — вдруг спросил он.

Изобретатель ответил.

Старик удивился.

— Вот как уже измотал вас этот орнитоптер! — Он взял изобретателя за пуговицу и потянул к себе. Пуговица оторвалась, оставшись у него в пальцах, и он с недоумением взглянул на нее. — Прошу прощения...

— Ничего, — сказал изобретатель, взял пуговицу и положил ее в карман.

Старик помолчал, потом промолвил тихо:

— Я специально по летательным машинам не работаю, но, грешный человек, не верю в орнитоптеры. Не верю. Может быть, ошибаюсь, даже очень возможно, что ошибаюсь, но... но попробуйте неподвижные крылья. Помилуйте, разве так уж надо слепо подражать природе? Пусть себе птицы машут крыльями, бог с ними, а мы придумаем еще лучше, на то мы и люди. Да и приглядитесь внимательней, отберите от птиц другое — парение. Что? Не согласны?

— Я пробую, — тихо ответил изобретатель.

— Попробуйте, пожалуйста, — обрадовался старик, потянул его за вторую пуговицу, но тотчас же отнял руку. — Обязательно пробуйте по-разному, не надо себя ограничивать... — Он перебил себя: — Вы, конечно, и не слышали о Ланговом? Об инженере Ланговом?

— Нет.

— Даже мы сами друг друга не знаем, а уж что говорить о публике! — печально заметил старик и продолжал: — Он работает в интереснейшей области автоматических механизмов, испытывает различнейшие системы управления — электроаппаратура, гидравлика, пневматика... Конечно, это не для таких выставок, публике неинтересно: не цирк, не спорт, не летает, не прыгает, а стучит себе да стучит... А ну-ка, — перебил он себя, — поглядим как следует эту вашу птицу. Поясните мне...

Тут он почувствовал, что Вася тихонько выдергивает пальцы из его большой руки, и спросил:

— Побегать хочешь? Ну, хорошо, побегай, только смотри — веди себя прилично, не опозорь меня, старика, а то и мне тоже достанется. Да билет возьми, будут гнать — показывай, что за вход заплачено, смотри!..

И он, дав Васе билет, отпустил его.

Вася сначала медленно, а потом все быстрее двинулся вдоль ряда машин. Здесь все было интересно и чудесно. Чудесны электрические шарики и шары, чудесны и аэропланы с огромными винтами и крыльями. Петя умрет от зависти.

За аэропланами стояли пушки, и военный с длинными усами объяснял, что вот эта большая пушка стреляет на восемнадцать верст ядрами в два пуда весом. За пушками Вася увидел то ли будку, то ли комнату, в которой стояла кукла пожарного с кишкой в неправдоподобно белых руках. Фанерные стены в некоторых местах были выкрашены в красный цвет, изображавший пожар. Зазвонил звонок, чтобы разбудить жильцов, и куклы задвигались...

Тут Вася оглянулся, чтобы поделиться с кем-нибудь впечатлением от этого удивительного зрелища, но обратиться было не к кому. Он был совершенно один среди хорошо одетых господ, а три или четыре мальчика при папах и мамах были как раз такие барчуки, на каких он привык нападать на улицах и дворах. Ему стало жутковато. На него поглядывали с подозрением и недружелюбно, а он вдруг заметил, что спасительного билета у него в руках уже нет. Как это он умудрился выронить его?

Вася озираясь, разыскивая билет, вспомнил о кошельке и сунул руку в левый карман штанов — что, если и кошелек нет? Но подарок был на месте, там, куда он его положил. Вася вынул кошелек и зажал в руке, чтобы не потерять и его. Он двинулся обратно к аэропланам, ища на полу билет, наткнулся на идущего навстречу старика, обрадовался и сказал ему:

— Дедушка, а я билет потерял!

— Ну и растяпа, — спокойно отозвался тот. — Теперь уж не отходи от меня, а то худо будет.

На них оглядывались с удивлением и насмешкой — прилично одетый старик с уличным оборвышем. Но старик не обращал решительно никакого внимания на перешептывания и пожимания плеч. Он прошел с Васей к отделу «говорящих машин». Здесь Белкин диктовал в рупор разные очень глубокие мысли, придирчиво испытывая пригодность изобретения, а представитель фирмы

терпеливо переносил это бедствие, потому что приват-доцент сообщил ему свое звание и свои намерения.

Старик, подходя, услышал, как фонограф произнес голосом Белкина:

— Человечество увлекается игрушками, но истинное знание — знание сверхчувственное.

«Бред», — подумал старый профессор и хотел пройти мимо, но представитель фирмы обратился к нему, назвав его по имени и отчеству:

— Можно вас просить сказать несколько слов? Наша фирма была бы очень благодарна.

Здесь почти все устроители и демонстраторы узнавали старика, здесь все-таки его царство, а не Белкина, фамилию которого инженеры, должно быть, и не слышали.

Представитель фирмы попросил Белкина на минутку уступить место профессору.

— На минутку... Большой ученый... Прошу извинить...

— Мы знакомы, пришли вместе, — отрывисто промолвил Белкин и отошел.

Представитель фирмы не обнаруживал никакого удивления по поводу того, что почтенный ученый держит за руку уличного мальчишку. Чудачества профессора были общеизвестны, но его имя — выгодно для рекламы. Белкин не считал такого рода поступки старика простым чудачеством. Пустяковый, конечно, случай, но и за этой мелочью — серьезное дело. Профессорская дочь шепнула приват-доценту:

— Мама сейчас придет. Сейчас, сейчас... Я уже звонила.

Белкин пробормотал в ответ:

— Не надо было. Пусть.

Старик, постояв и подумав, сказал в аппарат, валик которого завертелся:

— Человечество, вопреки всему, несет неугасимый светоч науки вперед и выше. Привет и уважение всем труженикам и мученикам истинного, строго научного знания.

Старик, и не оглядываясь, знал, как усмехнулся Белкин при словах «светоч науки». Он знал, что эти священные для него слова считаются такими вот модными болтунами чуть ли не пошлостью, и с тем большим

упрямством любил произносить их. Пусть насмеются. Сами они пошляки.

— А теперь ты поговори, — обратился он к дочери.

Ниночка покраснела и торопливо проговорила в трубку:

— Не имея что сказать, не мудрено сказать глупость, и поэтому воздерживаюсь от дальнейшего.

Голос ее оборвался, и она быстро отошла, багровая от волнения. Что случилось с его умной дочкой? Сначала устыдилась отца, теперь самой себя стыдится.

— Идем, деточка, домой, — промолвил старик грустно, взял ее за руку и помял, погладил ее пальцы, как любил делать это, когда она была еще ребенком и когда он думал сделать из нее новую Софью Ковалевскую. Он сам обучал ее математике. — Идем, — повторил он.

Но она отняла руку и отошла к приват-доценту.

— Пожалуйста, — приглашал Белкина к фонографу представитель фирмы. — Будьте добры прослушать изречение господина профессора и высказывание мадемуазель. Аппарат работает безукоризненно. Фирма дает гарантию.

Ниночка двинулась к фонографу вместе с Белкиным, ни на шаг не отставая, и старик смотрел на нее очень внимательно. На миг подумалось ему, что она не самой себя устыдилась, а назвала глупостью его слова — слова отца. Но тут же он отверг эту чудовищную мысль. Нет, не следует быть столь подозрительным, это же его дочь! Она просто пребывает в несколько взвинченном состоянии, как всегда в присутствии Белкина, и у фонографа самым обыкновенным образом растерялась. С этим болтуном ей все же интересней, чем со старым отцом. Что тут поделаешь!

Вася, потрясенный, слушал, как машина повторила только что произнесенные слова сначала голосом старика, а потом голосом барышни. В смысл слов он не вникал, не в них чудо. Чудо в том, что эта машина — тоже как птица. Как попугай.

Старик взял мальчика за плечо и сказал:

— Идем, Вася.

Выйдя на улицу, старик спросил:

— Ты куда сейчас?

— В Гостинный двор, — солидно, как богатый, ответил Вася.

— А! Важно!

Старик усмехнулся. Веселая мысль пришла ему в голову. Он пойдет в Гостинный двор вместе с мальчиком и купит ему что-нибудь. Но тут он вспомнил, что забыл дома бумажник. Порывшись в карманах, он нашел только двугривенный и спросил озабоченно:

— А у тебя много денег в кошельке?

Вася все еще держал кошелек в руках.

— Три копейки.

— Мало. Ну, да там сообразим. Мне поверят.

Он взял Васю за руку, но в этот момент к манежу лихо подкатили сани. Извозчик, очень толстый в своем синем кафтане, обернувшись, ловко отстегнул подбитую мехом полость, но дама в огромной шляпе, сидевшая в санях, не пошевелилась. Она только окликнула старика:

— Польш!

Почему — Польш? Что за пошлость из бульварных романов? Надоело.

— Польш! — повторила дама угрожающе.

Это была жена профессора, Евгения Львовна.

Старик отпустил Васину руку, дал мальчику свой единственный двугривенный и сказал виновато:

— Как-нибудь потом пойдем. А деньги я дома забыл.

Вася пустился прочь, а старик с завистью и сожалением поглядел ему вслед.

— Польш! — позвала жена в третий раз, и он пошел к саням.

Вот для каких гадостей употребляют такое замечательное изобретение, как телефон! Дочь с Белкиным, конечно, позвонили домой и нажаловались, что он опять чудит. Не дают ему жить нормальной жизнью. Что он худого сделал? Ничего.

Он шел к саням с детским чувством обиды на несправедливость. Это было свежее, немножко грустное чувство.

— Садись, — приказала жена. — Я все видела, и с меня довольно.

Когда-то женитьба на ней представлялась ему высшим достижением его жизни. Столичная красавица, она родилась в Петербурге, гордилась этим и не сразу пошла за него, провинциала.

— C'est impossible, — заговорила Евгения Львовна, когда он сел в сани, а извозчик пустил лошадь хорошей рысью. — Хотя бы ради жены, ради дочери ты не должен так себя вести. Они носят твою фамилию, и ты обязан с этим считаться. А ты показываешься в обществе с каким-то грязным уличным мальчишкой. И так по городу ходят ужасные анекдоты о профессоре Кондакове.

Она говорила по-французски, чтобы не понял извозчик. Красивая дама. Намного моложе его. Сзывает по воскресеньям разных прыгунов, выпивох, щеголей вперемишку с чванливыми литераторами и претенциозными философами.

— Приятно жене и дочери слушать, как в приличном обществе говорят, что муж и отец впал в детство, теряет норму в поведении, — говорила она своим низким голосом, который некогда очаровал его, а теперь казался ему искусственным, поставленным как у певицы. — Жена имеет право требовать нормального поведения от мужа.

У нее была привычка, делая ему выговор, называть себя в третьем лице — «жена», или «мать», или даже «мадам Кондакова», а иногда «дочь Бердышева». Ее отец был тайный советник, и она считала, что весь мир должен знать фамилию достигшего таких высоких чинов человека.

Она гудела над его ухом на своем испорченном французском языке. Изображает великосветскую даму, а сама произносит «р» грубо, как немка. Окончила Анненшule.

Она пела своим «баритоном», как он выражался теперь.

— Ниночка чуть не плакала в телефон: ты компрометировал Николая Евгеньевича, ты был груб с Николаем Евгеньевичем, ты все делал назло Николаю Евгеньевичу...

«Ну да, нажаловались», — подумал он.

— Николай Евгеньевич — известнейший в городе человек, его все знают, надо считаться с этим, когда ты с ним в одном обществе...

Старик сказал по-русски, спокойно:

— Твой Белкин — пустомеля и вредный дурак.

— *Devant les gens!*¹ — ужаснулась жена, сделав большие глаза и указывая на массивную спину извозчика.

— Да, деван, — отозвался он, сознательно коверкая французское слово.

Дрожащим от негодования голосом она проговорила тихо, хотя и по-французски:

— Ты разрушаешь счастье дочери. Хочешь к Бари?

Бари был владельцем частного сумасшедшего дома на Васильевском острове.

Старик ответил все так же спокойно и по-русски:

— В сумасшедшем доме люди умней твоих Белкиных. Во всяком случае, безопасней.

— Но это невозможно! — Она схватилась за грудь, хорошо упакованную под тяжелой ротондой. — Белкин — восходящая звезда столичной науки, он так отличает Ниночку среди всех своих слушательниц, а ты, ты со своими верстаками...

«Верстак» — вот как она обозначает теперь его науку. Но верстак в руках хорошего слесаря полезней всех ее болтунов. Она научилась презрению у воскресных гостей, она не чувствует, что оно оскорбительно и для нее, жены. Она — где нужно — гордится его званием, его чином, привыкла к его деньгам, настаивает в некоторых кругах на его известности, но она стала обнаруживать презрение к его науке, она считает ее низменной, грубой, вульгарной. Этого не было у нее раньше. Она оказалась слабой, последние мрачные годы жутко запечатлелись на ней, она страшно изменилась. Когда он стал стареть, болеть, когда ему особенно нужна поддержка, она принижает, зачеркивает всю его жизнь. Надо ослабеть или попасть в трудное положение, чтобы узнать — друг жена или нет.

Перебивая ее, он промолвил громко и отчетливо:

— Замолчи, или я остановлю извозчика и сойду.

— Ах, вот как?..

Но она замолчала.

Единственное, чем можно в последнее время угодить ее — это угрозой совершить какой-нибудь неприличный, по ее мнению, но очень естественный, с его точки зрения, поступок.

¹ При людях (франц.).

А рядом, тут же, идет другая жизнь, где бегают маленькие Васи, оборванные, нищие, из которых можно бы вырастить отличных инженеров, где можно бы и помочь, где его не сочтут чудачком, но между ним и этой жизнью — огромная шляпа жены, все эти «Поль» и «с'est impossible», вся каменная громада Санкт-Петербургской власти, Санкт-Петербургских нравов и обычаев. Прямо крепость, из которой чуть шагнешь — так тысячи рук хватают за фалды и тысячи языков порочат на все лады. Почему он не убежит? Что держит его? Кабинет с книгами? Старческая слабость? Привычка? Нет, все та же наука. Кафедра!

Да, он в очень трудном положении. Надо сдать кафедру достойному преемнику. Кафедра — дело его жизни. Скоро умирать, и если не Ланговой станет его наследником, то кафедра уйдет Гентеру — прохвосту, чинуше, карьеристу, бездарности, компилятору чужих работ. Старик отверг его кандидатуру, провел Лангового, — но как далеко зашел Ланговой в своей любви к благам жизни? И старик с внезапной и огромной тревогой задумался о Ланговом. Он на службе у бельгийской фирмы. Что делать! Где машина — там почти всегда ищи иностранные деньги, даже если по вывеске русское предприятие. Но поймет ли ученик, какая честь оказана ему? Оценит ли ответственность? Поймет ли сердцем, душой, что старый профессор, его учитель, передает ему в руки честную русскую науку, русскую мысль?

Решается судьба жизни, судьба кафедры, и не с кем поделиться своим мучительным волнением. Громадная тревога за судьбы русской науки — для Санкт-Петербурга тоже чудачество. «Русопётство» — так выражаются модные умники. Один из гостей жены как-то выразился:

— Старая песенка про русского Левшу, побившего «аглицких» мастеров, узенькая мыслишка, утешение ограниченных умов и грубых практиков.

Он, старый профессор, слышал эти слова из своего кабинета — дверь в гостиную была приоткрыта. Он слышал, как раскудаhtалась жена, не соображая, что мужа оскорбили в его же доме.

— Ах, да!.. Ах, этот «стиль рюсс»!..

«Стиль русс»... Во всем видят фальшь, кроме того, что действительно фальшь. Он, видите ли, «ограниченный ум», «вульгарный практик» — «никакого полета мысли», «стиль русс». Несчастные обезьяны.

Мысль вернулась к маленькому Васе, и сразу, как это нередко случалось теперь у старого профессора, возникли в его воображении годы надежд, когда казалось, что народ добудет свободу и вырвутся наконец на волю неисчерпаемые силы таланта, фантазии, душевного здоровья, творческого ума. Тогда и о кафедре не было бы заботы, наука получила бы миллионы преемников. Но народ скрутили крепче прежнего по рукам и ногам. Столыпин! Он умеет только вешать, и армия палачей орудует по всей стране.

Кафедра — это очень малая забота в страшное время бедствий и горя, но он обязан в чистоте пронести эту малость через свои труды, через верных учеников в будущую свободную Россию. Старик нерушимо верил в эту будущую свободную Россию, хотя очень смутно представлял ее себе. Его дело в жизни — наука, кафедра, она нужна народу, и он — как солдат, поставленный на боевом посту. Царский министр хотел убрать его, но он отстоял свой пост с помощью коллег, из которых иные с той поры — увы! — поддались времени, как многие, слишком многие, и теперь уж не поддерживали бы его, как тогда.

Старик так задумался, что не заметил, как сани оставились у дома, где он жил.

— Мы тут живем, — с издевательскими переливами в голосе сообщила жена (конечно, по-французски). — Или ты предполагаешь ночевать на улице?

Но он — в тревоге, в огромной тревоге. Неужели нельзя понять?

Евгения Львовна, скинув в передней ротонду на руки горничной и снимая перед зеркалом шляпу, промолвила голосом, в котором леденела злоба:

— Жена поехала, бросив все свои дела, чтобы помочь старому, больному мужу. А муж оскорблял ее при людях всю дорогу.

Ну что тут поделаешь?

Пока горничная помогала барыне, профессор поставил в угол трость, снял шубу. Шуба — тяжелая, он не дотянулся с нею до вешалки и выронил. Евгения Львов-

на уничтожающе взглянула на него, когда он наклонился, чтобы поднять. Промолвила:

— Не думай, что все это обойдется тебе так просто. Мы еще поговорим.

Он разогнулся, чувствуя прилив молодых сил, обеими ногами встал на шубу и крикнул:

— Говори о старом «верстаке» с Белкиным! А от меня — прочь! Прочь!

И он прошел в кабинет, хлопнув дверью. Все-таки удалось им вывести его из себя. Ногам было тяжело, и он увидел, что забыл снять калоши.

Евгения Львовна немножко испугалась. Она знала его крутой нрав, особенно когда дело касалось науки. Студенты трепетали перед ним. Напрасно она сказала «верстак». В гневе он и ее утешал. В гневе он на все способен. Она тихо отворила дверь в кабинет и промолвила кротко:

— Прости, Павлик! («Вот это лучше, чем „Поль“».) У меня вырвалось не от души, а от раздражения, от беспокойства за тебя. Ты знаешь, как я глубоко уважаю твою работу.

Вот так, криком, только и приходится теперь действовать!

Он ответил:

— От души или от раздражения — этого я не знаю. Но я требую уважения к науке, к делу, которое я делаю, — хотя бы потому, что оно дает тебе средства к жизни. Если нет уважения внутреннего, пусть будет хоть формальное. Надо соблюдать приличие.

Евгения Львовна ужаснулась — он еще обучает ее приличному поведению! Но она сумела сдержать себя, остаться кроткой и послушной.

Был случай, когда он даже ударил ее. Это было тогда, когда она сказала, что в «инженерии» (так она позволила себе выразиться) нет решительно никакой поэзии. Он тогда больно хлопнул ее по руке. Надо быть осторожной с этой его наукой.

IV

А Вася Котляков, полный самых радостных чувств, бежал в Гостиный двор.

Гостиный двор оказался тоже ослепительным, хотя таких чудес, как в манеже, здесь не было, здесь —

только обыкновенные вещи. Окна были полны искуснейших изделий. Стояли, совсем, как живые, фигуры мужчин и женщин, одетых в новенькие костюмы, платья и пальто, а у одного мужчины даже нарисованы черные усики. Такого количества самых разных ботинок, башмаков, сапог, туфель, красовавшихся в окнах, Вася никогда в жизни не видел. А за стеклами других магазинов переливались самыми разными цветами всякие материи, очень красиво развешанные, в складках, или вдруг одна только посуда оказывалась в окне — кувшины, вазы, чашки, стаканы, блюда различных размеров и форм, даже с узорами. Вася переходил под каменными сводами от витрины к витрине, но внутрь не заходил, хотя он был богат — двадцать три копейки. Он искал магазин, где бы можно было купить материал для постройки маленького аэроплана.

В одном из окон охотники в меховых шапках и шубах целились в медведя, вставшего на дыбы, а один, одетый попроще, шел на зверя с вилами. Вася так залюбовался на эту охоту, что выронил кошелек из рук. Он тотчас нагнулся, чтобы поднять его, но толстая женская нога в сером ботике наступила на кошелек и не отпускала его. В ту же минуту чья-то рука сорвала с Васиной головы шапочку. («Чтоб не убежал», — подумал Вася, хорошо знакомый с этим приемом.) Дама, наступившая своей ножищей на Васино достоинство, сама, конечно, нагибаться не стала — это за нее сделал городской. Он поднял кошелек, а кстати прихватил за шиворот и самого владельца. Вася повис в воздухе, соображая, что выгодней — висеть смирно или визжать, дрыгать ногами и рваться из рук. Надо, пожалуй, прежде всего узнать, за что схватили.

— Воришка, — сказала барыня и вошла в магазин.

Это было вранье — Вася ни у кого ничего не стащил. Но он сразу сообразил, что его обвиняют в краже собственного кошелька с двадцатью тремя копейками, — жизненный опыт подсказывал ему, что «голодранцам» не полагается иметь новенький кошелек с деньгами.

Спорить с господами бесполезно, все равно не поверят, и потому Вася заревел в полный голос. Этот рев отлично действовал при любых обвинениях — справедливых и несправедливых, но городской не испугался и

поволок его в участок, место столь страшное, что хоть из пальтишка вылезай, а удери! И тогда Вася произвел то неуловимое движение головой и шеей, которое обычно выручало его в столкновениях с дворниками и кондукторами трамваев. Городовой, чувствуя, что драный ворот выскользает из его пальцев, хотел прихватить покрепче, для чего, как и следовало ожидать, выпустил Васю на миг, не больше, — этого мгновения было вполне достаточно для того, чтобы мальчик, пригнувшись, ринулся в сторону и пустился прочь. Но кошелек с драгоценными копейками и шапка остались в руках городского.

Вася ревел с досады всю дорогу до дому и рассказывал матери все, как было, без утайки. Он рассказал, конечно, и о чудесах в манеже, и о старике в длинной шубе, но мать горевала о шапке. Всклипывая, мать рылась в зеленом сундуке с хламом, отыскивая среди старых вещей хоть что-нибудь, что могло бы заменить новенькую Васину шапочку, купленную ко дню именин. А Вася, не выдержав маминых слез, вышел во двор, увидел Петю и заявил ему, что в Гостином дворе — одни только воры, потому что у всех на глазах барыня с городовым украли у него кошелек и шапку и никто не вступился, что его, Петин, отец служит у разбойников в воровском притоне. За такие слова Вася получил затрещину и, конечно, дал сдачи — да так, что у гимназистика потекла кровь из носу. Петя не остался в долгу, и неизвестно, чем кончился бы этот бой, если б дворник Мефодий не пошел на них с железной лопатой, обещая подсчитать, сколько у каждого из них ребер.

Вася, несколько утешенный тем, что его противник все же пострадал больше, чем он, ускользнул домой. Мать качалась над корытом, взбивая синюю мыльную пену, и так грустно напевала про Марусю, которая отравилась, что Васе стало очень ее жалко. Васина мать была вообще веселая и не так уж часто вспоминала про отравившуюся Марусю, но когда вспоминала, то, значит, ей было чересчур тяжело. Вася подошел к ней и стал так, чтобы она его заметила. Она сразу его заметила, разогнулась и сказала:

— Ты тут не запачкай, смотри. Стираное белье. — Она улыбнулась Васе и добавила: — А я тебе другую шапочку отыскала.

Она умела быстро утешиться. Шапочка была не такая новая, даже совсем старенькая, но Вася тотчас надел ее на голову и промолвил солидно:

— Н-да, это — да...

— Поди покатайся на коньках, — сказала мать, снова наклоняясь над корытом.

И Вася опять вышел во двор.

Вася любил мастерить разные штуки, и коньки он сработал сам, только при небольшой помощи отца, из разных поломанных и брошенных частей. Отец обучал его своему искусству, да и дядя Яша, когда заходил, не отказывал в советах и поучениях.

Во дворе, в сумерках, уже кружил Петя на своих купленных коньках. Он, словно забыв о драке, предложил Васе потягаться. Вася злобы на Петю не затаил, тем более что предстояло еще похвастаться перед гимназистиком аэропланами и говорильными машинами. Он стал тут же, не откладывая больше, хвастаться, но Петя нахально утверждал, что он сам все это видел и даже видел, как аэропланы летают в воздухе.

— Честное слово, какой-то француз летал в Коломьях.

А граммофон у папы есть, — подумаешь, невидаль: граммофон не только разговаривает, а даже поет, только папа не позволит Васе прийти, чтобы послушать, как поют из трубы хором. Но Петя как-нибудь, когда папы и мамы не будет дома, покажет Васе граммофон и поставит пластинку.

Вася был несколько обескуражен Петиной образованностью и возразил не очень уверенно:

— Врешь.

Тогда Петя опять предложил потягаться, с условием, что, кто победит, тот, значит, говорит правду. Они пустились кружить на коньках, но Петя вдруг поставил Васе ножку и тотчас же удрал к себе в двадцать первый номер. Вася растянулся, больно ударившись подбородком, так что подбородок сразу вспух, а когда вскочил на ноги, Пети уже не было, а дворник Мефодий хохотал. Дворник Мефодий всегда некстати оказывался рядом.

Вася, сердитый, обдумывал, как бы отомстить Пете. День начался отлично, но кончался явно неудачно. Дела

пошли из рук вон плохо. Ни кошелька, ни новой шапки, а теперь еще и подбородок болит. К тому же очень обидно, что Петя никаким чудесам не позавидовал, сам еще нахвастался, что видел, как летает француз, да еще сказал, что его отец не пустит Васю посмотреть граммофон. И Вася сказал дворнику Мефодию:

— Ржешь, как лошадь.

— Ах, ты! — закричал Мефодий, и лицо у него стало таким свирепым, что Васе пришлось удрать на улицу и юркнуть в переулок.

Теперь стало совсем уж худо. Все чудеса разом выбило из головы. Бежать домой мимо лютото дворника слишком опасно — Мефодий сильный, он может убить, если словит, и ничего ему за это не будет, потому что он часто ходит в трактир с городовым Никифором Акнифиевичем, грозой здешних мест. А таких, как тот старик в длинной шубе, нигде кругом нету, никто не защитит. Хоть бы Мефодий убрался куда-нибудь. Хорошо, если б он, пьяный, а не Гриша-стекольщик, попал под ломовую телегу и помер в больнице. Гриша-стекольщик, когда напивался, всех любил и обязательно давал Васе конфетку, а дворник и трезвый — зверь, а уж пьяный — хуже всякого злодея. Когда Гришу-стекольщика раздавил ломовик, его жена плакала так, что на весь подвал было слышно, и никто не мог ее успокоить. Хозяин пригрозил ей городовым, но она отвечала, что полицией не запрещено плакать в нанятой за деньги комнате, а мама сказала отцу:

— Что уж это такое, если человеку нельзя и погоревать о муже?

Отец отвечал так:

— Все нам нельзя. Жить нельзя. Да ты помалкивай — шпиков кругом орава.

О, Вася много знал про свой подвал, про людей и про полицию! И потому, удрав от дворника, он вдруг испугался, что тот в наказание выгонит мать на мороз. Пусть уж дворник его хоть насмерть прибьет, ничего не поделаешь, только бы оставил мамку в покое. Тем более дело уже к ночи — все равно надо домой.

Мефодий сидел у ворот, но не шевельнулся, только глянул на Васю так, что тот понял — дело не кончено. И действительно, чуть Васин отец вернулся с завода, дворник все рассказал ему, прибавив всякого вранья,

и потребовал, чтоб Васю тотчас же при нем выпороли. Но тут мать, вскочив, заголосила:

— К инженерам пойду! Я на них белье стираю, всех инженеров знаю!..

Она схватила Васю и так начала кричать на Мефодия, что тот не мог отбрехаться и ушел.

А отец тут же объявил, что пусть мальчик еще поучится в школе. Рано ему на заработки, как-нибудь да авось удастся прожить и без его копеек.

V

Зимой этого года Иван Терентьевич Ланговой, ученик профессора Кондакова, молодой инженер, завершил первое, как он считал, действительно серьезное дело.

Ему удалось спроектировать оригинальный автоматический станок для изготовления мелких частей машин. Остроумно спроектированное управление с применением простой и дешевой электроаппаратуры являлось новинкой. Станок Лангового, значительно увеличивая производительность, давал серьезную экономию, что тотчас же было оценено заводчиком. Отличный мастер, которого рабочие на заводе звали дядей Яшей, изготовил модель с обычной для него абсолютной точностью. Для окончательных испытаний новинку отправили за границу, как это всегда делалось. Слухи о новом успехе Лангового, дошедшие до заводских инженеров, только подтвердили его репутацию удачливого человека, «счастливца», как называли его некоторые не без тайной зависти и не без скрытого недоброжелательства.

Ланговому действительно все как будто удавалось. Окончив с медалью гимназию, он отлично выдержал конкурсные экзамены сразу в три института. Выбрав Технологический, он до самого выпуска первенствовал на механическом отделении и еще студентом напечатал в техническом журнале несколько статей, обративших на себя внимание знатоков. Его дипломная работа тоже была опубликована.

Он еще учился на последнем курсе, когда с ним, как с автором интересных статей, выразил желание познакомиться владелец большого завода на Выборгской стороне и даже прислал за ним дрожки. Заводчик был

бельгиец, совладелец крупного машиностроительного предприятия у себя на родине. Его звали Альфред Густавович, — он приобрел в России отчество, как и другие иностранцы, готовые для деловых надобностей кое в чем уважить местные нравы и обычаи. При первой же встрече он пригласил Лангового к себе на службу по окончании института, а дальнейшие переговоры поручил инженеру Лызлову, заправлявшему всеми делами завода.

Когда Ланговой окончил институт, Лызлов, пригласив его в заводскую контору, точно обозначил его будущие обязанности. Ланговой должен разрабатывать проекты машин, а также производить менее крупные работы по заказам фирмы. В случае необходимости он будет выезжать в Бельгию на тот срок, который укажет фирма. Интересы фирмы — прежде всего.

Лызлов был высокий, жилистый человек с грубо скроенным лицом и уверенными движениями большого, сильного тела. Посасывая сигару, он расхаживал по кабинету и отрубал слово за словом, будто поленья колол. Все ясно. Никаких околичностей. Ланговой отдает фирме свои замыслы, свои идеи, свои труды. За это он будет иметь большое жалованье, а также, конечно, получит возможность приобрести крупное имя в техническом мире, поскольку те его проекты, которые будут признаны рентабельными, осуществляются за границей.

— Привилегии будут на мое имя? — осведомился Иван Терентьевич.

— Да, — отрубил Лызлов.

Его просторный кабинет составлял резкий контраст с остальными комнатами конторы — он был устлан коврами, уставлен мягкой мебелью, в шкафах сияли золотым тиснением солидные технические книги и справочники, широкий письменный стол блистал чистотой. За окнами плескалась Нева. На том берегу возвышались пять куполов собора.

Сидя в этом роскошном кабинете, Иван Терентьевич решил свою судьбу. Потеряв сначала мать, а потом и отца, небогатого железнодорожного служащего, он сам пробивался в жизни и привык верить в себя. Мысль использовать бельгийскую фирму для осуществления своих замыслов показалась ему заманчивой. Он принял предложение.

В тот же день он отправился к профессору Кондакову. Чуть ли не с первого курса Кондаков всячески отличал Ивана Терентьевича, и, как это часто случается между учителем и учеником, у них установились почти родственные отношения. Ланговой явился к старику таким победителем, словно бельгийская фирма была у него в кармане.

Тот, послушав его, заметил:

— Будьте осторожны с коммерсантами. Для нас — Ньютон, Ломоносов, Кулибин, а для них — Ричард Аркрайт, бессовестный мошенник, они от него ведут свой род.

Ричард Аркрайт — дело давнее, конца XVIII века. Создавая свои фабрики, он нажил миллионы на присвоении ткацкого станка и ограблении ткачей. Но зачем вспоминать старину?

— Меня не обморочат, — отвечал Ланговой. — Да и правда — что же делать? Без иностранной фирмы ничего не построишь, все останется в чертежах. Где я сейчас добуду такую практику?

Действительно, производства такого рода механизмов, которыми занимался Ланговой, в России не существовало. Бельгийская же фирма предоставляла молодому инженеру все необходимые условия, он получал возможность без лишних затруднений заняться любимым делом. Действительно, счастливец! Но профессор все же сказал, поблескивая своими маленькими медвежьими глазками из-под лохматых бровей:

— Я вырос на железоделательном заводе; там, изволите видеть, сварочные печи Симменса, молот Нессмита, турбины Фаншена и Жирарда, а одна машина — русская: турбина Рожкова. Помилуйте, добился же человек, построил турбину на монетном дворе, в Екатеринбурге, без бельгийцев, без англичан, без Аркрайтов. Сам придумал, сам построил и дал русским заводам. Имя Рожкова славно на Урале! Хорошая слава. Уважаю. Где, я спрашиваю вас, господа, бывает, чтобы галушки сами в рот падали? Бороться надо, драться!

Услышав гневные ноты в голосе старика, Ланговой присмирел.

— Да я и буду бороться, — сказал он. — Я их просто хочу использовать.

Старик промолвил, подумав:

— Хорошо. Верю вам.

Поступив на службу, Иван Терентьевич продолжал делиться с профессором своими мыслями, планами, достижениями. Старик давал ценнейшие указания, которые открывали Ланговому ошибку в расчетах и приводили его к правильному решению. При этом профессор приговаривал:

— Это я говорю вам, а не вашим бельгийцам.

Жил Ланговой шумно. Его часто видели в веселых петербургских заведениях, куда он подкатывал на лиха-чах со случайными приятелями. Человек могучего здоровья, он мог после бессонной ночи, проведенной где-нибудь в загородном ресторане, работать как ни в чем не бывало, поспав часок-другой да приняв холодный душ. Его хватало на многое. Он был известен и в спортивных кругах столицы как лыжник, пловец, теннисист.

Даже на профессора Кондакова он производил иной раз впечатление такой уверенной силы, что старик, глядя на крупную, мускулистую фигуру своего бывшего ученика и слушая его зычный голос, решал не вмешиваться в его жизнь со своими нравоучительными замечаниями. «Молодым, может быть, видней», — думал он. А его дочь Ниночка гимназисткой была тайно влюблена в Ивана Терентьевича, да и теперь, хотя она и подалась в сторону модников вроде Белкина, все же сердце ее вздрагивало подчас, когда она встречалась с Ланговым. Она любила ходить с ним на лыжах за город, кататься на коньках.

Старик помог Ланговому и в его последней работе. Иван Терентьевич утверждал даже, что станок является, в сущности, результатом их совместных трудов, но старик возражал:

— Основное ваше — значит, и все ваше. Пусть ваши бельгийцы изготовят русскую машину. Посмотрим, как вы боретесь.

Вскоре Иван Терентьевич пришел к профессору и заявил, что он намерен усовершенствовать свой станок. Он решил добиться такого числа оборотов шпинделя, о каком и сам не мечтал, когда задумывал работу. Можно было порадоваться тому, что он не удовлетворен достигнутым, хочет добиться большего, но старику на этот раз решительно не понравилось, как Ланговой разглагольствовал насчет своих дел. «Заводчик в восторге»,

«заводчик даже аванс дал», — через каждые три слова — «заводчик». Между прочим, он сказал:

— На этот раз меня надолго посылают в Бельгию. Заводчик настаивает, чтобы я выехал в июле и там закончил свое усовершенствование.

— Может быть, и совсем переселитесь туда?

Ланговой несколько смутился.

— Нет, — ответил он. — До сих пор обходилось только коротенькими выездами, пусть будет и дальше так.

Защищая кандидатуру Ивана Терентьевича на место в институте, старик не был вполне уверен в том, что эта кандидатура реальна. Но из других возможных кандидатур никто не мог бы оспаривать Гентера, имевшего серьезную протекцию в министерстве.

Весной и летом Ланговой редко бывал у старика. С того дня, как профессор не доискался его, чтобы вместе пойти на выставку, он был два или три раза, не больше. Когда он снова появился, старик предупредил его о том, что он получит предложение института занять место преподавателя.

Ланговой ответил:

— Я поступлю так, как вы мне скажете, я...

— Нет, — перебил профессор, — вы поступите так, как вы найдете нужным. — Он сделал ударение на слове «вы». — Помилуйте, я в этом деле советовать не буду.

Он отнюдь не желал уговаривать Ивана Терентьевича. Нет, это было бы недостойно.

Получив в конце мая письмо из института, Иван Терентьевич зашел к Лызлову. Опять — богатый кабинет, Нева за окнами, пятикупольный собор на том берегу.

— Вы знаете наши условия, — ответил Лызлов, выслушав его. — Интересы фирмы прежде всего. Через месяц-полтора вам предстоит выезд в Бельгию на очень длительный период. Совместить работу в институте с пребыванием за границей — неосуществимая задача. Так что вопрос ясен.

И он встал, отпуская Ивана Терентьевича. На этот раз он не был так любезен, как обычно. Очевидно, он считал полезным показать власть.

Иван Терентьевич отправил в институт письмо, в котором благодарил за лестное предложение, выражал

желание работать в институте, но при этом уведомлял, что вынужден отложить окончательный ответ до июля, чтобы отрегулировать свои служебные дела. Он выражал надежду на благоприятный выход из создавшегося положения.

Ланговой отчетливо сознавал, что он попал между двух огней. И он принял решение, которым не поделился ни с кем. Он поедет на короткое время в Бельгию, к осени вернется и совместит свою службу с деятельностью в институте. В руках у него важный козырь — работа по усовершенствованию. Он не сдаст ее, вернет авансы, пойдет решительно на все, но останется работать в России.

В это лето бельгийский заводчик впервые пригласил Ивана Терентьевича участвовать в теннисных состязаниях в Териоках, на его даче. Это был знак большого доверия. Ланговой принял приглашение. Чем ближе отношения, тем легче ему будет настоять на своем. Состязание на теннисной площадке — тренировка перед более серьезным боем, который необходимо выиграть.

В три недели (игра велась по вторникам, четвергам и воскресеньям) он побил всех своих соперников и получил право на партию с общепризнанным чемпионом, сыном Мердера, влиятельного банкира, от которого отчасти зависело благополучие и самого заводчика. В честь юного чемпиона, который в данном случае представлял крупное банковское предприятие, и были, в сущности, организованы соревнования. К тому же это был повод для очередной интимной встречи с отцом чемпиона, также обещавшим явиться. Заводчик был доволен, что все побеждены его инженером и, следовательно, его заводу принадлежал второй приз. Первое место должен занять, конечно, сын банкира.

Все эти недели Ланговой много раз пытался поговорить с заводчиком, но остаться с ним наедине никак не удавалось. Иван Терентьевич решил отложить разговор до конца состязаний, которые постепенно увлекли его. Он не понимал, что откладывает разговор потому, что не знает, как быть, если бельгиец откажет столь же категорически, как и Лызлов. Надежду он предпочитал возможной неудаче. Он видел, что решительное объяснение неизбежно, верил в то, что не уступит, но не торопил развязку.

Санкт-Петербург дышал иностранным воздухом. Иностранные промышленники, коммерсанты, ремесленники глубоко внедрились в город. Нигде в России преклонение перед всем заграничным не выражалось так явственно и так активно, как в Санкт-Петербурге. Петербургские богатые семьи охотно отдавали своих детей в иностранные школы, которых немало было в царской столице. Слово «заграница» импонировало и горничной из «хорошего дома», и университетскому приват-доценту. Для них само собой разумелось, что все заграничное неизмеримо лучше отечественного. Санкт-петербургские «западники» гордились тем, что иностранцы снисходительно хвалят красоты их города, называя его «европейским», в противоположность «азиатской» Москве. Они считали Санкт-Петербург единственным культурным городом в стране, призванным господствовать над Россией, как Европа над Азией. Высокомерие и тщеславие, напыщенность и подобострастие охранялись всей мощью жандармерии и полиции. В холодных залах министерств находили поддержку любые иностранные предприниматели. Казенные заказы давались иностранным фирмам, пошлины благоприятствовали иностранцам. Вся эта громада власти и денег давила русскую столицу и всю Россию.

Профессор Кондаков знал много трагических историй. Одна из них особенно часто вспоминалась ему, когда он думал о Ланговом. Случилась она на Урале, на платиновых россыпях, возле поселка, где родился Кондаков, и земляки писали о ней профессору.

На россыпях работал молодой инженер. В первые месяцы своей службы он составил проект промышленной переработки руды на месте, без отправки на заграничные заводы, которые назывались аффинажными. Он опровергал и это название, напоминая, что техника очистки платиновой руды создана русскими учеными и должна носить русское название. Инженер брался немедленно наладить дело. Первый отказ не смутил его. Было действительно странно, что русская руда и методы ее очистки, предложенные русскими учеными, уходят на Запад. На это указывалось и в «Записках» Уральского общества любителей естествознания. Попытки исправить

это положение до сих пор оставались безуспешными, но все же инженер обращался со своим проектом все выше и выше, сочиняя пояснительные записки, посылая ходатайства по ведомственным канцеляриям.

Все это, однако, длилось недолго. Английская фирма, которой царское правительство уже давно продало залежавшую в русской земле платину, выгнала наивного инженера со службы. Руду с драгоценным металлом фирма продолжала по-прежнему вывозить на свои заводы для переработки, а инженер с женой и матерью оказался без всяких средств к существованию.

Товарищи убеждали его ехать в Петербург и продолжать борьбу, но инженер решил иначе — он повинился перед начальством и взял назад свой проект. Его приняли обратно на работу, полагая, что раскаявшийся грешник ценней десятка праведников. Грешник действительно всячески старался оправдать доверие начальства — так его напугали дни, когда он вдруг остался без места и без денег. После своего поражения инженер прожил не больше года, а затем заболел тифом и умер. Он умирал тяжело, и последними его словами были:

— Проклятая жизнь.

Жена подозревала, что он не случайно выпил грязной воды, когда в рабочих бараках свирепствовал тиф.

Теперь профессору Кондакову привелось видеть, как нечто подобное грозило лучшему его ученику. Найдет ли Ланговой достаточно мужества, ума и силы для борьбы? Ответ Лангового на предложение института был уклончив, но желание урегулировать свои служебные дела казалось вполне естественным.

Профессору Кондакову показали этот ответ в институте, и старик сказал:

— Что же, господа, надо дать время для устройства дел. Желание резонное.

Доцент с химического отделения, кудреватый, розовенький, заметил небрежно:

— Ясно же, чем кончится. Он все вперед продал фирме, все, что есть и что будет. Деньги загребать станет лопатой.

В голосе его слышалась даже некоторая зависть.

Кондаков спросил тихо:

— Что вы этим хотите сказать?

— Что? Да обыкновенное дело. Состоит в услужении у крупной фирмы, и, в конце концов, не враг же он себе. Во главе фирмы — бельгийский инженер, ему он и будет отдавать все свои работы — разумеется, за хорошую оплату.

Кондаков все так же тихо проговорил:

— Вы хотите сказать, что на работах Лангового будет стоять иностранное имя?

— Ясно. С ними не поспоришь. А деньги-то нужны!

— Так вы расцениваете русских инженеров, русских ученых?

— Не всех. Ковалевская, Мечников и так далее — это другое дело. А Ланговой слишком любит хорошую жизнь, чтобы отказаться от такого блага. Я имею точные сведения, что с этим он и в Бельгию едет.

— Вам это Гентер говорил?

— Не он один. Гентер — тот даже завидует. Повезло, мол, человеку.

— А вы понимаете, в чем вы обвинили Лангового? — Кондаков встал. — Это же все равно, что душу продать! — выкрикнул он с внезапной свирепостью. — И вы, учитель молодежи, так легко говорите об этом! — Он вышел из комнаты.

Доцент поглядел ему вслед с некоторой растерянностью.

— Любит старик высокие слова, — произнес он. — Житейское дело — чего тут преувеличивать!..

Но его оборвали. Профессор Кондаков пользовался среди коллег неизменным уважением.

Лето профессор проводил в пригородном дачном поселке. Евгения Львовна не любила выезжать далеко, — она и на даче продолжала городскую жизнь с воскресными гостями, портнихами, летними театрами.

В последних числах июня, получив вместе с очередной корреспонденцией бельгийский технический журнал, профессор прочел в нем статью о станке Лангового. Еще не дочитав статью до конца, он вспомнил розовенького доцента. Авторство станка было приписано именно тому бельгийскому инженеру, о котором говорил доцент.

Евгения Львовна, гулявшая в этот вечерний час по саду, увидела, что ее муж, мирно сидевший на веранде, вдруг вскочил, швырнул журнал на пол, затем нагнулся

и поднял его. «Надо обратиться к доктору», — подумала она.

Через час поезд вез старика в город. Никто не мог его удержать, и никаких объяснений он не дал.

VII

В этот вечер, в канун решающей теннисной партии с сыном банкира, Ланговой работал над усовершенствованием своего станка. Работал он, по обыкновению, не у себя в кабинете, а в столовой, где на большом обеденном столе можно было удобно разложить все необходимые книги и справочники, собственные вычисления и заметки, эскизы и чертежи. Так уж повелось, что работал он в столовой, а обедал в кабинете.

Заслышав звонок в передней, Ланговой решил, что прогонит всякого, кто бы ни явился к нему, — будь то мужчина или женщина, хотя бы самая хорошенькая. Прислуга отворила дверь, и в столовую без стука вошел профессор Кондаков. Ланговой мгновенно отбросил карандаш и двинулся навстречу гостю с некоторым даже испугом. Профессор никогда не бывал у него, — что его могло привести сегодня?

— Я счастлив, профессор... — заговорил он.

Старик перебил его. Нервно подергивая сухими, узловатыми пальцами свою седую острую бородку, он начал очень официальным тоном:

— Известно ли вам, что в одном иностранном журнале появилось описание сконструированного вами станка, который вы хотите теперь усовершенствовать?

— Нет, — ответил Иван Терентьевич, всеми силами стараясь скрыть удовольствие, испытанное им при этом сообщении: в присутствии профессора Кондакова лучше держаться скромно, не выражая никаких чувств. — Нет, — сказал Иван Терентьевич, — мне это неизвестно, но я знаю, что испытания за границей дали положительный результат.

Он на голову возвышался над стариком в своем белом кителе, с широкой грудью, с лихо закрученными черными усами, и старик глядел на него снизу вверх.

Ланговой не выдержал наступившей паузы, и у него вывалось:

— Значит, отметили уже и в печати?

Старик хмыкнул, по-своему оценивая тщеславную радость ученика, затем предоставил ему опять притворяться, что он не слишком польщен вниманием, проявленным к нему за рубежом, и только потом продолжал:

— Да, отметили. Но вашего имени я в статье не нашел. Вашего имени нету. Автором машины назван другой инженер. Иностраный инженер. Не вы.

Ланговой разом утратил свой независимо-любезный вид.

— Кто же? — воскликнул он. — Я завтра же по делу! Заводчику известно, что автор — я.

Эта ссылка на заводчика, а не на него, учителя, возмутила старого профессора. Он не мог больше сдерживаться, да и не считал нужным. В нем вспыхнула чуть ли не ненависть к этому человеку, самому способному и самому тщеславному из всех его учеников.

Постукивая набалдашником суковатой трости по столу, профессор раздраженно заговорил:

— Вы извольте сами прочесть этот журнальчик. Вам полезно ознакомиться с этой статейкой! Прелюбопытный факт! Продаются! — вдруг вскрикнул он. — Позорите своих учителей! В грязных подштанниках по улицам бегаєте!

Профессор был человек тощий, с впалой грудью, но отнюдь не смиренный, да еще к тому же крупный ученый. Студенты очень уважали и очень боялись его. Надо было иметь самоуверенность Ивана Терентьевича, чтобы колебаться, когда такой человек звал его в институт. Но профессор вовсе не собирался мстить ученику. Он его поучал, он еще надеялся образумить этого шалопая. Он так и назвал его в лицо:

— Шалопай!

Он имеет право так разговаривать с молодым человеком, получившим все свои знания от него, старого русского инженера, и теперь бесстыдно торговавшим этими знаниями. Но есть же предел наконец! Он, старик, сам пришел к ученику, обманувшему надежды учителя, а этот нахал смеет еще притворяться! Как будто он не знает, от кого и за что хапнул грязные деньги! Ему, старому профессору, много рассказывали про похождения этого молодца, которого он так любил, так выделял среди других! Для такой жизни нужно много

денег, очень много. Предатели! И профессор взмахнул своей палкой так, что, казалось, сейчас он ударит Ивана Терентьевича по голове.

— За сколько тысяч выставлено на вашей машине иностранное имя? — прокричал он. — Сколько получили?

Это было слишком страшное обвинение. Иван Терентьевич оскорбился. Полные губы его зашевелились, черные усы запрыгали.

— Вы несправедливы, профессор, — сдержанно возразил он. — Меня либо опередили, либо обокрали. Вы напрасно сердитесь.

— Обокрали? А кто вас предостерегал?

Старик опустил трость и оперся на нее. Ему было горько. Он, старый русский ученый, обучал, воспитывал этого способнейшего юношу, готовил его в свои приемники, но все знания, которые он ему передал, пошли на поживу прохвостам, самозванцам. Он, старик, пришел, чтобы помочь, предостеречь, он любит его, не может оторвать от своего сердца, а тот видит в его словах только обиду для себя.

— У вас нет сердца, — проговорил он, сорвался с места и пошел прочь, совершенно забыв сказать, кому же приписано авторство машины, а может быть, и сознательно умолчав об этом. «Шалопай, — твердил он про себя, постукивая тростью по ступенькам лестницы, — хулиган».

Иван Терентьевич, спускаясь вместе с ним, спрашивал:

— Но что случилось, профессор? Я же ничего не знаю, ничего...

— Кто обещал бороться? — ответил профессор. — Борец! — проговорил он с презрением.

Сев в высокую извозничью пролетку, он уехал.

Таких столкновений со стариком у Лангового еще никогда не было. Что же теперь делать? Отправиться за ним следом? Но все равно сегодня у него не добьешься толку. И тут обида с новой силой вспыхнула в нем. Как он ни обязан профессору, но нельзя же так ругаться, не объяснив даже, что случилось. В конце концов, он взрослый человек, а не мальчишка, и завтра же выяснит все у заводчика. Он вырвет свое право, если у него попытались отобрать его.

Пригородный поезд тащился медленно. Когда Ланговой подходил к даче заводчика, у теннисной площадки собрались уже почти все приглашенные. Это было интимное общество фирм и предприятий, преимущественно иностранных. Отсутствовали только главные виновники торжества — Мердеры.

Дача Альфреда Густавовича, выкрашенная в веселый голубой цвет, с красной крышей, двумя застекленными верандами и башенкой, над которой развевался бельгийский флаг, была окружена большим тенистым садом. Она стояла над морем в ряду других богатых териокских дач. На море, у специально построенной собственной пристани, покачивались яхта и две лодки Альфреда Густавовича. К пристани вели широкие мостки с перилами. Самой большой пристанью и купальней владел здесь банкир Мердер, у него же состояла в услужении самая большая и опытная команда моряков.

Из уважения к стране, которая обогащала его, Альфред Густавович назвал свою яхту «Рюрик», а лодки — «Аскольд» и «Дир». Даче своей, или, как принято было выражаться в его кругу, вилле, он дал имя своей жены — «Сильвия». Вилла «Сильвия» — это звучало красиво, много нежных «л». Беседка в саду тоже получила поэтическое наименование — «Мечта». В глубине стояла прикрытая рядом зеленых елей пристройка, где жили повар, электротехник, садовник, сторож, лакеи, служанки.

Поздоровавшись со всеми, Иван Терентьевич отвел заводчика в сторону и сказал ему:

— Я узнал вчера, что в каком-то иностранном журнале мою машину приписали другому инженеру, не знаю кому...

В первой же своей фразе он бесхитростно сообщил, что не имеет точного представления о том, что случилось.

Альфред Густавович дружески взял его за локоть и ответил:

— Не беспокойтесь, вы будете вознаграждены, мы поговорим потом.

Но Ланговой не сдался:

— Дело идет не о вознаграждении, а о научной привилегии...

Но тут подошел Бурхардт («Покупайте для граммофонов единственную в мире иглу «Салон», преysкуранты бесплатно»). Низенький, толстенький, краснощекий, он обратился к Ивану Терентьевичу с добродушной улыбкой (он славился своим умением обвораживать людей добродушием):

— О, я вижу, вы в отличной спортивной форме, и бедному господину Мердеру будет плохо!

Он засмеялся, и все кругом засмеялись, потому что знали, что господину Мердеру никогда не может быть и не будет плохо.

— Да, — ответил Иван Терентьевич, — во всяком случае, ему будет трудно.

Было ясно, что объяснение опять придется отложить. Ланговой вынул ракетку из чехла, бросил чехол на зеленую скамейку и прошелся по чисто подметенной, посыпанной желтым песком аллее. День был теплый, ясный, на небе — ни облачка, но Ивана Терентьевича это не веселило, и пестрые клумбы перед дачей не радовали глаз. Он жевал губами, усы его шевелились, он уже злился, что Мердеры заставляют себя ждать. Белобрысый мальчик в белой курточке с золотыми пуговицами подскочил к нему с прохладительными напитками. Ланговой выпил содовой и зашагал к теннисной площадке. Он уже досадовал на то, что поспешил со своим обращением к Альфреду Густавовичу. Зря. Надо быть расчетливым и осмотрительным, не надо спешить. Это не пустяки. Но Альфред Густавович рядом и не увернется от решающего объяснения.

Шоколадный фабрикант, смуглый, синещекий, с таким значительным видом рассказывал о своей прогулке на яхте в Сестрорецк, словно совершил путешествие в Центральное Конго. Раздавались восклицания вроде «очень интересно» или, для разнообразия, «очень приятно». Разговор шел на французском языке, которым Иван Терентьевич владел хорошо. «Это же самые обыкновенные торговцы, лавочники, — подумал вдруг Иван Терентьевич. — Неинтеллигентные, некультурные люди, с ними и говорить не о чем...» И уверенность, что Альфреду Густавовичу не одолеть его, культурного, интеллигентного человека, овладела им.

Все очень усердно и правдоподобно изображали оживление, но все ждали Мердеров. С каждой минутой ожидания повышалось значение банкира, повышалось и значение Ивана Терентьевича Лангового, словно только теперь все сообразили, что именно он, инженер Ланговой, завоевал честь играть с сыном Мердера, и притом в присутствии самого Мердера. Ценность Лангового росла, прямо как на бирже. На него посматривали с новым интересом, а молоденькая дамочка — дочь, сестра или кузина (этого Иван Терентьевич не помнил) Отто Кирхнера («Канцелярские принадлежности») — не без кокетства навела на него лорнет. «Коммерсанты, лавочники, — еще раз подумал Ланговой с пренебрежением. — В чем их ценность? В деньгах», — ответил он сам себе с точностью инженера. Только деньги, больше ничего. Никаких иллюзий у него нет, все эти манеры, заимствованные у так называемого великосветского общества, смешны. А великосветское общество — тоже идиоты. Иван Терентьевич был сегодня в воинственном настроении. Но деньги, деньги... Преуменьшать тоже не следует. Машиностроительный завод — это жизнь, работа. Шутить нельзя. Та манера, с которой Альфред Густавович взял его за локоть и хладнокровно оборвал неприятный разговор, — это манера денежных людей, хозяев жизни, уверенных в своей власти. Ланговой понимал, что особый интерес, проявляемый к нему сегодня, вызван тем, что он будет играть с сыном богатейшего банкира, а вовсе не тем, что он талантливый инженер, которому сам профессор Кондаков предрекает большое будущее.

Наконец они пришли — банкир Мердер и его сын, чемпион. Они не подъехали в великолепной коляске или верхом на лошадях, они пришли пешком, как обыкновенные смертные, потому что их вилла находилась на той же улице, только на лучшем участке, чем вилла «Сильвия». Все общество во главе с Альфредом Густавовичем двинулось к калитке. Только Иван Терентьевич не тронулся с места, что было объяснено его скромностью, а отнюдь не его гордостью, — в гордости его никто здесь не подозревал. У теннисной площадки произошла церемония представления инженера Лангового банкиру Мердеру с сыном.

Сын банкира был классный игрок, бравший призы не только в домашних состязаниях. Ему приходилось играть даже с самым знаменитым левшой Сумароковым. Никто не сомневался в его победе. Это был худощавый молодчик с очень длинными руками и ногами. Лицо его отличалось такой неподвижностью, что, казалось, нарочно приспособлено было для того, чтобы никаких чувств не выражать. На лице Ивана Терентьевича, напротив того, можно было прочесть все обуревавшие его страсти.

Игра началась с того, что чемпион легко взял у Ивана Терентьевича два гейма. Длинные руки и длинные ноги банкирского сына прямо губили Лангового.

Иван Терентьевич высматривал слабые места чемпиона, сражаясь с таким напряжением, словно от его победы зависело что зависело. Счет становился неутешительным. Только один гейм удалось выиграть Ивану Терентьевичу, а у чемпиона было уже пять.

Пришла очередь подавать Ивану Терентьевичу, и он в злобе послал первый же мяч прямо в своего противника с такой силой, словно хотел с ног его сбить. Аплодисменты оповестили Ивана Терентьевича, что ему зачтено пятнадцать очков. «Ага!» Следующий мяч он подал с той же злобной силой. Банкирский сын опять сплеховал. Чемпион терялся на миг, не больше, но этого было вполне достаточно для того, чтобы мяч, летевший, как пушечное ядро, уже мелькнул мимо. Радость овладела Ланговым. Он весь отдался игре. Он, кажется, уловил, в чем слабость противника, — тот не выдерживал сильных прямых ударов: в этих случаях длинные ноги были ни к чему, длинные руки только мешали, а трусливое сердце завершало неудачу.

Первый сет Иван Терентьевич проиграл со счетом два на шесть. Но во втором он, при своей подаче, жил на секунду быстрее чемпиона, и это окрыляло его, обеспечивало ему в этих геймах победу. Надо взять хотя бы один гейм при подаче противника, и тогда матч выигран.

Ланговой давал один прямой удар за другим, и мяч, чуть коснувшись земли, то и дело пролетал мимо чемпиона. Великолепным последним ударом Иван Терентье-

вич взял второй сет, — он послал такой мяч, что чемпион только подпрыгнул. Это был очень смешной, прямо позорный прыжок, но никто почему-то не засмеялся, и аплодисментов почти не было, только немногочисленные вежливые хлопки. Ланговой не обратил на это внимания — им овладел азарт боя. Когда он подавал, игра становилась похожа на избиение. Лицо чемпиона теряло свою неподвижность, — он угрожающе закусывал губу, глаза загорались злобой.

Его отец, широкоплечий великан, атлет, а не банкир с виду, перестал отзываться на тихие, заигрывающие замечания обеспокоенного Альфреда Густавовича. К банкиру подседа и жена заводчика, маленькая белокурая женщина, умевшая мило смеяться, скромно сидеть за вышиванием, приветливо обращаться с нужными мужу людьми и не замечать ненужных, и несколько похожая на заводную куклу. В угоду русским знакомым она тоже имела отчество — Сильвия Рудольфовна.

Придав своему лицу самое милое из всех возможных выражений, Сильвия Рудольфовна выбирала из своего лексикона самые обвораживающие слова. Но банкир, которому деньги и власть давали право на невежливость, не отвечал ей и даже слегка отвернулся от нее. Он позеленел от негодования, когда увидел, как постыдно подпрыгнул его сын. Альфред Густавович ловил взгляд своего инженера, чтобы хоть издали образумить его. Нельзя даже в мелочах сердить столь могущественного человека, как банкир Мердер.

Только в середине последней партии Ланговой заметил, что на скамейках, где белели платья женщин, сорочки и брюки мужчин, стало подозрительно тихо. Холодом пахнуло на него оттуда, когда он мельком взглянул на всех этих безгласных зрителей его торжества. И Ланговой мигом понял все. На этой теннисной площадке от него требовали, чтобы он уступил победу, поддался банкирскому сынку. Да за кого они принимают его? С ума они, что ли, сошли? И, разозлившись, он стал брать один гейм за другим. Он бил прямыми ударами, от которых чемпиону пришлось еще несколько раз позорно подпрыгнуть.

— Грубая игра, — пробормотал Бурхардт.

Когда стало ясно, что инженер не собирается проигрывать сыну Мердера, теннис сразу перестал зани-

мать собравшееся общество. В конце концов, это спорт, пустяки, которыми серьезные люди только забавляются. Не все ли равно, кто первый, кто второй, — это же только развлечение. Иван Терентьевич еще доигрывал последний гейм, а Сильвия Рудольфовна уже приглашала к легкому завтраку, сервированному в саду.

Интерес к состязаниям исчез, пропал, словно и не существовало его. Но Ивану Терентьевичу было решительно наплевать на то, что его даже не поздравляют с победой. Он ждал момента, когда гости уйдут и он останется наедине с Альфредом Густавовичем. Наконец гости все сразу, словно по чьему-то сигналу, стали прощаться с хозяевами. Все они жили в Териоках, Ивану Терентьевичу одному предстояло ехать в город. Но он не ушел, сказав заводчику:

— Я должен переговорить с вами сегодня же.

Альфред Густавович чуть нахмурился и пошел к калитке, провожая гостей. Затем он вернулся к Ивану Терентьевичу и остановился перед ним.

— Я хочу объясниться, — начал Иван Терентьевич, и так как Альфред Густавович, опустившись в кресло, не пригласил его сесть, то он сам придвинул к себе соломённый стул и сел.

Бельгиец проследил за этим его движением, — нужный инженер, видимо, был в решительном настроении.

— Я вас слушаю.

Иван Терентьевич продолжал:

— Я уже имел честь сообщить вам, что о моем последнем изобретении появилась статья в иностранном журнале, — статья, в которой авторство приписано кому-то другому. Между тем у меня нет на руках привилегии, чтобы отстоять свои права. Я прошу вас принять немедленные меры для охраны моего авторства.

Бельгиец осведомился спокойно:

— Вам известно, что патент стоит денег и требует в России ежегодных денежных взносов для возобновления? Вам известно также, что патент без применения становится недействительным?

— Я желаю охранить свое авторство, — ответил Иван Терентьевич.

Бельгиец не привык к тому, чтобы с ним так разговаривали. Или этот закупленный им человек притворяется наивным?

— А вам известно, — спросил он, — что вы служите на моем заводе, выполняете мои заказы и за свои работы получаете большие деньги?

— Я получаю деньги за свой труд.

— Совершенно верно. Вы приняли на себя определенные обязательства, которые обязаны выполнять. Вы обязаны выполнять мои заказы и заказы фирмы, совладельцем которой я являюсь. Что касается остального, то дела по привилегиям, производству, эксплуатации веду я, и веду так, как этого требуют интересы фирмы. Предлагаю вам не вмешиваться в руководство предприятием.

— Но вам известно об этой статье в иностранном журнале?

— Я еще раз предлагаю вам прекратить разговор о делах, которые вас не касаются.

— То есть как не касаются? У меня отнимают авторство!

Альфред Густавович поморщился.

— Вы один из служащих моего предприятия, — промолвил он. — Вам платят большие деньги за ваш труд, который вы склонны, кажется, преувеличивать. Это жаль. Я думал, что вы разумный человек, человек дела. Вы никогда не получали отказа в ваших просьбах об авансировании. Скажите лучше, как идет работа по заказанному вам фирмой усовершенствованию. Вам предложено придать большую скорость оборотам шпинделя.

— Предложено? Но это я, я сам высказал такое намерение!

— Я предлагаю вам держаться в рамках документа. И я вправе требовать, чтобы вы сообщили мне, что вами сделано.

Итак, желание Ивана Терентьевича усовершенствовать станок тоже является заказом фирмы, а не личной идеей Ивана Терентьевича. Ланговой развел руками.

— Я удивлен. Но особенно удивляет меня то, что, по вашему мнению, автора не касаются его авторские права. Я не давал согласия на то, чтобы мои привилегии присваивались другими людьми. Очевидно, так произошло со всеми моими нововведениями, но последняя работа — гораздо крупнее и значительнее, и я на-

стаиваю на приоритете. Что касается производства, эксплуатации — пожалуйста. Но автор — я!

Бельгиец, разгладив седые усы, спокойно ответил: — Машина осталась бы в чертежах, если б не я. Даже и чертежей не было бы, если б не мои заказы. Какое русское предприятие даст вам такие средства, такие возможности работать, такой комфорт? Где встретите вы столько уважения и деликатности? — Он заподозрил, что инженера просто кто-то переманивает, и несколько смягчил тон. — Скажу откровенно, — сказал он, — я не понимаю ваших претензий. Но я еще раз докажу вам свое благожелательство, предложив забыть об этом разговоре. Вы сегодня взволнованы, нервны, возбуждены спортом, я понимаю, а «все понять — все простить». Вам надлежит готовиться к отъезду. Полагаю, что вы пробудете в Бельгии до января, а может быть, и дольше.

И Альфред Густавович поднялся, высокий, худощавый, осанкой своей напоминающий военного. Раскрытый ворот его сорочки обнажал белую жилистую шею.

Иван Терентьевич, тоже встав, сказал:

— Меня интересует все же, кто претендует на мое изобретение.

Альфред Густавович ответил успокоительно:

— Русский закон. Справедливость и закон. Закон и справедливость, — повторил он с ноткой торжественности в голосе.

Иван Терентьевич прекратил этот бесполезный разговор. Он торопился к профессору Кондакову. До станции он почти бежал. Ему удалось на ходу вскочить в подходящий поезд.

В углу вагона пьяный чиновничек или писарь рыдающим голосом говорил своему такому же пьяному товарищу:

— Кто мы с тобой? Холуи. Что прикажут, то и делай, не рассуждай, а то — коленкой под зад, и пропал.

— Ну и что ж, — отвечал другой солидным басом. — Ну и холуи. Все холуи.

Иван Терентьевич встал и вышел на площадку в таком смятении, какого никогда не испытывал.

Мимо пробегали в мирных зеленых садах домики дачных пригородных поселков. На кратких остановках

доносила музыка. В Шувалове играли вальс «Дунайские волны», — должно быть, воскресный бал. Не было и шести часов вечера. Ланговой знал, что профессор Кондаков иногда спасается от ненавистных воскресных гостей на своей квартире. Он надеялся застать профессора в городе.

Х

С вокзала Иван Терентьевич заехал домой, для того чтобы оставить ракетку и переодеться. Затем он отправился к профессору.

Профессор ждал Лангового. Он ждал его еще вчера, немедленно после своего визита к нему, но тот пришел только сегодня. Отворив дверь, профессор тотчас же, даже не сказав «здравствуйте», показал рукой на кабинет и сам двинулся следом. Иван Терентьевич почувствовал трепет, как бывало на экзаменах.

Все же Иван Терентьевич совершил последнюю попытку оттолкнуть от себя неприятную правду. Взяв журнал, он промолвил с деланным сокрушением:

— Опять опередили.

Но старик тотчас же закричал на него:

— Присвоили! Не опередили, а присвоили! Глядите на фирму! Какая фирма? У кого привилегия, у кого патент?

Иван Терентьевич уже и сам, без всякой подсказки, видел, какая фирма присвоила его идею. Авторство было приписано в статейке брату Альфреда Густавовича, жившему в Бельгии.

Старик метался по комнате, в лицах изображая, как это случилось:

— Вы любезно предлагаете мысль (он энергично вздернул голову вверх), они — берут (он поднял плечи и растопырил руки, словно принимая большой груз), они шлют за границу (он махнул рукой в сторону), они там штемпелюют на свое имя (он шлепнул кулаком одной руки по ладони другой), а вам нельзя пикнуть (он склонил голову и прижал руки к животу). Ай-ай-ай! Если вы пикнули, то вам нечем жить (при этом он развел руками и придал лицу смиренное выражение). И русская наука брошена в бельгийскую мошну! Ар-крайты! Разбойники! Я вам говорил! Предупреждал!

Вы не слушали! Легкомыслие! Помилуйте, я ждал вас вчера, а вы заявили только сегодня, какая-нибудь дребедень важней оказалась!..

Иван Терентьевич молчал. Он чувствовал себя очень одиноким и несчастным. Ну да. Пока он воображал о себе невесту что, его придавило, расплющило, как тяжелым прессом. Его обокрали, ограбили. Они так обнаглели, что уж и не скрывают. Думают, что он совершенно безгласный раб, что с ним можно вытворять все что угодно. Нет, он им покажет!.. Он не будет отдавать хозяину свои мысли, как холуй...

Его так передернуло, что профессор вдруг оборвал свои ругательные речи, взглянул на него, подошел, взял за бока и, глядя снизу вверх, заговорил уже совсем другим тоном:

— Ну-ну, надо самому попасться, чтобы понять. Но Россия — не колония, нет! Ничего, ничего, — говорил он, — мы поборемся. Успокойтесь, не вечно им царствовать, придет время, придет!.. — воскликнул он. — Ладно, — прибавил он, — вы же пьяница, уж я сегодня, так и быть, дам вам, тут у жены есть, приходил к дочери какой-то павлин с пробором...

И он умчался в столовую, присел на корточки перед буфетом и заглянул в нижнее отделение. В своем желтом коломьянковом пиджачке, на согнутых коленках, он напоминал диковинного хлопотливого гнома.

Иван Терентьевич стоял у окна, опустив журнал, но не выпуская его из рук. Судом ничего не докажешь. Дело проиграно. Но это последний проигрыш. Он, конечно, уйдет с завода. При этом он глядел на крышу противоположного дома, и она вдруг почему-то показалась ему иностранной. «Голландская крыша...» И представилось ему, что весь его милый родной город покрыт иностранной крышей. Он сейчас завидовал своим однокурсникам, разъехавшимся по всей стране, работающим на Урале, в Донецком бассейне, в Москве.

— Вот выпейте, — сказал профессор, входя в кабинет с бутылкой в руках. — Только не напивайтесь.

Иван Терентьевич взглянул на бутылку и заговорил, вслух продолжая свои мысли:

— Сименс и Гальске, Эсдерс и Схефальс, Штоль и Шмидт, Жорж Борман, насосы — Вортингтон и К°.

Костюмы у нас — английские, булочки — немецкие, сам царь у нас в Петербурге — немец...

Держа в одной руке бутылку, а в другой — стакан, профессор очень внимательно и серьезно выслушал его и повторил:

— Ну-ну, выпейте. — Он наполнил стакан вином и протянул Ивану Терентьевичу.

Иван Терентьевич выпил и сразу почувствовал прилив бодрости. «Ого, — подумал он, — отличнейший коньяк».

— И коньяк-то французский, — промолвил он.

— Ничего, ничего, — пробормотал профессор, закупоривая бутылку пробкой и ставя на письменный стол. — Больше не дам. Будут у нас и свой коньяк и свои машины.

Он опустился в обитое черной потрескавшейся кожей широкое кресло, расположился в нем поудобней и, притянув к себе Ивана Терентьевича, заговорил таинственно:

— Да, да, очень трудно, а тут — столица, тут — страшной всего, тут все видней. Все — отсюда, по всей стране. — Помолчав, он продолжал: — Нижний Тагил, высшая замечательная марка железа «Старый соболю», паровоз Ефима Черепанова. Поди, и не слышали о Черепанове? Механик, замечательный русский рабочий человек, проехал на своем паровозе по нашей Пароходной улице; я видел свидетелей, древних стариков, я же сам оттуда, тагильский инженер, я знаю. Кто я? Старый русский мастеровой человек. А златоустовские оружейники? — продолжал он, и худенькая его фигурка подавалась вперед, он ухватил Ивана Терентьевича за рукав. — Иван Бушуев, непревзойденный мастер, клинки Алексеева, Бояршинова, гравировка на металле искуснейшая, изумительнейшая, нигде в мире такой не увидишь! А золото — кто открыл золото в России? Ерофей Марков, простой русский человек. А гороблагodatскую руду? Степан Чумпин, вогул. Везде — наш мастеровой человек, куда ни сунешься, — а кто крикнет об этом так, чтобы все услышали? И Петербург они строили, не ваши бельгийцы! — перескочил он с Урала, но тотчас же вернулся туда обратно: — А что делают с ильменскими сокровищами! Там — все, там больше, чем все, там нигде не виданные минералы, сокровища неисчисли-

мые, клад для науки, броди по горам, ищи, рой, изучай! Кто нашел? Казак Прутов. Думаете, науке дали? — Он отпустил рукав Ивана Терентьевича, откинулся на широчайшую спинку кресла и засмеялся с хрипом и кашлем. — Нет, зачем наука? Не нужна наука. Налетели дьяволы, расхитители, шакалы, кошельки, с холуями, с экипажами. Разбойники! — воскликнул он и поднялся. Кресло тяжело скрипнуло, пошатнувшись. — Коммерсанты! Им не нужны Черепановы! Зачем? Невыгодно! Рабочему человеку в России цена — грош, ноль! Человек дешевле машины! Пусть умрет от натуги — коммерсантам неважно! Работоторговцы! — Сгоряча он налил в стакан коньяку и хлебнул. — И на кафедру лезут! Чинуши! Прохвосты! С протекциями! С министрами!..

Старик опустилсЯ в кресло.

— Тридцать четвертый год на кафедре, — заговорил он тихо. — Кто взойдет на нее? Кому вручить? Есть честные, хорошие ученые, достойные труженики, есть таланты, но — фантазия, стойкость, упрямство, независимость, бескорыстие и — любовь, любовь к родной науке, любовь... Я думал — вы. Но что я знаю? Может быть, вы и сейчас хотите в Бельгию? Может быть, ищите, где полегче? Тогда уходите. Это последний наш разговор.

Такого заключения Иван Терентьевич не ожидал. Это было страшнее всякой бури. Он проговорил срывающимся голосом:

— Я прошу... я... только у вас...

Старик поднял голову и внимательно взглянул на него своими блестящими глазками. Потом он встал, взял его за руки, притянул, оттолкнул и промолвил очень тихо:

— Да? Придете к старику? На помощь к старику?

Он отпустил руки Ивана Терентьевича и пристально глядел на него.

— Не заскучаете? Выдержите?

Он зашагал по кабинету, закинув руки за спину и чуть наклонив голову вперед, в сдержанном возбуждении. Потом снова остановился перед Иваном Терентьевичем.

— Берите славу в науке, вы — такой, ничего тут плохого нету, загребайте славу, гремите на весь мир, чтобы все знали, что такое русская наука! Живите весело, я вам скуки не желаю, я разрешаю, я сам любил,

не рыба, не монах, я много думал о вас, вы — такой, и пусть, но прежде всего наука, кафедра, тут воля, тут не уступать, не кланяться! — Старик поднял сухой палец кверху. — Завод — пожалуйста, если потянет. От этого только польза. Я сам практик, не университетский сухарь, я всюду вас устрою, я могу, меня знают. А кафедра всегда за вами. Моя кафедра — ваша. Никто не посмеет возразить. Меня слушаются! — Он гордо взглянул на Ивана Терентьевича и вновь прошелся по кабинету, заложив руки за спину.

Было нечто величественное в его крупном шаге, во всей его фигуре, в его стареньком умном лице с пронзительными, понизывающими глазками. Казалось, что он стал выше ростом. Он замер на полушаге, обернулся к Ивану Терентьевичу, испытующе посмотрел на него, словно обдумывая — можно или нельзя? — и потянулся к его уху.

Иван Терентьевич нагнулся.

— Никому не говорил, вам скажу, — зашептал старик. — Бывает, что слабею, темно в глазах... Если не смогу больше, останетесь вы... — И он, круто повернув, так бодро прошелся по кабинету, чуть ли даже не пританцовывая, что Иван Терентьевич усомнился — уж не послышался ли ему этот зловещий шепот? А профессор говорил, и голос его звенел, как у молодого: — Вы будете продолжать, да. Не повторяйте учителей, а продолжайте, будьте смелее, исправляйте, дополняйте, прибавляйте мыслей, идей, обгоняйте учителя, оставляйте далеко позади, вы сможете это, вы — талант, и воля у вас есть, не пропьете, не прогуляете науку, я верю. Верю! — повторил он и встал против Ивана Терентьевича. Наполнив стакан коньяком, он протянул его своему ученику: — Пейте! Вам можно. Что же вы не берете стакан? Берите! Пейте!

Иван Терентьевич взял стакан, отставил его и обнял своего профессора.

XI

В рабочем Питере, на Выборгской стороне, многие знали дядю Яшу. Уважение, которого ему удалось добиться среди заводских инженеров, он пытался обратить на пользу рабочим, самому нищему населению Выборг-

ской стороны: то от штрафа избавит, то на работу устроит, то найдет заработок чьей-нибудь жене или сестре. Это он устроил Васиной матери, прачке, постоянную работу у заводских инженеров и служащих.

Дядя Яша давно дружил со слесарем Котляковым, и участь его очень заботила старика. С некоторых пор Котляков стал обнаруживать излишнюю горячность и несговорчивость даже в самых пустяковых случаях. Дядя Яша понимал, что это к добру не приведет. Котлякову надо уйти с завода, где на него уже косятся.

У дяди Яши было много разных знакомцев, и он подумывал, как бы ему пристроить Котлякова к лучшей жизни. Придумав наконец кое-что, он в один из воскресных дней зашел к приятелю. Он медленно, хитро подводил беседу к интересующей его теме.

Дядя Яша говорил, а Вася, примостившись у окна, изучал подобранную им на улице розовую афишу. Он читал: «Кинотеатр «Симпатия». Вниманию публики. Полная безопасность в пожарном отношении. Все аппараты новейшей конструкции с автоматическими противопожарными затворами и коробками, абсолютно оберегающими фильм от воспламенения...».

— Разные дела в Питере разворачиваются, — говорил дядя Яша, — можно по-казенному, а можно по-частному. Вот я, к примеру, по-частному работаю на инженера Лангового, не от завода модель ему делать взялся. Так и по слесарному делу...

А Вася тем временем читал:

«Аппаратное отделение обито асбестом и железом, в фойе имеется пожарный кран. Три выхода. Картины идут одновременно с театром «Эдисон» на Невском, исключительно первым экраном...»

Дальше огромными буквами было отпечатано: «У жизни в лапах». Пониже, мелко, в скобках: «драма». Тут же было рассказано и содержание. Драма была очень жуткая, но Вася прервал чтение, потому что дядя Яша помянул о Всероссийском празднике воздухоплавания, который состоится на новом, Комендантском аэродроме, за городом.

Отец сидел молча, опершись о стол локтями и зажав щеки широкими ладонями своих неотмываемо-бурых рук. Был Котляков сегодня в праздничной чистой рубахе

с вышитым воротом, но сумрачный, невеселый. Рассказ дяди Яши о празднике воздухоплавания он слушал без всякого интереса.

А мать, чуть только рассказчик сделал в своем повествовании остановку, чтобы передохнуть и протереть очки, промолвила:

— Вот как люди живут! По воздуху летают...

Тут-то дядя Яша и повел речь о рабочих, которые нужны, чтобы состоять при этих самых аэропланах.

Котляков с трудом удерживался от желания пойти в трактир. Все разговоры дяди Яши были ни к чему. Он понимал, что старичок, конечно, хочет что-то предложить, даже ясно что: пойти поклониться еще и авиаторам, чтобы дали копейку. Но слесарь Котляков никому больше не мог кланяться и никого ни о чем не хотел просить. Вот ему уже под сорок, а толку нет, жизнь не пошла дальше холодной и грязной мастерской. Торчи в ней с утра до ночи, получай в награду вычеты да брань да голодай вместе с семьей.

— Вот стал бы Васенька образованный... — в который раз начала мать.

— Не станет, — перебил Котляков. Он поднялся, взял шапку, надел кафтан и вышел. Все в нем вскипело от бессмысленных и глупых слов жены.

Когда он вышел, дядя Яша издал языком и губами звук, выражавший всю горечь его чувств, снял очки в стальной оправе (ватка упала с переносицы на стол) и промолвил:

— Плох стал Тимофей, очень плох. Приспособился бы он к авиаторам. Там, я слышал, слесарная работа требуется. Да вот, видишь, — обиделся, ушел, не сговоришься с ним...

Дверь вдруг отворилась. Котляков вновь появился на пороге и сказал дяде Яше:

— Неправильно мы с тобой живем! Тут не миром надо, а топором. А ты — как поп какой: «О свышнем мире и спасении душ наших господу помолимся...». Эх ты, ектенья!

И он снова ушел.

Дядя Яша долго молчал. Потом, вынув вату из кармана, он оторвал малюсенький клочок, вложил под перемычку очков, надел очки и наконец промолвил укоризненно:

— Топором! Вот уж это сказал так сказал... Топором да в одиночку ничего не сделаешь.

Вася, привыкший и не к таким домашним происшествиям, нисколько не расстроился. Его интересовало совсем другое, и он спросил дядю Яшу, правда ли, что один француз летал за городом, или Петя соврал ему.

— Многие летали, — ответил дядя Яша. — И наши тоже. Уточкин есть знаменитый, и еще Ефимов, и военные — офицеры летают, говорят...

— А когда опять летать будут?

— Рассказывали, будто осенью.

Дядя Яша отвечал невнимательно, думая о своем.

— Топором рубить — ничего не добьешься, — обратился он к матери и укоризненно покачал головой. — Тут надо бы нам всем вместе, всем миром... Да как людей соберешь? Один туда тянет, другой — сюда, спорят, ругаются, а полиция с хозяевами как стукнет, так всем и конец.

Мать только вздохнула, не зная, что и ответить, а Вася соображал: «Как бы попасть на полеты? Хорошо бы сговориться с Витькой Дреминым и другими подвальными ребятами да пойти всей кучей. Тогда никакой швейцар не остановит».

— Людей надо добром собирать, — продолжал дядя Яша, — и чтобы один другого не выдавал.

Ему было приятно беседовать с этой женщиной, потому что она соглашалась решительно со всем, что он говорил. Она сидела в синей ситцевой кофте, с гребенкой в золотых волосах, синеглазая, с ямочками на щеках, добрая, благодарная дяде Яше, как благодетелю, и улыбалась. То, что муж стал сильно выпивать, не слишком тревожило ее — так уж полагалось, чтобы мужчина пил.

XII

Петербургское лето недолго радовало солнечными днями. Небо все плотней затягивалось облаками, и профессор Кондаков, садясь по утрам работать, надевал теплый халат. Однажды, когда моросил мелкий холодный дождь, старик из окна своей комнаты увидел, как высокий мужчина в потертом пальто и широкополой шляпе отворил калитку и вошел в сад. Большая светлая

борода придавала ему серьезный, солидный вид. Он крупным шагом шел по аллее, обходя лужи, в которых мокли листья. Что-то в его походке показалось старику знакомым, мелькнуло какое-то воспоминание — какое?..

С веранды слышались голоса — Евгения Львовна не пускала непрошеного посетителя. Невозможно слушать, каким тоном разговаривает она с плохо одетыми людьми! Старик отворил дверь и крикнул:

— Если ко мне, то пропусти.

Только когда гость, оставив пальто и шляпу на веранде, вошел в комнату, профессор заметил, что, против обыкновения, принимает постороннего человека в халате. Он промолвил, хмурясь:

— Простите, я по-домашнему...

— Это я должен извиниться, что так врываюсь...

Негромкий голос, отчетливо выговаривающий каждое слово, опять напомнил старику кого-то или что-то, но кого, что?..

— Лобачев, учитель, — представился гость.

— Прошу, — старик указал на стул и сам тоже сел.

Гость заговорил:

— Я решил зайти к вам, чтобы почтительнейше просить о помощи. — Он внимательно и настороженно глянул на профессора. Эти серые пристальные глаза были, бесспорно, знакомы старику. — Ваше отношение к народному образованию общеизвестно, — продолжал гость, и было ясно, что за его словами скрывается нечто совсем другое, о чем он еще не рискует сказать. — Разрешите просить вас провести небольшую беседу в начальной школе на Выборгской стороне. Меня побудила направиться к вам благодарная память студента, которого вы не оставляли своими заботами в самые тяжелые минуты жизни.

Старик воскликнул тихо:

— Володя?

Гость метнул взгляд к двери. Старик встал, выглянул — никого. Он запер дверь, обернулся к гостю и все так же тихо промолвил:

— Не беспокойтесь, вы у меня в полной безопасности. — И совсем шепотом осведомился: — Бежали?

Тот ответил:

— Я так и думал, что перед вами можно не таиться. Все мои адреса — под ударом. Я не знаю, где...

— Вы поселитесь у меня, — быстро перебил старик. Он помолчал, размышляя. — Будем считать, что вы — переписчик моих лекций, я заново отрабатываю курс.

— Благодарю вас. — Гость улыбнулся, глаза его просветлели. — Я с наслаждением буду помогать вам, если разрешите. — Он провел пальцами по своей мягкой бороде. — Пришлось отрастить. Надоела. Так и хочется сбрить.

Это был Володя Макшеев, один из бывших учеников профессора. Он уже кончил институт и работал на заводе инженером, когда его схватили и бросили в тюрьму за революционную деятельность.

Старик особенно запомнил его, как человека, который отличался не только физической храбростью, но и удивительной смелостью и ясностью мысли, превращавшей революционное дело в науку. Профессор пытался хлопотать о нем, когда его арестовали, но только поставил этим под еще большую угрозу свое положение в институте, которое и без того было тогда достаточно шатким.

— Вы все тех же убеждений? — тихо спросил старик.

— Конечно. А вы по-прежнему надеетесь только на Государственную думу?

Старик нахмурился и ничего не ответил. Он, пропагандист точных наук, в своих политических взглядах не был точен. Он сказал, меняя тему разговора:

— Вам надо отдохнуть, я сейчас распоряжусь...

Евгения Львовна ничего не посмела возразить, когда он сообщил ей, что нанял переписчиком учителя Лобачева и поселяет его у себя на даче. В последнее время она вообще не рисковала спорить с мужем: он стал слишком упрям, и только уступки помогали удержать его от резкостей. Евгения Львовна присмирела, но чувствовала себя очень несчастной.

Макшеев поселился на верхнем этаже дачи, где была только одна комната с косым потолком. Больше месяца прошло с тех пор, как он бежал из дальней ссылки. Приобретя чистый паспорт, он приехал в Петербург к сестре, которая учительствовала в начальной школе на Выборгской стороне. Сотни шпиков шныряли по рабочим районам, полиция хватала всякого, казавшегося

подозрительным человека. У сестры было тоже небезопасно, и Макшеев понял, что необходимо скрыться пока в каком-нибудь совершенно неожиданном месте, чтобы осмотреться и сообразить, как быть дальше.

Естественно, вспомнил он о профессоре Кондакове, который некогда очень благоволил к нему и даже хлопотал о нем после ареста. Сестра выяснила, где находится сейчас профессор, и Макшеев отправился к нему. На всякий случай он выдумал как предлог просьбу провести занятие с учениками начальной школы. Он не сомневался в честности, доброжелательности профессора, но старик предупредил его:

— Откровенничать можно только со мной. Только со мной, — повторил он строго.

И гость понял, что профессор не доверяет своей семье.

Старик нашел в Макшееве давно желанного собеседника. Но откровенные разговоры велись только на прогулках или в верхней комнате, где никто не мог подслушать. В одном из первых разговоров старик упомянул о случае с Ланговым.

— С Иваном Ланговым? — спросил Макшеев. — Тем самым вашим учеником? Он одного выпуска со мной.

— Тем самым, — отвечал профессор. — Не забыли его? Помните?

— Помню, конечно. Значит, он не сдался перед заводчиком? Как все это произошло?

Старик стал рассказывать подробнее. Он не желал признать, что, в сущности, советуется с человеком намного моложе его, но, конечно, он советовался. Похаживая под косым потолком мансарды, он говорил:

— Ланговой ушел с завода, но у него в руках осталось нужное заводчику усовершенствование, — в этом его надежда отстоять свои права. Заводчик вынужден будет уступить, чтобы получить чертежи усовершенствованного станка.

— Нет, — возразил Макшеев. — Заводчик не уступит. Лангового заставят отдать и усовершенствование.

— Заставят? — Старик нахмурился. — Если вернут авторство, то тогда другое дело, а в противном случае он не отдаст, и все тут.

— Не выпустят из рук, — промолвил Макшеев.

— Да как же? Силком, что ли?

— А хоть бы и силком.

— Так что вы думаете — полиция?

— А хоть бы и полиция. Было бы желание, а средства у них найдутся. Их власть. Это надо иметь в виду в борьбе. Не следует питать никаких иллюзий.

Старик помолчал, по-прежнему похаживая по комнате, только шаг его стал медленнее. Потом он вновь заговорил:

— Я со своей стороны послал письмо заводчику, официально засвидетельствовал авторство Лангового. Я послал письма в тот бельгийский журнал и еще в два журнала — английский и американский. Не одни же Аркрайты на свете, есть на Западе и честные ученые.

Макшеев покачал головой:

— Заводчик не посчитается ни с ними, ни с вами. Такие хоть Льва Толстого за бороду по грязи протаскают, если дело касается денег, наживы.

— Вы говорите чудовищные вещи.

— Сама жизнь — чудовищная.

Профессор остановился перед Макшеевым — худенький, старенький, но с молодыми, блестящими глазами:

— Но если так, то как же работать русскому ученому, я вас спрашиваю, господа? Помилуйте, и не таких, как Ланговой, обкрадывают, а самых осмотрительных! Где же закон?

— В этом и есть закон, — ответил Макшеев спокойно, даже несколько холодно. Он отчетливо произносил каждое слово, и старику нравилось в нем отсутствие ученической покорной почтительности. — Это система, а не отдельная, частная несправедливость по отношению в данном случае к Ланговому.

— Вы хотите сказать, что в России — разбой среди бела дня?

— Да, разбой. Ведь вы-то это понимаете?

— Значит, по-вашему, какой выход?

— Бороться с этим строем, — отозвался Макшеев так уверенно, словно речь шла о самом простом деле. — Бороться и свергнуть его. Вопрос чести и достоинства русской науки тоже решается в революции — и никак

иначе, уверяю вас. Простите, профессор, но как вам ни трудно, а все же вы сыты и у вас кафедра, работа; а что сказать о рабочих, о крестьянах? Вся система жизни устроена так, чтобы душить народ, в самом зачатке уничтожать тысячи ученых, инженеров... А та наука, которая есть, отдана на полный произвол нынешним Аркрайтам. Ведь их прародитель, их бог — Ричард Аркрайт, величайший вор чужих изобретений и самый низкий субъект.

Старик, так часто поминавший Аркрайта, обрадовался этому совпадению в мыслях. Он удовлетворенно кивнул головой:

— Да, да, вы очень точно сказали, именно так, именно величайший вор.

— Это не мои слова, — возразил Макшеев, — это сказал Карл Маркс в «Капитале».

Старик помолчал. Потом спросил:

— Вы только так, не всерьез, предложили мне провести занятия в рабочей школе?

— Грех был бы беспокоить вас, — отозвался Макшеев.

Старик вдруг рассердился:

— Что грех? Почему грех? Извольте, милостивый государь, за меня не решать! Помилуйте, кто это вам позволил?

Макшеев понимал, что старик хочет взять хоть некоторый реванш за то, что он, молодой человек, бывший ученик, вроде как поучал его. Он ответил почти нетельно:

— Моя сестра — учительница, и я обратился к вам с этой просьбой, потому...

Старик перебил:

— Ваша сестра преподает математику?

— Всего лишь арифметику.

— Не принижайте предмет! — строго возразил профессор. — Помилуйте, что это за «всего лишь»? Ньютон и алгебру называл «общей арифметикой». — Он весело взглянул на Макшеева. — «Без сея книги ни один философ, ни дохтур не может быти». Вот как и у нас на Руси полагали об арифметике в «Цифирной счетной мудрости».

В те времена, когда профессора Кондакова хотели за неблагонадежные мысли лишить кафедры и уволить из института, на его квартире был произведен обыск. Часы, когда жандармский ротмистр со штатским филером перетряхивали книги и бумаги профессора, а на кухне и в прихожей, никого не выпуская, сторожили городовые, навсегда запомнились Евгении Львовне как величайшая угроза. Угрожало крушение жизни, лишение звания, денег и положения в обществе. Старик чуть не довел тогда семью до гибели своими речами, ходатайствами, протестами, подписями на каких-то воззваниях. И Евгения Львовна решила, что, во избежание катастрофы, ей необходимо взять власть в доме. Мужу нельзя больше доверять, и она, именно она призвана спасти семью. С этим убеждением она и жила последние годы, поучала старика, держала его под строгим контролем. Она искренне полагала, что спасает его, что она, как прежде, его помощница и друг. Она мучила его, не подозревая, что мучит.

Но за последнее время муж снова взбунтовался, вышел из повиновения. Его поведение опять угрожало благополучию семьи. Это стало особенно ясно с того дня, когда он появился на выставке с грязным оборвышем. После этого с каждым днем все резче проявлялось в нем пренебрежение ко всему кругу ее друзей и знакомых, он позволял себе бестактные выходы, которые уже нельзя было назвать просто чудачеством.

Евгении Львовне даже нравилось, когда его начали делать героем так называемых «профессорских анекдотов», в которых рассказывалось, как один профессор спутал себя с тростью, положив ее в кресло, а сам став в угол прихожей, или как другой профессор, встретив семейную пару, поцеловал руку супругу и крепко пожал жене. Это показывало популярность имени, в этом было нечто почтенное, потому что крупному ученому полагается быть рассеянным. «Оригинал», — говорили о нем, и это отличало его среди безликой массы. О профессоре Кондакове выдумывали, что он при гостях, забывшись, мешал ложкой не в стакане, а в сахарнице или брал сыр с тарелки соседа, и это только подтверждало его

ученую репутацию и даже отчасти оправдывало его действительно компрометирующие слова и поступки.

Но явившиеся у него в последние годы черты чудачества стали пропадать, он словно помолодел, возвращая себе прежнюю резкость и решительность, с ним невозможно было сладить. Вот взял себе в переписчики этого непонятного лохматого верзилу, да еще поселил его у себя. Если полиция опять обратит на него внимание, то уже ничто не спасет. Евгения Львовна понимала, что теперь еще опасней, чем прежде.

Она жила в постоянной тревоге, в постоянных размышлениях о том, как обуздать мужа, ему же на пользу, как она полагала. Какая могла бы быть у него почтенная, уважаемая старость! Он мог бы стать академиком!.. А он — что он делает! Что говорит! Как ведет себя!.. Надо в конце концов ставить точки над «i», — если он становится неумолимым, то что делать? Старческая слабость не позор.

Придаться к переписчику, которого нанял старик, было невозможно — тот держался скромно, с уважением относился к хозяйке, никакого беспокойства в дом не вносил, видимо, хорошо помогал профессору, который стал при нем менее раздражителен, — но все же это был не такой, решительно не такой человек, который мог бы понравиться мадам Кондаковой. Неизвестно, о чем они беседуют наедине. И борода какая-то неприличная, подозрительная.

Евгения Львовна попыталась было заикнуться о студенте из хорошей семьи, которого рекомендовал Белкин и который переписывал бы лекции получше этого Лобачева, но старик, не дослушав, оборвал ее:

— Не путайся со своими куриными мозгами в мои дела!

«Куриные мозги»... И это было сказано при горничной! Евгения Львовна смолчала, но после этого случая решила действовать по-своему. Нельзя было терпеть, что бородатый секретарь вдруг оказывается мужу дороже, чем жена и дочь.

Однажды утром, когда старик у себя в комнате диктовал Макшееву, раздался стук в дверь, и на пороге появилась Евгения Львовна. За ней следовал массивный мужчина в кофейного цвета костюме, очень представительный, с брюшком. Полное лицо его выражало

ласковую снисходительность к людям. Он нес свое сытое тело с превеликим почтением и, казалось, был забронирован от всех возможных неожиданностей сознанием своих высоких достоинств и заслуг перед человечеством.

Это был модный петербургский врач, известный своей связью со знаменитой писательницей. В него из ревности публично стрелял видный журналист, и, хотя доктор остался невредим (журналист промахнулся), это чрезвычайное происшествие упрочило его славу и сильно повысило гонорар.

— Поль, — сказала Евгения Львовна своим низким голосом, немножко в нос, — доктор Магдебург был так любезен, что...

— Следовало предупредить меня, — перебил старик, вставая и запахивая свой коричневый халат с рыжими отворотами. — Я не одет.

— Но Вольфрам Эрнестович — доктор, перед ним раздеваются даже женщины, — проговорила Евгения Львовна с некоторой игривостью, но в то же время испуганно глядя на мужа.

Тот резко оборвал:

— Я не женщина.

Доктор начал ласково:

— Я откликнулся на просьбу милейшей Евгении Львовны...

— Вы, если не ошибаюсь, медик? — перебил профессор. — Вы специалист по психическим заболеваниям, и это, насколько я могу судить, врачебный визит?

Евгения Львовна тихо пошла к двери, но старик удержал ее:

— Нет, останься. Ты это затеяла, теперь принимай ответственность. Прошу остаться, — обратился он и к Макшееву, который тоже двинулся было к двери. — Мой секретарь, — представил он его, — педагог Лобачев.

Подавая руку Макшееву, доктор скользнул взглядом по его лицу, особенно внимательно всмотревшись в бороду, затем повернулся к профессору.

— О, ни о чем серьезном речь не идет, — заметил он. — Если есть некоторое нервное утомление...

— Простите, — вновь перебил профессор, — я люблю точность. Я привык знакомиться с выходящей

литературой, и мне известна ваша специальность. Я полагаю, что имею право отказаться от вашей врачебной помощи. Я читал ваши статьи и смею указать вам, что не научно цитировать из трудов Крафт-Эбинга только пикантные места для публики из кабаре. Моя жена напрасно обеспокоила вас, и я приношу вам за нее извинения. Я не страдаю умственным расстройством...

— Поль! — воскликнула Евгения Львовна, не выдержав. — Но кто говорит об этом? Ты устаешь, ты нервничаешь, жена имеет право беспокоиться о здоровье мужа. Ты стар...

— Возраст есть возраст, — согласился старик, — и нервы — не веревки, это верно. Но ты поставила человека, — он указал на Магдебурга, — в неудобное положение, я отказываюсь быть его пациентом. А теперь простите, — обратился он к доктору, — но я занят, готовлю лекции.

— О, вы не первый год читаете свой курс! — снисходительно заметил доктор. Он уже разучился говорить не снисходительно, а все неприятные слова профессора он предпочел отнести на счет бесспорного ослабления его умственных способностей. «Надо спасти студентов от этого рамоли», — подумал доктор. Он даже в мыслях, перед самим собой, все свои намерения объяснял только благородными побуждениями. — Вы напрасно утомляете себя, — продолжал он. — Или вам приходится теперь уже возобновлять лекции в памяти?

Это был искусный, по его мнению, вопрос.

— Нет, моя память не ослабела, — тотчас же ответил профессор. — Но у вас превратные понятия о научной работе. Мысль человека не стоит на месте, новые открытия вносят подчас существеннейшие изменения и поправки в то, что еще недавно считалось истиной. Необходимо двигать науку вперед, обновляя свои суждения. Рекомендую вам эту методику и еще раз прошу извинить мою жену за беспокойство.

Когда доктор и Евгения Львовна ушли, Макшеев после долгого молчания произнес:

— Я вам очень благодарен за приют. За это время я нашел товарища, у которого могу поселиться.

Старик ничего не ответил. Он сидел опустив голову, поникший, подавленный тем, что он вынужден рас-

статься с человеком, к которому успел привязаться. Все было ясно без лишних слов. Макшееву стало жалко его. Он промолвил:

— Но разрешите моей сестре зайти к вам? Может быть...

— Конечно! — встрепнулся профессор. — Занятия я проведу. И прошу вас вообще держать меня в курсе ваших дел, если это возможно. — Он прямо взглянул на Макшеева. — Я отлично понимаю, — прибавил он, — что вам стало небезопасно жить у меня.

Доктор уехал, оставив Евгению Львовну в тревоге. Он подтвердил ее самые худшие опасения насчет мужа, и теперь она совершенно не знала, что предпринять. Ее напугало категорическое заявление доктора, что профессор и ради своего здоровья, и ради благополучия семьи, и ради блага молодежи должен освободить кафедру в институте. Этого она никак не желала. Она привыкла к лекциям мужа, к его науке, как к чему-то нерушимому, и слова доктора повергли ее в неожиданное смятение.

Нет, не надо было вмешиваться, не следовало вызывать Магдебурга. Евгения Львовна чувствовала себя виноватой. Это было необычайное, не желающее утомиться чувство. Чтобы успокоить себя, она уселась на веранде с французским журналом, в котором была напечатана статья Белкина под интересным названием: «Жди каждый день какой-нибудь беды от людей». Редакция, рекомендуя парижанам русского мыслителя, сообщала, что господин Белкин является автором научного труда о влиянии лупанариев на александрийскую философию. Статья действительно утешила Евгению Львовну. Белкин утверждал, что один человек отделен от другого «пропастью непознаваемости», что истина доступна только избранным натурам, умеющим видеть невидимое и слышать неслышимое, а беда — это низменная общепринятая мораль. Истина же вот какова: то, что именуется обычно подлостью, на самом деле является подвигом.

XIV

Иван Терентьевич Ланговой написал свое заявление об уходе со службы в дерзком тоне: «Вы имеете дело с независимым русским инженером, а не с лакеем». В тот же день ему позвонил Лызлов и в самых любезных

выражениях заверил, что решительно никто не посягает на его независимость. Началась путаница дипломатических переговоров, но Иван Терентьевич оборвал эту канитель отъездом из Петербурга.

Он закончил свое усовершенствование. До первой лекции в институте, где он был уже утвержден в звании преподавателя, оставалось достаточно времени, и он отправился к одному из своих институтских товарищей, Лихницкому, который работал на уральском заводе. Ланговой в институте покровительствовал этому полнотелому белокурому добряку, помогал в занятиях,правлял его проекты, и тот, приспосабливаясь к благодарности, выхвалял Ивана Терентьевича в глаза и за глаза и, хотя они были ровесниками, держался с ним как младший со старшим.

С Урала Лихницкий писал Ланговому длинные, прямо любовные письма, посвящая его во все подробности своей жизни. Он женился на дочери управителя завода, устроился на новом месте, видимо, хорошо и, повествуя о своем семейном счастье, звал Ивана Терентьевича к себе в гости хоть на все лето. Теперь Ланговой решил отозваться на его приглашения — явилась мысль наладить изготовление станка на заводе, где Лихницкий ведал всей техникой, да к тому же хотелось отдохнуть от Петербурга у старого преданного товарища.

Иван Терентьевич еще студентом ездил на Урал, и для него не было новостью, что уральская промышленность побеждена новоявленным Югом. Он понимал, что на Юге руда и отличный уголь лежат рядом, там не надо тратиться ни на древесный уголь, ни на привоз угля издалека, и поэтому донецкий металл дешевле уральского. Дон изгонял уральский товар с рынков еще и потому, что давал лучшее качество металла — на Юге применялись новейшие методы обработки, а Урал оставался при старинной технике.

Иван Терентьевич знал, что инженеры, мечтавшие возродить былую славу Урала, встречали непреодолимые препятствия — уральское сырье приносило заводчикам такие большие прибыли, что хозяева не давали денег не только на технические усовершенствования, но даже на новые разведывательные работы.

В беседах с Иваном Терентьевичем профессор Кондаков не раз сокрушался о падении родного Урала.

— Что говорят тамошние Расторгуевы да заграничные сандонатские Демидовы? — возмущался старик. — Они говорят, изволите ли видеть: «На наш век руды хватит». Грабят то, что есть, разрабатывают только самое богатое, а остальное — в отвалы, «режут» рудники, и хоть трава не расти. Разорители! «На наш век хватит, на наши роскошества, автомобили, дворцы...» А что на Юге, я вас спрашиваю, господа? Кто заграбастал южные земли? Французы, англичане, бельгийцы! Их рудники, их шахты, их заводы! Акционерные общества, тресты, банки... Варяги, милостивый государь, лезут на нас, а иуды открывают ворота: «Придите и владейте нами». Помните, — говаривал старик Ивану Терентьевичу, — сейчас труднейшее время, варяги прут на Русь не с оружием, а с деньгой, а царь с министром у них в холуях. Но я вам скажу: Россия — не колония, нет! Никогда народ не позволит...

Трагедия Урала была хорошо известна Ивану Терентьевичу, но все же он двинулся к древним Рифейским горам с надеждой, что авось при помощи верного товарища он найдет там возможность изготавливать новые станки. Он будет командовать, а Лихницкий на Урале будет слушаться его указаний, — ведь и Рожков тоже строил свою турбину на Урале, служа в Петербурге.

Завод, на котором работал Лихницкий, стоял в глубокой котловине меж дико вздыбившихся, поросших елью и пихтой гор, иссеченных бурями, временем и людьми. Черные скалы громоздились над тихим, как безоблачное небо, прудом, лезли кверху в буйном озорстве, топыря острые плечи. В грозы мирный пруд приобретал зловещий свинцовый блеск, волны вздымались на нем, молнии в бушующих вихрях секли взъерошенную, в складках и провалах, землю, потоки ливня низвергались с лохматых небес, а гром так раскатывался в горах, что, казалось, великаны играли там в чехарду или, резвясь, швырялись тяжкими глыбами.

Каменный двухэтажный дом управителя завода, поставленный над котловиной, охраняемый от бурь выступами скал, непоколебимый и неприступный, как острог, господствовал над заводской громадой, попирая даже двенадцатиметровую домну, вышка которой не достига-

ла высоты, где он стоял. Дома и домишки инженеров и служащих образовывали неровную, извилистую улочку, лукавую, как речка, протекавшая внизу, обильная подводными камнями и грозная скалистыми берегами, о которые в судоходное весеннее время разбивались подчас целые караваны барок. Лихницкий со своей женой жил по соседству с тестем в добротной сколоченной бревенчатой постройке. Окна ее днем занавешены были кисеей, по вечерам закрывались шторами, а ночью задвигались ставнями, словно обитатели этого жилища не желали и знать, что творится на свете, убежав в блаженство уединенной жизни, не тревожимой людскими горестями и безумствами природы.

Иван Терентьевич, усталый от ухабов и рытвин многоверстного пути, принимал поцелуи и заботы Лихницкого как должное. После бани и краткого отдыха он был усажен за широкий стол, уставленный рыбными, мясными, овощными и прочими закусками, среди которых цвели разнообразнейшие настойки и наливки в затейливых графинчиках с узорами и надписями. Жена Лихницкого Маша, или, как ее называл муж, Мурик, оказалась высоченной женщиной. Она была на голову выше мужа, эта темноволосая уральская дева с большим румяным лицом, но в движениях ее могучего тела сказывалось неожиданное изящество, она ступала мягко и неслышно, а голос ее звучал нежно и певуче. Подливая дорогому гостю вина, она приговаривала ласково:

— Кушайте, пожалуйста, мы с Ильешей живем — слава богу, все есть.

Ланговой не торопился с разговором о деле, надо сначала приглядеться и к заводу и к людям, а Лихницкий, чем больше пил, тем восторженней изъяснялся в любви к старому институтскому товарищу. Вспоминая студенческие пирушки, Лихницкий затянул «Не осенний мелкий дождичек». Ланговой отметил, что он совершенно не упоминает о своей работе на заводе и почти совсем не расспрашивает о последних технических новостях. Станок, о котором рассказал ему Иван Терентьевич, заинтересовал его, видимо, только потому, что был изобретен его обожаемым другом.

— Да, большому кораблю... — пробормотал Лихницкий с привычным почтением к Ивану Терентьевичу. На минуту он замолк, хмуря чистенький лоб, и некото-

рое беспокойство выразилось на его толстом лице. Но тотчас же морщинки разгладились, и он заявил успокоенно: — Каждый живет по-своему, по склонности. Я живу хорошо. Я живу хорошо, — повторил он, как будто убеждал в правоте своих слов не столько собеседника, сколько самого себя. — Мне ничего больше не нужно. Ничего.

Окончательно захмелев, он склонил голову на скатерть. Лысинка просвечивала на его темени сквозь редящие русые волосы.

— Упился, голубчик, — промолвила Мурик и, обняв мужа за плечи, увела его. Вернувшись, она продолжала занимать гостя так, словно ничего особенного не случилось. Она, видимо, привыкла к тому, что ее голубчик упивался, и для нее было обычным делом уводить его, как ребенка. — Завтра пойдем к папе, — обратилась она к Ивану Терентьевичу, наполняя бокал. — Вы понравитесь папе.

Она чокнулась с ним и выпила. Хотя весь вечер в выпивке она не отставала от мужчин, но была трезва, вино не брало ее.

«Ну и баба», — подумал Ланговой с некоторым даже уважением.

— Не спился бы Илья, — сказал он.

— Да разве же он много пьет? — удивилась Мурик. — Ему же хочется, а у нас, слава богу, все есть.

В ее мощном теле жила невинная, жалостливая и неразумная душа.

Наутро Иван Терентьевич еле настоял на том, чтобы Лихницкий показал ему завод. Тот обнаружил неожиданное упрямство, отговаривал Лангового, приводил тысячи доводов против, ссылаясь даже на запрет хозяина, но Ланговой был неумолим.

— Так для чего же ты звал меня? — рассердился наконец Иван Терентьевич. — Не мог догадаться, что я захочу посмотреть завод? Ты кто — инженер или нет? Не хочешь — так я уеду.

— Да я только, чтоб ты отдохнул, — проговорил Лихницкий. — Зачем тебе?..

Наивные толстые губы его выпятились, как у обиженного ребенка, а добрые голубые глаза выражали уже не беспокойство, а испуг, даже отвращение. С чрезвычайной неохотой повел он приятеля к заводу. Они

спустились в котловину, в непрсыхающее грязное месиво, в котором вязли ноги. Стены фабрик (так назывались цехи завода), выщербленные, в круглых выемках, казалось, еле держались. Лихницкий вымолвил, морщась и пожимая толстыми плечами:

— До сих пор называют по старинке — огненная работа, кричная фабрика, а не то чтоб железодельная. Старина... Что тебе тут интересного? Не Бельгия.

На кричной фабрике многопудовый молот заглушал своим неимоверным грохотом все звуки, и здание, наиболее крепкое из всех фабрик, сотрясало от его ударов. Молот «обжимал» крицу, летели брызги «сока». Когда молот замолк, слух не сразу воспринял шум человеческих голосов, лязг и треск. Мастер, согбенный, с реденькой бородкой, ухватил клещами поспевший на дне пылающего горна новый ком железа, подмастерье и работник помогли, и все трое потащили раскаленную тяжесть к чугунной наковальне. Молот вновь загрохотал, расплющивая железный кусок, а мастер отбежал в угол, поднял ведро с водой и, запрокинув голову, долго и жадно пил. Закопченная, прожженная во многих местах рубаха стояла на нем торчком, как деревянная, от соленого пота. Он вылебал сколько мог воды и дрожащими руками отдал ведро работнику в такой же прожженной рубахе. Тот опорожнил ведро до дна, поставил наземь и, мельком глянув на незнакомого барина, пришедшего с известным ему Лихницким, снова подбежал к горну. Белки глаз сверкали на совершенно черном лице рабочего. А лицо было тонко выточенное, с поджатыми губами, прямым носом, гордое, строгое. Глаза рабочего ожгли Лангового.

«Ведь он же человек, как и я», — подумал Ланговой и представил себе, что это он, Иван Терентьевич Ланговой, целыми днями возится у жаркого горна, истекая соленым потом. Знакомое по петербургским заводам мучительное чувство овладело им при этом зрелище непосильного человеку труда, но сейчас, после разрыва с бельгийской фирмой, оно было острее и язвительней, чем обычно. Содрогнувшись, Ланговой повернулся и пошел прочь с фабрики.

Лихницкий, полнотелый, рыхлый, отдирая от тела взмокшую малиновую рубаху, говорил:

— Как хочешь, а больше я тебе ничего не покажу. Чего тут смотреть? Нечего смотреть. Приказ хозяина — чтобы был какой ни на есть товар без трат на технику. Как в крепостные времена живем. А что я могу? Ничего не могу.

Он бычился, выставив лоб, словно хотел забодать Лангового, и не подымал глаз, обиженно упершись взглядом в запачканные носки своих щегольских сапог.

— Покажи готовый товар, — сказал Ланговой.

Лихницкий ушел и вернулся с листом железа, уже прошедшего и катальную фабрику. Ланговой сгибал и разгибал лист — железо было чистое, беспримесное. Это была великолепная выделка. «Могучий Урал», — с уважением подумал Ланговой. Да, великое искусство живет и растет вопреки всему в русском рабочем человеке.

Иван Терентьевич спросил:

— Как фамилия мастера?

— Елохов, — ответил Лихницкий. — С двумя своими сынами работает, передает им старинную науку... Детишек у обоих сынов куча.

Вечером они пили в доме управителя. Тесть Лихницкого был огромный мужчина, остриженный по-кержацки, но не старовер. Он выбился на свой пост из техников, был почти всегда пьян и не сдерживал своей руки, когда она хотела ударить человека. Бил он главным образом так называемых «именинников», то есть заводских подхалимов и подлипал. Выслушает он, бывало, искусную ябеду или слезливую просьбу, сопровождаемую благочестивыми вздыханиями, размахнется да так влепит, что «именинник» летит наземь, хватая руками воздух. Но не проходило и часа, как «именинник» получал удовлетворение просьбы или награду за свой донос, которому уже дан был ход. Некоторые «именинники» глохли на левое ухо от затрещин — и все-таки от выгоды не отказывались. И жены их соглашались, что лучше с одним ухом, да зато при деньгах, чем с двумя, да в нищете.

«Противоречивый субъект», — говорил об управителе конторщик, получивший за свою образованность и пристрастие к книгам прозвище Мозга. Конторщик ходил в «близнецах», то есть в близких к начальству людях, но жена считала его пустобрехом, поскольку он не

извлекал никаких дополнительных выгод из своего положения. Конторщик любил пофилософствовать, углубляться в психику людей и утверждал, что управитель страдает по жене, которую ревновал и по ябеде какого-то «именинника» избил так, что она умерла.

У жены Лихницкого оказалась сестра Ляля, такая же большая, как и Мурик. Она оказывала особое внимание Ивану Терентьевичу, чему отец ее отнюдь не препятствовал. Но Ланговому не Ляля была нужна.

Решительно приступив к делу, он прямо осведомился, есть ли на заводе возможность приспособить хотя бы одну мастерскую для строительства станков, и предложил свои совершенно бесплатные услуги по части проектирования не только этой мастерской, но и всех «фабрик» завода. Он утверждал, что элементарная гуманность возмущается при виде таких работ, как на заводе, что, наконец, просто нерасчетливо так губить людей, что техника призвана спасти рабочего человека и по-настоящему использовать умение, мастерство, изобретательность русского мастерового. Он соблазнял управителя тем, что завод, улучшив технику, сможет победить в конкуренции с Югом, обещал выгоду и славу, если Лихницкому дадут возможность работать по-настоящему.

— А я уж вникну во все и приезжать буду, и ни копейки мне не нужно, все буду делать бесплатно, — говорил Иван Терентьевич. — Моя доля — только в эксплуатации станка.

Он шел в атаку, пренебрегая всем, что знал о нравах и обычаях Урала, он шел напролом.

Управитель молча слушал его (не в его привычке было баловать собеседников многоречивостью) и загадочно усмехался. Когда Иван Терентьевич замолчал, он, ни слова не сказав, налил ему полный стакан водки и поставил перед ним, произведя при этом большим и указательным пальцами правой руки очень выразительное движение, вполне ясно изображающее опрокидывание водки в горло.

Ланговой решительным жестом отставил стакан с водкой.

— Я хочу получить от вас точный ответ, — резко сказал он.

Тут поднялся Лихницкий, уже пьяный, и воспарил за облака:

— Мы разбросаны по всему свету, — заговорил он трагическим голосом, — мы каждый сам по себе, но в душах наших жива святая искра! Ваня, я перед тобой пигмей и лилипут, червяк и букашка, в твоей душе горит святой огонь, зажигающий сердца. Но искра есть и у меня, и когда призывает трубный глас святой науки, то все мы чувствуем слезы озарения. До гроба не забудем студенческих восторгов, и да исполнятся наши юношеские мечты! Господа, да здравствует солнце и да скроется тьма! За солнце, господа!

И он залпом выпил стакан водки, предложенный управителем Ивану Терентьевичу.

Ланговой, в бешенстве шевеля своим черными усами, еле стерпел эту пьяную речь. Чуть только Лихницкий, опрокинутый злым зельем, повалился на стул, он снова обратился к управителю:

— Я прошу вас ответить мне.

Управитель подошел к стоявшему в углу роялю и взял невообразимый аккорд, этак нот на семнадцать. Мурик поняла намек, села за рояль, и «Лунная соната» превратилась под ее железными пальцами в грохот молота на кричной фабрике.

Ответ был достаточно ясен. «Безнадежно», — подумал Иван Терентьевич. Возбуждение прошло, и он, насупившись, сидел, оглушаемый неимоверной музыкой великанши.

Женская рука накладывала ему на тарелку вкусные и острые яства, он оглянулся и встретился взглядом с жалеющими глазами Ляли, в которых светилась материнская нежность. Он прочел в ее глазах надежду на тихое счастье: обеспеченный, отгороженный капиталом управителя от всех тревог и невзгод, инженер Ланговой живет в крепко сколоченном доме, и нет ему дела до того, что творится на свете, куда и зачем идет наука, он живет для себя и ни для кого больше, и могучая горная дева несет его сквозь непонятную, сумасшедшую жизнь на своих жалостливых руках. Он вздрогнул и встал резко и решительно.

— Пойду прогуляюсь, — сказал он и вышел.

Был тихий вечер с желтой четвертушкой луны в небе, с мерцающими звездами, без тумана и ветров. Кто-то неподалеку запел «Выхожу один я на дорогу...», запел так хорошо, что внезапная лирическая волна словно

подняла Ивана Терентьевича. Он двинулся по улочке. «Один, один, — повторял он, — один я на дорогу...». Он шел к рабочим хибаркам. Сидевший на крылечке мастеровой указал ему, где живет мастер Елохов.

Старый мастер сидел на завалинке перед своей избой и дрожащими руками скручивал козью ножку. Иван Терентьевич отлично понимал, что значит его согбенная спина и трясущиеся руки. Это значит, что мастер скоро и потеть перестанет, что он сожжен огненной работой, а оставить ее нельзя — сынам не вытянуть всей семьи. Да и трудно старому уральскому умельцу оставить любимое дело, любимое вопреки всем тягостям. Один из сыновей, тот самый, который вслед за отцом пил воду из ведра на кричной фабрике, стоял рядом недвижно, как изваяние, и сыпал махорку на бумажку.

«Не староверы», — подумал Иван Терентьевич и, подойдя, поздоровался с Елоховым. Старик, завидев барина, поднялся и скинул шапку. Он стоял согнувшись, с шапкой в одной руке и козьей ножкой в другой. А молодой промолвил глухо:

— Здоровы будьте.

Иван Терентьевич вынул из кармана коробку столичных папирос. Молодой мельком, как у горна, глянул на инженера, глаза его сверкнули, и он отказался. Старик и руки не протянул к папиросам.

Ланговой сам не курил, но у него всегда были при себе папиросы, когда он шел к рабочим. Но тут, видно, и денег не предложишь — рабочая гордость.

От мастера сильно пахло рыбой. Он, видимо, старался есть побольше соленой рыбы, чтобы все время хотелось пить, чтоб не пропал пот.

Что-то вроде душевной судороги схватило Ивана Терентьевича, он спрятал папиросы, протянул руку молодому рабочему и проговорил:

— Я ваш друг. Новая техника даст вам новую, лучшую жизнь. Я видел, как вы работали, это смертоубийство.

Молодой Елохов промолчал, но снисходительная усмешка тронула его тонкие губы. Он пожал протянутую ему руку, все так же усмехаясь, словно зная секрет, неведомый этому барину, словно не он должен ждать помощи от инженера, а инженер — от него. Он и

слова не сказал в ответ. Было похоже, что не в первый раз он встречал таких негордых господ.

«Немая жизнь. Или лукавая?» — подумал Иван Терентьевич. Все-таки ему легче стало после этого рукопожатия.

— Прощайте, — сказал он, и это слово прозвучало неожиданно по-старинному, как просьба о прощении. — Прощайте, — повторил он.

К управителю Ланговой не вернулся и на следующий день уехал. Лихницкий не удерживал его. Трезвый и грустный, он проводил Ивана Терентьевича до почтовой станции, где тот взял лошадей, и, прощаясь, сказал:

— Не суди меня строго. Заведи свое дело, и я все брошу и приду к тебе. Мы такие, живем каждый в одиночку, но ведь помним, чувствуем, понимаем, у каждого живая душа. Какой я ни на есть, а ведь люблю Россию, люблю русскую науку. Люблю. Кликни клич — и все мы придем к тебе. Для нас Кондаков, ты, такие люди — одна надежда. Но у тебя есть сила, а я слаб. Нет у меня сил бороться.

Это был страшный приговор самому себе, и Ланговой ответил:

— Брось пить. Разве ты не знаешь, как спивается наш брат на Урале?

Через несколько дней Иван Терентьевич шел к даче профессора Кондакова. Больше чем когда-нибудь им владела мысль, что техника, наука призваны спасти людей, освободить рабочих, от смертоубийственных работ. Был серенький денек. Листья деревьев желтели, но мороженщики со своими синими сундучками, полными сливочного, шоколадного, земляничного, фисташкового блаженства, еще продолжали лето. Черномазый шарманщик, спустив на землю грустную обезьянку в красной юбочке, вертел ручку, извлекая из своего старого ящика все одну и ту же песенку Верди с одними и теми же непоправимо фальшивыми нотами.

Вдали, за забором, мелькнуло голубое платье Ниночки Кондаковой. На выпускном балу Иван Терентьевич танцевал с ней, и ему вспомнилось, какая она была тогда веселая и счастливая. Он, кажется, даже немножко влюбился в нее и шептал ей всякие глупости. Да

и угасло ли то чувство? Оно нет-нет да шевельнется и сейчас.

Сердце Ивана Терентьевича преисполнилось нежности, и он ускорил шаг. Подходя к калитке, он услышал мужские голоса, увидел Белкина, сидевшего в качалке, и до него донеслась Ниночкина жеманная фраза:

— Вы замечательно назвали его принцем загробного царства.

«Должно быть, поэта какого-нибудь», — подумал Иван Терентьевич, и волнение, с которым он приближался к девушке, сменилось раздражением.

Вот это модничанье и отталкивало его от нее. Как может она поддаваться пошлостям! Ведь она умная, хорошая девушка! Проклятый Санкт-Петербург. Что он делает с людьми!

Ниночка, оглянувшись, заметила его, и кровь бросилась ей в лицо, словно он ненароком уличил ее в чем-то постыдном. Радуюсь ему и злясь на него, сама себя не понимая, она поздоровалась, сразу отвернувшись и с напряженной улыбкой сказала Белкину еще что-то неестественное. Зачем? Назло Ивану Терентьевичу? Но ведь он ничего плохого не сделал ей. Значит, назло себе? Или чтобы окончательно прослыть современной девушкой?..

«Это хуже пьянства», — подумал Иван Терентьевич, насупившись, и прошел в дачу. «Выхожу один я на дорогу», — вспомнил он, и молодой Елохов так живо встал в его воображении, что заслонил все другие уральские впечатления. И на первые же вопросы профессора Кондакова он рассказал о «кричной фабрике» и гордом рабочем, с которым не удалось поговорить по душам.

Слушая Ивана Терентьевича, старик думал о том, что сейчас зайдет другой его ученик, тоже любимый, тоже дорогой его сердцу. Макшеев покидал профессора Кондакова. Перед отъездом он приводил в порядок весь переписанный им материал.

Послышались шаги наверху, в чердачной комнате, затем заскрипели ступеньки лестницы, раздался негромкий стук в дверь — и Макшеев вошел с папками в руках. Он сразу узнал Лангового, но, вежливо поклонившись, представился ему как учитель Лобачев. А Иван Терентьевич не узнал своего институтского товарища в этом бедно одетом бородаче.

Старик, приняв от Макшеева работу, поглядывал, хмурясь, то на одного, то на другого своего ученика. «Неужели жизнь так мрачна, что эти два человека разойдутся, не сказав друг другу ни слова? Неужели инженер может опасаться инженера?»

Но Макшеев вдруг обернулся к Ланговому и, усмехнувшись, назвал себя.

— Мы учились вместе, — добавил он.

Иван Терентьевич, что было решительно не похоже на него, растерялся от неожиданности:

— Эта борода... Вы... ты...

Он сбился, не зная, как обратиться к этому товарищу студенческих времен, с которым он столько лет не видался. Воспоминания поднялись в нем, но теперь они почему-то были связаны с уральскими впечатлениями, с Елоховым, с новыми мыслями Ивана Терентьевича. Он крепко жал руку Макшеева.

Макшеев улыбался, глядя на него. Затем проговорил:

— Давненько не видались. Да и встретились, чтобы сразу проститься. Прошу никому не говорить об этой встрече.

«Скрывается», — догадался Иван Терентьевич, разглядывая потертую одежду старого товарища.

Безмерная жалость овладела им. Ему захотелось хоть чем-нибудь помочь Макшееву.

— Может быть, нам сойтись у меня, — сказал он, выражаясь так неуклюже для того, чтобы избежать личного местоимения. — Я был бы так рад... У нас было много всякого... Если вспомнить...

Макшеев понял жалеющий взгляд Ивана Терентьевича и ответил суховато:

— К сожалению, в ближайшее время не смогу. А сейчас мне надо идти. Пора.

Когда он ушел, Иван Терентьевич осведомился у профессора:

— Ему, видно, тяжело приходится?

— На душе у него ясней, чем у нас, — отозвался старик задумчиво.

Иван Терентьевич не понял этих слов.

— Ему нужно помочь, — промолвил он, — я бы с удовольствием...

— Не в этом суть, — заметил старик. — Смешно жалеть такого человека. Он очень убежденный, очень

сильный, и у него очень ясно на душе, — повторил он, — ясней, чем у нас. Он в нашей жалости не нуждается. Вот вы сами только что рассказывали об этом уральском рабочем, о Елохове... У Макшеева, как и у рабочих, не такой путь, как у нас...

— Но наши пути скрещиваются в работе, — отозвался, насупившись, Иван Терентьевич. — Долг инженера — давать как можно больше машин, это жизненная задача — заменить человека машиной, избавить от труда, который равен пытке.

Старый профессор глянул на Ивана Терентьевича так, словно хотел что-то возразить, но сказал только:

— У него другая задача. Может быть, вам и не сговориться. А может быть, когда-нибудь и поймете друг друга.

После этой встречи жизнь опять надолго разъединила Лангового и Макшеева.

XV

Праздник воздухоплавания состоялся осенью. Толпы народа двинулись в Коломняги. Пешком шли не только подростки, но и взрослые, даже прилично одетые люди, потому что на поезд попасть было невозможно. Пассажиры висели на подножках, громоздились на буферах, взбирались на крыши вагонов. Всем хотелось побывать на празднике воздухоплавания.

Вася с товарищами отправился в путь рано утром. Витька Дремин, любивший покушать, захватил пищи больше всех. Он взял из дому хлеба, и еще у него оказалась колбаса и баранки. Он и Васе не сознался, где раздобыл эти баранки и колбасу, только, когда тот спросил, посмотрел на него своими серьезными, сумрачными глазами и отвернулся. В кармане у него обнаружился — тоже неведомо где добытый — Ник Картер. Книжечки о Нике Картере и Нате Пинкертоне, с кровавыми рисунками на обложках, только у него и водились во всем подвале. Где он их доставал, оставалось тайной. Это придавало ему особую значительность в глазах ребят. Как-то у него завелся даже пистолет. В сущности, это была только ломаная рукоятка пистолета, но

Витька Дремин умел так зажать эту рукоятку, наставляя ее на приятелей, что становилось страшно.

Он был на год старше Васи, тоже обучался в начальной школе и однажды ходил в Народный дом графини Паниной, что на углу Тамбовской и Прилуцкой, где давали театральные представления для рабочих. Его взял туда отец, токарь, на пасху. Представлением Витька не заинтересовался — господа на сцене разговаривали непонятно о чем, и все они были не русские, а шведы или голландцы, речь шла о даме, которую звали, как собаку у инженера Голубецкого, Норой. Витька терпел представление исключительно ради папаши, которому сунули бесплатные билеты. Но зато он принес домой две пустые папиросные коробки, несколько леденцов, огрызок сахара.

Костя Куклин, отправляясь в поход, рассчитывал на Витину пищу и потому ничего своего не захватил. Костя любил пожить на общественный счет. Зато он всегда все хорошо знал. Он и теперь знал, что при ветре полеты отменяются, что аэропланы стоят в сараях, называемых ангарами, что винт зовется пропеллером, что один немец полетел однажды прямо в публику, отчего все разбежались, и многое другое. Откуда были у него эти сведения — неведомо. Он и сам толком не помнил, откуда появлялись они в его белесой голове с коротеньким носом, за который приятели часто дергали, чтобы сделать его длинней. Когда его спрашивали, он моргал веками, почти лишенными ресниц, и отвечал:

— Да я слышал...

А где слышал, от кого слышал — не мог вспомнить...

Дети шли в толпе, двигавшейся по дороге, пустырями, полем. Толпу обгоняли экипажи с богатыми господами, проехали даже две черные машины, о которых Костя Куклин тотчас же сообщил, что они называются таксомоторами и их дополна наливают бензином.

Ребята издали увидели флажок, который развевался на вышке, и Костя Куклин тотчас же сообщил, что полеты состоятся, потому что ветер небольшой.

Вася спросил Костю Куклина, как он определил, что ветер для полетов подходящий, но Костя и сам не знал, как ему удалось это определить, хотя и был уверен, что не соврал.

Мальчики взобрались на забор и увидели слева те самые ангары, которые описывал им Костя Куклин.

— А раз случилось, что ангар загорелся и аэроплан сгорел, — вдруг сказал Костя.

Затем он попросил кусочек хлеба, и они перекусили, сидя на заборе и поглядывая на ангары. Но ангары оставались закрытыми. Становилось скучновато.

Спрыгнув с забора, дети побежали к станции, — как раз в это время подошел поезд, переполненный людьми, торчавшими всюду, где только можно было зацепиться. Было интересно наблюдать, как толкаются пассажиры, сходя и спрыгивая на платформу.

Витька вынул рукоятку пистолета, сделал страшное лицо и прицелился в барчонка в синем коротеньком пальтишке и матросской шапочке с надписью золотыми буквами «Ретвизан». Мальчик испугался и заревел, усатый мужчина в котелке, державший мальчика за руку, оглянулся и сердито цыкнул на Витьку.

Когда поезд, уже совершенно пустой, двинулся дальше, мальчики заметили, что люди со всех сторон бегут к аэродрому. Очевидно, произошло нечто необычайное. Дети ринулись к забору, влезли на него и увидели, что двери ангаров открыты, а перед одной из них стоит самый настоящий аэроплан и ужасно шумит пропеллером.

У человека, стоявшего возле аэроплана, сдуло ветром фуражку, и он ползком выбрался из вихря. Потом пропеллер перестал вертеться, человек подобрал фуражку, вернулся к аэроплану и стал ковыряться в нем. Тогда дети опять немножко перекусили, но от забора больше не убегали.

Постепенно из всех ангаров выкатились аэропланы, и наступил наконец торжественный момент. Человек в черной кожаной куртке сел на что-то вроде табурета или стула между крыльев аэроплана, уперся ногами в какую-то палку, пропеллер завертелся — и вдруг тяжелая машина покатила по земле, оторвалась от пожелтевшего осеннего поля, поднялась сначала чуть-чуть, почти не приметно, потом все выше и выше, и тут все поле загрометело аплодисментами.

Это было действительно невероятно. Можно было слышать сколько угодно рассказов об этом, но все рассказы ни к чему, когда видишь чудо собственными гла-

зами. Вася и Витя поглядели на Костю Куклина, ожидая объяснений, но Костя молчал, и на этот раз рот его был широко открыт не потому, что он собрался объяснять, а потому, что он был совершенно потрясен, ошарашен, ошеломлен и в этот момент давал себе нерушимую клятву во что бы то ни стало взлететь на аэроплане.

Витя Дремин, задирая голову, чтобы не потерять аэроплана из виду, свалился с забора, но тотчас же вскочил, не заметив, что из карманов его вывалились две пуговицы, зачерствелый пряник и обрывок веревки.

Вслед за первым аэропланом поднялся второй, третий. Уже четыре, пять тяжелых машин парили в воздухе. Одни подымались высоко, другие летали так низко, что, когда аэроплан со страшным шумом пролетал над головой, можно было разглядеть авиатора. А один летчик даже взмахнул рукой, приветствуя публику, которой овладело настоящее неистовство.

На краю аэродрома, справа и слева от входа, одна выше другой, тянулись скамейки. Они назывались трибунами, как объяснил товарищам Костя Куклин тогда, когда еще способен был объяснять.

Около одной из этих трибун Вася увидел того самого старика, который провел его весной на выставку новейших изобретений. Он показал его товарищам:

— Вот я с ним был! Вот!

Старик медленно шел по полю вдоль трибун с высоким мужчиной в инженерской фуражке. Оба уселись не на общих скамьях, а на стульях близ трибун. Это были профессор Кондаков и Иван Терентьевич Ланговой. К ним тотчас же подошел человек в военной форме.

— А ну, через забор! — предложил Вася.

Дети перелезли через забор и устроились в укромном месте недалеко от трибун.

Когда солнце коснулось дальнего поля, расписав небо розовыми красками, в воздухе оставался только один аэроплан, остальные уже опустились на землю. Этот аэроплан тоже возвращался к себе домой, в ангар. Плавно, как птица, шел он книзу на своих двойных крыльях. Он был очень красив там, наверху, на фоне вечерней зари. Дети глядели на него, задрав головы и почти не дыша.

Профессор Кондаков лично знал авиатора, снижавшегося последним. Это был капитан Мациевич, инженер-механик. Старик молча следил за его полетом, но вдруг поднялся в тревоге и шагнул вперед — зорким глазом старого инженера он отметил чрезмерный наклон, который вдруг приняла тяжелая четырехкрылая машина, а затем и все увидели, что происходит катастрофа.

Аэроплан пошатнулся, его покосило сначала вправо, потом влево, и вдруг — этому невозможно было поверить — из машины вывалилась маленькая черная фигурка и, отделившись от аэроплана, стремительно полетела вниз. В толпе раздались крики, а фигурка уже исчезла из глаз. Аэроплан стал разламываться в воздухе и упал.

Костя Куклин, побелев, хриплым голосом произнес: — Это — который первым взлетел.

Да, капитан Мациевич, тот самый авиатор, который первым оторвался сегодня от земли, который летал выше всех, упал с огромной высоты и разбился насмерть.

Вася, не соображая, что делает, бросился к старику. Профессор Кондаков, опираясь на трость, торопился к месту гибели авиатора. Ланговой сдерживал шаг, идя рядом с ним.

Старик задышался, но шел и шел вперед. Лицо его выражало скорбь и упорство. Но уже оттуда, где упал капитан Мациевич, бежал военный, который и раньше подходил к профессору.

Военный сказал:

— Увезли. Мертв, конечно.

Профессор остановился.

Когда Вася подбежал к нему, он, отдышавшись, говорил, отвечая не то военному, не то собственным мыслям:

— Нет, гибель — так уж в борьбе, в работе, как капитан Мациевич...

Вася замедлил шаг и встал недалеко, смятенно и доверчиво глядя на профессора. А профессор, заметив Васю, сдвинул лохматые брови, вспомнил и позвал:

— Подойди. Смелей.

Он взял его руку в свою, как тогда на выставке, и промолвил:

— Никогда ничего не бойся. Не бойся и не уступай. Он не столько обращался к Васе, сколько отвечал на свои мысли, но каждое его слово глубоко запало в душу потрясенного мальчика.

XVI

Получив заявление Ивана Терентьевича об уходе со службы, Альфред Густавович тотчас же поручил Лызлову найти на последнем курсе института очередную жертву (в России, к счастью, было много голодных талантов). В успехе своего дела с Ланговым он нисколько не сомневался. Конечно, усовершенствование достанется ему, Альфреду Густавовичу. Не беспокоило его и письмо профессора Кондакова, в котором засвидетельствовано было авторство Лангового. Ответ профессору подписал тот же Лызлов. Это был деловой, вполне вежливый ответ, отвергавший «необоснованные претензии», с указанием на то, что уважаемый ученый располагает данными только одной стороны и потому поневоле ошибается. «С совершенным почтением, преданный Вам...»

Но когда Альфред Густавович узнал от своего брата о том, что профессор обратился сразу в три журнала — бельгийский, английский и американский, — и о запросах редакций по этому поводу, он перешел к решительным действиям. В мире еще не вывелись беспокойные люди (так Альфред Густавович называл честных ученых), которые могут поддержать Кондакова с Ланговым. Он продиктовал резкое письмо Ивану Терентьевичу. Раньше он еще надеялся, что строптивый, но полезный инженер все же вернется к нему, но на этот раз он отбросил всякую дипломатию.

Альфред Густавович категорически требовал от Лангового представления ему чертежей усовершенствованного станка. В случае отказа он угрожал судебным преследованием за плагиат. В результате судебного разбирательства он был уверен — деньги сделают свое дело. Он заранее присваивал усовершенствование и обвинял Лангового в том, что тот намерен украсть свое собственное изобретение. Получалось нечто очень похожее на происшествие с Васей Котляковым в Гостином дворе, когда мальчика обвинили в краже его же собственного кошелька.

Это письмо ждало Ивана Терентьевича в тот вечер, когда он вернулся из Коломня, потрясенный гибелью капитана Мациевича. Бельгиец указывал, что ему, инженеру Ланговому, выдана крупная сумма денег под заказанное фирмой усовершенствование машины. «Фирма спишет этот аванс с вашего счета, господин Ланговой, только в случае исполнения принятых вами на себя обязательств. В противном случае фирма вынуждена будет взыскать с вас задолженность обычным порядком».

Сумма была большая. Иван Терентьевич вспомнил теперь, как он, почти не глядя, расписывался в получении денег и забирал их, не думая о последствиях. Вся его шумная, веселая, беспечная жизнь оборачивалась теперь кабалой, рабством, ярмом, с которым так просто, как он думал, не разделаешься. Но если гибель, так уж в борьбе.

На следующее утро, до института, где он уже приступил к занятиям, Иван Терентьевич отправился к известному адвокату, с которым было немало выпито по веселым петербургским заведением. Присяжный поверенный вышел к нему, как к своему человеку, в шелковом халате, с несколько помятым лицом (он, очевидно, явился домой только под утро), обнял его, поцеловал и тотчас же заговорил:

— Ну что, дорогой Архимед, все еще состоишь в обществе трезвенников? Не надоело? Я держал пари, милый мой Ньютон, что ты опомнишься.

Иван Терентьевич нетерпеливо перебил его болтовню:

— Я к тебе как к юристу, за советом.

— Да? Что случилось? Открыл дифференциальное исчисление и претендуешь на первенство? У вас же веч-но такие истории — кто первый сказал «э»? Факт.

— Я прошу тебя не острить, — резко сказал Ланговой. — Либо ты согласен повести мое дело, либо я уйду.

— Ого! — воскликнул юрист. — Да ты сейчас драться начнешь! Давай рассказывай.

Он выслушал Ивана Терентьевича, попивая сам и подливая приятелю густое темное вино, принял документы, которые тот передал ему в папке, и вымолвил:

— Приходи завтра в этот же час, сегодня ничего тебе не скажу. Надо рассмотреть внимательно.

И он вернулся к более веселым темам:

— Говорят, добродетелен ты стал до умопомрачения. Бывает, конечно. Пришел человек в возраст...

Ланговой поднялся.

— Прости, но мне, знаешь, сейчас не до шуток. Я только мрак на тебя наведу. Так до завтра.

— Ну, положим, мрак на меня навести невозможно, — говорил адвокат, провожая его в переднюю. — Не такой я человек. Факт. Жизнь, дорогой мой Лейбниц, не стоит того, чтобы впадать из-за нее в мрак. Ее можно использовать при желании самым великолепным образом...

— Ты не потеряй папку с документами, — сказал Иван Терентьевич, надевая пальто, которое подала ему горничная.

— Обязательно потеряю. Вот сейчас пойду и выброшу в окошко.

На следующий день перед адвокатом опять стояло вино, и хозяин опять был в халате, но уже не с таким помятым лицом. Усадив Ивана Терентьевича в кресло и наполнив его бокал, он заговорил:

— Прежде всего: ты к этому бельгийцу решил ни за что не возвращаться?

— Ни за что.

— Так. Я тебя знаю. Решил — так уж не отступишь. Факт. Спросил вот почему. По всем документам ясно прочитывается, что ты ему нужен, очень нужен. Иначе он сразу повел бы себя со всей обычной для них лютостью и беспощадностью. Ты ему, дорогой Галилей, выгоден.

— Дело решенное, и не будем к этому возвращаться.

— Так, — промолвил присяжный поверенный и забрал снизу свою бородку, отчего та встала торчком. — В таком случае, — он сделал ерническое ударение на втором слоге, — в таком случае рассудим. Что имеет наш с тобой заклятый враг? Этот бельгийский волк, конечно, всех закупил, кого нужно, везде ты будешь натывать на его людей или вообще на таких, которые, конечно, будут за богатого против бедного. Факт. Рассудим дальше. Привилегия на твою гениальную штуковину, которая, как я понял, упрощает и ускоряет производство мелких частей машин, — так вот, привилегия выдана на имя брата этого бельгийского шакала. Авторитетный европейский журнал все это печатно зафик-

сировал. Итак, все документальные свидетельства — у крокодилов. Привилегия, пресса, производство. Безукоризненные юридические основания. А что у нас? Эскизы? Чертежи? Но гориллы скажут, что ты просто скопировал с их изобретения... погоди, сиди смирно, это же не я говорю, это скажут гиены, и возражать надо документально, а не высокими чувствами да благородным возмущением. Заявление твоего старика? Но они возражают, что ты просто надул старика... Сиди смирно, говорю тебе! Если ты будешь каждую секунду вскакивать, то забирай всю эту папку — и к черту... Да, так в лучшем случае свидетельство твоего профессора имеет некоторое моральное, но отнюдь не юридическое значение. Для юриста — это ноль, тем более что датировано оно несколькими неделями позже появления статьи в бельгийском журнале.

Он оставил свою взъерошенную бородку в покое, выпил вина, взглянул на Ивана Терентьевича и заключил:

— Битое дело, Ванечка. Факт.

— Ты, я вижу, не понимаешь, что у профессора — мировой авторитет? — заметил Ланговой, стараясь быть как можно спокойней и логичней. — Это решает все. Усовершенствование я продемонстрирую при нем, в институте, где я теперь работаю.

Адвокат снова поставил свою бородку торчком.

— Простодушен ты, Ванечка, как годовалый младенец. Соску бы тебе в рот. Да твоего старика протащат по грязи, как миленького! И не таких марали! Вот что, говоря серьезно, кроме шуток, — отдавай свою новую работу, пока не поздно, бери общую расписку — я ее составлю, — что все в порядке, и — адью! А то, правда, попадешь в узилище. Ты слышал когда-нибудь, как хрустят человеческие кости в зубах у акулы? Нет? А я слышал. Вот и тебя схряпают, как барашка. Да и будем вообще откровенны — любишь кататься, люби и саночки возить. Пил, гулял, — а теперь расплачивайся. Зря ты деньги получал, что ли? В конце концов, ты сам в капкан залез, сам виноват. Откупись. Другого выхода нет. Или махни на все рукой и кати дальше в бельгийских санках, они тебя к богатству вывезут. Вот Лызлов же катит, не сомневается, врет, холуй, не краснея, лже-свидетельствует не смущаясь. Факт.

Ланговой упрямо молчал.

Адвокат неправильно понял его молчание.

— А может быть, действительно пойдешь обратно к нему, а? Жизнь нам дана одна, уж лучше прогулять ее повеселей! Предоставь мне — я все улажу. Я бы, кстати, и пари выиграл на дюжину шампанского, вместе бы и распили.

— Мы уже условились не говорить об этом, — буркнул Иван Терентьевич.

Он сидел перед адвокатом неподвижно — красавец мужчина с лихими усами, сильный, мускулистый, упрямый. Адвокат любовался им. Здоров! Быка на бойне бьют в лоб, а этого надо — в сердце. Адвокату известна была слабость Лангового — его преданная любовь к профессору Кондакову, при нем об этом смешнейшем чуде слова не скажи. Он и по физиономии способен дать, если начать при нем обычные анекдоты о старике.

— Я тебя серьезно предупреждаю, — сказал он, — грозит все, вплоть до тюрьмы. Не отдашь им своего усовершенствования — разозлятся и посадят. Они — сами себе закон.

Иван Терентьевич возразил угрюмо:

— Я подсчитал. У меня украдено до семнадцати разных изобретений, и я об этом молчу. Раньше я этого не замечал, а теперь ничего не сделаешь. В крайнем случае пусть первый вариант станка тоже пойдет им, — это, видно, проиграно безнадежно, но усовершенствование уступать нельзя. Все-таки даже при поражении получится, что они — с носом, отстали, мой станок в новом виде значительно лучше.

Адвокат спросил:

— Ты борешься из-за славы? Обидно славу отдавать?

— Моя слава — слава русской науки, — ответил Иван Терентьевич и почувствовал себя сейчас достойным преемником старого профессора. — Пусть выдадут привилегию на имя профессора Кондакова, и я прекращаю спор.

Адвокат внимательно взглянул на него. Только теперь он окончательно уверовал в то, что этот весельчак действительно не вернется больше к бельгийскому заводчику. Любопытно. Он промолвил:

— Принципиально. Патриотично. Уважаю. Глубоко уважаю. Но дело безнадежное. Битое дело. Ни к чему

не прицепишься, а противник могучий — Европа. Оставь в западне клочок мяса, но сам вылезай живым.

— Я был дурак, — произнес Иван Терентьевич необыкновенные в его устах слова, — я верил бельгийцу как человеку — человеку, я ничего не видел и не понимал и, конечно, заслужил все это. Но я прошу тебя защитить справедливое дело — охранить мои права хотя бы только на усовершенствование.

— Не уступишь — пропадешь, факт.

Иван Терентьевич встал.

— Дай материалы.

— Бери.

Адвокат вручил ему папку.

— Вот что, — вновь заговорил он. — Я известный адвокат, очень известный, хотя — человек пропащий. — Он ухмыльнулся странной, бесстыдной ухмылкой. — Факт. Упокой душу раба твоего, который тоже когда-то мечтал о честном, самоотверженном и тому подобное и прочее. Но мне нравится, что ты так здорово сумел себя повернуть; черт тебя знает — может быть, ты действительно какой-нибудь Коперник или Менделеев, но что я могу сделать? Я напишу запрос этим человекоподобным, этаким безобидным запрос, смысл которого только один — я, такой-то и такой-то, выступаю на стороне инженера Лангового. Со стариком эти тигры не посчитаются, а со мной могут посчитаться. Меня они боятся, такая у меня слава, что где я — там выигрыш.

— Так ты возьмешься за дело?

— Напишу письмо. — Он подумал. — Даже сам поеду, черт с тобой! Знаю такие дела. Работает, размышляет, сочинил наконец, запрыгал, — а тут все и пошло другому! — Он помолчал. — Можно сказать тебе одну неприятную правду?

— Да кто я — нервная барышня?

— Просто очень самолюбив. Вот что — ты не преувеличивай. Твоя эта стуковка — не телеграф, не телефон, вообще никакой не переворот в науке, а так себе, просто полезная выдумка. Очевидно, выгодная предпринимателю, раз так схватилась эта бельгийская пума. Но ничего особенного. Факт. Ты не преувеличивай. Лучше уступи. Или никаких других мыслей больше в голове нету? Иссяк?

Он знал, как и чем задеть Ивана Терентьевича. Тот сразу вспыхнул:

— У меня много новых мыслей, идей, не одна эта!

— Вот и займись ими, — спокойно посоветовал адвокат. — А эту ерунду уступи.

— Это не ерунда. Я ничего не преувеличиваю, знаю, что ничего особенно выдающегося, но не обязан даже штаны свои самые драные отдавать другому, тем более — иностранцу. Значит, ты отказываешься помочь?

— Нет, зачем? Что обещал — то сделаю. Ну, прощай, мученик науки. Приходи послезавтра в одиннадцать утра. Буду ждать.

— Я тебя убедительно прошу спасти усовершенствование.

— Ты его абсолютно закончил?

— Абсолютно. Уже и модель есть. Но если я проиграю дело, то я сам своими руками все к дьяволу уничтожу — и будь что будет. Все равно этот мешок с деньгами ни черта не получит!

Проводив приятеля, адвокат посидел еще некоторое время за вином. Интересный план зрел в его мозгу. Его разговор с Ланговым был цинически откровенным, но в то же время он являлся и разведкой.

Через час адвокат сидел в кабинете инженера Лызлова.

Разговор велся по требованию адвоката с глазу на глаз, без свидетелей.

Лызлов спрашивал:

— Итак, вы убеждены, что он не вернется на завод?

— Абсолютно. Я его знаю слишком хорошо. Но главное — то, что он уничтожит все свои чертежи и модели, а там — будь что будет. Такой человек. Уничтожит — и хоть тюрьма, а фирме не отдаст. Надо принимать немедленные и самые решительные меры, чтобы это усовершенствование совсем не пропало.

— Вы ручаетесь, что получите от него все, что нужно?

— Ручаюсь.

— Как? Какие вы предлагаете меры?

— Прежде всего необходимо условиться о вознаграждении.

— В случае успеха последует вознаграждение.

— Перед вами — известный общественный деятель,

присяжный поверенный санкт-петербургской судебной палаты! — вспыхнул адвокат. — Мое имя — ручательство в честности.

— Марка фирмы тоже является поручительством. Но не будем спорить о мелочах. Мы вас авансируем, а в случае успеха вы получите всю сумму.

— Я сам составлю необходимый документ, вам останется только подписать. Но прежде всего договоримся о размерах гонорара и подпишем условие.

XVII

Через день, в назначенный час, Иван Терентьевич вновь явился к адвокату. Тот встретил его уже не в халате, а во фраке, деловой, подтянутый, официальный. Бородака его аккуратно опускалась на белую манишку. Присяжный поверенный провел инженера в большой кабинет, обставленный разностильной мебелью. В шкафах и на полках стояли и лежали сотни книг — энциклопедические словари, справочники, юриспруденция, философия, история, поэзия, беллетристика. Над письменным столом в застекленном шкафчике, вделанном в стенную нишу, красовалась ультрасовременная литература, в том числе сборнички в белых обложках под рекламным названием «Новые идеи в философии», со статьями Маха и Авенариуса. Все это выставлено было на самое видное место, так, чтобы каждый мог убедиться, что хозяин дома не отстает от века. Несколько лет назад в этом шкафчике целая полочка была предоставлена марксистским книгам, но затем адвокат убрал их подальше.

Адвокат молча указал Ивану Терентьевичу на кресло с мягким сиденьем и высокой прямой спинкой, украшенной черепаховым орнаментом. Затем он выдвинул один из боковых ящиков стола, вынул оттуда и передал клиенту письмо в конверте с бланком бельгийской фирмы. На столе был удивительный порядок. Ничего лишнего. Письменный прибор, крокодиловой кожи бювар, лампа под зеленым абажуром, затейливая вазочка, из которой торчали перья и очиненные карандаши. Иван Терентьевич сидел, разворачивая письмо (плотная бумага хрустела), а присяжный поверенный остался стоять, в терпеливом ожидании глядя на инженера.

Письмо было подписано инженером Лызловым. Содержание его ошеломило Ивана Терентьевича.

Лызлов выражал возмущение и недоумение по поводу «настойчивых ссылок г. Лангового на авторитет всеми уважаемого господина профессора Кондакова». Он предупреждал, что если этот аргумент не будет снят инженером, то при всем почтении к ученому, имеющему бесспорные заслуги перед русской и мировой наукой, оскорбленный автор работ, на которые с возмутительной развязностью претендует г. Ланговой, вынужден будет предъявить и огласить на суде медицинское свидетельство, удостоверяющее неправомочность подписи известного деятеля науки. «Это будет сделано не в силу юридических причин и не как доказательство правоты подлинного изобретателя, поскольку претензии г. Лангового не имеют никаких юридических оснований, но с целью показать обществу истинное моральное лицо г. Лангового».

Не веря своим глазам, Иван Терентьевич читал:

«Ослабление умственных способностей уважаемого профессора Кондакова, происшедшее в силу возрастных причин, лишает его заявление какого-либо серьезного значения. Использование имени ученого, впавшего в столь прискорбное состояние и неспособного отвечать за свои действия, является моральным преступлением, нарушением самых элементарных норм человечности и ложится черным пятном на личность и репутацию г. Лангового. Фирма может только надеяться, что г. Ланговой не ведает, что творит, увлеченный своекорыстными побуждениями. Фирма готова не предавать суду и гласности исключительное по своей аморальности поведение г. Лангового, а также списать задолженность с г. Лангового только в том случае, если г. Ланговой передаст в распоряжение фирмы заказанные ему изобретателем-конструктором г. ... (следовала фамилия брата Альфреда Густавовича) чертежи и модель машины, усовершенствованной по мысли изобретателя...» Далее следовали технические подробности. Мотивировано было это условие «справедливыми опасениями изобретателя, что попытка присвоения может быть произведена г. Ланговым и в отношении усовершенствования».

Изобретение Ивана Терентьевича, как и произведенное усовершенствование, безоговорочно объявлялось

изобретением брата Альфреда Густавовича, названного крупнейшим ученым с мировым именем, а работа Лап-гового точно и ясно приравнивалась к работе исполнителя, модельщика.

Иван Терентьевич, дочитав письмо, спросил охрипшим голосом:

— Старику предстоит медицинское освидетельствование?

— Документ имеется. От крупнейшего специалиста. Для опровержения придется, конечно, произвести новое обследование по всей форме. Обязательна судебно-медицинская экспертиза. В результатах сомневаться не приходится. За стариком числится немало странных поступков. Репутация чудака на судебном языке обозначается более неприятным термином.

— Они просто купили медицинское свидетельство?

— Свидетельство у них есть. Факт.

Сегодня адвокат был удивительно краток в своих пояснениях.

— Что я должен сделать, чтобы прекратить дело?

Глаза адвоката блеснули.

— Подписать вот эту бумагу.

Точным и ловким жестом он подал Ивану Терентьевичу заранее заготовленное обязательство. Инженер не заметил даже, откуда появился в руках присяжного поверенного документ — из рукава, что ли?

Документ заключал в себе отказ Ивана Терентьевича от всяких авторских претензий на свой труд и обязательство немедленно представить усовершенствованный станок фирме Альфреда Густавовича. Иван Терентьевич прочел эту бумагу и отшвырнул. Адвокат тотчас же заговорил так, словно к нему вдруг вернулся обычный дар болтливости:

— Я еле уговорил этих львов! Они кидались на тебя с невероятным бешенством. Я вспотел, охрип, но мне удалось добиться того, на что я и не надеялся. Вот смотри — они уничтожат медицинское свидетельство о старике, пусть умрет спокойно. Кстати, этот новый, неожиданный ход и сбил меня сразу с толку. Тут уж надо было старика спасать — совсем новое обстоятельство! Но они согласились даже списать с тебя всю задолженность, это все-таки гуманно, обычно эти соколы уж если взвоятся, то пощады не знают. Еле-еле вы-

зволлил тебя. Хочешь в яму — пожалуйста. Как друг я сделал все, что мог, факт. Пока не поздно, подписывай. Я тебе говорю, я больше тебя знаю этих орлов.

Сегодня он называл врагов Ивана Терентьевича уже не гиенами и шакалами, а львами и орлами. Но Иван Терентьевич был в таком смятении, что не заметил этой перемены, как не заметил и некоторой нервности, проявлявшейся в голосе и движениях адвоката.

— Я и не воображал, что дело твое до такой степени плохо, — говорил адвокат, — и как хочешь, но это непорядочно так поступать со стариком. В своей судьбе ты властен, но я бы не подвергал такому позору славного ученого на старости лет, особенно если б был обязан ему так, как ты. В газетах пока только про тебя, но то же начнется и о старике, я выяснил... Вот смотри.

И перед Иваном Терентьевичем очутилась газета, развернутая на фельетоне, который был отчеркнут синим карандашом. Фельетон назывался «Пойман с поличным», в подзаголовке — «Трюк некоего господина Лангового». Журналист, скрывавшийся под псевдонимом «Джентльмен», в хлестком стиле возмущался позорным поведением некоего Лангового. «В чаянии раздобыть хороший куш на свои развратные похождения этот авантюрист вступил в наглый спор с мировым ученым, возглавляющим знаменитую европейскую фирму». С острыми, пикантными подробностями рассказывалось несколько вымышленных скандальных приключений инженера, после чего стояла угрожающая фраза: «Тем более удивительно, что в защиту этого хулигана, пустившегося на самый грязный шантаж, выступил, как рассказывают, известный ученый, имени которого, из уважения к русской науке, мы пока не назовем». Заканчивался фельетон патетически: «Доколе же Россия будет позорить себя перед Европой, перед всем просвещенным миром постыдными поступками своих сомнительных граждан? Доколе? Пора вмешаться в эту компрометирующую достоинство России историю высшим судебным органам, ибо дело выходит из ряда обычных уголовных преступлений. В этом деле оскорблена мировая наука в лице (фамилия брата Альфреда Густавовича была указана только начальной буквой), в этом деле оскорблена Европа, перед лицом которой мы опять

стоим как варвары. Дикари, подобные инженеру Ланговому, бросают тень на все наше европейски образованное интеллигентное общество, которому и без того угрожает мрачная бездна невежественных и диких масс».

— Это только первая ласточка, полетят и другие, — вновь заговорил адвокат, пристально всматриваясь в Лангового. — Это появилось сегодня. А завтра начнут вместе с тобой шельмовать и старика.

— Фельетониста купили! — воскликнул Ланговой. — Это же бульварная газетка! Никто с ней не считается.

— Будет и в более серьезных органах, с документальными данными. Эта заметка — только первое предостережение. Старик не выдержит позора и умрет, а ты сядешь в яму. Факт. — Адвокат обошел вопрос о купленном фельетонисте: сегодня он явно не расположен был к обличениям. Очень естественным движением он стукнул кулаком по столу. — Да ты что, не понимаешь, что ты делаешь со стариком? Да есть ли у тебя совесть? Крупнейшего, умнейшего ученого, твоего учителя, грозят публично, на всю Россию, на весь мир, объявить слабоумным, а ты занят только своими мелкими, своекорыстными соображениями! Мне стыдно за тебя. Я действительно начинаю сомневаться в твоей моральности. Тебя-то уж теперь можно посадить в яму, документов достаточно, сам ты своими руками все сделал, — но старик? Чем виноват благородный старый профессор, которого ты убиваешь? Именно ты убиваешь. Факт. Потому что это ты втянул его в свои сомнительные делишки. Не хочешь подписывать — не надо, но пеняй на себя. Мне некогда — я спешу в палату. Предупреждаю: завтра уже будет поздно. Либо сейчас подписывай, либо принимай все последствия, а я умываю руки.

— Погоди, — сказал Ланговой, взяв перо, — погоди. Где бумага? — Он был совершенно запутан, им владело только одно желание — рассчитаться немедленно и любой ценой. — Погоди, — повторил он, — я распишусь, но где же документ с их обязательствами?

— Заготовлен по всей форме, — успокоенно ответил адвокат, — достаточно вообще и прежней твоей договоренности с фирмой, но я знаю твою придирчивость и мнительность. Вот совершенно обеляющий тебя, исчер-

пывающий дело документ. Условие — то самое, которое ты уже прочел в письме Лызлова. Пожалуйста. Берн. Я хороший друг тебе, я все предусмотрел. Подпись самого заводчика.

Ланговой взял из его рук документ, прочел, сложил и сунул в карман. Затем расписался на бумаге с отказом от авторства. Адвокат тотчас же подхватил бумагу, сунул в портфель с монограммой и вздохнул с видимым облегчением.

— Я тебе скажу — ты должен меня благодарить, — принялся он болтать, садясь в золоченое кресло и сразу утратив официальный вид, с которым он встретил Ивана Терентьевича. — Подписано, и с плеч долой. Откровенно говоря, я уже и не рассчитывал выручить тебя. Тебя что спасло? Тебя спасло только то, что авансы не превысили следуемой тебе суммы и в расписках точно указано, что взяты они под усовершенствование. Будь расписки вообще, без указаний за что, — сел бы в яму. Тебя спасла расчетливость и безукоризненность денежного хозяйства у этого бельгийского льва. Ни одной копейки не бросает зря, на ветер, как наши русские купцы. Наш дурак прижмет за копейку и тут же побьет зеркал и посуды да разбросает чаевых и подачек на десять тысяч. А европеец, знаешь ли, разумно скуп. Тебя спасла эта скупость. Очень скуп этот бельгийский черт, поучиться бы! — воскликнул он с таким искренним восхищением, что Иван Терентьевич с недоумением взглянул на него.

Глаза их встретились, адвокат тотчас отвел взгляд, но Иван Терентьевич уже понял все, что случилось. Конечно, убивший его документ составлен этим адвокатом, и вообще все эти дьявольские ходы изобретены им. Только теперь Ланговой понял, почему этот человек так известен и богат. Но он не высказал своей догадки. Он был подавлен. Опасаясь новых козней, он глядел на этого дельца, как кролик — на удава. Лавочники, о которых он с таким пренебрежением думал на теннисной площадке, теперь, когда он попытался вступить с ними в борьбу, казались ему несокрушимой, уничтожающей силой. Пока он состоял у них в услужении, он не оценивал их по-настоящему.

— Заказ я доставлю завтра к часу дня, — сказал Ланговой. — У меня и модель готова.

— Вот это отлично! — воскликнул адвокат. — Итак, мученик науки, я тоже буду завтра к часу. Но еще предстоит испытание.

— Я не боюсь испытаний. Это чистая техника, наука, а заводчику — доход, он против своего кармана не пойдет. Трюки дельцов, шантажистов, авантюристов, любителей подзаработать на чужом несчастье бессильны перед этим чисто научным достижением.

Их глаза вновь встретились, и лицо адвоката тотчас же приняло официальное выражение.

— Итак, до завтра, — сказал он коротко.

На следующий день был подписан акт о сдаче заказа. Лишних слов не говорилось, и все были очень любезны друг с другом. Выпуск нового станка и испытание, как обычно, должны были происходить за границей. Через три месяца Иван Терентьевич прочел в том же бельгийском журнале статью, в которой прославлялись неумоимость брата Альфреда Густавовича и глубина его мысли, выразившиеся в новом усовершенствовании его автоматического станка. Это произошло через три месяца, а в день сдачи Иван Терентьевич занят был только тем, чтобы его скорей освободили от длительной процедуры, требующей пояснений, демонстрации чертежей, ответов на придирчивые вопросы. Адвокат, присутствуя при сдаче, молчал. В акт, заранее составленный им, не пришлось вносить никаких существенных изменений. С Ланговым адвокат держался свободно, беззастенчиво, несколько иронически.

Иван Терентьевич не получил ни одной копейки. Вся работа по станку была зачтена под авансы. Вышло так, что ему даже недодали жалованье, но он решил не оспаривать больше ничего. Любое беззаконие, произведенное над ним, силой денег обернется против него же самого. Пока речь шла только о нем, он мог рисковать, но теперь дело касалось старого профессора. Поэтому Ланговой не потребовал даже платы за модель, сделанную на его собственные деньги. Хватит ему жалованья в институте.

Прямо с завода Иван Терентьевич пошел к профессору. Тот был дома. Инженер рассказал ему все без утайки.

Старик вскочил:

— Сдались? Так-то вы обещали бороться? — Но тотчас же подумал о том, что заставило сдаться его ученика, и снова опустился в кресло. — Ценю. Ценю ваши чувства, — упавшим голосом продолжал он. — Понимаю. Но медицинской экспертизы бояться нечего, это им позор, а не мне. Так и знайте. — Он вспомнил визит доктора Магдебурга. — Я знаю, кто дал им медицинское свидетельство. Знаю. Да, — продолжал он горько, — проиграли, потерпели поражение. Вы напрасно сдались. Напрасно! Чтоб этого больше не было в вашей жизни! — воскликнул он, и лицо его покраснело. Но он опять сдержался. — После драки кулаками не машут, теперь уж ничем не поможешь. Что сделано, то сделано. Придется отменить испытание в институте и мою статью в русской печати. Проиграли. Не буду вас упрекать, и так измучились.

Он сидел в своем кресле, обитом черной кожей, — с впалой грудью, но глаза его молодо блестели из-под нависших, лохматых седых бровей. Пощипывая свою белую бородку, он говорил:

— Скажу вам в утешение: вы богаче их. У вас голова, сердце, душа, вы — человек, вы доказали, что вы человек, а они — помилуйте, они же не люди, они кошельки. Вы еще много сделаете для науки, и вы должны быть борцом, борцом, а значит, и осмотрительным человеком. Да, я знаю, кто дал свидетельство, тут все сошлось, все разом сошлось... Не будем больше думать об этом. Надо жить дальше, работать.

Часть вторая

I

Школа помещалась в первом этаже деревянного дома, почерневшего от непогод и похожего на большую старую избу. В классе, где стояли некрашенные, в трещинах и чернильных пятнах парты, ребята зимой сами топили печь. По дворам и мусорным ямам они собирали щепки, дощечки, веточки, воровали полешки, тащили всякий годный для огня хлам. Истопник считал казенные дрова естественной прибавкой к своему грошовому жалованью и регулярно продавал их на базаре. Мальчиков за все их старания он награждал подзатыльниками и приказывал топить аккуратно, чтобы не случился пожар. К попыткам школьной учительницы навести порядок в хозяйстве истопник относился с пренебрежением. Он не уважал эту молоденькую девушку — она не умела командовать и ругаться, ребят не порола и вообще была, по мнению истопника, личностью, не приспособленной к серьезной жизни.

— Никудышная, — с презрением говаривал он, закусывая в трактире.

Без всякого почтения относился он и к батюшке, законоучителю. Батюшку почти никогда не видели трезвым. Явившись на урок, он приказывал кому-нибудь из мальчиков читать вслух катехизис, а сам обычно засыпал, и его большое мягкое тело распускалось на стуле, как тесто. Пьяненький батюшка шумно сопел и прихрапывал; темный, потускневший крест, висевший поверх его лиловой рясы, сползал на сторону, а ребята забавлялись как хотели. Было точно установлено, что батюшка открывал глаза и свирепел только тогда, когда чтение, монотонное, как отходная, обрывалось. Поэтому обязательно надо было одному бубнить священ-

ные слова, чтобы остальные могли вдоволь позабавиться.

Учительница Екатерина Николаевна Макшеева настойчиво вдавливала в озорные головы правила арифметики, начатки русской грамматики и очень огорчалась изобилию клякс и орфографических ошибок в диктантах. Но ребята ее не обижали и даже создали для нее нечто вроде личной охраны. Охрана эта организовалась стихийно. Екатерину Николаевну, конечно же, нечего было и сравнивать с батюшкой, истопником и прочими наставниками и радетелями.

Учительница была взята под защиту еще в прошлом году, на одном из первых уроков. Это случилось так. В классе среди других учился Михайлов Владимир, или Михайлов второй. Его называли так, в отличие от Михайлова Александра, или, что то же, Михайлова первого. Михайлов второй, скуластый мальчик с сильно оттопыренными ушами и вихром на макушке, прицелился однажды из рогатки в учительницу, когда та, повернувшись к классу спиной, писала мелом на доске задачу. Он еще не успел спустить резинку, как сидевший рядом с ним Костя Куклин хорошенько дал ему под локоть. Бумажка стрелнула в потолок, а голова Михайлова второго дернулась вверх. Уязвленный стрелок немедленно схватил вставочку, чтобы, как полагається, побольней кольнуть Куклина пером, но Вася Котляков так стукнул его по затылку, что он клюнул носом в парту. У Михайлова второго нашлись сторонники. Они тотчас же вступились за своего оскорбленного друга. Бумажные шарики, смоченные в чернилах, полетели по воздуху. Пошли щелчки, подколы, тумачи, весь класс зашевелился и загудел. Екатерина Николаевна, при всем своем долготерпении, вынуждена была прикрикнуть на ребят. Она и не подозревала, что бой был начат благородными рыцарями, защищавшими ее неприкосновенность.

На перемене бой продолжался в открытую. Когда в класс вошел батюшка, к ногам его повалился клубок, сплетенный по крайней мере из пяти тел. Не долго думая, батюшка ухватил своей толстой пятерней за волосы первую попавшуюся голову и вытащил Васю Котлякова, в мелу и чернилах, с подбитым глазом, исцарапанного, но полного самых воинственных чувств. Держа

мальчика одной рукой за плечо, батюшка другой рукой трижды хлопнул его по макушке, или, как он любил говорить, по кумполу, а затем распорядился:

— На сковороду!

На языке законоучителя это означало, что Вася должен встать на колени у печки и жариться там. Впрочем, батюшка никогда не следил за наказанным, так что с жаркой «сковороды» можно было постепенно сползать. Но две-три минуты все же приходилось терпеть.

В общей суматохе Витя Дремин выскользнул из класса и вернулся с Екатериной Николаевной. Учительница, уже не раз возмущавшаяся «сковородой», тихо обратилась к священнику:

— Отец Андрей, мы же условились, что таких наказаний больше не будет.

Батюшка беззлобно воззрился на нее и промолвил поучительно:

— И бог грешников карает.

Учительница покраснела и сказала шепотом:

— Нельзя, отец Андрей, являться на уроки в таком виде. Стыдно же. Сколько раз говорили об этом!

Батюшка, находившийся в том упоительном состоянии, когда хочется не закон божий преподавать, а песни петь да пританцовывать, укоризненно заметил:

— Непьющему да поднесется.

Многозначительно произнеся это лишнее всякого смысла изречение, батюшка исполнился кротости и обратился к продолжавшему стоять на «сковороде» Васе Котлякову.

— Ступай на место, — проговорил он, — немилосердному у милосердия нет.

Эти слова тоже представлялись батюшке как нельзя более уместными, — язык его привык работать независимо от разума, который он признавал гордыней сатаны и дьявольским порождением.

В большом сражении, которое состоялось после уроков на пустыре за Сампсониевской детской больницей, отряд Михайлова второго был разбит наголову. В драке пострадали и больничные подростки, не вовремя перелезшие через забор, но пусть уж они сами врут сиделкам о том, почему у них порвались серые халатики,

никто не просил их соваться в драку неведомо на чьей стороне.

Сам Михайлов второй был приведен в такой вид, что не решался идти домой. Заплывший глаз и порванная одежда сына вряд ли могли обрадовать отца, человека известного, трактирного слугу, которому покровительствовал сам околоточный.

Решительное поражение Михайлова второго вызвало разброд среди его соратников. Многие отошли от него, перейдя на сторону вольницы — Васи Котлякова, Кости Куклина и Вити Дремина — трех закадычных друзей, крепко стоявших друг за друга и за всех хороших ребят. Они главенствовали в классе и на второй год обучения.

Но этот год начинался плохо. Что-то, видно, худое случилось с учительницей — она осунулась, побледнела, жаль было глядеть на нее. На всякий случай мальчики затащили Михайлова второго во двор, к помойке, чтобы задать ему взбучку. Они подозревали, что это именно он, притворяясь тихоней, ябедничает на учительницу и наводит на нее беду.

Но Михайлов второй божился, что он тут ни при чем, а все дело в том, что брат Екатерины Николаевны бежал из тюрьмы, — городской Никифор Акинфиевич говорил об этом в трактире и грозился. Брат учительницы, оказывается, шел не только на полицию, но даже на самого царя. Теперь он опять сзывает народ по стране, а про Екатерину Николаевну думают, что ей известно, где он находится, и поэтому таскают ее в охранку.

Получив от Михайлова второго такие важные сведения, ребята немедленно отпустили его. Все-таки они немножко стукнули его для острастки и строго-настрого приказали сообщать все, что он еще узнает. А если посмеет пожаловаться, то отцу придется собирать его кости по всем пустырям. Испуганный Михайлов второй страшной клятвой поклялся, что не подведет.

Брат Екатерины Николаевны был Володя Макшеев. И она заявила ему, что посещение профессором Кондаковым начальной школы сейчас совсем не ко времени — начальство непременно сочтет такое посещение неблагонадежным делом, — как бы не было неприятностей и самому профессору. Так Макшеев и объяснил старику,

вдруг, без предупреждения, появившись у него. Это свидание было очень кратким. Прощаясь с Макшеевым, профессор сказал:

— Не очень я вас понимаю. Но верите вы сильно. Помилуйте, без веры человек — слякоть, гниль, лягушка на болоте. Я вас прошу обращаться ко мне, если что понадобится. Если вам неудобно, пусть ваша сестра зайдет. Может быть, она согласится помогать мне в работах?

В один из осенних дней в классе вместо Екатерины Николаевны появился высокий, сухопарый человек в форменном сюртуке и, как ни в чем не бывало, начал урок русского языка. Это был новый учитель. Екатерину Николаевну уволили, как личность неблагонадежную. Новый учитель, кривя тонкие губы, диктовал, старательно уродуя слова: «Убер блюдо пальшой корп». Все так и написали, и все получили по колу. Но как же можно было сообразить, что эта невнятная фраза означает: «У верблюда большой горб»?

Новый учитель стал выдвигать на первое место Михайлова второго, ставя ему хорошие отметки даже тогда, когда тот ничего не знал. Кое-кто в классе опять подался к сыну трактирного слуги, а вольница Васи Котлякова, Вити Дремина и Кости Куклина взята была под особое наблюдение. Школа стала серьезной опасностью в жизни ребят.

II

Тимофей Петрович Котляков шел по набережной, глубоко засунув руки в карманы полукафтаны и нагнув на левую бровь шапку с поднятыми, как крылья, наушниками. Высокие, когда-то щегольские, а теперь потрескавшиеся и сношенные сапоги вязли в грязи, и Котляков с трудом вытягивал их. В том же направлении, что и он, шагали мужчины, женщины, подростки, заполняя все неширокое пространство от заборов и пустырей до спуска к осенней, бурливой Неве. Ссял мелкий, противный дождь, ветер бросал брызги в лицо, и волны на реке катились против течения. Сплошная дождевая пыль, сгущая утренние сумерки, застилала весь мир от неба до земли. А гудки продолжали будить и звать людей, — это был целый хор гудков, подымав-

ших Выборгскую сторону на работу. Котляков слышал и не слышал этот знакомый, протяжный, нерадостный зов. Он видел и не видел то, что выступало перед его глазами в это мокрое раннее утро. Толпа заворачивала в заводские ворота, и Котляков завернул вместе с ней.

Не прошло и двадцати пяти лет с той поры, как на этом пустынном берегу непарадной, без гранита, Невы появились приземистые кирпичные корпуса, а завод уже казался старым, древним, так он успел почернеть и задымиться. Казалось, что и люди на заводском дворе становились старше, чем были за воротами. Завод был своего рода чернорабочим при иностранных машиностроительных предприятиях, прежде всего — при бельгийской фирме. Он ремонтировал проданные в Россию заграничные машины, уже устаревшие и обветшалые, но сам не изготовлял машин.

Вступив в размытый, почерневший от копоти двор, Котляков зашагал к заднему корпусу, стена которого высилась в глубине, закрывая все, что было за ней. Широкий полутемный, как тоннель, проход вел в механическую мастерскую, невысоко поднятую над землей. Котляков направился между рядами стоявших здесь станков в свой дальний угол. Рабочие расходились по обширному грязному помещению, шаркая ногами, кашляя, звеня и стуча инструментом, и по стенам колебались их темные расплывчатые тени, отбрасываемые бледными электрическими лампочками. От окон нещадно дуло, и в мастерской было сыро, холодно.

Приняв работу, Котляков зажал латунную отливку в тиски и взял напильник за рукоятку. Давно прошло то время, когда инструмент подрагивал у него в руке, а тело нет-нет да и покачивалось от напряжения. Теперь он стоял неподвижно, руки его работали уверенно, и металлические опилки сыпались вокруг него.

Шипел огромный паровой двигатель, вращался маховик, и ремни ходили по шкивам. Мастерская наполнилась скрипом, визгом, трескотней, к которым присоединился посвист токарных резцов — мыльная вода не подспела вовремя на обдирках, резцы перегрелись, и кто-то из токарей громко обещал пронаждачить свою горькую судьбу и весь проклятый мир по самым нежным местам. Мастер сразу пошел на этот голос, и оттуда, перекрывая шум, понеслась его ругань. Мастер был

чернобородый, с разбойничьими, чуть раскосыми глазами, и от него уже с утра разило спиртом.

В мастерской работали главным образом новенькие, поступившие в последние годы на смену тем, кого полиция хватала и по квартирам и прямо здесь, на заводе. Тогда был арестован и инженер Макшеев, давший Котлякову старший разряд, а на его место явился инженер Голубецкий, низенький человек с медной бородкой и голубыми испуганными глазами. Чернобородый мастер сразу взял власть над этим инженером.

Мастер привязывался к каждому пустяку, снижал разряды, сбавлял расценки, а то и просто выгонял с завода.

— Избаловались! — кричал он, когда кто-нибудь осмеливался возразить против налагаемых им кар, и самая грязная брань неслась из его заросшего бородищей и усами рта. Рабочие уже давно прозвали его сатаной, но с осени он сам превзошел себя в свирепых и неугомонных бесчинствах. Он знал, что делал. Альфред Густавович добивался крупного казенного заказа, надо было назначить цену ниже конкурентов, а значит, следовало сбавить оплату рабочим. Тот, кто запротестует, пусть уходит, от этого завода ущерба не будет — безработных с каждым днем становится все больше, в город приходят и обнищавшие, ограбленные столыпинскими хуторянами крестьяне, за ничтожную плату можно получить и чернорабочего и опытного работника любой специальности.

Мастер, похаживая по мастерской, заметил, что Котляков вычищает опилки, забравшиеся в зубы.

— Бездельничать? — заорал он.

Котляков ответил угрюмо:

— Я докладывал, что инструмент ступился. Сегодня останусь, выправлю.

— Свет на тебя, барина, жечь?

— Да я при копилке, — возразил Котляков.

— А щелочь да кислоту где уворуешь?

Все это были вздорные придирки. Раз хозяин не дает нового инструмента, значит, рабочие должны выправлять старый. Материал у Котлякова был, выправлять инструмент он собирался после работы, сейчас он только чуть-чуть прочищал. Но мастер уже кричал:

— На старшем разряде ходишь, а инструмента не знаешь? Помним, кто тебе дал старший разряд, такой же разбойник, как и ты...

Мастер счел нужным вспомнить Макшеева, и это не предвещало ничего хорошего.

Голубецкого в мастерской не было. Этот инженер, одинаково боявшийся и рабочих с революциями и начальства с полицией, решился сегодня переговорить с Лызловым о неистовствах мастера. Он явился в кабинет к Лызлову не без трепета и постарался изложить дело в возможно более сдержанных тонах. Зная, что с Лызловым бесполезно говорить о справедливости, о гуманности и прочем, он напирал главным образом на вред делу. Лызлов, выслушав, осведомился:

— Какой вы усматриваете вред?

Голубецкий пояснил:

— В таких условиях люди хуже работают.

— Кто? Кто именно?

Голубецкий запнулся, покраснел и ответил:

— Я хочу сказать, что будут хуже работать.

Он сделал ударение на слове «будут».

— Представляйте списки, — отрубил Лызлов, — и таких мы уволим. Толпа придет на место каждого, только выбирай.

Голубецкий, в поисках хоть какого-нибудь аргумента, продолжал:

— Но могут случиться беспорядки...

— На это есть полиция. — Лызлов встал. — Ваша обязанность — содействовать полиции. — Он помолчал, сильными, жилистыми пальцами перекладывая на столе папки с бумагами.

В щегольской тужурке, с начищенными до блеска пуговицами, он представлялся сейчас Голубецкому не то приставом, не то гвардейским офицером.

Подняв голову и прямо взглянув в лицо Голубецкому своими очень ясными, словно стальными глазами, он добавил:

— Имейте в виду, что и Ланговому нашлась замена, новый человек работает не хуже его.

У Голубецкого были жена, дети, хорошая квартира и привычки обеспеченного человека, поэтому он покорно ответил:

— Я пришел к вам только с информацией, для проверки.

Идя в мастерскую, инженер Голубецкий старался забыть только что происшедший оскорбительный разговор.

«Хам, — думал он, — грубый хам». Его мутило. «Хорошо бы взорвать к черту весь завод, все заводы, все города, весь мир, если в нем интеллигентному человеку приказывают помогать полиции и слушаться пьяного мастера, черносотенца. Взорвать, взорвать», — думал Голубецкий, входя в мастерскую и направляясь в конторку. Он представлялся себе сейчас умным, сильным, грозным, перед ним все эти Лызловы — прямо козявки.

Только Голубецкий уселся за стол, как чернобородый мастер преподнес ему новую бумажку о снижении рабочим разрядов и расценок при оставлении их на той же работе. Инженер прочел девять фамилий, поднял глаза, увидел разбойничью рожу мастера, на широченных плечах которого ему привиделась красная рубашка палача, и опустил глаза. «Взорвать», — подумал он и беспрекословно поставил свою подпись на бумаге.

В списке, который представил Голубецкому мастер, был поименован и Котляков. «Лучший слесарь в мастерской», — невольно отметил про себя Голубецкий.

По окончании работы Котляков не остался выправлять инструмент. «К черту! Пусть хоть уволят».

В проходной его поджидал дядя Яша.

— Слышал, слышал, — сказал он. — Идем ко мне, Тимофей, да рассудим. При твоих Марье да Ваське — не тот разговор.

Котляков отвечал угрюмо:

— Одно знаю — к сатане на поклон не пойду.

— Это так, только быстро ничего не решай, погоди...

— Нечего годить.

Они уже шли по набережной.

— Рассудим все как следует, толково... — продолжал старик.

— А чего рассуждать? — озлился Котляков. Он шел посреди мостовой, широко размахивая руками, и дядя Яша еле поспевал за ним. — Тут надо топор в руки, и чтобы никто за руку не хватал.

— Вот это и нельзя! — вскинулся старик. — О топор-то и забудь. Что вышло, когда — помнишь? —

парень стукнул инженера? Сколько невинных пошло в тюрьму? Сколько семей заголодало? Никому пользы не было, один вред.

— Не про такой топор речь.

— Я тебе, Тимофей, не указчик, я старый, только одно скажу — один на рожон не лезь.

— А ты помнишь инженера Макшеева? Мы его в том году посылали депутатом в технологию, в забастовочный комитет...

«Технологией» он называл Технологический институт, где в пятом году собирался забастовочный комитет.

— Помню, — отозвался дядя Яша. — А ты это к чему о нем? Ведь его услали в Сибирь...

— Говорят, бежал из ссылки.

Некоторое время они шли молча. Пересекая пустырь на углу набережной и переулка, Котляков вдруг остановился и сказал:

— Богатый поблажки не даст, у него надо брать силком. Если б побольше понимали в тот год, так Марья с Васькой бланманже бы сейчас ели. Пресня билась за нас, за всю рабочую Русь, а мы не сумели поддержать, вот нас теперь и зажали в тиски. И за-граница навалилась. Французы дали царю взаймы.

— Да что там французы! — отмахнулся дядя Яша. — Нам бы найти управу на мастера, на сатану. Котляков прервал его:

— А что мастер? Мастер — сучок, он делает хозяйские дела, вот и все. Уберут его — явится другой такой же. Тут не мастер, а хозяин, а за хозяином — полиция, и капитал, и царь. Тут надо рубить все дерево, а уж если рубить, так без топора не обойдешься.

Дядя Яша молчал.

— Слесарь первой руки! — горестно воскликнул Котляков. — Седина пробивается, а меня — в подслесаренки, назад по жизни зашагал.

Круто повернувшись, он пошел прочь. На миг его фигура мелькнула в свете одинокого фонаря, а затем исчезла в мокром сумраке.

Дядя Яша не пытался догнать его. Он стоял неподвижно в сгущающейся дождливой тьме позднего осеннего вечера, и только фонарь издали подмигивал ему.

Старик очень хотел дать Котлякову совет, но дело пахло политикой, а в политике он не знал, что и советовать, тут молодым видней. Он знал только, что один в поле не воин, что надо идти всем миром. Только это он и хотел внушить Котлякову.

III

Несколько дней спустя дядя Яша в обеденный перерыв пришел к Котлякову в мастерскую. Тот сидел в своем углу и жевал черный хлеб, запивая его холодной водой. Это зрелище до такой степени расстроило старика, что он растерял все слова и молча остановился перед приятелем.

— Тимофей, пойдем ко мне сегодня, может, что и придумаем, — наконец сказал он.

Слесарь дожевывал скудную пищу и отозвался:

— Нечего рассуждать. Дохнем с голоду. Беру Ваську из школы.

— Ваську я устрою.

— Со мной теперь все может случиться, — глухо проговорил Котляков, подымаясь и не глядя на старика.

— Да ты что задумал, Тимофей?

— Не бойсь, сам себя не порешу, а со мной порешить могут.

Васю пришлось взять из школы, и дядя Яша устроил его через знакомого студента на хорошее место рассыльного при типографии.

Вася бегал по богатым квартирам, принимал испанные листочки, которые назывались статьями, и относил их в дом, ворота которого были разукрашены цветными стеклышками. Этот дом находился на Васильевском острове, в нем и помещалась типография. Вася получал целых пять рублей в месяц — невероятное богатство, которое он полностью вручал отцу. На трамвай особых денег не полагалось, и он бегал по городу пешком. Однажды, добежав с очередной рукописью до угла Большого проспекта и Пятой линии, он заметил, что из конверта, который он держал в руках, вылетел мелко исписанный листок. Вася подобрал его, но, оглянувшись, увидел, что еще несколько листочков валяются на тротуаре и на мостовой. Он бросился за

ними, но в этот момент извозчицья лошадь наступила на один из листков своим копытом. Вася, онемев от ужаса, поднял листок, разгладил и даже постарался прочесть. Забежав в ближайшую подворотню, он проверил всю статью. Ни одна страница не потеряна, — но что делать с порванным и смятым листком?

Автор статьи был солидный господин с седой гривой и странно выпяченной толстой нижней губой. Он самолично передал Васе рукопись и при этом сказал: — Не потеряй. У меня нету копии.

Обращаться к этому солидному господину было, конечно, бессмысленно. Теперь мог выручить только метранпаж Демьян Гаврилович, плотный, коренастый, с седыми висками, краснолицый человек. Он не дрался, не ругался и всегда был добр к Васе.

Метранпажа Вася нашел в наборной и тут же признался ему в том, что случилось. Демьян Гаврилович, проглядев порванный листок, произнес успокоительно:

— Ничего, разобрать можно.

Но, видно, кто-то подслушал и донес, потому что в наборную вошел управляющий, высокий, длиннорукый человек с разболтанными движениями, — когда он протягивал руку, то она отлетала дальше, чем он сам предполагал.

— Что? — заорал управляющий. — О чем разговор?

Его пальцы оказались у самой груди метранпажа. Он выхватил листки, перебрал их, и его лицо изобразило ужас:

— Кто? Кто посмел?

Он уставился выпученными глазами на порванную страницу, а затем на Васю.

— Вон! — завопил он неистово.

Метранпаж возразил угрюмо:

— Мальчик не виноват, а листок прочесть можно, наберем без ошибок.

— Да? Наберем? Вон! — крикнул управляющий, твердо помня, что его слово, даже случайно сказанное, — закон и уступать нельзя ни в коем случае. — Беспорядки? Корона — корова — ворона? — Он намекал на давнее известное издевательство наборщиков, в заметке о коронации возложивших на голову царя сначала корову, а затем, при поправке, ворону. Эти хитрые

опечатки стали знамениты по всем типографиям, неизменно вызывая веселье и смех. — Не допущу! Мальчишка! Разврат! — кричал управляющий и, размахнувшись, выбросил свою руку так далеко вперед, что попал Васе по голове локтем, а не ладонью. — Вон! — заорал он, потирая ушибленный локоть. — Негодяй! Сопляк, а туда же!

Так Вася был изгнан из типографии. Домой он не пошел, а шатался по улицам, дожидаясь вечера. Место было очень выгодное, и несчастье произошло большое. Он очень гордился, зарабатывая целых пять целковых, — а теперь что он скажет отцу и матери? На мосту ему встретился Петя в своем серебряном гимназическом пальто, с желтым ранцем за плечами, и Вася отвернулся, испытывая новую угрюмую злобу к этому счастливчику.

Пройдя к заводу, Вася долго стоял у Невы и глядел на сумрачные воды. Черный буксир с полосатой трубой, пыхтя, прошел к морю. Баржа, дотемна пропитавшаяся влагой, прижалась к пристани на том берегу, и дымок вился над ней, — кто-то там жил среди сырых дров. Весь город промок, как эта баржа, с неба сыпало мокрой пылью, и каждую Васину жилочку пронизывала сырость. Он ежился, попрыгивал с ноги на ногу, детская забота тяготила его, и ему не хотелось сегодня бегать, дразня прохожих и задевая ребят. Наконец он медленно, нахлобучив картуз на брови, пошел к дяде Яше.

Модельщик вернулся поздно и, увидев перед своей дверью мальчика, подумал было, что с Котляковым случилось какое-нибудь несчастье.

— Ну? — односложно спросил он.

В этом «ну» было столько тревоги, что Вася сразу же, без подготовки, ответил упавшим голосом, готовый ко всякой брани и даже к битью:

— Прогнали.

Он не понял, почему дядя Яша словно даже успокоился после этого признания:

— А! Это еще не последняя беда.

Старичок провел мальчика в комнату, которая напоминала мастерскую, — здесь стоял верстак, разложены были инструменты, к стене прислонены были листы фанеры и картон.

Дядя Яша молча выслушал Васю и ни в чем не упрекнул. Он и вообще-то не любил упрекать, а теперь и совсем стал не способен к этому. Подумав, он решил:

— Устрою тебя к себе в модельную. Кобениться не станут, небось возьмут, я им нужен. Где им еще найти такого старого дурака, который и по воскресеньям на заводе, когда добрые люди гуляют!

На душе у Васи посветлело.

— Вот бы складно! — воскликнул он.

А дядя Яша вспомнил, что и его приятель Тимофей Котляков был когда-то таким же полным надежд, живым мальчиком, и проворчал:

— Складно, как в гробу живому. Да погоди, — может, одно дело получится, тогда опять в школу пойдемь.

Дело, о котором упомянул дядя Яша, касалось Ивана Терентьевича Лангового. Ланговой задумал организовать предприятие, куда намерен был привлечь дядю Яшу. А дядя Яша надеялся, что это дело изменит к лучшему и судьбу Котлякова. Он ждал решения, а пока устроил Васю своим подручным, часто приводил его с завода к себе, кормил баранками, поил чаем с сахаром, оставлял ночевать.

IV

В Санкт-Петербурге, городе дворцов, гвардейских казарм, сверкающих особняков, ресторанов, магазинов, в городе цилиндров, фраков, вицмундиров и либеральных пиджаков, рос, все глубже врезываясь в жизнь, другой город — город заводов и фабрик, трудовой Питер. Потомки плотников и корабельщиков Петра — ярославцы, новгородцы, псковичи, архангельцы, костромичи, вологжане, беднота, притекавшая в Питер с самых разных концов России, чтобы продать свои мускулы и свое умение, — дымным кольцом окраин все тесней окружали блистательную столицу. Силачи, деды которых пронесли на своих плечах крепостное право и сохранили веру в жизнь и счастье, потомки строителей и сами строители, мастера, совершавшие чудеса, одаряя мир все новыми и новыми изделиями, богатые умом и душой, но загнанные в нищету и голод, они грозно надвигались на мир насильников и тунеядцев.

Рабочий народ озирает Россию как хозяин, которому предстояло решительным ударом выбросить разорителей, угнетателей, палачей и властителей, весь срам, позорящий родную страну. В пятом году они восстали и потерпели поражение. Но самые умные и зоркие чувствовали и знали, что вражеский мир пошатнулся в самых своих основах. Они собирали для новых боев армию рабочих людей, помня слова Ленина, что перед этой армией не устоит ни одряхлевшая власть русского самодержавия, ни дряхлеющая власть международного капитала. В плоть и кровь вошли слова «Манифеста Коммунистической партии»: «Пролетариат, самый низший слой современного общества, не может подняться, не может выпрямиться без того, чтобы при этом не взлетела на воздух вся возвышающаяся над ним надстройка из слоев, образующих официальное общество». Первое мая, рабочий праздник, собирало людей на митинги, вопреки всем запретам, угрозам, налетам и неистовствам властей.

Охранители остервенело вешали, расстреливали, избивали рабочих людей, а на окраинах уже вспыхивали бои, как предвестие великого решающего сражения, рабочий народ вставал за трудовую Россию, как сын — на оскорбителей матери, и его борьба была озарена великой революционной наукой, неумолимой и ясной, ведущей из потемок в солнечный день. Провозвестники ее встречались в самых укромных углах, а иногда, напротив того, в самых открытых, где никто не мог заподозрить подпольщиков.

Макшеев сошелся с Котляковым в трактире, где пьяный шум отлично заглушал беседу. Их свел прокатчик Севастьянов, один из верных людей, найденных Макшеевым, рабочий того же бельгийского завода, где бедовал Котляков и откуда был изгнан обокраденный Ланговой. Это был пожилой человек с седоватыми усами и бородой на худом обветренном лице.

На кривом столике стояли бутылки с черным портером.

Котляков говорил, преданно глядя на Макшеева:

— Нету жизни, Владимир Николаевич. Кругом — дьявол на дьяволе. Гоняют, как зайца какого, а покажешь клык, так сразу облава, как на волка. Насели и мучают, насмерть давят, Владимир Николаевич, дыха-

ния в груди нету, и кости хрустят. Я вам скажу со всей готовностью, Владимир Николаевич,— за всякую сомнолку хватаешься, а тебя по рукам бьют, чтоб утонул...

Перед ним сидел тот, кто знает, как бороться, не сгибаемый боец пятого года, и Котляков торопился объяснить свою жизнь так, чтобы этот человек не сомневался в нем. Но, видно, он не так объяснял, потому что Севастьянов промолвил спокойно и деловито:

— Ты заплачь, жалостливей будет.

И Макшеев поддержал:

— Поплачь перед хозяином, авось вернет разряд. Но глаза его при этом улыгнулись.

Котляков понял насмешку и встал, взяв шапку, которую держал на коленях.

— Сядь,— сказал Макшеев, и Котляков вновь опустился на стул.— Ответь сам себе,— тихо продолжал Макшеев, и глаза его загорелись задором, почти весельем.— Ответь, чего ты хочешь: хорошей оплаты от хозяина? Вот, скажем, завтра хозяин вернет тебе твой разряд— и ты помиришься с ним? Тут нужно быть ясным, как стеклышко. Ты ответь,— добивался Макшеев,— у тебя одно только требование оплаты или ты понимаешь, что при этой власти все равно не может быть жизни рабочему человеку, что надо соединиться и свалить эту власть, что не зря мы брались за оружие в пятом году? Или ты ослабел с той поры? Только и можешь, что плакаться?

За соседним столиком извозчик в синем кафтане, толстый и солидный, как купец, высыпал из широких карманов серебро, расплачиваясь, и Котляков воззрился на это богатство. Деньги! Пища семье, Васькина школа, новые сапоги, хоть какая-нибудь шубенка Марье, чтоб не мерзла...

— С хозяином мира не будет,— твердо сказал он Макшееву.

Макшеев весело улынулся, и Котляков вдруг удивился: ведь перед ним сидел хоть и инженер, а такой же нищий, как он сам, да к тому же беглый, из Сибири, за ним и слежка и погоня, а он весел и готов еще и другим быть опорой. «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей»,— вспыхнули в его мозгу слова,

впервые услышанные именно от этого человека. Он спросил тихо:

— А что за жизнь в тюрьме?

— А ты думал — взяли, и уж пропал человек? — усмехнулся Макшеев. — Нет, там тоже жизнь, тоже люди, лучшие люди сейчас там.

Усмешка сошла с его губ. Он ясно увидел себя, несущего на руках по зимнему тракту замерзшую Настеньку, жену, обессиленную на последнем этапе; увидел товарищей, шагающих рядом и распределивших уже между собой очередь, чтобы нести Настеньку дальше, когда он устанет. А ближайший солдат, из конвойных, старается не видеть и не слышать: попался добрый человек, тоже ведь, если вдуматься, подневольный. И вот уже скуластый сосед забрал Настеньку и понес. «Какой народ», — подумал Макшеев, и глаза его подобрели. Подавшись вперед, он положил руку на плечо Котлякова и сказал:

— Не горюй, друг, мы выходим на широкую дорогу, только много придется думать, и нужна сила. Есть сила?

— Есть сила, — отвечал Котляков глухо, и впервые за много дней улыбка осветила его лицо. — Есть сила...

Он замолчал, потому что к столику подошел тощий пропойца и затараторил, кривляясь, пританцовывая и ощупывая быстрыми глазками трех собеседников:

— А ну, господа хорошие, горошку бывшему человеку в кулечек! Верну в судный день, всему миру задолжал, все верну, как труба возгласит.

Он запустил пальцы в блюдечко с мокрым горохом, взял и подскочил к другому столику, где получил по шее столь сильно, что отлетел к стойке.

— Ай! — сказал он укоризненно, подымаясь с мокрого пола. — Что меня бить, что овцу — один грех.

И он заблеял, к восторгу всего трактира. Даже сам трактирный сиделец позволил себе улыбнуться. Сиделец был не какой-нибудь забулдыга или жулик, а пухлый трезвенький херувимчик из поповичей, с вздернутым носом и вьющимися волосами. Пропойца поклонился ему поясным поклоном и попрощал:

— Глоточек с вашего преосвященства.

— Посидишь на сухоядении, — милостиво отвечал сиделец.

Он не позволял себе драться или произносить непристойные слова, он только шутил.

Но пропойца не отставал:

— А ну, глоточек...

Сиделец, оттопырив толстый большой палец правой руки, нажал им на стойку, словно оставлял отпечаток. Это означало — «дай монету». Пропойца, состроив уморительно серьезную физиономию, запустил пальцы в воздух таким жестом, каким богач вынимает мелочь из жилета, швырнул несуществующую монету на стойку, замечательно изобразив звон, и протянул руку к рюмке. Но таких шуток сиделец не любил. Кроме того, в жесте пропойцы ему почудилась издевка над ним, стоящим неизмеримо выше всей этой мрази, а он был очень самолюбив. Он нахмурился и сказал начальственно:

— Сейчас Никифор Акинфиевич будут. Его час.

Он врал. Час Никифора Акинфиевича, городского, был позже, после постовой службы. Но пропойца поежился и отошел. С Никифором Акинфиевичем никто не решался шутить. Тот карал остроумие отсидкой в участке, во всякой шутке видел насмешку над собой. Городовой вообще не понимал, зачем существует на свете шутка, когда все вокруг столь же серьезно и глубокомысленно, как сапоги, как лицо околоточного, приказы полицмейстера и каждая тумба на улицах.

В трактир вошел и направился к стойке мужчина в войлочной шляпе и светлой, не русского образца, шубе. Он шел медленно и важно, не унижая себя ответом на приветствия сидельца и вышедшего из задней комнаты трактирщика, который нюхом угадывал миг, когда в заведении появлялся видный посетитель. Это был Арнольд Арнольдович Нобель, замечательный уже тем, что носил ту же фамилию, что и нефтяной король, но достойный всякого уважения и сам по себе, как лицо иностранное, высококультурное, работающее монтажником на заводе Альфреда Густавовича. Известно было, что ему обычно требуется холодное пиво и сосиски. То и другое немедленно явилось на подносе, который держал в своих белых руках сам сиделец. Устанавливая на почетном столике, за который не пускалась мелюзга, бутылку в ведре со льдом (специальное

ведро для иноземных гостей), сиделец позволил себе почтительное замечание:

— Воскресный день, ваше степенство, туземцы шумят, дыму много.

Но Арнольда Арнольдовича туземцы развлекали, он, как знатный иностранец среди дикого племени, притом человек любознательный и демократ, готов был изучать местные нравы и обычаи и потому, кинув пропойце пятачок, приказал сплясать. В Санкт-Петербург он соизволил прибыть с берегов Рейна всего несколько месяцев назад, и в этом городе ему очень нравилось: здесь хорошо, всюду почет и поклонны.

— Пошли? — сказал Севастьянов.

На улице он заговорил:

— Бывает, что и не поймешь, где существуешь — то ли Россия, то ли что. Каждое воскресенье регулярно этот немец заказывает пляску, и пляшут перед ним...

Севастьянов был забран в свое время на японскую войну и к концу ее был ранен. Товарищи вспоминали о нем, когда до завода дошли незнакомые слова «гао-лян», «хунхуз», «шимоза»; они ждали его, когда мрак сгустился в слове «Цусима» и подлость с предательством воплотились в генеральских фамилиях. Но в революционный год Севастьянов в Петербург не явился. Он вернулся только тогда, когда все было кончено, — раненый, он пролежал в госпитале до шестого года, только поэтому он и не попал с другими в тюрьму. Теперь спокойно, осмотрительно и безбоязненно, как истинный солдат перед атакой, он помогал собирать и готовить новые силы.

— Россию надо оборонять и в Петербурге и по всей стране, — говорил он. — Сволочь продает нас повсеместно.

Макшеев спросил:

— От этого бельгийца, я слышал, пришлось худо даже инженеру Ланговому?

— Обокрали и выбросили, — ответил Севастьянов.

— Плясать, видно, не захотел, — вымолвил Котляков.

Они шли по воскресной морозной улице. Где-то играла гармошка, доносилась песня, веселая и разгульная. Все-таки это было воскресенье, праздник, и иные рабочие даже освятили свои головы котелками. Каж-

дый самый нищий и голодный хотел показать и себе и другим, что он человек, что так просто его с ног не свалишь. И Котляков тоже приосанился. Да, он человек, и у него довольно силы, чтобы одолеть беду. Прощаясь на углу с Макшеевым и Севастьяновым, он проговорил:

— Не сомневайтесь, Владимир Николаевич. Я свою жизнь решил.

Макшеев, уехав от профессора Кондакова, поселился у родителей Севастьянова в Лесном, людей старых, готовых кого угодно принять по просьбе сына. Можно было надеяться, что здесь он в безопасности в качестве педагога Лобачева, занятого научной работой. Он и действительно был занят научной работой — он организовывал подпольный университет и набирал учеников. В каждом цехе бельгийского завода нашлось по одному, по два, а то и по три человека, готовых к учению. Из механической мастерской был намечен пока один Котляков. В ученики брали только несомненно честных людей, подбор был строгий, чтоб не затесался провокатор. Собрания, конечно, возможны только по воскресеньям, когда народ свободен.

В Санкт-Петербурге было несколько высших учебных заведений, но самая передовая наука таилась в подполье. В таких кружках, как тот, который организовал Макшеев, преподавалась наука Маркса и Ленина, готовились революционные пропагандисты и организаторы.

Идя с Севастьяновым по шумной воскресной улице, Макшеев сказал:

— Вот что, Савелий Игнатьевич, надо с будущего воскресенья начинать. Нечего больше время терять.

— А где? — спросил Севастьянов.

— Да у тебя, — ответил Макшеев так спокойно, словно это уже было давно решено, хотя Севастьянов слышал об этом впервые. — Где ж лучше? Поставишь водку, закуску, дашь гармошку кому-нибудь в руки — прикрытие хорошее... Чего ж тут грешного, если собрались к солдату-бобылю, холостому человеку, попить да поесть? Нет, самое лучшее место — у тебя.

Севастьянов помолчал, потом заметил, покачив головой:

— Вот ведь как бывает! Я все эти деньки думаю — где бы собраться? Где бы найти такое потайное место? Уже сколько мест в голове перебрал, а о себе и не думал: у меня, думал, опасно, сразу налетят...

— Это потому, что ты себя-то знаешь, знаешь, что ты опасный для них человек. Но они-то, к счастью, тебя еще как следует не заметили.

V

Осенью покончила самоубийством одна из слушательниц Белкина. Она оставила невнятную записку, в которой упоминались «демоны», «хаосы» и прочая чепуха в том же стиле. Бедная девушка до такой степени переполнилась модными внушениями, что и свое отчаяние объясняла не иначе, как сверхъестественными причинами, и даже в предсмертные минуты умудрилась не догадаться об истине. Подруги знали, что у нее был роман с Белкиным. Это началось в прошлом году, без любви, в загородной гостинице, в тумане опьянения и отвлеченных идей. Вся эта так называемая страсть была ей противна до тошноты, но Белкин убедил ее, что владевшее ею отвращение — мещанство и пошлость и что она, следовательно, не возвысилась еще до истинного познания. Кончилось тем, что она, как и многие другие до нее, надоела Белкину и он при встречах с ней отворачивался с самым презрительным видом. Когда же она наконец робко спросила его, в чем она провинилась, то он ответил ей так, как полагалось среди декадентов:

— Я не знаю, кто вы. Я вас забыл.

Ее самоубийство нисколько не смутило его, как вообще не смущали ни его, ни таких же, как он, модников десятки ежедневных самоубийств среди молодежи, подавляемой загробными проповедями. Не смутило оно и другую слушательницу Белкина, томную и увесистую, которая бывала в той же компании, что и Ниночка. После Белкина она сменила гусарского корнета на какого-то актера, а затем завела себе тонконогого литератора. Она жила весело, приговаривая:

— Не нужно все это принимать всерьез.

Ниночка не была очень близка с отравившейся девицей, но пошла на похороны. За гробом, еле передвигая

ноги, шла седая чиновница — мать, с потухшими глазами, сама уже покойница с виду.

Вскоре после того, воскресным вечером, у Евгении Львовны собрались гости, среди них был и Белкин. Никто, в том числе и он, ни словом не упоминал о погибшей девушке, словно она никогда и не существовала на свете. Белкин говорил о чем угодно, только не о ней, и все воспринимали его поведение как вполне естественное и нормальное. Ниночка со странным чувством наблюдала за Белкиным. Следя за тем, с каким аппетитом он поедает пирог, как берет стакан с чаем, как кладет сахар, она чувствовала, что Белкин не притворяется, ничего на себя не напускает. Ему действительно не было никакого дела до загубленной им девушки. При этом велся такой разговор, который словно забивал осиновый кол в могилу погибшей.

— У человечества на земле нет будущего, — разглагольствовал тонконогий литератор, поедая шоколадные конфеты (он очень любил сладкое). — Будущее — там, куда едва проникает наш взор. На земле человек одинок, и спасение — в мысли великого Гартмана о коллективном самоубийстве.

— Однако вы-то живете и продолжаете жить, — заметил профессор, поглядывая на пустеющую вазочку с шоколадом.

— Мы не имеем права уйти, — с самодовольной скорбью произнес в ответ литератор и взял из вазочки последнюю конфету. — Без нас человечество не узнает истины. Сам Гартман тоже не устал проповедовать до глубокой старости.

Профессор, допив чай, поднялся, оглядел гостей, остановил негодующий взгляд на жене и пошел к себе в кабинет. Он знал, что всякий спор — бесполезен. Этих людей не переучишь.

Иван Терентьевич тоже присутствовал здесь как старый знакомый, свой, в общем, человек в доме. Он не выдержал, что, впрочем, и раньше случалось с ним, и выпалил, покраснев и задвигав своими черными усами:

— Как можно звать людей к самоубийству?! Это преступно!

Литератор с любезной иронией отозвался:

— Эдуард Гартман — знаменитый немецкий философ, что вам, видимо, неизвестно...

— Знаю, — перебил Ланговой. — Но я-то считаю его палачом.

Литератор продолжал спокойно:

— А между тем он относился с уважением к людям вашей профессии. Он высоко ценил технику и предложил использовать для коллективного самоубийства все ее новейшие достижения.

— Это изуверское отношение к техническому прогрессу мне тоже известно, — отвечал Иван Терентьевич. — Мне непонятно одно — как могут молодые люди верить в это! Вот их жалею от всей души!

При этом он взглянул на Ниночку, а затем вышел вслед за стариком.

Гости отнеслись к его выпадку с презрительным невниманием; среди них он считался безнадежно ограниченным, пошлым господином.

Дверь отворилась, и вошел опоздавший гость, банковский работник, недавно вернувшийся из Парижа, почитатель и поклонник Белкина. Он заговорил о книге Белкина, которая должна была выйти в Париже на французском языке.

— Некоторые отрывки были напечатаны в журналах и вызвали чрезвычайный интерес и похвальные отзывы в прессе.

— Я читала одну главу, — поддержала парижского гостя Евгения Львовна. — У вас необыкновенные мысли, Николай Евгеньевич, вас ждет мировая слава...

Все с упоением занялись грядущей мировой славой петербургского философа, и всем было лестно, что они знакомы с ним.

Когда Белкин после ужина подошел к Ниночке, лицо его сияло, в глазах появился необычный блеск, он был почти красив. Еще весной женитьба на дочери почтенного профессора казалась ему возможной. Он был не прочь, вопреки воле старика, опереться на его авторитет и деньги. Но за последний год его собственная известность так выросла, что он сам становился себе наилучшей опорой. Обозленный враждебным отношением профессора, ненавидя все его мнения и взгляды, его науку, патриотизм, демократизм, он теперь просто топтал старика в его же собственном доме. Это

он подал Евгении Львовне мысль о воскресных сборах и навел сюда целую свору своих почитателей, которые превращали квартиру профессора в клуб для развлечений и деловых встреч. Для полного торжества оставалось только сломить последнее сопротивление дочери старого народолюбца, окончательно унизив этим профессора Кондакова в его самом любимом — в дочери.

Белкин увел Ниночку на маленький диванчик в полутемном углу гостиной и пустил в атаку армию своих привычных слов, поэтических, резких, повелительных, загадочных, грубых, подчас просто циничных, но ловко и умело украшенных мистическим орнаментом. Он был мастер своего дела. Скучающие тщеславные женщины и мятущиеся, ищущие, куда податься и чему верить, девицы Санкт-Петербурга обычно не выдерживали такого напора таинственных и соблазнительных слов и прикосновений.

— Как надо вас понимать? — неожиданно прервала его излияния Ниночка. — Вы хотите жениться на мне? Белкин ответил нежно и поучительно:

— Дорогая моя, нет большей пошлости, чем жениться.

Ниночка на мгновение представила себя на месте отравившейся девицы, вздрогнула и, поднявшись, отошла от него. Теперь она верила всему, что говорили о нем его недоброжелатели. Профессорская дочь, она с детства привыкла уважать ученые звания. Но этому человеку действительно совсем не подходило звание приват-доцента. До последнего времени его проповеди существовали для нее как-то отдельно от жизни, как новые, невероятные фантазии, но теперь, вспомнив его изречение: «Подлость есть подвиг», она опять вздрогнула и ушла к себе в комнату, что несколько не обеспокоило его, уверенного в победе.

Евгения Львовна незаметно наблюдала за ней и Белкиным. Едва гости разошлись, ее шлейф, волочившийся за нею, прошуршал к Ниночке.

— Что он говорил тебе? — многозначительно спросила Евгения Львовна.

Она всю эту осень не уставала то и дело выражать удивление, что Белкин, с прошлой зимы бывая в доме, до сих пор еще не сделал предложения.

— Ах, ничего, мама!.. — воскликнула Ниночка.

— Нина! — грозно сказала Евгения Львовна. — Дочь не должна так говорить с матерью. Николай Евгеньевич прекрасная партия, приват-доцент, с именем, его все уважают, и ты должна...

— Стать его любовницей?

— Какие выражения! — ужаснулась Евгения Львовна. — Где дочь профессора Кондакова научилась таким словам?

— Ты ничего не понимаешь, мама! — проговорила Ниночка и даже ногой притопнула. — Оставь меня, ради бога! Одна уже отравилась из-за него!

— Нина! — внушительно вымолвила Евгения Львовна. — Дочь профессора Кондакова должна быть выше низких, мещанских сплетен о приват-доценте университета, авторе статей и книг. Про твоего отца тоже распространяют дурные слухи. Николай Евгеньевич просто не надеется получить согласие твоего отца...

— Да ему наплевать и на папу, и на меня, и на всех! — вне себя вскрикнула Ниночка. — Он не отстаёт из самолюбия!

— Боже мой! Что ты говоришь! — возмутилась Евгения Львовна. Ее потрясли такие вульгарные выражения, как «наплевать», «не отстаёт». — Откуда эти слова?

— Ах, мама, ты ничего не понимаешь! — в отчаянии твердила Ниночка. — Ты ничего не видишь!

— Я вижу, что ты начинаешь поддаваться каким-то дурным влияниям, — величественно проговорила Евгения Львовна.

Ниночка проплакала полночи, закрывшись с головой одеялом и кусая подушку. Так она и заснула, уткнувшись лицом в подушку. Под утро ей приснился страшный сон. Голова Ивана Терентьевича, багровая, без волос, только с торчащими, как у кита, усами, лежала в хрустальной вазе для яблок, и тонконогий литератор отламывал от нее сахарные уши. Голова покатилась, заворачиваясь в длинный, как коврик, шлейф, а Ниночка смотрела на это, не в силах двинуться, ноги не слушались ее, а появившаяся невесть откуда седая чиновница хватала ее за горло...

Ниночка очнулась от ужаса и холода. Одеяло свалилось на пол, чулки, перекинутае через спинку стула,

развевались, ветер гулял по комнате, залетали брызги дождя. Вскочив, Ниночка захлопнула распахнувшуюся форточку, подняла одеяло. Сев на постели и охватив колени руками, она слушала, как дождь неугомонно бьет в стекло, как шумит ветер, то затихая, то вновь усиливаясь.

Она поднялась, зажгла свет и остановилась перед трюмо, с любопытством глядя на высокую, длинноногую девушку. Девушка перед зеркалом и девушка в зеркале грустно улыбались друг другу... «Вот мы поставим сейчас две свечи, сядем между зеркалами, хотя и не святки, и поглядим, кто появится, кто придет...»

И тут Ниночка ясно представила себе, как вот сейчас, сию секунду покажется в зеркале посиневшая, в саване, подруга, а ветер распахнет окно и... Она одним прыжком кинулась под одеяло, закрылась с головой и замерла, вся в холодном поту, еле удерживаясь от того, чтобы крикнуть, выбежать, позвать на помощь...

...Она проснулась, когда разорванные тучи бежали со светлеющего неба. Открыв глаза, она не поверила, что проспала всего два или три часа, такой она чувствовала себя свежей, отдохнувшей, обновленной.

Старик обрадовался, когда дочь появилась у него в кабинете в его любимом фисташковом платье. Она сказала ему «доброе утро» и не отдернула пальцев, когда он по своей привычке помял их в руке. В гостиной профессора ждал Иван Терентьевич, зашедший, чтобы вместе идти в институт. С любопытством глядя на его голову, у которой ночью были сахарные уши, Ниночка сказала:

— Вы напрасно сердитесь на них. Их это только забавляет.

Она дружески улыбнулась Ланговому. Вспоминать ночной сон светлым утром было совсем не страшно.

— А вы напрасно водитесь с ними, — улыбнулся в ответ Иван Терентьевич. Он с удовольствием отметил, что она сегодня не манерничает.

— Им все забава, — продолжала Ниночка, — а для меня они сами забава...

— Опасная забава, — заметил Иван Терентьевич.

— Для меня безопасная, — отозвалась Ниночка. Она чувствовала себя сейчас легко, свободно и впервые за все время заговорила с Иваном Терентьевичем о Белкине. — Просто я хочу понять, почему он все-таки очень известен. О нем спорят, многие им восхищаются, его теперь и в Париже уважают. В обществе его знают больше даже, чем папу. Когда он появляется где-нибудь, на него оглядываются, каждому лестно пожать ему руку. Почему?

— Потому что общество такое, — нахмурившись, отвечал Иван Терентьевич. — Дрянное общество. — Его больно задела слова об известности Белкина. — Это общество превозносит Белкиных и презирает полезную работу! — воскликнул он.

— А какое есть еще общество? — спросила она.

— Есть честные люди, только их замалчивают, обкрадывают, преследуют, на них клеветают! Их искусственно обрекают на неизвестность!

Все унижительное и обидное, что привелось испытать ему, все непонятное, в чем он не мог разобраться, поднялось в нем, туманя душу, и в голосе его зазвучала такая горечь, что Ниночка с удивлением взглянула на него. Но того, что она ждала — ревности, она не услышала. Он слишком занят своими делами, неизвестными ей, он совсем не влюблен в нее. «И я не влюблена», — подумала Ниночка очень спокойно. Но ясное утро померкло для нее. Она постояла молча, перебирая поясok платья тонкими пальцами. «Привычный человек, давно знакомый, ничего в нем нет особенного», — так старалась она думать сейчас о Ланговом. Но ей было грустно. Она вздохнула и промолвила:

— Все-таки они чем-то сильны. Я порвала, но я буду встречаться с ними, мне интересно.

«Интересно» — вот слово, которого не переборешь. «Ей интересно с ними, а со мной скучно», — подумал Иван Терентьевич, и раздражение овладело им. Он опять почувствовал себя очень одиноким.

Ниночка еще раз вздохнула и отошла от него. Он только и занят собой и своей наукой. На что она надеялась?..

Лангорей утешался лекциями. Такой прозаический предмет, как прикладная механика, приобретал в его изложении несколько неожиданный, поэтический характер. Скучные формулы наполнялись жизнью, самые грубые, сумрачные, неуклюжие тяжести вовлекались в вечное движение вселенной, подчиненное непреложным законам, известным и еще не известным, но доступным человеческому уму. Стоило только взглянуть как следует в это удивительное кружение, в эти полеты мельчайших частиц и кажущихся столь неповоротливыми громадин, и все, что представлялось невежественному уму таинственным, раскрывалось в прозрачной и светлой ясности, как дно озера в тихую, безветренную погоду. И человек, познавший законы движения и действия сил, причин движения, сам начинает творить чудеса, строить из непокорных, сопротивляющихся, но в конце концов сдающихся перед упорной человеческой волей материалов новые, еще не существовавшие в природе вещи.

Вещи, большие и малые, беспрекословно слушались Ивана Терентьевича. Если он брал какую-нибудь деталь механизма и начинал поворачивать ее, показывая и объясняя, то этот предмет, зажатый между большим и указательным пальцами его руки, как бы оживал, играя, прихорашиваясь, и, казалось, остался бы висеть перед глазами слушателей, даже если б Ланговой выпустил его. Вещи веселили от его прикосновения, хотя бы только словесного. Иван Терентьевич наделял их душой, придавал им великий смысл, и даже скептик невольно поддавался внушению нового преподавателя. В его аудиторию сходилось все больше и больше студентов не только первого, но и старших курсов.

В кругу вещей, уже построенных человеком, прирученных, подчиненных ему, не хватало еще очень многих, и Ланговой уверенно предрекал их появление. Он говорил о них так, как если бы уже завтра они должны были стать новыми верными слугами и помощниками человека. Сама природа предсказывает их рождение. Он соединял механику с изучением природы, он призывал учиться у природы, с тем чтобы потом, в свою очередь, предписывать ей свою человеческую волю. В его

просторные лекции входили небо и земля, моря и горы, звезды и подземные недра.

В нем легко узнавался ученик профессора Кондакова, ненавистника устарелых абстракций. Сам старик, посетивший первые лекции Лангового, остался очень доволен — наследник оправдывал его надежды.

Уже через два-три месяца после начала занятий никто больше не оспаривал знаний Ивана Терентьевича, и сторонники Гентера, претендовавшего на то же место, замолкли. Но поражение, которое Иван Терентьевич потерпел в борьбе с бельгийской фирмой, не забылось им. На одной из лекций он даже разразился гневной тирадой о положении строителя машин в России.

— Нам говорят, что невыгодно строить машины, потому что одна машина стоит дороже, чем труд десяти русских рабочих, — говорил он, сердито шевеля своими черными усами. — Выгода! Только выгода! Нет сбыта русской машине, нет заводов для изготовления станков, нет обученных рабочих, но зато есть выгода изматывать людей непосильными работами и платить им за это грош. Нам говорят также, что те машины, которые нам нужны, выгодней покупать за границей, чем делать их у себя. Россия ложится на обе лопатки перед иностранными фирмами, потому что банкиры зарабатывают на ввозе иностранных машин и вывозе русского сырья. Мы — сырье, и если русский инженер что-нибудь изобрел, то это тоже только сырье на потребу какого-нибудь жулика.

В тот же день декан факультета вежливо посоветовал Ивану Терентьевичу не совершать излишних экскурсов в область политики, а придерживаться предмета, которым, как он выразился, «вы владеете виртуозно». Декан говорил самым любезным тоном, но, конечно, это было замечание, предостережение, которое Иван Терентьевич выслушал насупившись, но без возражений — он знал декана как доброжелательного человека и настоящего ученого, в свое время отстоявшего профессора Кондакова перед министром. Если он был все же немножко чиновник, то этим недостатком страдали многие почтенные ученые, которые, давая себе свободу в своей специальности, предпочитали умеренность в служебном и общественном поведении, любили чины и ордена, ходили в церковь.

Слух о лекциях Лангового перешагнул через порог института и поддержал интерес к нему в промышленных кругах. Еще летом Иван Терентьевич подал разным лицам записки об организации опытной мастерской для изготовления нового типа станков. Он предполагал взять своим помощником дядю Яшу, которого очень ценил и с которым поддерживал связь, — именно на это дело и надеялся модельщик, наметивший устроить на службу к Ланговому и Котлякова. Получив в начале зимы приглашение от видного русского промышленника зайти для переговоров, Иван Терентьевич был уверен, что это приглашение — ответ на его записку. Он успел уже получить отказы отовсюду, кроме этого промышленника и еще двух-трех канцелярий, где его предложение, очевидно, просто затерялось. Умудренный опытом последних неудач, он без особых надежд отправился в назначенный день и час к богачу, который слыл, впрочем, человеком либеральным, образованным, культурным.

Промышленник жил в собственном особняке на Каменноостровском проспекте. Веселое трехэтажное здание стояло в глубине небольшого сада. Античные колонны на фасаде мирно уживались с новейшей изысканной лепкой. Швейцар в галунах otvorил Ивану Терентьевичу дверь, и лакей в ливрее провел его в зал, убранный коврами, с картинами модернистов на стенах.

Хозяин был невысокий человек, с пушистой седоватой бородой и с такими же пушистыми усами, с округлыми, неслышными движениями полного тела, немножко похожий на кота в сапогах. Играя пальцами на своем животе, затянутом в цветной, как на модных иллюстрациях, жилет, он мурлыкающим голосом отпустил для начала несколько любезностей по поводу талантов инженера Лангового, а потом заговорил о деле. Оказалось, что оно не имело никакого отношения к записке, поданной ему Иваном Терентьевичем. Дело касалось пушек и молотилок. Промышленник спокойно ставил рядом эти два столь несхожих предмета, потому что наживался и на том и на другом.

— Вы будете ведать ремонтом американских и немецких молотилок, — мурлыкал он, — а если вы что-нибудь придумаете для усовершенствования, то в случае рентабельности вам будет предоставлена возможность

улучшить существующие системы. Молотилки в такой земледельческой стране, как Россия, имеют будущее. Пушка же нужна нам не меньше, чем молотилка, — продолжал мурлыкать промышленник, — мы можем гордиться стойкостью и славой русского солдата, и самые богатые страны Европы готовы дать нам необходимый капитал для ведения войны. — Сидя в удобном кресле, он торговал храбростью русского солдата, как отличной валютой. — Таким образом, — говорил он, — военное производство тоже имеет будущее. Преподавательскую деятельность вы бросите, она не может дать вам такое материальное обеспечение, как пушки и молотилки.

Иван Терентьевич, терпеливо выслушав его, ответил:

— Я полагал, что вы дадите мне свой отзыв о записке, которую я подавал вам летом.

— О чем вы говорите? — спросил промышленник, и в его мурлыканье послышались сердитые нотки.

Иван Терентьевич напомнил ему содержание записки.

— Это никому не нужно, — поморщился промышленник. — Русская промышленность не занимается станками.

— Я полагал, что есть смысл заняться, — возразил Ланговой.

— Никакого смысла, — коротко и жестко, уже не мурлыкая больше, отозвался промышленник. — Этим занимаются иностранные фирмы.

— Одна из них украла у меня мое изобретение.

— Применила, — строго поправил промышленник. — Изобретатель тот, кто применил. Вам надлежит заняться пушками и молотилками.

По его тону было ясно, что он не предвидел никаких возражений. Может быть, он даже считал, что инженер, скомпрометированный в споре с влиятельной бельгийской фирмой, должен благодарить его за великодушное предложение.

Промышленник уже совсем не был похож на ласкового мурлыкающего кота. Настойчивость инженера напомнила ему о его собственной неудаче. Когда-то он сам был одним из тех, кто пытался бороться против благоприятствующих иностранцам пошлин, кто не же-

дал предоставить русского рабочего для ограбления иностранцам. Разумеется, он делал все это не потому, что любил рабочих, а потому, что сам хотел попользоваться как следует дешевой рабочей силой. Но он основательно получил по носу — правительство было за иностранцев.

Ланговой ответил ему:

— Не могу принять ваше предложение хотя бы потому, что не намерен оставлять преподавание в институте.

С тем он и ушел.

Ничего нового в этом разговоре для него не было. Просто он еще раз убедился в невозможности осуществить свои замыслы в России. Очевидно, надо пока что ограничить свою деятельность теоретическими изысканиями и лекциями. Он готов был внушить себе, что только в этом и состоит его призвание. Как человек здоровый, чуждый всяких интеллигентских «надломов», он не желал вступать в безнадежную борьбу. Вообще вся его жизнь после разрыва с бельгийской фирмой принимала все более размеренные, трезвые формы. Сами собой рвались прежние веселые связи с легкомысленными приятельницами, с прежними сослуживцами и собутыльниками, словно неудачи сделали его серьезней, образумили, а Лызлов с адвокатом научили его мудрому недоверию к людям и осмотрительности в поведении.

Несколько лет назад его брат, а вслед за ним и сестра сменили блистательную столицу на тихую, неприязательную Тверь. Брат служил врачом в городской больнице, а сестра учительствовала. Они безмерно почитали Ивана Терентьевича, в котором видели славу своей семьи, гордились им и теперь звали его к себе на рождественские каникулы. Он написал им, что придет обязательно, но до самых зимних каникул колебался. Его неудержимо влекло к своему детищу, к станку, который постукивал где-то там далеко, в плену чужого завода, он собирался в Бельгию, сам себе не признаваясь, что надеется все же там, на месте, отвоевать как-нибудь свое изобретение. Но когда он уже соображал, сколько потребуется денег на поездку и как их достать, Бельгия сама приехала к нему.

Бельгия явилась к Ланговому в виде поджарого смуглого человека с жестяными глазами и веселым ртом, в солидном коричневом костюме. Это был бельгийский инженер с того самого машиностроительного предприятия, во главе которого стоял брат Альфреда Густавовича, присвоивший станок Лангового. Он явился в сопровождении инженера Голубецкого, предварительно звонившего Ивану Терентьевичу, чтобы условиться о встрече. Желание представителя фирмы посетить его возродило у Лангового внезапные надежды — а что, если бельгийцы решили вернуть украденный станок? Может быть, уж очень понадобился им Иван Терентьевич, и они решили уступить? Может быть, после тяжелых испытаний все-таки пришла победа?..

Но пришла не победа, а разведка. Голубецкий молчал, глядя на Лангового умоляющими, виноватыми глазами, а бельгиец сыпал комплименты русскому инженеру, выражая искреннее сожаление о том, что тот порвал с фирмой, и обнаруживал такой настойчивый интерес к его последним работам, планам, проектам, что Иван Терентьевич невольно насторожился. Этому было трудно поверить, но представитель фирмы, ограбившей Лангового, как ни в чем не бывало выпрашивал у него новые материалы. Либо этот инженер ничего не знал о деле со станком, либо всерьез считал изобретателем того, кто «применил» изобретение, либо это просто была изумительная наглость денег и власти.

Иван Терентьевич много раз встречался со своим любезным собеседником за границей, в городе, где господствовало машиностроительное предприятие Альфреда Густавовича и его брата. Теперь тот завод вставал в его воображении как тюрьма, как застенки, как вместительное узников, заключенных в клетки однообразных зданий, вытянутых кверху, одетых в серый камень, как в арестантский халат. Оконные пролеты, буквы на вывесках — все представлялось ему теперь слишком узким, словно завод нарочно был спрессован, сплюснен так, чтобы в нем было возможно меньше простора. Чуть шагнешь в нем по-человечески, обязательно ушибешься или опрокинешь что-нибудь, нарушив симметрию, рассчитанную на маленький, короткий шаг.

В эти каменные, нерадостные объятия попало его детище, его станок, и Ланговой испытывал нежное и горькое чувство отвергнутого отца. Урал вспомнился ему. Как заиграл бы его станок в руках уральских умельцев, в руках Елоховых! Мысль о постигшем его поражении, к которой он, казалось, уже привык, с внезапной силой уязвила его.

— Как работает у вас мой новый станок? — прямо и резко спросил он, перебив бельгийца.

Бельгиец поднял брови, как бы не понимая, о каком станке идет речь. Затем строго осведомился:

— Вы говорите о станке шефа? О, превосходно, очень хорошо!

Он распространился в похвалах искусству шефа, создающего всё новые и новые системы. Ланговой, сам тому изумляясь, без возражений слушал восхваления мошеннику. Но что поделать! Он самолично узаконил покражу своей подписью на акте.

— И какая экономия! — восхищался бельгиец. — Мы смогли уволить целую группу рабочих...

— Как уволить? — перебил Иван Терентьевич. Это было для него совершенной неожиданностью.

Бельгиец с удивлением взглянул на него своими не улыбающимися глазами и любезно пояснил:

— Русский рабочий обходится дешево, и его не стоит заменять машиной. Но у нас рабочий получает больше, чем в России, а теперь, при новом станке, число рабочих можно было сократить, работа машины стоит дешевле, чем они. Но это интересно. Разрешите приступить к делу — к вашим новым работам. Прошу вас продемонстрировать мне их хотя бы в эскизах.

Иван Терентьевич с удовольствием схватил бы этого нахала за шиворот и вышвырнул вон. Он в бешенстве шевелил своими черными усами, багровел, но сдерживался. Насилие над гостем в собственном доме противоречило всем его понятиям. Он сказал, поднявшись:

— Я вам решительно ничего не буду демонстрировать.

— Я прошу как частное лицо, — нисколько не смутившись, настаивал на своем бельгиец, — как горячий поклонник...

При этом он строго глянул на Голубецкого, и тот испуганно залепетал:

— Мы как инженеры, Иван Терентьевич, как представители, так сказать, независимой технической мысли...

Иван Терентьевич оборвал его:

— Я должен идти, я занят. Прошу извинить.

Только когда неожиданные гости ушли, он дал волю своим чувствам. Что за наглость! Прийти к обокраденному как ни в чем не бывало!.. Вся горечь поражения, понесенного им, вновь поднялась в нем. Это же черт знает что такое!.. Но тут в мозгу его вспыхнули слова бельгийца об уволенных рабочих, и тревожное чувство овладело им. «Что еще такое там случилось?»

Дома он сидеть не мог, не хотелось ни работать, ни спать, ни есть. Он надел шубу, спустился по лестнице и у подъезда столкнулся с Голубецким, который, проводив бельгийца, торопился обратно к Ивану Терентьевичу, чтобы объясниться, оправдаться, помириться.

Этот маленький человек с медной бородкой и голубыми испуганными глазами подскочил к Ланговому с таким видом, словно собирался сообщить о невероятной катастрофе, разразившейся за те полчаса, что прошли после его визита. Он, со своими вечными «надломами», всегда был чужд Ивану Терентьевичу, а сейчас Ланговой испытывал к нему острое отвращение.

— Я приехал с ним из Бельгии, — торопливо заговорил Голубецкий, — меня посылали туда. Я не хотел идти к вам с ним, настаивал, отговаривал, но разве они понимают? Они знают только то, чего сами хотят. Это же Европа. Конечно, там культура, прогресс...

Он путался, сбивался, неотступно следуя за Иваном Терентьевичем.

— И этот новый станок, эти несчастья...

— Какие несчастья? — спросил вдруг Ланговой и остановился.

— А как же! Обычная история. Ведь вы слышали, что выбросили вон рабочих. Я пошел к одному, видел. Представьте себе — подвал, нищета безысходная, жена и дети, ни одной вещички, одежда — ветошь какая-то, и все натворил этот проклятый станок. Конечно, опытных оставили, а рядовых выкинули. Я вам говорю — ужас, ужас... Я убежал. Схватился за голову и убежал.

Он чувствовал, что ему, кажется, удалось найти тему, которая заинтересовала Ивана Терентьевича.

А втянуть Лангового в разговор — значило помириться с ним. Поэтому Голубецкий начал подробно рассказывать об увольнении рабочих, расписывая бедствие, которое причинил станок.

Ланговой, обладавший сильным воображением, явно видел перед собой картину несчастья. Его резануло по сердцу внезапное воспоминание о том, как он обещал Елохову помочь новой техникой...

— Подумать только, что все в карман молоха! — восклицал Голубецкий. — Ему — все доходы, а работникам — смерть! — Он замолк, обдумывая собственные слова, даже чуть склонив голову, так что похоже было, будто он прислушивается, наострив ухо. Затем лицо его оживилось, и он таинственно пригнулся к Ивану Терентьевичу: — Машина, создание творческого гения, обрекла на нищету и гибель несчастных рабочих и обогатила и без того богатейшего капиталиста. Нет, вы подумайте только! Ужас, ужас!.. Совершенно безвыходное противоречие.

Успокоенный безнадежным выводом, он вновь склонил голову набок.

— Философы говорят, что всякое зло есть добро для умного человека. Может быть, и правда? Как вы думаете, Иван Терентьевич, может быть, так и надо? Или нет? Или все-таки да?

Ланговой повернулся и пошел к извозчику, дремавшему на углу. Голубецкий не отставал.

— Вы куда? — спрашивал он. — Вы очень спешите? Да, мы всё спешим, спешим... Если б вы знали, какая была у меня поездка... Из Бельгии везу машины, надо было, знаете, на таможне.. Какое взяточничество! Нет, вы не можете себе представить... Но если взятка, так и пошлины не берут, получается дешевле пошлины, у этого бельгийца все рассчитано... Ах, Россия, Россия, кто спасет тебя? Кто?..

Иван Терентьевич спасся от него в извозничьих санях. Он отправился к профессору Кондакову. Ему хотелось побыть хоть немного с умным и родным человеком. Картина, нарисованная Голубецким, все глубже врезывалась в его память. Он никому не хотел вреда, он создавал свою машину на пользу людям, но, вступив в жизнь, его творение оказалось убийцей, разносчиком бед и горя. Он читал и знал, что такое бывает, но в данном

случае это произошло не когда-то и с кем-то, в Англии у ткачей или еще где-нибудь, а сейчас, и с ним самим, с его творением. И неужели, если он добьется своего в России, то несчастный русский рабочий станет еще несчастней?

Неизвестно, какое впечатление произвел бы на Ивана Терентьевича рассказ Голубецкого, если б он сам не был обокраден, оскорблен и прогнан. Очень может быть, что он и не задумался бы над судьбой уволенных, а просто признал бы, что технический прогресс, конечно, требует жертв — и что ж тут поделать! Такова жизнь. Но сейчас он чувствовал нечто общее в своей судьбе и судьбе уволенного бельгийского рабочего. Впервые за все время в его памяти ярко вспыхнула летняя встреча с Макшеевым. «Как он был худ, как бедно одет, этот деятель пятого года!..»

Мысль Ивана Терентьевича невольно перескочила на пятый год — митинги, баррикады, стрельба на улицах. В то бурное время он, уже окончивший институт, гостил в Твери у родных — служба на заводе начиналась у него с января будущего года. В Твери его и настигла всероссийская забастовка, и он оказался отрезанным от Петербурга. Поезда остановились, почта бездействовала. На квартире брата бестолково спорили и шумели интеллигенты, затем прошел слух, что на дворе Морозовской мануфактуры появились баррикады и рабочие готовят вооруженное восстание, как в Москве. Ланговой пошел на фабрику, но солдаты не пропустили его, и он повернул обратно, сам не зная, зачем ходил. Потом из Москвы пришли страшные вести о том, что Пресня, зажженная артиллерийскими снарядами, пылает, что убиты тысячи рабочих. Шумные сборища у брата прекратились, интеллигенты заперлись в своих квартирах и вскоре смирно вышли на службу. Открылась почта, пошли поезда, восстанавливалась привычная жизнь.

Иван Терентьевич вернулся в Петербург, увозя с собой довольно смутные впечатления о событиях, но в его памяти прочно остались слова, которые кричал брату знакомый инженер в дни, когда ожидалось вооруженное восстание:

— Так что же, слесарь будет командовать нами, инженерами? Нет, уж извините, господа! Я сам револю-

ционер и ненавижу черную сотню, но на это я не согласен.

Слова инженера вспомнились Ивану Терентьевичу и сейчас. Как и тогда, в Твери, он вновь испытал неприятное чувство умственной беспомощности. Невозможно понять, что происходит на свете и почему, например, такое хорошее дело, как удачно сочиненная и построенная машина, вдруг оборачивается во вред людям?..

Петербург светился огнями, но они не обещали Ивану Терентьевичу ни веселья, ни радости. Он чувствовал себя одиноким и несчастным человеком, неспособным решить простую жизненную задачу — как продолжать работу, не причиняя людям вреда, а, напротив того, принося им пользу? Но ведь это дело политиков, подумал он наконец. Политики заседают в Государственной думе, и, в конце концов, их дело решать такие проблемы. А он инженер, его призвание — техника, наука, а не политика. Он читает лекции, а когда обстоятельства изменятся к лучшему, опять будет строить машины.

Как и когда изменятся обстоятельства, Иван Терентьевич и представить себе не мог. Но, оторвав в мыслях своих науку от путаной, сумасшедшей жизни, в которой все получается не так, как хочешь, он несколько успокоился. Он чист, он неповинен во вредоносных действиях своего станка. Все было бы иначе, если б у него не украли станок. Что иначе и как иначе — Иван Терентьевич опять-таки не мог бы объяснить, но уж очень приятно было верить в это. В общем, ничего особенного не случилось, просто расходились нервы, надо немножко развлечься, он стал слишком смирно жить последнее время.

Подымаясь к старику, Ланговой решил не рассказывать ему ни о визите бельгийца, ни об увольнении рабочих. Зачем? Вот только мысль о Макшееве, товарище студенческих лет, не оставляла его. «Надо бы порасспросить старика о Макшееве. Почему старик так странно выразился о нем в ту летнюю встречу: «На душе у него ясней, чем у нас»? Откуда эта душевная ясность при таком отчаянном положении?»

Сидя у профессора Кондакова в тихом кабинете, Иван Терентьевич с первых же слов заговорил о Макшееве. Ему пришла вдруг в голову идея — предложить товарищу студенческих лет совместную работу. Если Макшеев так же умен и энергичен, как прежде, то он

мог бы оказаться отличным помощником в борьбе за строительство станков нового типа. Мысль была очень смутная, но Иван Терентьевич чувствовал себя после визита бельгийского инженера таким одиноким, ему так хотелось найти верного товарища, что он, размышляя, выразил желание повидаться с Макшеевым.

— Постараюсь устроить это, — осторожно ответил старик.

Он сносился с Макшеевым через Екатерину Николаевну, которой диктовал новую задуманную им работу — учебник механики для рабочих-подростков.

Как-то вечером перед самыми рождественскими каникулами Макшеев действительно зашел к Ланговому.

VIII

Два институтских товарища, сидя перед вином и закуской, с любопытством присматривались друг к другу. Как их изменила жизнь? Кем они стали? Кто из них достиг большего в жизни — бежавший из ссылки, скрывающийся от полиции Макшеев, он же Лобачев, или инженер Ланговой — обокраденный, загнанный в тупик со своими изобретениями?

Уважая конспирацию, Иван Терентьевич расспрашивал Макшеева о его жизни в самых общих чертах. При этом он все еще не знал, говорить Макшееву «ты» или «вы»: уж очень долго они не виделись.

— А как ты живешь? — спросил наконец Макшеев, решительным ударением на «ты» прекращая сомнения Ивана Терентьевича. — Как работается?

— У меня всё дела научные...

Ланговой почувствовал, что он ни за что не расскажет Макшееву о своих неудачах.

— Я был далековато от науки, — заметил Макшеев, — а интереса не утратил. Над чем ты теперь работаешь?

— Да, знаешь, много планов, много проектов... Работают над автоматическими механизмами.

Иван Терентьевич встал и прошелся по комнате. Представлялся редкий случай изложить все свои мысли умному, хорошему, понимающему человеку, притом молодому и энергичному, может быть будущему товарищу

в трудах. Но было как-то неловко говорить о механике с беглецом, измученным преследованиями полиции.

Макшеев сразу понял замешательство Лангового.

— Перестань мямлить, — резко и насмешливо сказал он. — Это на тебя не похоже. Или ты думаешь, что я не пойму? Я все-таки инженер.

— Ты в институте был всегда одним из лучших! — воскликнул Иван Терентьевич. — Я мечтал бы привлечь тебя к научной работе, — добавил он, сразу выдавая свои намерения.

И это понравилось Макшееву. В нем возрождались прежняя институтская приязнь к этому талантливому, жизнелюбивому разночинцу, хоть и путаному, но, как чувствовалось, честному, не способному выдать, предать, подвести.

Нельзя сказать, чтобы Макшеев и Ланговой были друзьями в институте, но уже со второго курса они перешли на ты. Оба они отличались самостоятельностью и непокорностью характеров. Макшееву нравились даже загулы этого силача. Иван Терентьевич от вина только веселел и заражал всех своей веселостью. Но уж очень по-разному шли их жизни. К окончанию института они отдалились друг от друга, а затем, работая на разных заводах, и вовсе перестали встречаться. На завод Альфреда Густавовича Макшеев перешел только к пятому году.

О Ланговом, сделавшем блистательную карьеру, на заводе говорили как об одном из самых близких заводчику инженеров. Решив, что Ланговой стал совсем чужим, Макшеев избегал встреч с ним. Когда после ареста до него дошли слухи, что Ланговой вместе со стариком хлопочет о нем, он был приятно удивлен. Значит, Иван Терентьевич, несмотря на все свои удачи, остался честным человеком.

Нынче летом профессор Кондаков рассказал Макшееву о том, что Ланговой порвал с заводчиком. Теперь поступок Лангового показался ему закономерным. Может быть, Ланговой по-своему борется с насилием, ищет выход из тупика, в который зашла честная научная мысль? Макшеев всегда уважал Лангового как инженера. Он и сейчас с чрезвычайным интересом слушал Ивана Терентьевича.

А тот, ободренный вопросами и вниманием Макшеева, без всякого стеснения выкладывал ему все свои

соображения и планы. Иван Терентьевич уже видел в Макшееве помощника в научных трудах, вместе они добьются осуществления всех проектов, сумеют организовать и собственную мастерскую. Это же не Лызлов, не Голубецкий, не пьяный, несчастный Лихницкий, это же свой человек, умный, честный, сильный.

Постепенно увлекаясь, Иван Терентьевич заполнял всю квартиру своим зычным басом, черные усы его энергично двигались, шаг становился все шире и шире.

— Как видишь, — говорил он, — я стремлюсь к созданию умных машин, помощников человека, производящих самые сложные движения. И, конечно, работы по повеле ширятся, задевая и смежные области...

Он не заметил, как перескочил от практики к фантазиям, в которых и сам еще плохо разбирался.

— Мы, механики, — рассуждал он, — не чужаемся ни одной из наук. Химия, физика, геология — все, что хочешь, идет нам на пользу. Мы идем по следам Ломоносова, мы энциклопедисты. И сейчас я лично все больше погружаюсь в физику. Видишь ли, у меня такое ощущение, что мы стоим на грани величайших открытий, мы еще сами плохо понимаем, что, в сущности, уже вступили в совершенно новую полосу, что привычная картина мира меняется на наших глазах. Я применяю электроаппаратуру и все чаще задумываюсь над тем, чтобы пробиться в мир бесконечно малых и необычайно мощных величин, мир огромных скоростей. Может быть, там недействительны наши непреложные законы классической механики, может быть, там действуют новые, всеобъемлющие законы и силы, способные перевернуть мир. Все это — догадки, домыслы, но одолевает страшное любопытство, хочется разгадать последние тайны природы...

— Нужен прибор, — сказал Макшеев. Он был серьезно заинтересован мыслями Лангового.

— Да, нужен прибор! — обрадовался Иван Терентьевич. — Нужен прибор, чтобы проникнуть в этот мир, и мы, механики, обязаны построить такие приборы, чтобы овладеть сверхмощными силами природы.

— Так сказать, вызвать духа из бутылки?

— Для пользы же людям! Вызовем духа мы, ученые, мы же будем и владеть приборами.

«Путает», — подумал Макшеев с досадой и спросил:

— Именно ученые будут владеть? Ты в этом уверен?

— Именно ученые. Нет, я кой-чему научился, больше меня не надуют.

Макшеев промолчал. «Ничему ты не научился, — подумал он. — Такой же, как и прежде». Он подивился, как часто среди ученых страстность правильной научной мысли сочетается с совершеннейшим невежеством в общественных вопросах, в политике. Еще хорошо, если только с невежеством, а не с упрямой приверженностью к реакционнейшим течениям.

— Этот прибор, — продолжал Ланговой, ничего не почувствовав в молчании собеседника, — должен открыть ворота к основным силам природы. Сказки, басни, идеи, которые кажутся сумасшедшими, очень часто осуществляются потом в науке. Возьми сказки о ковре-самолете. Теперь они стали реальностью, и мы уже не удивляемся полетам наших авиаторов. Человеческое воображение предсказывает, предвидит то, что еще не создано. Алхимия, превращение одного элемента в другой, вся эта смехотворная чертовщина средних веков тоже, может быть, не так уж смехотворна. Может быть, мы и этого достигнем; может быть, мы откроем первоначало, то самое архе, которое у греков стало богом? Ведь богом зовут все, что нам пока неизвестно. Кстати, мы покончим с этой сказкой, — ведь на коренных вопросах природы и разворачивается нынешняя чертовщина, все эти сволочи, петербургские Гартманы, Шопенгауэры и прочие. — Он вспомнил Белкина, и усы его яростно задвигались. — Их бы всех, наших доморощенных Ницше, сверхчувственных подлецов, облить керосином да сжечь, чтобы не заражали воздух!

«Это уже что-то новое», — с удовольствием подумал Макшеев, попивая вино. Грань, невидимо разделявшая их, как бы стерлась на миг.

— Чтоб не заражали воздуха, — повторил Иван Терентьевич, тыкая пальцем вперед. — Чтоб не мешали работать холуи, лакеи... Ты знаешь, ведь эти нынешние инквизиторы покушались на Геккеля, на жизнь Геккеля... Да ну их! Погоди, о чем это я говорил? Что именно нам, ученым, надо кончать с этим, найти ответы на все коренные вопросы. Я чувствую, как охотник, что дичь таится в неизученном мире, мире невероятных скоростей и мельчайших частиц материи. Я, конечно, только

механик, я думаю только о приборе для физиков, кое с кем из них я пытаюсь связаться, но народ разрознен средств нету...

Последние слова прозвучали жалобой, и Ланговой сразу оборвал себя — он терпеть не мог жалоб. К тому же адресоваться с жалобами к гонимому беглецу — это уж просто бесстыдство. Да и вообще он, кажется, забыл о том, что гостю совсем не до того, гость в трудном положении, у него, конечно, ни копейки денег... Иван Терентьевич насупился, ему стало неловко, и он задумался, соображая, как бы поделикатнее предложить Макшееву помощь.

Макшеев отлично понял, почему институтский товарищ вдруг замолк. «Чудак», — подумал он, встал, прошелся по комнате и остановился перед Иваном Терентьевичем, глядя на него добрыми глазами.

— Метафизиков ты обложил здорово. Но... ты напрасно уверен, что твой будущий прибор не украдут у тебя, как украли станок, и точно так же не направят его против людей.

— Откуда ты знаешь о станке? — удивился Ланговой. — Об увольнении рабочих я и старику не рассказывал.

— А тут нечего и рассказывать, — усмехнулся Макшеев, — тут можно заранее знать: ведь это тоже законы, законы общественного развития, тебе, видно, неизвестные, а вообще вполне изученные и непреложные. Только это не механика, конечно, не мертвая материя, а живая человеческая душа. Жалко мне тебя, брат, с твоей наукой и твоими фантазиями!

Иван Терентьевич с удивлением взглянул на Макшеева. Этот преследуемый, нищий человек еще жалеет его. Ведь как бы там ни было, а все-таки он, Иван Терентьевич Ланговой, кой-чего в жизни добился!

IX

Макшееву, сыну механика с Балтийского завода, стоило огромных усилий получить образование. Поступив в школу, он торговал самодельными корабликами у взморья, цветами на аллеях Смоленского кладбища, выполнял любое поручение, лишь бы дали копейку,

лишь бы не бросить школу. К пятнадцати годам, уже перейдя в реальное училище, он стал репетитором и бегал по урокам. Тогда он начал тянуть за собой и младшую сестренку. Из гаванских ребят, товарищей детства и отрочества, он один сумел получить образование. Остальные пошли рядовыми рабочими на завод. Иные смеялись над его любовью к учению, но, когда Володька Макшеев пришел к ним на завод инженером, они признали его своим вожаком. К тому же оказалось, что за годы, проведенные в институте, Макшеев научился не только высшей математике. Из студенческих марксистских кружков принес он рабочим спасительную для них революционную науку. Он увлекал людей за собой своей верой и своими знаниями, счастливый тем, что идеи его учителей, овладевая человеческими душами, становятся грозной материальной силой.

Администрация завода не сразу заметила, что сын рабочего, выбившись в люди, не порвал с «простонародьем». Считалось, что инженер «из низов» должен был вести себя с рабочими, как дорвавшийся до власти новоявленный фельдфебель с солдатами. Но этот молодой инженер вел себя совсем иначе. За ним началась слежка. Не дожидаясь увольнения, он перешел на Выборгскую сторону, на завод Альфреда Густавовича. Лишь впоследствии открылось, что он сплотил гаванских ребят в подпольный революционный кружок.

В пятом году имя Макшеева донеслось и до Ивана Терентьевича. Избранный депутатом в Петербургский Совет рабочих депутатов, Макшеев боролся с засевшими в руководстве Совета меньшевиками, с обычным своим упорством и энергией готовя рабочих к восстанию. После поражения революции он был схвачен вместе с женой и выслан в Сибирь. Женился он за несколько месяцев до ареста на дочери рабочего, убитого Девятого января. Это была любовь, вспыхнувшая в боях. В ссылку его услали за сотни верст от нее. Разлука не ослабила его. Тоска растворялась в бедствиях миллионов, которым принадлежала его жизнь; Макшеев знал, что и жена не простит, если он оступится, согрешит против самого верного, единственно справедливого дела, которому оба они посвятили себя целиком.

В будущей картине мира, неизменно владевшей Макшеевым, наука занимала почетное место. Мечты Ивана

Терентьевича взволновали его — он, конечно, и сам был мечтателем. И он попытался хоть немного просветить Ивана Терентьевича.

— Ты утверждаешь, что не чураешься ни одной из наук, — заговорил Макшеев. — Но ты чураешься такой науки, без которой всегда будешь блуждать, как без компаса. Правда ведь, живет ученый человек Иван Терентьевич Ланговой, а человеческих отношений не понимает, не знает, чем они определяются, мечется по нашей грешной земле, как в тумане. Он не знает, например, что его машины неизбежно влекут за собой увольнение рабочих. Светило ученого мира не осведомлено о том, что знает каждый слесарь, — Макшеев вспомнил Котлякова и еще раз подивился невежеству так называемых образованных людей. Он продолжал: — Очевидно, ты по-прежнему полагаешь и то, что ученые спасут мир, что спасение в техническом, в научном прогрессе и больше ни в чем? По-прежнему не видишь твердой почвы под ногами в этом весьма шатком и готовом рухнуть мире?

Он произнес слово «рухнуть» с таким напором, что Иван Терентьевич невольно взглянул себе под ноги, словно пол под ним треснул.

— А ты, я вижу, придерживаешься прежних крайних мнений, — пожав плечами, возразил Ланговой.

— Дважды два — четыре, это не крайнее мнение, это нормальная арифметика. Можно заранее сказать, что твой новый прибор, подобно твоей же машине, попадет в руки заводчика. И уж будь спокоен, открыв ворота в неизученный мир, твой прибор пропустит туда прежде всего первейших злодеев, которые уж распоряжаются там по-своему, если к тому времени не смести их с лица земли. Я не об ученых, конечно, говорю, а о тех бандитах, на чьи средства будут производиться работы, кто станет хозяином твоего прибора. Ты вызовешь духа из бутылки, а хозяин для своей выгоды напустит его на людей, постарается загнать в бутылку все, что есть лучшего на земле, да и тебя самого. Будь спокоен, ты работаешь на них, пока не поймешь тех законов, от которых зависит и твоя наука. Да ведь ты же должен был видеть, что даже если машина не выгоняет рабочего, то превращает его в раба, рабочий становится как бы частью механизма, совершает одно и то же изматывающее движе-

ние... Хоть это ты должен был бы знать! Это же так понятно, что орудия производства должны стать общественным достоянием, принадлежать умным головам и золотым рукам работников, а не тунеядцам с мешками золота. Когда это совершится, то кончатся и те противоречия, в которых ты сейчас путаешься...

— Я не говорил, что путаюсь, — перебил Иван Терентьевич.

Макшеев, не выдержав, расхохотался:

— А мне совсем не нужно, чтобы ты говорил об этом. Да и не в твоем характере жаловаться, я же тебя знаю. Но ты неизбежно должен был запутаться при твоём абсолютном непонимании законов общественного развития. Ученые спасут мир! В техническом прогрессе — спасение! Дите несчастное! Младенец!

Это было похоже на их споры студенческих времен, когда оба не стеснялись в выражениях, убеждая друг друга.

Макшеев стоял перед Ланговым, расставив ноги, уперев по своей привычке руки в бока так, что большие пальцы торчали вперед. Он стоял так крепко, что, казалось, никакая сила не сдвинула бы его с места. В потертом пиджаке, надетом на синюю косоворотку, в брюках с бахромой внизу, в старых и, наверное, с дырявыми подошвами ботинках, он представлялся Ивану Терентьевичу таким же молодым и горячим, как раньше, даже еще моложе и горячее. Только светлая борода решительно не шла к его насмешливому, энергичному лицу со сверкающими глазами. И вместо того чтобы рассердиться, обидеться, возразить или, может быть, согласиться, Иван Терентьевич вдруг заметил:

— Послушай, Володя, твоя борода тебя подведет, она подозрительна, лучше сбрей.

Этот ответ был столь неожиданным, что Макшеев опять рассмеялся.

— Чудак! — воскликнул он. — Ты воображаешь меня сейчас без бороды, таким, каким знал прежде. А ведь при первой встрече ты узнал меня только тогда, когда я назвался. Значит, борода достигла своей цели. Что ж, это еще одно доказательство относительности наших познаний, в которых, впрочем, всегда есть крупница абсолютной истины. Ты, дорогой мой, до этого мира мельчайших частиц, видимо, доберешься, а мне пожелай

добратся до того мира, о котором я хлопочу, — мира, в котором и тебе с твоей паукой будет очень хорошо.

Все это он произнес так просто и добродушно, что Иван Терентьевич отозвался не то чтобы насмешливо, но, во всяком случае, шутивно:

— До того мира, в котором хозяином будет слесарь?

Макшеева как будто отбросило от него. Он побагровел, и в глазах его сверкнуло бешенство.

— Не смейся над тем, чего не смыслишь! — выкрикнул он и тотчас же сдержался. — Ах, как ты презираешь этого слесаря! — продолжал он яростно тихим голосом. — Как ты умен, как ты замечателен по сравнению с ним! Образование, культура...

От его добродушного тона не осталось и следа. А Иван Терентьевич, готовый вспылить при самом легком намеке на обиду, терпел от него резкие слова и при этом не чувствовал себя оскорбленным. Ведь перед ним стоял беглец, гонимый, преследуемый полицейскими ищейками. Мир, где будет господствовать слесарь, был для этого человека идеей, ради которой он шел на самые тяжкие испытания. А гонимую идею — так полагал Ланговой — надо уважать.

Иван Терентьевич был недоволен собой, он не имел права шутить над тем, что другому дороже всего на свете. Ему хотелось загладить свою вину, перейти эту пропасть, которая вдруг разверзлась между ним и товарищем студенческих времен.

— Прости меня, Володя, — негромко сказал он, — я совсем не хотел смеяться над твоими идеями. Прости, если я не так выразился.

Он взял Макшеева за плечи, потряс и воскликнул с такой горячностью, которая могла идти только от самого сердца:

— Я же тебя, оказывается, люблю, черт тебя возьми! Мне тяжело думать, что тебе приходится так страдать!

И он почувствовал, как плечи Макшеева превратились под его пальцами из каменных опять в обыкновенные человеческие плечи — сильные, широкие, но мягкие, теплые.

— Не в прощении дело, — проговорил Макшеев. — Раньше, кстати сказать, ты никогда бы не стал просить прощения. Я верю, что ты не хотел насмеяться: это

было бы просто глупо и пошло, а ты не пошляк. Но покончим прежде всего с одним недоразумением. Признаться, ведь ты извинился потому, что считаешь меня страдальцем?

— Ради своей идеи ты подвергаешься смертельной опасности, — отозвался Иван Терентьевич очень сдержанно. — Это вызывает естественное уважение.

— Такой же опасности подвергаются миллионы рабочих людей. А ведь я тоже рабочий...

— Ты инженер.

— Из рабочих. Кто мой отец? Он и сейчас на Балтийском заводе. Кто моя жена? Работница резиновой фабрики.

— Ты женат? — оживился Иван Терентьевич. — Ты скрываешься у жены?

— Нет, она в ссылке, в сибирской тайге. Такого побега, какой я совершил, она не выдержала бы.

Макшеев проговорил это так, словно дело шло о чем-то весьма обычном и простом. Перед Иваном Терентьевичем возникала жизнь, о которой он, конечно, слышал, но с которой ему не приходилось близко соприкасаться.

— Ты прости, я не знал... — пробормотал он.

— Опять «прости», — заметил Макшеев. — На этот раз не за что. Конечно, ты думаешь, что перед тобой несчастный страдалец, мученик, так сказать. Так ты это брось. Я счастливый человек.

Иван Терентьевич по-своему понял эти слова — не счастливый, а гордый, так же презирающий жалобы, как и он, Ланговой. А Макшеев продолжал:

— Ты просто не знаешь и не понимаешь моей жизни, потому тебе и представляется невесть что. А черт не так страшен, как его малюют. Я на такую жизнь пошел по свободному выбору, вполне сознательно, и не меняю ее на твою. Ты, конечно, ненавидишь инквизиционные костры, но людей, открывающих новую эпоху, не понимаешь. Может быть, даже сочувствуешь, но не понимаешь. Тебя смущает, что рабочие будут у власти. Да Максим Горький — рабочий. Вот что такое нынешний русский рабочий человек! Ты у рядового рабочего не гляди на одежду, на конуру, на похлебку, на нескладную речь, на сотку в трактире — гляди в душу. Смотри, как печальна наша Русь: казнь лучших людей, кровь Девятого января, расстрелянная Пресня, виселицы на Лисьем Носу,

воронье и шакалы, терзающие грудь народа. Редко бывало хуже. Но близится час победы народа, и я среди тех, кто готовит это будущее, я вместе со всем рабочим народом чувствую, предвижу его, отдаю ему все свои силы. Разве это не счастье? Разве это не гордость? Хищники налетают со всех сторон, но заря близка, близка заря новой жизни!

Он произнес священные для него слова «заря новой жизни» с тем же убежденным пафосом, с каким профессор Кондаков говорил «светоч науки».

— Буревестник вновь вещает о буре! — воскликнул он.

Пройдясь в волнении по комнате, он проговорил уже спокойнее:

— Да, я, беглый арестант, муж ссыльной, я — счастлив. («Да, он действительно счастлив», — с невольным волнением подумал Иван Терентьевич.) Я счастлив, что участвую в освобождении России. Ты не видишь сплочения трудовых русских людей в великой партии, а именно здесь, в нашей партии, встает заря новой жизни, подымается солнце над нашей родной страной!

В памяти Лангового встала уральская кричная фабрика и умное, гордое лицо Елохова.

— Одно я могу сказать тебе твердо, — произнес он, — я люблю рабочего человека, я его друг, вся моя деятельность — для него, для того, чтобы выручить его, спасти от всех бед.

— Как спасти? — усмехнулся Макшеев. — Предупреждаю: не вздумай всерьез пропагандировать твою «власть ученых» — попадешь в грязь, пойдешь в обнимку с Лызловым. И уж я тебе накладу не жалеючи, как заклятому врагу. Так и знай.

— Поверь, что я всей душой хочу выручить рабочего человека, — сказал Иван Терентьевич.

— Не ты его выручишь, а он — тебя и твою науку, — ответил Макшеев. — Прощай, — заключил он даже без паузы, — мне надо идти.

— Куда? Посиди еще. Ну, по крайней мере ты знаешь теперь дорогу, — значит, будем встречаться.

— Нет, больше не буду заходить. Нельзя больше. Нельзя.

Надевая свое худое пальто («Даже ватой не подбито», — подумал Ланговой), он запел совсем по-студен-

чески: «Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега...».

Калош у него не было. Тут же в передней стояли небольшие калоши Ивана Терентьевича. Ланговой хотел предложить их, но не решился — не примет, откажется, как Елохов от папирос. О том, что он рассчитывал на Макшеева как на помощника в научных трудах, он совсем забыл, до такой степени это намерение не вязалось со всем только что происшедшим разговором.

Когда Макшеев ушел, Иван Терентьевич еще некоторое время постоял на площадке лестницы, прислушиваясь к удаляющимся шагам. Затем вернулся к себе в квартиру. Он был возбужден, взбудоражен и не знал, за что приняться, чтобы успокоиться. Рабочий — во главе России! Может ли это быть? И что из этого получится? То ему казалось, что Макшеев действительно провозвестник будущего, замечательный ум, то представлялось, что Макшеев просто сошел с ума... «Пойдешь в обнимку с Лызловым, — вспомнил он. — Накладу не жалеючи, как заклятому врагу...» Черт его разберет, что делается на этом свете...

Он присел к столу. Под пресс-папье лежало письмо, и он потянул его к себе. Брат и сестра напоминали о его обещании приехать к ним на рождество. Он каждый год ездил к ним на рождественские праздники — так уж повелось. Он поедет и сейчас. Но разве можно забыть эту встречу с институтским товарищем? Нет, он не забудет...

В первый день каникул Иван Терентьевич, сидя в купе первого класса, с наслаждением глядел в окно на пробегающие мимо кривые оголенные березы на снежном болоте, вглядывался в мелькнувшего у шлагбаума крестьянина, который трусил верхом на неоседланной рыжей кобылке, и радость все глубже охватывала его. «Не думать, ни о чем не думать», — твердил он себе.

Когда, сойдя в Твери с поезда, Ланговой увидел встречающих его брата и сестру, он в умилении распростер руки и заключил обоих сразу в свои широкие объятия. Этим людям он дорог, здесь — его дом.

В Твери Ланговой пробыл до конца каникул, стараясь ни о чем решительно не думать и не заботиться. В семье брата он был главный, замечательный, великий, его слова и поступки не вызывали никаких сомнений, он считался здесь непререкаемым авторитетом. Иван Терентьевич ходил на лыжах, победил в фигурном катании на коньках, благополучно прыгнул на пари из окна купеческого дома, куда его звали восторженные почитатели, взбудоражил и восхитил все тверское общество. Когда он уезжал обратно в столицу, его провожала целая толпа.

Вернувшись в Петербург, в свою квартиру на Литейном проспекте, где его ждала молчаливая глуховатая богомольная старушка, служившая у него прислугой, Иван Терентьевич вынул свой давно заброшенный дневник и записал в нем следующие многозначительные слова:

«Моя жизнь будет посвящена отныне только науке. Я оставляю мысль о практическом осуществлении своих идей — мои машины не нужны России, а строительство их за границей губит людей. Но научные идеи выше всех жизненных катаклизмов, когда-нибудь люди поймут, как надо жить, не причиняя вреда друг другу, и тогда скажется польза и от моих работ, которым я отдаюсь всей душой».

Это была суховатая запись инженера, но для Ивана Терентьевича она была полна глубочайшего лиризма. Он добавил: «Я бросаю пить и женюсь».

Он задумался над последним, несколько неожиданно явившимся из-под пера словом: «женюсь». Но на ком? У него был свой идеал — скромная, тихая девушка, существующая только для семьи, без пудры и помады, не обращающая на себя всеобщего внимания особенной роскошной красотой, но миловидная, веселая, обожающая своего мужа, может быть с немножко вздернутым носом, прелестная и простая, радость в успехах, утешение и стойкость в неудачах, верная подруга, добрая помощница в работе.

Ниночка? Но ей интересно с «известным» Белкиным — «интересно»!.. И Ланговой отогнал от себя это видение. Женские фигуры мелькали в его воображении, но это

были только фигуры, а не женщины, идеал оставался идеалом, в жизни никто не был похож на будущую жену Ивана Терентьевича, и он никого не выбрал. Поставив после слова «женюсь» точку, он перечитал с удовлетворением: «Я бросаю пить и женюсь».

Приняв такое благоразумное решение, Иван Терентьевич почувствовал приступ тоски, квартира живо напоминала ему посещение Макшеева, его потянуло к людам, он надел шляпу и пальто и вышел на шумную улицу. Тут он вспомнил о модельщике, с которым улавливался о работе в мастерской, вернулся домой, прихватил еще немножко денег и снова вышел.

Мысль о Макшееве тотчас же вызвала воспоминания о Елохове, о питерских, тверских, уральских рабочих, вспыхнула нерешенная задача, и смутное волнение овладело им, опять возникло мучительное ощущение непонимания, обидное, унижительное, неотвязное.

Ранние зимние сумерки спускались на северную столицу. Светились фонари, огни трамваев, витрины магазинов, рекламы ресторанов и кинематографов. Афиши на стенах призывали на литературные вечера, диспуты, представления. Чего только нет на этих афишах! Весь вздор, которым занят Санкт-Петербург, — мистика, порнография, чертовщина. «На это есть спрос, это имеет сбыт», — подумал вдруг Ланговой. Все это вроде бус для дикарей — мелкий соблазн крупных завоевателей, авангард больших грабежей. Сияние и блеск, звон и грохот проспекта бередили душу, раздражали. Пройдя мост, новоявленный поборник трезвости и благоразумный жених идеальной девушки, посвятивший себя единственно только науке, свернул в самый обыкновенный трактир с желтой вывеской и спросил водки. Трактирщик самолично выскочил из-за стойки к приличному господину и вытер салфеткой круглый столик на кривых ножках.

— Что прикажете на закуску? — почтительно осведомился он, прибавляя к каждому слову обязательное «с».

...Дядя Яша угощал Васю коврижкой, когда вдруг раздался стук в дверь и в комнату ввалился инженер Ланговой в распахнутой шубе и с пакетом в руках. Вид у него был такой, что дядя Яша в изумлении снял очки, снова надел и опять снял. Потом проговорил с достоинством:

— Душевно благодарю, что посетили, Иван Терентьевич. Разрешите, пальто сюда можно...

У Васи коврижка встала поперек горла — так внезапно было появление важного барина в убогой комнатенке дяди Яши.

Иван Терентьевич опустил, почти рухнул на стул и вымолвил:

— Обманул я вас, Яков Самсонович. И вас обманул и себя. Нельзя строить машины. Ничего не выходит.

Иван Терентьевич выложил из пакета водку и закуски, и начался невиданный Васей пир. Вася получил бутерброды и с сыром, и с колбасой, и с икрой, и с удивительно вкусной рыбой и все это съел в углу на тюфяке, куда был отправлен, чтобы не мешать разговору. Мальчик сразу же узнал гостя — он видел его на аэродроме вместе со стариком, который водил его весной по выставке.

Лежа в углу на животе, он жадно ел, жадно глядел на размахивающего руками инженера и жадно слушал его речи. Инженер и дядя Яша сначала говорили все о том же, о привычном — о злых хозяевах. Хозяева всё оборачивают во зло людям, и теперь даже инженеру стало плохо. Но, видимо, ему было не так уж плохо, если он взял масло прямо ложкой и отправил в рот, добавив:

— Нет ничего лучше масла против хмеля. Я специально купил. Попробуйте, Яков Самсонович.

Дядя Яша почти и не пил, только из вежливости смачивал иногда губы. А инженер выпил, опять забрал масло ложкой и проглотил. Чего ж тут плохого? Так едят только богатые.

Затем инженер заговорил странно, но интересно:

— Мы, механики, любим людей. Человек напрягается, сверлит, или долбит, или режет, а мы даем ему машину, и машина работает за него, и у человека остаются силы на книжку, на жизнь, на науку. Всякий грубый, тяжелый труд можно заменить машиной! Человек должен мыслить, а не надрываться! А ведь это мы, механики, заменили гребца на галерах машиной да паровым винтом, чернорабочего — кранами. Негодяи! Не дают помогать людям! Либо отказываются строить, либо крадут и губят людей нашими машинами!

Он замолк, и тут Вася, не выдержав, вставил свое слово. Он сказал:

— А я вас знаю.

Иван Терентьевич обернулся к мальчику, вглядываясь в темный угол.

— Вы на полетах были, — напомнил Вася.

Дядя Яша цыкнул на него и пояснил Ивану Терентьевичу:

— Это сынишка Котлякова, слесаря. Он — про праздник, когда Мациевич убился.

Иван Терентьевич отозвался угрюмо, шевеля черными усами:

— Да, убился. Дали ему дрянной аппарат, а он и с ним делал чудеса. Инженер-механик. Кому нужны механики? Никому. Пушки и молотилки...

Он склонил голову на грудь, как бы засыпая, но тотчас же очнулся.

— Я был там с профессором Кондаковым, — сказал он. — Замечательный старик...

Так Вася узнал имя старика, который водил его по выставке.

Голова Ивана Терентьевича опять опустилась на грудь, и дядя Яша озабоченно взглянул на инженера. Но тот встал так бодро, словно вовсе и не собирался заснуть.

— Пойду, — сказал он. — Вот. — Он вынул из бумажника несколько ассигнаций и положил на стол. — За обман, неустойка вам, Яков Самсонович.

— Работы не было, и денег не причитается, — коротко отказался дядя Яша.

Но Ланговой рассердился:

— Я не бельгийский вор. — Он перегнулся через стол, опершись на руку, и всей тяжестью своего могучего тела припечатал деньги к столу раскрытой ладонью. — Я не мошенник и не Мердер, — произнес он внушительно. — Даю, сколько полагается.

Упоминание о незнакомом Мердере и сердитый тон смутили дядю Яшу. Он проговорил:

— Уж если полагается...

— Полагается!

Дядя Яша пошел провожать Ивана Терентьевича, чтобы усадить его на извозчика. Он с огорчением услы-

шал, что инженер не домой поехал, а назвал адрес веселого ресторана. Не спился бы хороший человек.

— Не придется тебе ходить в школу, — горько сказал дядя Яша, вернувшись к Васе. — Нету хода хорошим людям. Инженер, а тоже, гляди, как прижало!

— Да у него одна шуба тыщу стоит! — возразил Вася. — А масло как лопал — ложками! Где же прижало?

XI

Ниночка бродила в морозных сумерках по набережной Невы, поджидая Белкина, пригласившего ее на литературный диспут. Белкин хотел заехать за ней по пути из университета, но она ответила, что не хочет затруднять его и лучше сама заедет за ним. Ниночка могла бы отправиться прямо на диспут, но интересней и удобней было явиться с участником, да еще с каким! Книга Белкина уже вышла в Париже.

Зачем она продолжает встречаться с ним? От скуки? От незнания, как жить? Из дурного любопытства? Или оттого, что он не говорит ей больше, что женитьба — это пошлость, и опять стал особенно деликатен с нею? Ах, боже мой! Все это забавляет ее, и нельзя же жить без общества... Он уверяет, что дня не может прожить без нее. Он обманывает, конечно, но она ведь тоже не глупая...

Диспут должен был состояться в одном из лучших петербургских помещений, где некто Шпергауз, осчастлививший своим приездом северную столицу, стравливал в диспутах провозвестников новейших учений и собирал огромные сборы с растерянной и ошеломленной публики. Шпергауз в короткий срок стал петербургской знаменитостью. Каждый модный деятель чувствовал подъем духа, когда слышал по телефону общеизвестное сакраментальное обращение этого чемпиона литературных и театральных дельцов:

— Извиняюсь, я — Шпергауз.

Звонок Шпергауза означал, что деятеля осенила слава.

Белкин был приглашен участвовать в диспуте на тему, выраженную заманчиво и непонятно: «Женщина есть молчание». Эта нелепица, отпечатанная на афишах

аршинными буквами, с ходу останавливала прохожего, и он уж обязательно прочитывал и многообещающие подзаголовки, сладостные и пряные.

Вечер был тихий, безветренный. Гранитный город, как великан, вмерзший по пояс в оледенелые воды, стыл под тяжелым, низким небом, распрямив плечи крыш и, как длинные руки, протянув во все концы свои прямые проспекты и улицы. Его иглы и шпильи терялись, таяли в сумеречной мгле, и морозная дымка, чуть окутавшая город, казалась паром от его дыхания.

Ниночка, глубоко засунув озябшие руки в муфту, похаживала по скользкому тротуару. Дворцовый мост горбился над ледяной ширью Невы. По ту сторону реки чернела громада Зимнего дворца, а справа выступала над зданиями квадратная вышка Адмиралтейства. Огни мерцали в особняках Английской набережной. Город был словно перевит пунктирами желтых, красноватых, белых огоньков. Прямо против Университета, за всадником на вздыбленном коне, за голыми зимними деревьями, возвышался массив Исаакия.

Ниночке вспомнилось, как однажды на пасху она не могла пробиться сквозь толпу внутрь собора и стояла со свечкой на улице, а потом христосовалась с незнакомыми людьми. Это случилось давно, — тогда она была круглолицей веселой гимназисткой с толстой косой, перекинутой через плечо. Она вспомнила, как на выпускном балу она танцевала с Ланговым...

Из университета вышел наконец Белкин и, увидев Ниночку, направился к ней.

Извозчик повез их через весь город. Невский проспект сверкал в своих нарядных одеждах, полный шумного народа, стремительного движения, топота копыт и звона трамваев. Некстати затесавшаяся сюда могучая ломовая лошадь, тащившая широкую телегу, угрюмо шарахалась от невиданного черного, гудящего таксомоторного чуда, пронесившегося быстрее лихача.

Когда они явились, диспут уже начался. Сам Шпергауз встретил их на лестнице. Он сказал Белкину:

— Идет на хорошем нерве. Чувствуется пульс.

Ниночка заняла свое место в первом ряду, рядом с подругой, увесистой и томной девицей, прибывшей со своим тонконогим литератором, который так же, как и Белкин, участвовал в вечере.

Критик Арабажин проклинал с трибуны города, именуя их каменными мешками, и призывал изумленную публику уйти в леса и поля. Это был известный третьеразрядный говорун, способный сколько угодно болтать на любую тему. Шпергауз выпустил его в ожидании очередного светила — Белкина. Он умело тасовал людей, и такие, как Арабажин, были необходимы в его диспутах, как антракт или как бутылка шипучего лимонада.

Зал был переполнен. Сзади и по бокам стояли. Здесь собрались самые разнообразные люди — гимназисты, адвокаты, фармацевты, студенты, литераторы, курсистки, офицеры, старые дамы, филеры из охранки, «богоискатели», шпики, чиновники, богатые франты и невесты еще кто. Даже какой-то купец в широком кафтане восседал, сложив руки на животе, солидно, как в магазине.

Кто-то позади Ниночки сказал тихо, когда Белкин появился на трибуне:

— Похож на мопса.

Но «мопс» с ходу пошел в атаку на публику, утверждая, что лишь немногие «избранные» и «посвященные» имеют право на господство в этом мире, и возвеличивая женщин, покорных как молчание. Он был награжден шумными овациями, потому что мужчины почувствовали себя избранными натурами, а женщины — молчанием.

Ниночка поднялась с места и пошла в артистическую, где Белкин уже принимал гонорар от вполне довольного им Шпергауза.

Вслед за ней прошел упитанный господин с аккуратной бородкой, державшийся в своей модной визитке с непринужденностью человека, знающего себе цену. Это был адвокат, предавший Лангового.

— Почтение Шопенгауэру! — заговорил он, пожимая руку Белкину. — Блестящее выступление, дорогой Заратустра! — Он умел быть развязным даже с такими высокомерными личностями, как Белкин. — Только что получил французский перевод вашей книги. Да, признание Парижа — это не какая-нибудь российская известность. Центр мира! Факт.

Он посмотрел на Ниночку, которая стояла возле Белкина. «Хорошенькая», — подумал он с завистью.

Белкин славился своими победами над верными женами и девушками из приличных семей. А эта девушка, бесспорно, принадлежала к очень порядочной, состоятельной, интеллигентной семье. Она казалась немножко бледной, но у нее были очаровательный овал лица, темные настороженные глаза при светлых волосах, тоненькая наивная шейка с дрожащей жилкой. Высокая, очень стройная девушка с длинными ногами, спрятанными под длинным платьем, из-под которого виднелась только туфелька, тонкие пальцы рук ухватились за сумочку, как за спасение. Никакой пудры и красок, все естественно и невинно. Такие готовы верить всякому вздору как откровению. У адвоката даже дернулось лицо — такая его охватила зависть к Белкину.

Белкин проговорил, знакомя его с Ниночкой:

— Дочь профессора Кондакова.

«Ого», — удивился адвокат. К зависти прибавилось неприятнейшее уважение к философу. Адвокат очень не любил уважать, но, для того чтобы оторвать девушку от такого отца, надо было иметь силу. Он уважал философа против воли.

— Ваша мысль о необходимости господства немногих светлых умов над хаосом и мраком жизни, — продолжал адвокат уже серьезней, — замечательна, как и ваша ориентация на Европу. Без лести скажу, что из современных идеалистов в философии и западников в общественности вы в Петербурге наиболее последовательный и логический ум. Факт.

Зима выдалась чудесная. Стояли ясные, морозные дни. Трудно было оставить набережные Невы, так хорошо гулялось на них. По вечерам яркие огни загорались в центральных кварталах города, и парочки мчались на лихачах по улицам и проспектам. Еще несколько саней присоединились к тем, что катили по льдовому мосту, недавно повисшему над прославленной северной рекой. Сани мчались от Марсова поля между выстроившихся рядами светлых фонарей, мимо Петропавловской крепости. Белкин обнимал Ниночку за талию.

В шумном зале ресторана составили столы у окна, занавешенного белой, в волнообразных сборках, шторой. Свет люстр поблескивал на графинах, бокалах, женских ожерельях, мужских булавках. Адвокат сел

рядом с Ниночкой. Эта невинность в таком Вавилоне неотразимо его прельщала. Зависть все глубже забирала его.

Собравшиеся здесь принадлежали к одному слою петербургских людей, высокомерно убежденных в своем превосходстве над всеми другими, обыкновенными людьми. Похоже было, что в новом виде, с новыми мистическими, выпренными обоснованиями, в них возродилась старая, знакомая спесь — аристократическая, дворянская, буржуазная, даже купеческая.

Сама того не замечая, Ниночка подделывалась под их стиль, совершенно как сбита с толку модистка, обожающая романы из великосветской жизни и млеющая при словах «маркиз» или «герцог». Разница состояла только в том, что Ниночке, профессорской дочери, «маркизов» и «герцогов» заменяли «озарения» и «бездны». Отец особенно негодовал именно на эту вдруг явившуюся в ней препротивную чванливость, которой раньше у нее и в помине не было, которая ей решительно не шла, уродовала ее. Но за последние недели к ней опять возвратилась прежняя естественность в поведении и разговоре, и она казалась простенькой и лишней в этой компании.

Ресторан, куда Белкин привез Ниночку, был четвертым или пятым местом, в которое попал сегодня Иван Терентьевич. В каждом заведении он выпивал и, долго не задерживаясь, уходил. Его неотступно преследовали мысли обо всех когда бы то ни было виденных им мастеровых людях, одинаково страдающих и от машины, и от отсутствия ее.

С Иваном Терентьевичем никогда еще не случалось такого. Оказалось, что не так просто разделаться с запавшими в душу впечатлениями. Надо было выплеснуть их в решительное действие, но убей бог, если Иван Терентьевич мог сообразить, в какое именно. «Слесарь будет командовать нами, инженерами», — вспоминалось ему. «Зло есть добро...», «Не ты выручишь рабочего, а рабочий тебя...»

Если б мельканье мыслей, обрывков воспоминаний, неожиданных решений могло производить ветер, то появление Ивана Терентьевича, как вихрем, сдувало бы всех попадавшихся ему на пути. Но никто не чувствовал бури, гонявшей Лангового по городу, — ни знакомые,

встречавшиеся ему, ни официанты, ставившие перед ним водку с закуской, ни накрашенные и напудренные девицы, силившиеся уловить этого выгодного мужчину.

Иван Терентьевич отмахивался от девиц, здоровался со знакомыми, целовал руки женщинам, отвечал на вопросы, сам спрашивал о чем-то, даже смеялся, шутил и вообще имел обычный вид закутившего человека, еще бодрого и веселого, но уже обреченного заснуть в самых неожиданных объятиях.

Когда Ниночка увидела, что он вошел в зал, ее так и потянуло к нему. Вся кровь, казалось, прихлынула к ее лицу.

Иван Терентьевич, увидев Ниночку, без размышлений пошел к ней с улыбкой, весь вечер не сходявшей с его лица. Лицо было красное, почти багровое, и Ниночке вспомнился ее давний сон. Она с некоторым страхом убеждалась, что Ланговой пьян. Но ведь и ее спутников никак нельзя было назвать трезвыми.

Здороваясь с Ниночкой, Иван Терентьевич заметил адвоката, и улыбка сползла с его губ. После того, что между ними произошло, Ланговому приходилось встречаться со своим бывшим приятелем в общественных местах, и он всегда делал вид, что незнаком с ним. Но теперь не притворишься — слегка помятое, с холеной бородкой лицо адвоката было прямо перед его глазами. Все гонявшие его сегодня по городу чувства как бы сосредоточились в ненависти к этому человеку, который предал его, обманул, обокрал. И у него вырвалось непроизвольно:

— Как вы можете, Нина Павловна, сидеть рядом с подлецом?

Ниночка и не усомнилась в том, что он так обозвал Белкина. Она ахнула. Сейчас сбудется сон, и голова Ивана Терентьевича покатится по полу вся в крови. Она в ужасе взглянула на философа, но тот сидел неподвижно, презрительно сжав губы. Ничего не случилось. Голова Ивана Терентьевича уверенно сидела на его плечах. Храбрый философ безропотно принял оскорбление.

Адвокат по одному ее взгляду, по повороту головы тотчас же угадал ошибку и немедленно использовал ее.

— Как вы смеете оскорблять всемирно известного мыслителя! — возмущенно проговорил он. — Извольте убираться прочь, пьяница!

Таким образом получилось, что Иван Терентьевич действительно назвал подлецом Белкина. Но Иван Терентьевич слышал только себя.

— Я вызываю вас, — коротко сказал он. — Завтра в восемь часов утра...

И он назвал место встречи.

— Николай Евгеньевич, — обратился к Белкину адвокат, — вы слышите, этот пьяный господин вызывает вас на дуэль?

— Я вызываю вас, — повторил Иван Терентьевич, сделав ударение на слове «вас».

Но адвокат и тут не растерялся.

— Значит, сразу двонх? — усмехнулся он.

— Пожалуйста. Если хотите — двонх.

— Прямо Дюма! — рассмеялся адвокат, несколько не обеспокоенный. — Николай Евгеньевич, нам предстоит завтра драться с господином Ланговым.

Белкин молчал, сжав свои бескровные губы. Презрительное молчание — отличный способ в критические минуты. В крайнем случае следовало встать и удалиться с высокомерным видом.

Вдруг перед Ланговым очутился плотный офицер, до того почтительно молчавший где-то с краю стола и безмерно уважавший знаменитых людей, в общество которых он попал. Он сказал Ивану Терентьевичу:

— Вы будете драться со мной. Вы оскорбили замечательных деятелей, и я вызываю вас.

— Теперь уж ровно три мушкетера! — захохотал адвокат.

Со стороны нельзя было и заподозрить того, что тут происходит. Казалось, что к столу подошел добрый знакомый и затеялся оживленный разговор.

Адвокат сказал издевательским тоном:

— Не слишком ли рано — в восемь часов? Люблю, грешный человек, поспать...

— В час у меня лекция, — отвечал Иван Терентьевич. Он и не думал хвастаться или кичиться спокойной уверенностью в победе. Часы лекций были для него священными, и ничто не могло бы заставить его нарушить их. Но этот ответ вдруг сбил с толку адвоката. А Иван Терентьевич продолжал: — Не извольте шутить. Я за-

втра пристрелю вас обоих, как бешеных собак (про офицера он и забыл).

Весь комизм этой сцены отскакивал от него, он сохранял полную серьезность. Адвокат больше не смеялся, он даже слегка побледнел. Белкин пожелтел, но сохранял молчание.

Иван Терентьевич обернулся к Ниночке (он был уже почти совсем трезв) и очень вежливо вымолвил:

— Разрешите, я провожу вас домой.

Ниночка встала и пошла с ним. Томная, увесистая девица, сидевшая рядом со своим литератором, тоже охотно пошла бы сейчас за Иваном Терентьевичем, хотя и привыкла презирать его.

Ниночка действовала без размышлений. А Иван Терентьевич, добыв без номерка ее пальто и подавая ей, проговорил с обычным добродушием:

— Это пальто старит вас, вам бы нужно что-нибудь повеселей.

Только на улице Ниночка обрела дар речи.

— Я вас умоляю — не надо стреляться! — воскликнула она.

— Успокойтесь, Нина Павловна, — делая знак извозчику, ответил Ланговой. Он чувствовал себя отлично. Напряжение разрешилось в действии. — Очень жалею, что это произошло при вас, — добавил он.

— Не надо! — повторила Ниночка.

— Вы боитесь за него? — сухо зато спросил Иван Терентьевич. — В этом я не могу вас ничем утешить.

Она взглянула на него со странным выражением, которого он не понял.

— Не надо меня провожать, — сказала она, — я еду сама.

Иван Терентьевич подчинился. Поддержав под локоть, он усадил ее в сани, застегнул полость, вежливо снял шляпу и отступил к тротуару.

XII

Чуть рассветало, когда Иван Терентьевич отправился на вокзал. Утренний поезд был почти пуст. Сойдя на одной из ближайших станций, Иван Терентьевич прошел к деревянной дачке и так сильно стукнул в оледенелое окошко, что с наличников посыпался снег. За окошком

мигнул огонек, и вскоре со скрипом и хрустом отворилась примерзшая дверь. На крыльце появилась длинная фигура. То был отставной поручик Максим Павлович Восковой, танцор и романтик, постоянный житель этого пригородного дачного поселка. Он вышел в тулупе, надетом прямо на нижнее белье, в валенках на босу ногу, в форменной фуражке на рыжих лохмах. Вглядываясь в мглистом сумраке зимнего утра в разбудившего его человека, он спросонья не узнавал его.

— Это я, Ланговой.

Мгновенная перемена произошла с отставным военным. Он радостно схватил руку инженера.

— Максим Павлович, — здороваясь, сказал Ланговой, — у меня тут за леском сейчас будет дуэль, одевайтесь, будете моим секундантом.

Иван Терентьевич знал, к кому обращался. Ни о чем больше не расспрашивая, храбрый вояка исчез и быстро вернулся, готовый к походу.

Они шли недолго. Впереди выступили толстые, с сильным инеем на черной коре, стволы, неуклюжие, торчавшие из белых сугробов. Ивану Терентьевичу почудилось, что это остатки толпы великанов, — всем удалось спастись, а эти застряли в мерзлоте, застыли с растопыренными, голыми, посыпанными снегом ветвями. Среди их черных заиндевевших туловищ сумрак сгустился, только снег белел под ногами. За леском стало светлей, далеко вокруг распростерся белый покров.

Иван Терентьевич с Восковым вышли на широкую площадку над ледяной горой, расчищенную и умятую любителями спорта. Это и было место назначенной встречи. Мороз сильно щипал лицо.

Еще в леске Иван Терентьевич увидел привязанных к деревьям лошадей. На площадке его ждали три человека в военных шинелях. Это были вчерашний штабс-капитан, его секундант и доктор. Белкина и адвоката не было. Секундант штабс-капитана, подпоручик с веселыми черными глазами, после первых представлений заявил, что они и не явятся.

— Они официально отказываются от дуэли. Они считают дуэль варварством.

При этом он иронически пожал плечами, как бы извиняясь за это странное мнение, которое, однако, вынужден передать.

Штабс-капитан стоял неподвижно, молчал и угрюмо глядел себе под ноги.

Дело принимало неожиданный оборот. Ивану Терентьевичу предстояло стреляться с незнакомым человеком, против которого он решительно ничего не имел. Это было глупо, и он проговорил:

— Мы не ссорились с господином капитаном. Я вышел драться не с ним.

Подпоручик опять пожал плечами, но на этот раз с явным сожалением.

— Вызов сделан, и противники должны обменяться выстрелами.

— Как хотите, — отозвался Иван Терентьевич.

Тут подал голос доктор, человек деловитый и серьезный. Он осведомился:

— Куда прикажете потом понести раненого или труп? Нет даже дровней.

При слове «труп» Иван Терентьевич, насупившись, глянул на этого грузного человека. Неделikatно еще живого человека называть трупом...

Восковой заметил успокоительно:

— В полуверсте домик, там есть и лошадь и сани. Все будет в порядке.

Иван Терентьевич представил себе, как его безжизненное тело — труп — несут, спотыкаясь и скользя, по мерзлой дороге, и глубоко вдохнул в легкие морозный, живительный воздух. «Ах, как прекрасна жизнь!» Он оглядел снежные пространства, с которых солнце снимало тень, и упоительная страсть к жизни овладела им. Удивителен мир, в котором он живет. Он не хотел покидать его. Нет, он не даст себя убить!

Голос секунданта пробудил его. Противники заняли отмеченные позиции. Два совершенно незнакомых человека по сигналу стали целиться друг в друга. Иван Терентьевич вспомнил, что не знает даже фамилии своего противника, и подивился бессмысленности положения. Но ничего не поделаешь! Обычай, традиция, самолюбие — черт его ведаёт что — держали его под дулом. Он наводил револьвер на человека, которого не оскорблял и который тоже не нанес ему никакой обиды.

Штабс-капитан добросовестно целился прямо в лоб Ивану Терентьевичу, и злоба вспыхнула в Ланговом. Возможно, что все это сговорено и перед ним просто

наемный убийца? Глупая, унижительная гибель! Адвокат с Белкиным будут издеваться и хохотать. Все-таки это дуэль с врагами...

Два человека целились друг в друга, а еще трое спокойно наблюдали за ними.

Вдруг штабс-капитан согнул руку в локте и выстрелил в воздух. Звук выстрела пошел весело щелкать по стволам деревьев, и вся природа как бы развеселилась. Снег начал искриться на солнце, дохнуло теплым ветром. Иван Терентьевич с облегчением поднял руку к небу и пустил пулю в сизый морозный дым.

Штабс-капитан торопливо шел к инженеру с протянутой рукой.

— У вас есть честь, — говорил он. — Заявляю вам это как офицер русской армии. Вы смело стояли под выстрелом. А у них нет чести, я больше не уважаю их. Я думал, что они действительно презирают смерть, а они просто трусы. Они сказали мне, что мой долг убрать вас с этой земли, что это мое назначение, а им нельзя опускаться до таких пошлостей, как дуэль. Но я не холоп, не холуй, не слуга этим господам. Я их презираю.

И он крепко пожал руку Ивану Терентьевичу. У него было широкое, добродушное лицо славного малого и хорошего товарища.

— Штабс-капитан Яблоков, — представился он.

— Современная дуэль, — протворил Восковой. По долгу своей романтической репутации он выказывал недовольство, но был доволен. — Выстрел в воздух, поцелуй, не хватает только шампанского.

— Оно будет в воскресенье, — заявил штабс-капитан. — Встреча — здесь, на площадке, в час дня. А сейчас нам — в казармы. Служба.

Офицеры с доктором ускакали в город.

— Пойду досыпать, — сказал Восковой. — Под выстрелом вы стояли недурно, — снисходительно добавил он, улыбнулся и обнял Ивана Терентьевича. — А в общем, хорошо, что так кончилось. Вы куда сейчас?

— Погуляю немножко, — ответил Иван Терентьевич. — К «баронессе» пойду. Вы отправляйтесь к себе, в воскресенье выпьем.

Оставшись один, Иван Терентьевич подумал о том, что все вышло очень глупо, но жизнь тем не менее пре-

красна. Прекрасно зимнее утро, в снегах, в мгlistой дымке, у молчаливых деревьев, которые, как добрые толстяки, как радушные хозяева, предлагают гостю все богатства природы — от чистейшей белизны земли до бледно-синей глубины неба, раскрывающейся в первых солнечных лучах. Ланговой очень удивился бы, если б ему напомнили, что по дороге сюда те же самые деревья казались ему остатками толпы великанов, не сумевшими вырваться из пленившей их мерзлоты.

Это место было хорошо знакомо Ивану Терентьевичу по лыжным прогулкам. Неподдалеку стоял домик, где обычно останавливались ходившие сюда любители спорта. Этот домик под стиль финского пансиона содержала женщина, прозванная «баронессой», хотя баронессой она не была. С молодых лет она служила гувернанткой в богатых семьях, а затем, подкопив денежек, открыла это доходное заведение. Прежние связи обеспечивали ей хорошую клиентуру. При ней состоял муж, которым она командовала как хотела и который никогда не осмеливался ревновать ее. «Баронессой» ее прозвали потому, что по мужу ее фамилия была Корф. Может быть, она вышла за него замуж только из-за того, что, не будучи бароном, он все же носил баронскую фамилию.

Направляясь к «баронессе», Иван Терентьевич еще издали заметил Ниночку в ее каракулевом пальто. Чуть не падая, Ниночка спешила к нему навстречу.

— Господи! — воскликнула она. — Дуэль состоялась?.. Я слышала выстрелы. Я с первым поездом... Я так озябла...

Ее появление поразило Лангового.

— Успокойтесь, — сдержанно сказал он, — мои противники не явились; они, видите ли, принципиально против дуэли.

— Он не явился? Испугался? Я так счастлива...

Это были не совсем понятные ему слова. Он ответил все так же сдержанно:

— Он мирно почивает у себя дома. Не лучше ли проглотить «подлеца», чем подставлять под пулю свой высокоуменный лоб? Не лучше ли провозгласить, что дуэль — варварство? Впрочем, должен заметить, что дуэль — это действительно гадость и варварство. Но вся их жизнь — совершенная безправственность, и я не нашел, к сожалению, лучшего средства.

Они шли к домику «баронессы». Ниночка слушала Ивана Терентьевича с необычайным вниманием.

— Но выстрелы! — вдруг встрепенулась она.

— Ерунда, — отозвался Иван Терентьевич. — Был офицер. Они не сочли варварством послать его, чтобы он стрелялся за них и убил меня. Но мы обменялись выстрелами в воздух. Офицер оказался порядочным человеком, что не так уж часто встречается в нашем обществе.

— Господи, — сказала Ниночка.

Они вошли в домик, где постояльцы «баронессы» уже сидели за завтраком. Среди них, в компании молодых людей, Иван Терентьевич увидел Гентера, того самого, который претендовал на его место в институте. Иван Терентьевич подумал, что Гентеру кто-нибудь сообщил о дуэли и он прикатил — в надежде на смерть конкурента.

Иван Терентьевич сейчас готов был всего ждать от петербургского общества, но Гентер ночевал здесь и о дуэли ничего не знал. До окончания вакаций оставалось два дня, и он в полную меру пользовался последними свободными днями. Он был постоянным посетителем «баронессы», и Ланговой часто встречался тут с ним.

XIII

Иван Иванович Гентер был учителем математики и физики в Катариненшуле, одном из петербургских немецких училищ. Преисполненный почтения к излагаемым им предметам, он даже и не мыслил о том, чтобы прибавить хоть одно слово к сказанному в учебниках, а уж тем более — хоть одно слово изменить. Он строго держался в рамках уже известного, но при этом считал себя мечтателем и фантастом. Увлекаясь романами Уэллса и других авторов того же рода, он любил поражать общество сказками о будущем. В фантастических измышлениях, которые он часто вплетал в беседу, ничего своего тоже не было — он просто пересказывал прочитанное.

Гентер всегда был неприятен Ланговому именно этим сочетанием полного отсутствия фантазии с репутацией фантазера, которую он приобрел не только у людей, ни-

чего не смыслящих в технике, но и у некоторых «замшелых», как выражался Иван Терентьевич, ученых. Сейчас он был ему отвратителен.

Гентер, в свою очередь ненавидевший Лангового, выразил при виде его такую радость, что на миг сам поверил тому, что обрадовался. Растроганный своей кротостью и душевной чистотой, он даже собрался прослезиться, но Иван Терентьевич расхолодил его, хмыкнув и кивнув головой в ответ его приветственные восклицания. «Баронессу» же, которая встретила его с искренней радостью, он расцеловал в пухлые щеки и тотчас же заказал ей завтрак на двоих. При виде еды в нем проснулся волчий аппетит.

Он и раньше появлялся здесь с Ниночкой, и никто не подозревал, что сегодня их привело сюда необыкновенное обстоятельство.

Поедая блинчики со сметаной, которыми славился пансион «баронессы», Ланговой старался не слушать и все-таки слушал, как Гентер объяснял молодым людям, что такое отдых.

— Я шел на лыжах со станции, и это был отдых от умственного труда, — поучал Гентер. — А когда есть физическая усталость, то приносят пользу умственные упражнения. Как вот, кто может сказать, сколько будет восемьдесят семь в квадрате? — вдруг обратился он к молодым людям.

Он еще со вчерашнего вечера присоседился к этой компании студентов и курсисток, смешливых и шумных. «Люблю молодежь», — говаривал он.

Без карандаша и бумаги никто не мог возвести восемьдесят семь в квадрат.

— Семь тысяч пятьсот шестьдесят девять! — победоносно возгласил Гентер. — Как вот это есть отдых от физического упражнения. Прошу назначить мне всякое двузначное или трехзначное число, и я возведу в квадрат во время в две или три секунды.

Он обладал хорошими чисто механическими способностями и быстро, безошибочно стал возводить в квадрат числа, которые предлагали ему молодые люди.

Ланговой, выпив кофе, встал и обратился к Ниночке:

— Не хотите ли на воздух?

Они вышли на веранду.

— Посидим тут тихонько, — предложила Ниночка.

— Даже вздремнуть можно, — отозвался Ланговой. Было истинным наслаждением по старому знакомству запросто вести себя друг с другом.

Они вытянулись на шезлонгах, набросив на ноги лежавшие здесь теплые пледы и закрыв глаза. К Ивану Терентьевичу возвращалось то умиротворенное чувство, которое он испытал, когда остался у ледяной горы наедине с милыми толстыми дубками, под которыми летом плодятся целые семьи боровиков.

Но Гентер тоже вышел на веранду в окружении молодых людей, которые приставали к нему.

— Что же дальше? Рассказывайте дальше, Иван Иванович!

Гентер не торопился. Он промолвил:

— Приносит большую пользу сидеть тепло одетый полчаса на свежем воздухе.

В своем немецком училище он преподавал на немецком языке и общался чаще с немцами, чем с русскими, поэтому был в некоторых неладах с русским языком.

Устроившись на шезлонге, он продолжал разговор, начатый, очевидно, в столовой:

— Как вот, вдруг в мастерской стоят послушные автоматы и делают все лучше, чем человек. И входит хозяин, и он очень доволен. Но когда он недоволен, то он отдает негодного рабочего в ремонт и заменяет его новым...

Он аккуратно компилировал вычитанное из книг и журналов. Это были знакомые смертоубийственные сказки о замене людей машинами. Буря вчерашних чувств проснулась в душе Лангового. Он открыл глаза.

— Как вот, — продолжал Гентер, — вдруг объявлена война. И тогда открываются самые большие склады в стране, и оттуда выходят солдаты, много солдат с пушками и ружьями. И это тоже автоматы, и когда враг повредит их, то их отправляют в ремонт, а потом они снова сражаются.

Гентер торжествующе оглядел потрясенных слушателей.

— И это будет непобедимая армия, и только инженеры-полководцы будут в ней людьми, и они будут управлять издали, куда не могут долететь ядра. Инженер — управитель мира, хох, хох! — заключил он, под-

няв кверху длинный палец. — Инженер — хозяин-распорядитель!

«Ну да! Машины — то для коллективного самоубийства, то просто для убийства. А инженеры — палачи при заводчиках и философах. Это и есть — власть ученых?» Иван Терентьевич шевельнулся, собираясь перебить Гентера, но его опередила девушка с ясными глазами и с ямочкой на пухлом подбородке.

— А я филологичка, — заявила она. — Мы тут все филологи. Куда же нас денут ваши инженеры?

— Не беспокойтесь, — сказал Ланговой, — у меня будет своя армия, и я беру под защиту всех филологичек. Как вот, — продолжал он, не сдержавшись (уж очень ему захотелось передразнить Гентера), — предлагаю, пока не случилась эта беда, взять салазки и пройти к горе.

И он направился в гостиную.

Гентер, услышав свое «как вот», обиделся. Кроме того, слова «у меня будет армия», «я беру под защиту» прозвучали для него безответственной похвалой. Он считал, что Ланговой пробивает себе дорогу в жизни не честной, скромной, добропорядочной работой, а хвастовством, которое почему-то действует на людей.

— Какая беда? — строго осведомился он.

Ланговой ответил, остановившись и обернувшись к нему:

— Как вот та, которую вы хотите устроить, — война филологичкам.

Лицо Гентера, имевшее и без того цвет сырого мяса, стало багровым.

— Прогресс техники не есть беда, — произнес он внушительно. — Я говорю не шутки, это печатано в книгах. Как вот, — начал он, но тут курсистка с ямочкой на подбородке осмелилась хихикнуть, и он окончательно рассердился. — Как вот, — упрямо повторил он, — из человечества останутся только нужные люди, управители, это будет естественный подбор, и ненужный элемент истребится сам. Это есть борьба!

— Да что вы народ пугаете! — воскликнул Ланговой. — Я сам делаю машины. Мы, черт возьми, люди, а не автоматы и любим людей, машины делаем для людей, а не для неестественного отбора. Мы — хозяева

машин, а не машины — наши хозяева, и вообще жизнь и человек куда умней всех этих сумасшедших басен!

Он выговорил все это с такой запальчивостью, что Гентер, опасавшийся откровенных споров, промолвил примирительно:

— Это же только фантазия, развлечение внимания.

Ланговой заявил совсем уже несдержанно:

— Рассказывайте эти сказки Карлу Амалии Пантениусу, а нам не надо!

Карл Амалия Пантениус был директором Катаринепшуле. Учитель математики не мог допустить неуважительного тона по отношению к своему непосредственному начальнику и отозвался:

— Господин Пантениус тоже хотел выйти на воздух, он большой человек и большой спортсмен, но у него насморк, и я поехал один. Мы с вами не будем спорить, — добавил он, боясь новых выпадов со стороны Лангового, — мы лучше вместе пойдем гулять к горе.

— Баронесса, — обратился Ланговой к хозяйке, — где санки?

— На санках нельзя, — возразила «баронесса». — На горе ухаб, можно убиться.

— Какой ухаб?

— На каникулах испортили, завтра исправят.

— Тогда мы с маленькой горки.

— Я дам господину Гентеру санки под его ответственность, — ответила «баронесса». — Господин Гентер — благоразумный. А вам, Иван Терентьевич, я не доверяю, убьетесь.

— О, что может случиться! — улыбнулся Гентер, принимая салазки.

XIV

Это была высокая, крутая гора. Салазки развивали на ней такую скорость, при которой трудно становилось управлять ими. Теперь на самой середине горы образовался глубокий ухаб. Попав в него, санки неизбежно должны были перевернуться, и смельчаку грозила если не гибель, то уж, во всяком случае, серьезное увечье. Но ухаб тянулся не во всю ширину пути, слева оставалась неповрежденной узенькая полоска.

Ланговой, Гентер, Ниночка и студенты с курсистками, стоя на верхушке горы, оглядывали окрестность. Тихо. На снежных полях, далеко видных отсюда, почти не было тени. Леса чернели за играющими на солнце белыми пространствами. Множество дачных поселков жалось к железной дороге, сопровождая ее почти без перерыва — один поселок переходил в другой. Медленно двигался поезд, дымил паровоз.

Дышалось так легко и радостно, что Гентер сказал: — Надо вернуться и взять лыжи. Можно немного походить, погода очень годится.

Ланговой обернулся к скату и тронул ногой брошенные Гентером санки.

— А что, если попробовать? — подумал он вслух, всматриваясь в яму, черневшую на самом раскате горы. Он уже не искал умиротворения, наоборот, ему опять хотелось действовать.

Гентер заметил поучительно:

— Вы инженер и видите, что масса, помноженная на скорость, не позволит свернуть в сторону, сани влетят в яму, и — плумпф!

При этом он, откачнувшись и раскинув руки, изобразил, что значит — «плумпф».

— Вы точно рассчитали?

— Я могу рассчитывать на глаз, — сказал Гентер. — Катить с горы невозможно, это убийство самого себя.

— Это так же точно, как ваше будущее с автоматами и управителями?

— Еще больше точно.

— А если я попробую?

Очередная похвальба Лангового вывела Гентера из себя. В конце концов, надо бороться с хвастунами! Он раскричался:

— Вы не попробуете! Вы говорите нарочно, чтобы вас удерживали. Вы хвалитесь кинуть шапку. — Гентер разволновался и поэтому утратил всякое управление русскими словами. — Я хочу сказать, — поправился он, — закидать шапкой, это дурная русская привычка, чтобы хвалиться, а другие удерживали, а потом все говорят — «храбрец», «молодец». А храбрец-молодец ничего храброго не сделал, а только выпускал слова в воздух! Я буду говорить — прошу, пожалуйста. Чтобы вы сами

сказали, что катить нельзя, и признавались, что вы любите хвалиться...

Он не успел договорить: Ланговой кинулся грудью на санки, они скользнули вниз, и только снег взметнулся из-под полозьев.

Молодые люди, не ожидавшие такого безрассудства, заметались, одна из девушек истерически вскрикнула, другая закрыла лицо руками. Ниночка шагнула к горе, но тотчас же уткнула лицо в муфту, не желая ничего ни видеть, ни слышать, она почти умерла. Два студента побежали в обход вниз, а Гентер не в силах был даже отвернуться и стоял, расставив длинные ноги, раскрыв рот и выпучив немигающие, остекленевшие глаза. Он ужаснулся и неотвратимой гибели человека, и своей ответственности (он вспомнил, что санки были доверены ему), и, главное, непостижимому безумию поступка.

Ланговой понял, что совершил, когда уже неудержимо мчался вниз по крутизне. Санки падали, набирая скорость, и ветер резал лицо. Мыслей не было. Страха тоже не было. Наступила минута наивысшего напряжения всех физических и душевных сил. Движением, которого инженер не мог бы произвести, если бы обдумал его, — невероятным движением рук, ног, всего тела он своевременно, заранее сбил санки к краю, и они пролетели на сантиметр от ухаба.

Иван Терентьевич не слышал восторженного вопля наверху. Он направил санки обратно, на середину ската, и со стремительной быстротой вынесся на ровный путь в поле. Он встал чуть ли не в километре от маленьких фигур, которые махали ему сверху руками и шапками.

Студенты, бежавшие к нему обходным путем, были еще далеко. Он двинулся навстречу им.

На вершине горы его качали, и Гентер восклицал при этом:

— Хох! Хох!

Он был сильно поражен. Этому дьяволу удастся такое, что наверняка погубило бы всякого другого. Потому он и получил место в институте. Подумав так, Гентер пожалел, что его соперник не сломал себе шею, но тотчас же осудил себя за такую дурную мысль. Он хотел быть нравственным человеком, и он сказал Ивану Терентьевичу:

— Я вас хвалю, вы есть храбрый человек.

Иван Терентьевич ответил:

— Вы рассчитываете на автоматов, а человек такое выдумает, что все обычные расчеты — к черту. Человек умней и ловчей всякой машины.

Ниночка сказала умоляющим голосом:

— Иван Терентьевич, вернемся в город.

Слезы стояли в ее глазах. Он только сейчас заметил, какие у нее большие темные глаза.

— Идемте, — ответил он. — У меня в час лекция.

По дороге на станцию он заговорил:

— Вам привелось тревожиться из-за довольно смешных происшествий. Но я был бы очень доволен, если бы вся эта чепуха хоть немножко образумила вас. Досадно глядеть, как вы поддались влиянию черт знает кого. Не забудьте, что я приват-доцент и успел уже полюбить манеру поучать молодежь. Ваш Белкин — это же торговец ядом. Все они — торговцы ядом. Какие они философы! Только и могут придумать, что убийство или самоубийство, а чтобы помочь честному человеческому делу — этого нет, это они ненавидят, это им так же невыгодно, как и любому банкиру, Мердеру какому-нибудь. Им на всех наплевать, каждый из них любит и уважает только одного себя и за себя, за свою дрянную торговлишку готов горло перегрызть хоть кому. Ваш Белкин, как и все нынешние мистики, — ловкий делец, коммерсант, холодный и трезвый практик. Так и запомните на всю жизнь. Вы не должны быть под их влиянием. Вам, дочери такого человека, должно быть стыдно. Вам, может быть, скучно то, что я говорю?

Она ответила встревоженно и несколько невольно:

— Ах, я только из-за вас сегодня приехала, я ужасно за вас боялась, ведь их же трое!

Ее слова сбили Ивана Терентьевича с толку, и он не нашелся, что сказать.

Они молча дошли до станции и сели в вагон, переполненный молочницами. Только тут Иван Терентьевич вновь продолжил свои поучения, а Ниночка слушала, полураскрыв рот и не все понимая.

Это был не тот Иван Терентьевич Ланговой, которого она давно знала, а совершенно другой, новый, ни на кого не похожий. Тот не умел так умно и правильно говорить. Тот не был так силен и храбр. К тому же этот

новый Ланговой — необыкновенный красавец! Таких умных, смелых и красивых людей нет больше на свете, она готова была поклясться в этом.

Вернувшись домой после лекции, Иван Терентьевич нашел у себя на столе раскрытый дневник со своей последней записью. Он перечитал строчки, написанные им самим, и удивился событиям, которые за ними последовали. Все его поведение решительно противоречило им. «Я бросаю пить и женюсь», — прочел он еще раз, неодобрительно покачал головой и зачеркнул «бросаю пить». Это уж слишком. Зачем отказываться от вина?

К вечеру его потянуло на улицу. Он пошел к Кондаковым, скрывая от себя, что на этот раз идет отнюдь не к старику...

Подходя к дому, где жил профессор, он увидел у подъезда в блике фонаря Ниночку, и ее каракулевое пальто показалось ему сейчас самым замечательным пальто на свете. Оно удивительно ловко сидело на ней, в нем она казалась еще выше, чем на самом деле. Она держалась очень прямо, и какая гневная энергия выразилась в жесте, которым она заправила под шляпку заиндеветшую прядь! От гнева и мороза лицо ее разгорелось. На кого же она так рассердилась? В мужчине, который стоял спиной к нему, в тени карниза, Иван Терентьевич узнал Белкина.

Ниночка отвернулась от философа и увидела инженера. Ее глаза блеснули — ни у кого другого не было таких больших, темных, сияющих глаз, — и она шагнула ему навстречу. Они и не заметили, куда исчез Белкин. Входя в подъезд, Ниночка проговорила вздрагивающим голосом:

— Я так озябла...

Иван Терентьевич прижал ее к себе, и шляпка у нее сбилась набок, когда он поцеловал ее в мягкие, несопротивляющиеся губы.

В тот же вечер Ланговой официально просил у профессора Кондакова и его супруги руки их дочери. Старик радостно обнял его, а потрясенная Евгения Львовна вымолвила на самых низких нотах своего контральто:

— C'est horrible!¹

Но не возразила. С некоторых пор жизнь в доме вообще пошла вопреки всем ее желаниям.

¹ Это ужасно (франц.).

В 1905 году в жизни профессора Кондакова совершился некоторый перелом. Профессор видел, как собирався в институте рабочий забастовочный комитет, присутствовал на митинге, и события увлекли его. Он выступал в печати с выражением сочувствия рабочим, а затем, после декабрьских арестов, хлопотал об арестованных, в том числе и о взятом тогда же Володе Макшееве. Потом он читал лекции в вечерней рабочей школе за Нарвской заставой. Однажды в школу нагрянула полиция, разыскивая большевиков, собравшихся сюда на районное партийное собрание. Оцепив здание, полиция сразу направилась именно в те комнаты, где происходило собрание, — видно, нашелся провокатор, выдавший легальную маскировку нелегального дела. Некоторым удалось пробраться из комнат, куда поспешила полиция, в аудиторию профессора Кондакова, где старик вел в тот вечер урок геометрии. Кондаков не только не возразил, но даже позаботился, чтобы всем ускользнувшему от полиции скорей дали тетрадки и карандаши, а сам, как ни в чем не бывало, продолжал занятия. Большевики усердно записывали теоремы и, когда на пороге появились городовые с приставом и штатским шпиком, профессор удостоверял, что все присутствующие — его ученики и находятся здесь с самого начала урока. Так он спас от ареста группу большевиков. Поведение профессора Кондакова, само его присутствие в школе в день партийного собрания показались полиции подозрительными. Старик и без того числился уже сомнительным по благонадежности. Поэтому у него на квартире и был произведен напугавший Евгению Львовну обыск, а ему самому было запрещено продолжать преподавание в рабочей школе. В последующие годы профессор Кондаков привык к своей кафедре, хотел верить в Государственную думу, прослыл чудачком, потому что о других думал больше, чем о себе. Приверженность его к рабочим людям росла, и летнее появление Володи Макшеева очень обрадовало старика.

В те счастливые дни, когда профессора неожиданно утешила свадьба Лангового и дочери, на него столь же неожиданно обрушилась клевета. Распространеннейшая петербургская газета назвала его черносотенцем. В до-

казательство приводились цитаты из его статей, проникнутых любовью к России и к русскому народу. Патриотизм точно и ясно приравнивался к черносотенству. Старик понимал, что его имя для общего удара по всему отечественному выбрано и подсказано газете воскресными гостями жены, ныне исчезнувшими из его дома. Статью подписал частый посетитель воскресных вечеров, тонконогий литератор, поклонник Белкина. Очевидно, это была месть Белкина. Об участии адвоката в этом хитром деле старик не мог знать — тот, во избежание встреч с Ланговым, ни разу не появлялся у профессора.

Газету финансировал банкир Мердер.

Профессор был потрясен. Он, не забывший, как многие другие, о пятом годе, все свои силы отдающий рабочим людям, объявлен черносотенцем!.. И еще с этакой двоедушной миной благородного возмущения!.. Вместо того чтобы готовить конспект пятой главы своего учебника — «Свободное движение тел», — старик тотчас же написал обстоятельное письмо в редакцию, заявляя резкий протест против гнусной инсинуации, открыто высказывая свои симпатии к рабочим людям и ненависть к их гонителям, а также утверждая, что именно любовь к простому народу и есть подлинный патриотизм. Затем он надел свой черный, длинный, старинного покроя сюртук, тщательно заправил под жилет черный галстук и отправился к одному из редакторов газеты, которого знал уже много лет.

Ему отворила дверь кухарка с засученными рукавами и багровым лицом, только что от плиты. Из кухни по всей квартире распространялся чад. В коридоре валялась крашенная деревянная лошадка, к ней подкатился пущенный невидимой рукой фиолетовый мяч, в комнатах что-то упало, и после короткой паузы раздался отчаянный вопль ребенка. Поднялся чрезвычайный шум, и кухарка убежала.

В переднюю вышел сам хозяин, старичок с поредевшей от преклонного возраста гривой, в пепельного цвета костюме. Весь он представился Кондакову выкуренной сигарой, пепел которой чудом держится, не рассыпаясь и сохраняя форму уже несуществующего, до конца израсходованного предмета.

Вид у старичка был такой, словно он удручен неизбывным горем и очень страдает оттого, что его почему-

то не стряхнули в пепельницу. Но он не вздыхал, не жаловался, а даже улыбался добрыми, наивными, ребячьими глазами. Здороваясь с профессором, он объяснил шум в квартире коротко и замогильно:

— Внуки.

В кабинете у него был беспорядок. Видимо, начали убирать, но бросили. На подоконнике валялась мокрая тряпка, в углу стояла метла, стопка книг с полки (очевидно, собирались смахнуть пыль) так и осталась лежать на письменном столе. Старичок сконфуженно огляделся, как человек, привыкший страдать безропотно, опустился в кресло у стола, а профессор Кондаков уселся перед ним, установив трость между ног и опершись на нее ладонями обеих рук.

— В вашей газете напечатана обо мне гнусная инсинуация, — начал профессор официальным тоном. — Я принес письмо. — Профессор снял одну руку с набалдашника трости, сунул ее в боковой карман, вынул письмо, вручил его либералу и продолжал: — Прошу опубликовать мой категорический протест.

Либерал прочел письмо и, казалось, задумался. Он больше привык молчать, чем разговаривать, — его заглушали как дома, так и в общественной жизни. Затем он заговорил, с некоторым как бы удивлением прислушиваясь к звукам собственного голоса:

— Мне это было очень неприятно. Поверьте, что я испытывал крайне тяжелые чувства. Но я взял себя в руки и терплю. Я выдерживаю удары судьбы у края могилы.

— Помилуйте! — воскликнул профессор. — Вам-то что выдерживать в данном случае? Это же вы — вы! — поместили в своей газете стряпню гнусного пасквилянта. Извольте, господа, опубликовать мой протест! Не вас, а меня оклеветали!

Либерал согнулся так, что, казалось, верхняя его половина на этот раз все-таки ссыплется в пепельницу.

— Поверьте, что я очень глубоко переживаю это событие, — с искренним чувством ответил он.

Звук собственного голоса, видимо, очень радовал его, он уже вновь хотел быть не пеплом, а настоящей толстой сигарой, дымить, как в былые времена.

— Это ужасно, — продолжал он, — когда старого, заслуженного деятеля обвиняют так, как вас. Мне было

очень тяжело, когда господин Белкин рекомендовал такого рода статью о вас для напечатания в нашей газете. Господин Белкин имеет репутацию одного из самых блестящих мыслителей современности. — Нечто вроде огонька появилось в потухших глазах либерала. — Мысль молодежи ушла далеко вперед. Они о многом судят не так, как мы в наше время. Еще Пушкин высказывался в этом направлении следующим образом: «Здравствуй, племя младое, незнакомое...».

Утомленный необычно длинной для него речью, либерал замолк и обратил свой добрый взор на профессора. Тот поднялся, и трость задвигалась в его руках.

— Какое племя? — с тихой яростью заговорил Кондаков. — Племя негодяев, растлителей, пошляков? Или племя работающих людей, нищих, загнанных в трущобы? О каком племени вы говорите? Кого приветствуете? — Он взмахнул тростью, и либерал с кротким недоумением проследил за этим небезопасным движением. — Помилуйте, господа, Белкин же мерзавец и шарлатан! — выкрикнул профессор. Он еще раз взмахнул тростью, словно собрался ударить. — Я требую прямого ответа — возьмете вы на себя труд опубликовать мое письмо в вашей газете или нет?

Либерал молчал, занятый не тем, о чем спрашивал его профессор, а собственными глубочайшими переживаниями. На повторный вопрос он отозвался с самым задушевным лиризмом:

— Мы тоже были когда-то молодыми и смелыми, как Белкин. Нет ничего лучше полной надежд юности. Сильные, бодрые, смелые... Что для молодежи авторитеты прежних времен? Тема Фауста пришла к нам на склоне лет.

Дверь отворилась, и на пороге появилась багровая кухарка.

— Барыня требует к завтраку! — возгласила она.

Либерал нерешительно взглянул на профессора. Тот взял со стола свое письмо (хозяин не возразил), поднялся и пошел из комнаты. Провожая его, либерал говорил, с наслаждением прислушиваясь к звукам своего голоса:

— Фауст возвращает себе юную любовь. А мысль? Можно ли нам, старикам, встать в ряд с молодыми

мыслителями? Белкин в тридцать два года назначен экстраординарным профессором университета. Выдающийся воспитатель молодежи... Но почему вы торопитесь? Да... — вдруг вспомнил он, завел профессора обратно в кабинет и даже запер дверь. — Я слышал о вашей болезни, сочувствую от всей души. Да, истощение мозга, очень тяжело, да, мне говорили, я знаю, есть свидетельство. Но представьте это медицинское свидетельство, оно все объяснит, оно реабилитирует вас перед молодежью, перед общественным мнением, я лично переговорю с молодой частью редакции, и мы поместим в хронике...

Профессор Кондаков молча отворил дверь и вышел. Либерал следовал за ним, испытывая нежнейшую любовь и дружбу к старому знакомому, современнику отошедших лет.

— Посидите хоть немного, — уговаривал он, — мне так радостно видеть вас, спутника жизни, у нас общие воспоминания, общие взгляды...

Но профессор Кондаков уже спускался по лестнице, и либерал горестно следил за ним, выйдя на площадку. Он даже перегнулся через перила, и это было уже подлинное чудо, что верхняя половина его пепельного тела не рассыпалась и на этот раз. Либерал душевно огорчился — в кои веки удалось разговориться, а человек вдруг встал и ушел. Почему?..

— Барыня сердится! — раздался голос кухарки, и либерал пошел завтракать.

Выйдя на улицу, профессор Кондаков остановился у подъезда. Безветренный, ясный день, мороз, влажный морской воздух! Само название улицы напоминало о море. Красивейший русский город, трудами поколений вставший у морских путей. Но перед глазами профессора дыбился гранитной глыбой, как новейшей системы Медный всадник, банкирский дом Вавельберга.

Профессор взмахнул тростью, подзывая извозчика. Ноги отказывались двигаться. Он ощущал усталость во всем теле. Как легки ему были некогда дороги и тропы! В нем вспыхнуло воспоминание о свадебном путешествии на родной Урал. Жена вскрикивала от восторга при каждой неожиданности, открывавшейся за поворотом. Всселая, цветистая, пахучая долина поражала глаз, только что озиравший угрюмое великолепие горных пихт и елей,

хрустальная речка пересекала путь, и вода в ней холодна и живительна. Хорошо. Большое озеро голубело у подножия черных, сердитых скал, такое прозрачное, что видна каждая белая галька на песчаном дне и лодка плывет, словно по незримому воздуху. Счастливые дни, без размышлений, без тревог... А в другой раз он повез молодую жену в родные места на рождественские каникулы.

И старый профессор увидел себя среди сверкающей, слепящей белизны сухой уральской земли. Жена, Женечка, запивает шаньгу парным молоком в домике лесничего, глаза ее блестят, когда она взглядывает на него из-под длинных ресниц.

И чувство молодой любви и радости охватило старика в каменных теснинах Петербурга.

— Барин, а барин? Мигом докачу, барин! Барин, вам куда?

Он наконец услышал и увидел извозчика. Вздохнув, он сказал адрес и с трудом взобрался в сани. Оправдаться медицинским свидетельством... Он — слабоумный, а Белкин — глубокий мыслитель, достойный воспитатель молодежи... Подлое время... Но ведь и раньше лилась кровь, и на Урале не было идиллии... Поумнел он, что ли, на старости лет? Стал замечать то, что раньше жизнь не чертила перед ним так отчетливо и резко?..

Извозчик остановился, отстегнул полость, и старик тяжело сошел на тротуар. Он расплатился и постоял перед подъездом, прежде чем начать трудное восхождение по лестнице, более трудное, чем некогда — на горы Урала. Так теперь всегда: после возбуждения — упадок сил.

И вдруг со страшной силой его снова ударила мысль о клевете. Ей поверят. Ее подхватят. Ее с особенным удовольствием разнесут те, которые, разыгрывая благородство, сами делами своими помогают черной сотне. Словесный спор не поможет. Тут нужны действия. Пусть эта самая черная сотня схватит его, как бунтовщика, и засадит в тюрьму. Пусть видят, кто черносотенец, а кто любит рабочего человека!.. Негодяи!

Ланговой и Ниночка ждали его. Евгения Львовна лежала с мокрым полотенцем на голове. Но старик не хотел вмешивать семью в свои дела, в свой бой против

клеветы. А уж в особенности он не желал вовлекать во все это Ивана Терентьевича и дочь. В крайнем возбуждении он вновь нанял извозчика и назвал ему адрес Екатерины Николаевны Макшеевой.

XVI

Севастьянов жил в маленьком домике за пустырем. Каждое воскресенье у него собирались гости. Смирнов, молодой парень, коренной питерский инструментальщик, садился с гармонью на лавку и заводил частушки:

Ванька с Питеру приехал,
Гармонь новую привез, —
Гармонь новая, с басам,
Играет разным голосам...

Форточка в любой мороз была открыта. Если из нее неслись веселые частушки, это значило, что и сегодня товарищ Макшеев проведет обычную воскресную беседу.

Сидя на своей лавке у окна, гармонист внимательно следил за ходом беседы. Если голоса беседующих слишком повышались, гармонь заглушала их жалостным «Колечком» или разгульным «Ухарем-купцом». Севастьянов часто специально просил Смирнова спеть военную песню — песню мужества и славы. Когда веселый инструментальщик, склонив голову набок и прислушиваясь к голосу гармонии, доходил до слов: «Последний парад наступает», на лице у Севастьянова появлялось особое сосредоточенно-строгое выражение. Он исподлобья оглядывал собравшихся, словно проверяя их готовность на борьбу и подвиги во имя сплотившего их великого революционного дела.

Иногда гармонь предостерегала. Однажды Котляков заметил, что возле домика, где жил Севастьянов, появился тот самый пропойца, который плясал в трактире для высокоуважаемого Арнольда Арнольдовича Нобеля. Быстрыми глазками он озираал каждого, кто направлялся к дому. В следующее же воскресенье раздалась предостерегающая песня Смирнова:

Трансвааль, Трансвааль, страна моя,
Ты вся горишь в огне...

Эта песня означала, что очередное собрание у Севастьянова отменяется.

С тех пор собрания у Севастьянова прекратились и назначались каждый раз в другом месте. Но тут произошли события, которые многое изменили, а многое ускорили.

Перед очередным воскресным отдыхом, когда чернорабочий мастер, прозванный сатаной, вышел из цеха, где работал Тимофей Котляков, ему накинули на голову мешок, перемазанный суриком, опрокинули, избили до потери сознания и, как падаля, бросили в углу двора. Ночной сторож наткнулся на его бесчувственное тело. Мастер был отправлен в больницу, а виновные остались неразысканными.

Под утро семью Котляковых разбудил грохот сапожищ и свирепый стук в дверь. Марья едва успела надеть юбку и кофту, когда ввалились околотовый с городовым и дворником Мефодием. Тимофею Петровичу завернули руки за спину. Марья с криком рванулась к полицейским, но слесарь грозно остановил ее, глазами указав на сына, и Марья поняла — нельзя оставлять мальчика и без матери. Она прижала его к себе и замерла. Лютый обыск все перевернул в конуре. Городовой Никифор Акинфиевич с особым наслаждением выкидывал постиранное белье из корзины на пол. Марья стояла неподвижно и неотрывно глядела на мужа, которого вязали, как убийцу.

Котляков ушел из цеха задолго до нападения на мастера, он и не знал, кто избил черносотенца, ему виделся другой путь, он и пить перестал с той поры, как стал ходить на воскресные собрания к Севастьянову, но начальство знало, что делало. Оно расправлялось со всеми подозрительными и неугодными.

Когда мужа увели, Марья сказала только:

— Вот, Васенька, и остались мы с тобой одни.

Слезы текли по ее щекам, но она сдерживала рыдания. Теперь Марья чувствовала в себе силу, какой не знала раньше. Никогда бы она не могла подумать, что сможет безмолвно смотреть, как городовые станут вязать ее мужа. Когда они бросились на Тимофея, у него вырвалось:

— Лютуйте, все равно нам — жизнь, а вам — смерть.

Эти слова продолжали звучать в душе Марьи и теперь. Серьезно взглянув на Васю, она сказала:

— Севастьянова знаешь?

— Знаю.

— Беги к нему да скажи про отца. За мной уяжутся, а ты — верткий.

Вася мигом добежал до домика за пустырем и забарабанил в дверь. На пороге появился сам хозяин, уже одетый и в валенках, — видно, не спал. Он пустил Васю в комнату и запер дверь.

Вася, не здороваясь, выговорил одним духом:

— Папку взяли в полицию!

Он неотрывно глядел на Севастьянова желтыми, не по-детски бешеными глазами и сжимал и разжимал, сжимал и разжимал свои крепкие пальцы. Широкие кисти его рук вылезали из рукавов короткого рваного пальтишка.

— Знаю, — хмуро отозвался Севастьянов. — Рассказывай, как было.

Мальчик совершил какое-то, словно глотательное движение, от которого голова и плечи его дрогнули, и вымолвил отрывисто:

— Мамка кинулась, да папка удержал. — Он снова дернул головой и плечами. — Веревкой вязали...

— Погоди, — прервал его Севастьянов. — Говори толковей, а то я не пойму.

Когда Вася кончил свой краткий рассказ, Севастьянов сказал:

— Погоди тут немного. На, поешь.

Он подвинул ему горбушку хлеба.

Только сейчас Вася заметил, что в углу сидит на табурете отец Вити Дремина. Снег, налипший на подошвах его сапог, таял, и на полу образовалась лужица. Дремин глядел на нее с укоризной, словно извиняясь за произведенный им беспорядок, и молчал.

Вася не притронулся к хлебу. Каждая жилочка в нем была напряжена. Он и думать не мог о еде. Мужчины тихо переговаривались в другом углу комнаты, а он ждал. В комнате было тепло от железной печурки. Света Севастьянов не зажигал, и в сумраке едва выступали стол посреди комнаты, несколько табуретов да кровать.

Раздался стук в дверь. Витя Дремин, Васин приятель, привел светловолосого мужчину. Это был Макшеев. Вася впервые видел его.

Присев рядом с Васей, Витя тотчас же ухватился за

хлеб и стал поедать его. Мужчины пошептались, а потом Севастьянов обратился к Васе:

— Ты, что ли, в типографии служил?

— Я, — отозвался Вася.

— Кого там знаешь?

Вася назвал метранпажа Демьяна Гавриловича.

Мужчины снова пошептались, а затем Макшеев сказал Васе:

— Приходи сюда к вечеру. Понадобишься. А теперь — ступай! И молчок! Хотя язык откуси, а не говори, где был и кого видел.

— Откушу, — ответил Вася с восторгом.

— Да всерьез-то не откуси, — улыбнулся Макшеев. — Молчи — и все тут.

Когда Вася вернулся домой, мать только взглянула на него, но ни о чем не спросила, и лицо у нее было строгое.

За столом сидел дядя Яша, и вид у него был серьезный, торжественный.

— Я самолично ходил к начальству, — говорил он, — свидетельствовал, что Тимофей в этом деле неповинный. Он у меня был, когда сатану калечили. Его выпустить должны, он — неповинный.

Мать поднялась и заговорила, обращаясь к дяде Яше:

— Все мы повинные, в своем горе повинные, в том, что чинят над нами, в злобе хозяйской повинные, и нет нам никакого прощения от господ да барынь. Мы — повинные! — Отведя руку в сторону, она поклонилась поясным поклоном не дяде Яше, а миру, людям, всей грешной земле. — Повинны, а прощения не просим, сами себя прощаем и сами себя виним.

Она поспешила отвернуться, потому что грудь ее поднялась от наплыва рыданий, горло сжалось, слезы закапали из глаз, а ей не хотелось, чтобы даже дядя Яша видел ее слезы. Она только промолвила прерывисто:

— Не отпустят его.

В этот час Макшеев шел к сестре. Обычно они встречались в потайном месте на Полюстровской набережной, и всегда как бы случайно. Но теперь сестра переменила жилье, да и слежка за ней, кажется, прекратилась.

Макшеев пересчитывал в уме арестованных за эту ночь. Начальство, видимо, решило как следует использовать случай с мастером.

Утро уже встало над городом. Гудки вызывали людей на заводы, дымили фабричные трубы. Огоньки гасли в окнах домов и домишек Выборгской стороны. Дворники лениво соскребали лед у подъездов и ворот. Из пекарни в переулочек вкусно пахло свежим горячим хлебом.

Макшеев вышел к Неве. Морозный ветер гулял по этой не одетой в гранит набережной, набережной заводов, а не иностранных посольств и богатых особняков. Ледяные просторы Невы казались тут дикими, и лохматые тучи плыли над ними, как громадные айсберги в Ледовитом океане. Торосы вздымались на реке застывшими глыбами, они громоздились друг на друга, как в отчаянной борьбе.

Закаленный сибирскими морозами, Макшеев не чувствовал холода. Он шел сейчас по Санкт-Петербургу, как по дикой тайге, где хозяйничают звери, свирепые, алчные звери.

Екатерина Николаевна, впусив брата, сказала:

— Ты неосторожен, Володя. У меня тоже могла быть полиция.

— Значит, ты знаешь о том, что случилось ночью?

— Ученики не забывают меня. Ко мне прибежал Костя Куклин.

— А ко мне прибежал Витя Дремин. У одного из ребят взяли отца.

— Да, у Васи Котлякова. Могут прийти и ко мне.

— Днем не придут, Катюша. Хищники любят ночь.

— Сейчас и день — как ночь.

— Слишком осторожничать тоже не нужно. Помнишь? — Он продолжал с силой: — Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Это сказал Ленин, Катя. Будем помнить, что за ночью с неизбежностью следует день. Дай бумагу и чернила, есть дело. А у тебя все-таки безопасней. Ты — с профессурой.

— Да еще с черносотенной, — усмехнулась Екатерина Николаевна.

— Что? — не понял Макшеев.

— Прочти. Купила, когда ходила за булкой.

И она подала ему газету со статьей о профессоре Кондакове.

Макшеев прочитал статью. Нажимая своими сильными пальцами на край стола так, словно хотел опрокинуть его, он вымолвил:

— Ложь, сплошная ложь кругом...

С фотографии, висевшей на стене, ему улыбался молодой человек в косоворотке с расшитым воротом. Это был жених Екатерины Николаевны, он второй год сидел в «Крестах». Макшеев взглянул на сестру. Совсем молоденькая девушка, бледненькая, худенькая, в простеньком, кое-где заштопанном платье. Рыженькая, с серыми глазами. Безмерная жалость охватила его, и он проговорил, все так же нажимая пальцами на край стола:

— Будем разгонять мрак, Катюша...

...Сойдя с извозчика у дома, где жила Екатерина Николаевна, профессор Кондаков с недоумением почувствовал, что тело не вполне повинуется ему. Мозг совершенно ясен, мысли отчетливы, а ноги странным образом не желают двигаться. Он с трудом заставил себя пройти в подъезд и взобраться на лестницу, останавливаясь чуть ли не на каждой ступеньке.

Когда Екатерина Николаевна открыла ему дверь, силы окончательно оставили старика. Макшеев подхватил его и уложил на кровать. Он был потрясен неожиданным появлением Кондакова.

«Совсем затравили старика», — с горечью подумал он и быстро заговорил:

— Я все знаю, решительно все. Ложь не пристанет к вам, поверьте. Народ снимет с вас клевету.

Что-то стукнуло сзади. Это упала стоявшая в углу трость профессора.

Грозная трость, которой старик так любил помахивать, беспомощно валялась на полу, поблескивая белым набалдашником. Макшеев поднял ее, и тут же в его голове мелькнула мысль, что старик больше не встанет. Жалость к старику охватила его, он подошел к нему и проговорил:

— Простите, я вынужден уйти, я не принадлежу сам себе...

Старик молча кивнул головой. Он лежал с закрытыми глазами, и странно было видеть умиротворенное

выражение на его всегда беспокойном, строгом и сильном лице.

Уходя, Макшеев сказал сестре:

— Передай от меня привет Ланговому.

Профессора Кондакова в карете отвезли домой и на руках внесли в квартиру. Все то дурное, что еще так недавно беспокоило его, отпадало само собой, и мысли обращались к тому хорошему, что было в его жизни. Ведь и за последний год многое изменилось к лучшему — его кафедра получила наследника, о котором он мечтал, — Лангового; Ниночка вышла замуж за его любимого ученика, как ему давно хотелось; даже жена стала мягче и послушней. Конечно, она привязана к нему: когда его внесли в квартиру, она сразу как-то притихла, лицо ее осунулось, а в глазах появилось выражение неподдельного горя. Значит, под конец жизни ему удалось кое-что побороть, удалось добиться своего. А клевета? Макшеев прав — ее опровергнут, отбросят, напрасно он так разволновался. Что же касается смерти, то до сих пор ее никому не удалось избежать. Но в легендах о Фаусте, в сказках о «живой воде», о «жизненном эликсире», в самой идее бессмертия есть, как во всяком творчестве, мудрое предвидение.

Нет, не о царстве божьем и не о загробной жизни думал в эти предсмертные часы профессор Кондаков. Ему виделись будущие открытия человека в его земной, хоть и довольно утомительной, но все-таки неотразимой радостной и милой жизни. Старик с удовольствием вспоминал о своей молодости, о своих успехах в науке, о любви, о том, как он был счастлив со своей Женечкой.

Он почти не мог говорить, но все слова, какие он произносил, были в утешение Евгении Львовне. Вполне сознательно он хотел избавить ее от угрызений совести, от мысли, что она хоть чуточку виновата в его смерти.

В эти последние дни профессора Кондакова он и его жена любили друг друга с такой же нежностью, как в далекие, первые дни супружества. Перед смертью старик захотел оправдать и простить жену. И он выполнил свою волю перед всем кругом знакомых и друзей. Насчет Ниночки и Лангового он не беспокоился — его научное дело в верных руках, а дочь стала подругой настоящего человека, не какого-нибудь пустельги.

Жизнь стремится вперед. Макшеев, Ланговой, рабочие, инженеры борются, добиваются правды и справедливости, а он, профессор Кондаков — таковы законы природы, — вынужден уйти. Но он убежден, что в конце концов все будет хорошо, люди найдут правду и истребят ложь. К сожалению, в последнем, решительном бою он уже не сможет участвовать. Он умирает, да, умирает, и тут уж ничего не поделаешь.

XVII

Банкир Мердер рекомендовал финансируемой им либеральной газете всячески расширять кампанию, начатую статьей против профессора Кондакова. Газета поддержала и поход против Горького, «конец» которого уже был объявлен. Грубые выпады против великого писателя заслонили эпизод с профессором Кондаковым.

Белкин шел в гору. Адвокат подумывал о покупке дачи в Сестрорецке или в Куоккале. У тонконового литератора появились деньги и апломб.

Белкин особо заботился о том, чтобы запомнилось имя Кондакова. Известие о тяжелом заболевании старого профессора подстегнуло Белкина с адвокатом и другим их литератором к новым нападкам на старика в печати. Старик лежал у себя дома и не мог сопротивляться. «Падающего — толкни».

Неожиданность пришла из черносотенных газет. «Русское знамя» и «Земщина» открестились от профессора Кондакова, как от бунтовщика, разрушителя основ, «врага отечества», «красного». Эти полицейские органы полагали, что Кондакову место в тюрьме, а не в «светлых рядах» черной сотни. Либеральная газета не опустилась до полемики с черносотенными изданиями, тем более что они имели хождение только среди полиции да самых темных низов — воров, убийц, погромщиков.

Многие петербургские газеты и высшие учебные заведения получили копии подлинного «письма в редакцию» профессора Кондакова с протестом против клеветы. Это сделано было Ланговым. Тонконогий литератор передал письмо в бульварный листок, и там оно было опубликовано под заголовком: «Не обижайте меня, бедного старичка! Ей-богу, я не Пуришкевич!». Текст был

переделан в раешник. Фельетонист листка получил за свой труд целых три рубля, которые в тот же день и пропил.

Черносотенные газеты, ссылаясь на этот фельетон, потребовали, чтобы бунтовщик профессор Кондаков был немедленно же сослан в Сибирь, после чего фельетонист в виде поощрения получил еще один рубль и предложение стать «редактором для отсидки».

В Сибирь профессор Кондаков не был сослан. Он умер. Ясность мысли не покидала его до последней минуты.

В те дни, когда умирал профессор Кондаков, на заводе Альфреда Густавовича произошло серьезное событие. Аресты взбудоражили рабочих. По рукам пошли листовки с прямым призывом к забастовке протеста. Завод забастовал. Это была политическая забастовка, первая после пятого года, грозное предвестие новых поднимающихся восстаний и бурь.

Вася Котляков бегал к метранпажу Демьяну Гавриловичу с текстом листовки, составленным Макшеевым, и относил отпечатанные оттиски к Екатерине Николаевне. В модельной мастерской он вместе со взрослыми кричал:

— Бросай работу!

Дядя Яша безмолвно глядел на происходящее сквозь стекла своих стареньких очков в стальной оправе. Оставляя работу и выходя во двор вслед за молодежью, он вспоминал Котлякова и сокрушенно качал головой.

...Похороны профессора Кондакова собрали множество народа. Непосредственно за колесницей Иван Терентьевич и Ниночка вели под руки Евгению Львовну, согбенную, почти бесчувственную, с красными слезящимися глазами, совершенно непохожую на ту жеманную даму, которая принимала у себя по воскресеньям модных знаменитостей. Иван Терентьевич плакал не стесняясь и отирал лицо платком, который все время держал в руках. Ниночка плакала вместе с ним. В душе своей она, жена Лангового, клялась сейчас не повторять ошибок матери.

Либеральная газета не смогла или не успела как следует скомпрометировать профессора, и на его похороны пришло много ученых, инженеров, студентов. Процессия растянулась на несколько кварталов. Позади медленно

двигались кареты и сани с дремлющими, осыпанными снегом кучерами на козлах.

Екатерина Николаевна, держа Васю за руку, шла в хвосте процессии. Рядом с ней шагал Макшеев. Присутствие брата волновало Екатерину Николаевну: она беспокоилась, что кто-нибудь узнает его, она никому здесь не доверяла. Вася тоже недоверчиво оглядывал господ, среди которых шел, и жалел, что ему не удалось еще раз взглянуть на чудного старика, который водил его по выставке новейших изобретений.

При повороте на Лиговку Екатерина Николаевна с братом отошли к тротуару и остановились.

— Я боюсь за тебя, — тихо проговорила Екатерина Николаевна, — ты стал удивительно неосторожен.

— Хорошо, я уйду, — согласился Макшеев. — Но ты напрасно преувеличиваешь, я знаю, где можно, а где нельзя... — Он помолчал и прибавил: — Хороший был старик...

Последние кареты заворачивали за угол. Макшеев, прожоя их взглядом, проговорил:

— Судьба науки тоже решится в революции. Умный был старик, а такая простая мысль не укладывалась у него в голове.

На кладбище, у открытой могилы, Евгения Львовна лишилась чувств. Ее в карете отвезли домой. Пока Ниночка слушала наставления врача, Иван Терентьевич прошел к себе в кабинет. Он чувствовал себя сиротой. Впервые в жизни он испытывал настоящее, подлинное горе.

Вынув свой дневник, он прочел последнюю запись: «Моя жизнь будет посвящена отныне только науке. Я оставляю мысль о практическом осуществлении своих идей — мои машины не нужны России, а строительство их за границей губит людей. Но научные идеи выше всех жизненных катаклизмов, когда-нибудь люди поймут, как надо жить, не причиняя вреда друг другу, и тогда скажется польза и от моих работ, которым я отдаюсь всей душой...».

Встреча с Макшеевым вновь вспомнилась ему. Он с некоторым удивлением понял, что эта встреча никогда не забудется. Привет от Макшеева, переданный ему, звучал для него сейчас призывом к неведомому бою. К какому бою?.. Иван Терентьевич шагал по комнате, думал, но не было еще полной ясности в мыслях. Присев к столу, он взял перо и приписал в дневнике:

«Понять, когда и как улучшится жизнь, я пока не в силах».

По представлению факультета он получил кафедру профессора Кондакова.

XVIII

Доклад Лангового на тему «Профессор Кондаков и отечественная наука» состоялся в Соляном Городке, на Пантелеймоновской улице. Научные доклады собирали здесь обычно мало народа. Петербургская денежная и гуляющая публика шла только на такие темы, как «Пол и характер» или уж в крайнем случае «Христос и антихрист». Мужчины, в костюмах самого модного покроя, держались на таких собраниях с любезным высокомерием существ высшего порядка. Дамы в мехах и бриллиантах сами себе казались соблазнительнейшими «безднами» и придавали своим взорам то самое глубокое, таинственное, призывное выражение, которое рекомендовано было модной беллетристикой. Неугомонные старушки, куря папиросы и пуская дым в лица встречаемых, с энтузиазмом протискивались к новоявленным гениям, чтобы замереть перед ними в экстазе. Столичная публика из всех научных тем снисходила только к авиации, поскольку авиаторы были зарегистрированы в мистических анналах как обреченные на гибель Икары.

Доклад Лангового, хотя это был научный доклад, неожиданно собрал полный зал. Инженеры и ученые (явились и некоторые «гуманитарии»), собравшись вместе, сами удивлялись тому, что их оказалось довольно много. Встречаться на похоронах — было естественно, традиция хоронить с почетом осталась нерушимой, но общественные собрания вышли из моды, они стали даже небезопасны. Казалось необыкновенным, что люди, уже привыкшие жить в одиночку, сошлись не на театральной премьере и не на официальном торжестве. Получилось что-то вроде совершенно непредвиденной демонстрации.

Было похоже, что приверженность к честным деятелям науки способна проснуться и в самом зачерствелом чиновничьем сердце. Благополучный тайный советник и умученный жизнью инженер, крупный делец и студент сидели рядом. Тщательно выбритые, солидные подбородки, подpiraемые ослепительно белыми ворот-

ничками, благоухали рядом с живописными, закрывающими полгруды бородами, черными, рыжими, седыми; щегольские мундиры высших чинов соседствовали со скромными пиджаками и тужурками. Мелькали даже косоворотки. Старый профессор после своей смерти умудрился хотя бы и ненадолго уравнять важных и неважных, чиновных и нечиновных. В первом ряду пыхтел толстый, с жирными складками на затылке, член Государственной думы, октябрист из инженеров, считавший своим долгом почтить память видного деятеля, состоявшего как-никак в немаленьких чинах и даже подвергшегося преследованиям этих проклятых либералов. Почел за благо явиться и известный либеральный священник с золотым крестом на богатой рясе, в очках и при обычной поповской бородке. Выполз сюда и пепельный либерал, сохранивший сладостное воспоминание о собственном голосе, который впервые за последние годы громко зазвучал при встрече с покойным профессором, но решительно не желавший помнить, что именно он согласился опубликовать в своей газете гнусную клевету. И только две женщины присутствовали на этом мужском собрании — Евгения Львовна, совершенно седая, с застывшим на лице трагическим выражением, и Ниночка, с обожанием глядевшая на своего мужа.

Вид общего единения не обманывал ни пристава, восседавшего в первом ряду, ни жандармского ротмистра, поместившегося позади, ни затесавшихся в публику филеров. Кондаков был бунтовщик — это ясно, и полиция приготовилась к решительным действиям.

Конечно, никакого единения на собрании не было, просто люди сидели рядом — и все тут. Чиновных явно коробило соседство нищих демократов. Но далеко не все понимали, кто же такой наконец профессор Кондаков, заявлявший себя русским патриотом, — то ли он действительно за царя и отечество, то ли бунтовщик, ратующий за простолюдинов? Вряд ли кто-нибудь из сидевших в зале ясно понимал, что здесь происходит, в сущности, борьба за старика, который умер и не мог уже сам заявить, с кем он. Многое должен был определить доклад Лангового, любимого ученика Кондакова.

Иван Терентьевич сидел тут же, в зале, возле Ниночки, теребя в руках свой доклад, свернутый, как чертеж, в трубку. Он то снимал, то надевал ленточку, ко-

торой Ниночка любовно перевязала его рукопись. К нему подошел очень высокий, длинный и узкий, как жердь, человек в форменной тужурке, с соломенными усами под тонким, острым носом, и осведомился резким голосом:

— Имею честь видеть господина Лангового?

— Что вам угодно? — буркнул Иван Терентьевич. Он находился в состоянии почти гневного ожидания, когда наконец звонок усадит всех на места. В уме своем он уже несколько раз приступал к докладу, произносил первые фразы.

Мужчина с соломенными усами критическим взором оглядел Лангового и промолвил:

— Я полагаю, господин Ланговой, что ваш доклад имеет целью прославить профессора Кондакова? Если вы сторонник грязных слухов, то вы будете иметь дело со мной.

Иван Терентьевич в негодовании поднялся, помахивая рукописью. Ленточка слетела, и Ниночка тотчас же подняла ее.

— Милостивый государь, — проговорил Иван Терентьевич, — вы позволяете себе...

— Прошу прощения, — перебил незнакомец, — я провинциал, инженер из Юзовки, столичного обхождения не знаю, приехал специально на похороны профессора Кондакова, которого почитаю как знамя науки. Прошу прощения, но я желал выяснить ситуацию.

Ниночка насторожилась и в случае необходимости готова была сейчас же ринуться в бой. Но Ланговой за последний год немного научился распознавать людей и потому ответил вежливо, хоть и насупившись:

— Я ближайший ученик профессора Кондакова и полагаю, что люблю покойного больше, чем кто-либо другой. А вы, милостивый государь, какого выпуска?

— Я не ученик профессора Кондакова, — отозвался инженер из Юзовки, — я кончал в Москве, но разрешите заметить, что научные школы создаются не только в непосредственном общении. Труды профессора Кондакова и его выступления привлекли к нему сердца и тех, кто, как я, не имел чести лично знать его. Еще раз прошу извинить.

И он отошел.

«Хороший человек», — подумал Ланговой и вдруг вспомнил Лихницкого. После возвращения с Урала Иван

Терентьевич не получил от Лихницкого ни одного письма. Лихницкий, видимо под воздействием тестя, оборвал с ним переписку, но после смерти профессора Кондакова от него пришла телеграмма: «Мучительно переживаю держи знамя зажигай сердца». Очевидно, Лихницкий еще не окончательно спился. И Ланговому представились родные горы и степи, среди которых брошены такие вот, как этот инженер из Юзовки или несчастный Лихницкий, одиночки, разобщенные всей мощью несправедливой, неправильной, непонятной жизни, ищущие правды, радующиеся каждому честному слову.

Он почувствовал, как некая громадная ответственность легла на его широкие плечи. Отныне тысячи ушей будут прислушиваться к его словам, тысячи глаз будут следить за ним, потому что он занял кафедру профессора Кондакова. Тысячи людей отныне будут судить его, и ему еще предстоит доказать, что он — достойный наследник старика. Сегодня он делает первый шаг. Его доклад, посвященный памяти учителя, — первое слово наследника. Как отзовутся на это слово собравшиеся здесь судьи? Как отнесется к нему неизвестный инженер из Юзовки, из места, где новейшая техника пытается обратить русского рабочего человека в безгласного раба?

Необычайное волнение владело Ланговым, его черные усы нервно шевелились над крупными, полными губами. Страна ищет правды, — но где, в чем эта правда? Он тоже ищет ее.

Перед самой смертью учителя Иван Терентьевич узнал еще одну новость о своем злосчастном изобретении. Сначала украденный, затем выбросивший на улицу группу рабочих, станок столкнулся теперь с конъюнктурой рынка и подвергся обвинениям в неэкономичности, в нерентабельности. Он производил слишком много изделий, и бельгийская машиностроительная фирма решила приостановить дальнейшее изготовление таких станков...

Тема доклада вспыхнула в мозгу Лангового как призыв к бою, и, когда наконец звонок призвал собрание к тишине, докладчик вышел на трибуну твердым и прямым шагом.

Доклад профессора Лангового никак нельзя было назвать академическим. Иван Терентьевич произнес речь о наследстве, о традициях русской культуры. Он говорил о научных достижениях профессора Кондакова со всей

страстью исследователя и продолжателя, связывая имя своего учителя со славнейшими именами русской науки, упоминая и о Ломоносове и о «русском свете» Яблочкова, и о Менделееве, и о Попове. Он говорил о тысячах загубленных и ограбленных талантов России и, яростно обрушившись на разбойников, воззвал к честным ученым всего мира. Отдавшись личным воспоминаниям, он рассказал о своей поездке на Урал и круто повернул к общественным проблемам. В этом самом опасном месте своего доклада он по инстинкту хорошего оратора принял нарочито спокойный, суховатый, на этот раз действительно академический тон.

— Мы, инженеры, — говорил он, — должны добиваться того, чтобы наши изобретения служили на благо людям. Гуманность руководит нами в наших работах, и мы не можем допустить, чтобы то или иное изобретение послужило во вред человеку. Рабочий несет непосильный груз, когда нет техники, помогающей ему. Но когда появляется техническое усовершенствование, заменяющее человеческий труд, то рабочий может оказаться совершенно ненужным, его выбрасывают на улицу. Мало того. Весь опыт практической работы говорит о том, что рабочий человек при машине может быть превращен в часть механизма, в безгласного раба, в автомат, который совершает все одно и то же, убивающее душу, механическое движение, смысл машины ему не разъяснен, непонятен. Машина становится врагом человека, вместо того чтобы стать другом его. Мы, инженеры, должны сообща разрешить эту проблему так, чтобы машина действительно помогала людям, двигала жизнь вперед, и мы, инженеры, продолжая деятельность профессора Кондакова, не сможем прийти к правильному решению без самих рабочих, мы должны соединиться с рабочими, понять рабочего человека, потому что он такой же, как и мы, потому что без него мы бессильны что-либо осуществить, потому что рабочий человек — ближайший помощник в наших трудах. Профессор Кондаков задумал создать специальный учебник...

Дальше Ланговой не мог продолжать. Даже его зычный голос не в силах был перекричать шум, поднявшийся в зале. Самый наивный человек мог теперь убедиться в том, что никакого единения на этом собрании не существовало и в помине.

Чиновные люди один за другим возмущенно покидали зал. Другие, повскакав со своих мест, кричали: кто — «правильно!», кто — «долой!», кто просто призывал к тишине. Особенно старался инженер из Юзовки. У него даже жилы надулись на лбу и лицо побагровело, когда он требовал, чтобы Ланговому дали продолжать доклад.

К трибуне ровным, неспешным шагом шел пристав.

Пристав был человек образованный. То есть он считал себя образованным, потому что иногда любил что-нибудь почитать и потому что по роду своей деятельности соприкасался с ученым миром.

По обязанностям службы ему приходилось бывать на некоторых вызывавших сомнение научных собраниях. Раз в месяц он заходил на дом к одному профессору, жена которого имела кинематограф, и, угостившись, получал конверт с очередной ассигнацией. Он совершал обыски у неблагонадежных ученых и одного из них даже сопровождал в тюрьму.

Вообще пристав тесно общался с научными деятелями и даже имел свои, еще, к сожалению, не признанные, мысли и соображения по научной части. Ему, например, решительно не нравились публичные утверждения, что каждый человек, а следовательно, и он, красивый, представительный мужчина, обожаемый женой и любовницами, происходит от обезьяны. Он недоумевал также по поводу того, как допускаются лекции о небесных светилах без упоминания о боге — творце вселенной. И еще многое другое вызывало его недовольство и недоумение.

Он считал, что наука идет по неправильному пути и надо бы кой-кого обуздать, а кой-кого по-отечески вразумить. Он не раз почтительно и настойчиво обращался к начальству с покорнейшей просьбой разрешить ему применение надлежащих мер для упорядочения науки. В том же Соляном Городке можно бы с пользой проводить собрания, посвященные научным докладам о священных, принадлежащих к царскому роду, а также к особым родовитым дворянским фамилиям. Совершенно бесспорны спасительность и полезность таких возвышающих душу лекций, как, например, о явлении божьей матери святому князю Андрею Боголюбскому или о петленных мошах царевича Димитрия.

Но начальство не слушало его, и почтенный, высокообразованный пристав почитал себя человеком непри-

знанным, обойденным; против которого ведутся очевидные интриги.

Доклад Лангового он слушал со скорбным лицом праведника, вынужденного терпеть еретические измышления бунтовщика. Пристав причислил Ивана Терентьевича к бунтовщикам с первых же минут доклада — не по смыслу того, что говорил Иван Терентьевич, а по чрезмерной горячности, с которой тот говорил. Пристав, как человек образованный, знал, что нормальный научный доклад произносится ровно, монотонно, способствуя здоровому сну и правильному пищеварению.

Он сразу учуял, что скандала не миновать, и несколько не удивился, когда зал зашумел и закричал на разные голоса. Шум возник в тот момент, когда пристав поднялся и направился к трибуне. С негодованием отметив возмутительные призывы оратора к единению с бунтовским элементом, он объявил собрание закрытым. Звучным голосом командира он предложил господам разойтись.

Депутат Государственной думы, отирая платком жирное лицо и затылок, изредка издавал толстым своим носом некий трубный звук, подобно слону на водопое. Как народный избранник, он чувствовал необходимость что-то возгласить, но, преисполненный возмущения, не находил слов, только трубил и трубил. Наконец, повернувшись к приставу, он потребовал внушительно:

— Закрыть собрание. Безобразие.

Требование несколько запоздало — полиция уже совершила то, чего жаждала «Государственная дума».

Инженер из Юзовки, взволнованный, подошел к Ивану Терентьевичу, пожал ему руку и промолвил:

— Благодарю. Всей душой с вами...

Но один из агентов подхватил юзовского инженера под локоть и повел к выходу с такой стремительной быстротой и с такой силой, что инженер как ни упирался, а шел.

— Что же это? — вскрикивал он. — Ратуйте, господа, ратуйте!

Среди всей этой сумятицы Иван Терентьевич колебимо и задумчиво стоял у трибуны. Да, теперь ясно, что он — достойный наследник профессора Кондакова и его будут травить, как травили старика. Рядом с ним, бок о бок, стояла Ниночка, готовая погибнуть вместе с ним. Евгения Львовна глядела на пристава с ужасом. Ей вспоминался обыск, городской на кухне, жандарм-

ский офицер, очень похожий на того, который голубеет сейчас у входа в зал... Теперь все повторяется — только уже не с мужем, а с зятем, и дочь обречена на беду, как и она сама. С ее лица сошло трагическое выражение, из глаз потекли слезы, и, обняв дочь, она шепнула:

— Не ссорься с ним, не спорь никогда, мы глупей их, мы бабы, будь вместе, вместе...

Она разрыдалась, всхлипывая, задыхаясь.

Иван Терентьевич не двигался с места. «Не ты выручишь рабочего, а рабочий — тебя с твоей наукой», — вспомнилось ему. «Ужели так и будет?..»

XIX

Вася Котляков избрал своим наблюдательным пунктом сугроб поблизости от железнодорожного полотна. Сегодня он не подражал гудкам паровоза, не изображал машиниста или кондуктора, не бегал вперегонки с медленно набирающими скорость поездами, не вскакивал на подножки, чтобы тотчас же спрыгнуть, перекувырнуться и вывалиться в снег. Он даже не сосчитал вагонов и платформ в очень интересном, очень длинном товарном составе, в котором вагонов с белыми, меловыми надписями было не меньше чем штук пятьдесят. Сегодня Васе было не до того. Он выполнял самое важное дело из всех, какие он только знал в своей короткой, но уже богатой опытом жизни.

Железнодорожная насыпь пересекала поле, изрытое ямами, застроенное домами служб и домишками служащих. Уголь наложил свой дымный отпечаток на всю эту привокзальную землю, угольной дымкой, казалось, подернуто было и зимнее, в серых тучах, небо, и заиндевевшие стены ближнего депо. Сугроб, на котором стоял Вася, тоже был окрашен угольной пылью.

Вася озирали все вокруг, всматривался в каждого человека, который показывался вблизи. Он должен был свистнуть самым озорным образом, если появится какая-нибудь подозрительная личность. Но злодей не подкрадывался. Прошел стрелочник Федосей Филоненко, пожилой мужчина в белом тулупе, меховой ушанке, валенках и рукавицах. Пробежала, позвякивая пустым бидоном, Манька Колесникова, кондукторова девчонка, которая, чуть только протянешь руку к ее косам, визжит,

ругается и грозитя отлупить так, что жив не будешь. Конечно, очень интересно, изловчившись, дернуть ее за косу, но сейчас и этого не хотелось. Не до того. Надо зорко выслеживать опасности, которые могут возникнуть каждую минуту. Из-за угла приземистого домика, в котором обитал рябой буфетчик со своей огромной и злой супругой, каждую минуту мог появиться вокзальный жандарм при усах и сабле или совсем незнакомый, а значит, опасный человек, неведомо зачем завернувший сюда.

При виде всякого незнакомого человека следовало на всякий случай свистнуть. Тогда из домика, где живет машинист Иванов, выйдет прокатчик Севастьянов и как бы невзначай, позевывая и потягиваясь, словно только сейчас проснувшись, оглядит незнакомца и определит, что это за личность и как следует к ней относиться.

Вася даже о морозе забыл. Он стоял на своем сугробе, как солдат на посту перед лицом затаившегося неприятеля, готового каждый миг открыть стрельбу и броситься в атаку. Он видел, как враги вязали его отца, и своими глазами убедился, что в жизни идет страшное непрерывное сражение, в котором обязательно надо победить. Это тебе не какая-нибудь там драка с барчуками в подворотне, это война против целой армии злодеев с шашками, нагайками, револьверами, с армией врагов в полицейских мундирах, собольих шубах и дамских манто.

Вася стоял на посту возле домика, где жил машинист Иванов. В этом домике сошлись сегодня Севастьянов, Макшеев, отец Вити Дремина и еще несколько рабочих с бастующего завода. Они составляли планы будущих битв, собирали силы для отпора всем врагам и для победы. И три питерских мальчика по очереди стерегли это совещание — Вася Котляков, Витя Дремин и Костя Куклин.

Машина без паровоза вынырнула из сумрака. Она бодро катила по высокой насыпи, громяхая и лязгая. Один человек, стоявший на ней, сгибаясь и разгибаясь, орудовал рычагом, а другой, в чиновничьей фуражке, ежился, поднимая воротник шинели, и ничего не делал.

— Дрезина, — сказал Костя Куклин, который пришел сменить Васю.

Теперь можно было отправиться в тепло маленького кирпичного домика. Там еще интересней и еще опасней. Если туда ворвутся городовые, Вася бросится им под ноги, и все они повалятся на пол, как кегли, подаренные

Маньке Колесниковой ее теткой, имеющей в Новой Деревне свой собственный дом с огородом. Городовые повалятся на пол, а взрослые мужчины свяжут их и поблагодарят Васю за отвагу и сообразительность.

Прежде чем войти в дом машиниста Иванова, Вася огляделся, нет ли поблизости сыщика, которого можно было бы сбить с ног и, взяв в плен, привести к Севастьянову на суд. Но никаких злодеев не видать. Вася отворил дверь и вошел тихо, на цыпочках, чтобы не помешать.

Витя Дремин, развалившийся, конечно, как барин, на лавке у входа, получил сильный толчок в бок и молча подвинулся. Его рот был открыт, уши ловили каждое слово.

Когда Вася вошел, Макшеев задумчиво говорил:

— Социализм следует за капитализмом, как за ночью следует день. Как за ночью следует день, — повторил он, глядя на замерзшее окошко, сквозь которое едва пробивался свет.

Расходились осторожно, поодиночке. Мальчики же бежали домой вместе. Они свистели и визжали, подпрыгивали и налетали друг на друга, им было почему-то очень весело. Вася влетел в свой подвал с таким топотом и шумом, что мать вздрогнула у корыта с бельем.

— Куда ходил? — спросила она.

— Надо было, — ответил Вася.

Так уходил и так отвечал в последние недели перед арестом и его отец.

Мать снова нагнулась над корытом. Печальные мысли тревожили ее: а что, если инженеры не станут больше давать ей белье в стирку? Что тогда?..

Вася словно угадал, о чем она задумалась. Солидно, как взрослый, как работник и кормилец, он почти басом промолвил:

— Не бойсь, мама, проживем. — И добавил, старательно складывая слова: — Как за ночью следует день, так и у нас, мама, все будет.

Это была очень трудная, самая взрослая, но и самая радостная фраза из всех, какие только произносил Вася Котляков.

***Верные
друзья***

Роман



Часть первая

I

Грузовик, беспрестанно гудя, медленно проехал сквозь толпу людей, запрудившую проспект, и остановился у длинного двухэтажного здания, где помещались Совет и штаб. По фасаду дома тянулись красные полотнища с боевыми лозунгами.

В толпе не прекращалось движение. Одни — группами и в одиночку — входили в дом, другие выходили, третьи ожидали на улице. Красногвардейцы и рабочие окружили грузовик. Чьи-то руки откинули брезент, под которым высились крепко сколоченные ящики с оружием, и оркестр Московского полка заиграл торжественный марш. Этот оркестр своей музыкой провожал красногвардейцев, уходивших в октябре на штурм Зимнего дворца, а затем на Пулковские высоты, и с той поры Выборгская сторона полюбила его. Музыканты каждое утро являлись в штаб.

Из кабины грузовика вылез Иван Фомич, пожилой мужчина, в овчинном полушубке, папахе и валенках, похожий, как все бородачи зимой, на деда-мороза. Он немедленно принялся командовать разгрузкой, сам взялся за один из ящиков и вместе с молодыми протащил его в дальний угол нижнего зала. Потребовав топорик, он вскрыл ящик легко и красиво, так, что ни одна дощечка не треснула. Крышка с торчащими в ней гвоздями поднялась, и под ней блеснули вороненые винтовки, подарок сестрорецких оружейников.

— Красивая работа! — с одобрением проговорил Иван Фомич.

Зал нижнего этажа, грязный, с обшарпанными, запачканными, задымленными стенами (здесь раньше помещался трактир), был полон рабочих, красногвардейцев,

солдат. Шум голосов мешался со звуками оркестра, доносившимися в открытые настежь двери; табачный дым расплывался в за клубившемся морозном облаке, на полу таял занесенный с улицы снег.

Новички, с утра дожидавшиеся оружия, толкаясь и отпихивая друг друга, завились в очередь, как за хлебом у магазина. Красногвардейцы покрикивали на них, пронося ящики, и в цепи образовался широкий проход.

Иван Фомич, вручая новенькие винтовки, приговаривал:

— Береги и зря не стреляй. Помни, что ты — рабочая власть. Забудешь — не пожалею.

Высокий и прямой седоусый человек в длинной, как у артиллериста, солдатской шинели, подойдя, крикнул сердитым голосом:

— Кто получил — наверх! На обучение!

Это был Севастьянов, солдат русско-японской войны, а затем прокатчик англо-бельгийского завода, один из тех «стариков», которых не согнули и самые тяжкие времена.

Новички заспешили по лестнице за Севастьяновым, переговариваясь на ходу с красногвардейскими командирами, которые явились сегодня кто с докладом, а кто — за инструкциями. Иные командиры по возрасту своему были моложе некоторых новичков, но успели уже заслужить доверие и почет своим участием в боях.

В общий шум ворвался голос дежурного:

— Балабин!

Один из командиров, великан в черном тулупе, бросил закуренную сигарку, стянул покрепче пояс, сделал удивительно мрачное лицо (только что он пересмеивался с новичками) и пошел, стуча огромными сапожищами. Нашлись же и на такую ногу сапоги!

Дежурным был сегодня всем известный Ваня Пыжиков, озорник, насмешник, плясун, «артист», как именовали его на заводе, «банный лист», как не зря прозвали его девушки. Сейчас он имел вид строго официальный, хмурил белесые брови и глядел так, что хоть на вы с ним переходил.

Иван Фомич, кончив раздавать оружие, приказал вынести пустые ящики во двор и беречь их, а к оставшимся нераскрытыми приставил часового. Один ящик

стоял неровно, и не успели красногвардейцы помочь, как Иван Фомич, пагнувшись, придвинул его плотней к стене.

Рослый парень с обваренной щекой промолвил с уважением:

— Ну и здоровы же вы!

— Ищи здоровья не у лекаря, а у пекаря, — пошутил Иван Фомич, — так моя старуха говорит, когда хлеба в доме нету.

Из зала верхнего этажа доносился страдальческий и хриплый голос Севастьянова:

— Да как же ты не понимаешь? Оттяни сначала затвор, а потом спускай курок — иначе не разрядишь винтовку, а выстрелишь! Выстрел произойдет! Понятно? Горе мне с вами!

Нельзя сказать, чтобы Севастьянов отличался терпением при обучении новичков. Но зато терпением отличались его ученики. Они не обижались на «старика».

Солдат в облезлой папаше и шинели, видимо из только что демобилизованных, рассказывал в группе красногвардейцев:

— ...Так и ходили кучками. Офицер командует, солдаты шагают, а куда — неведомо. У нас таких называли ковенскими. Ежели сумасшедшие — считай, что из-под Ковно. Немцы там били шестнадцатидюймовыми, а у нас, считай, и никаких снарядов не было. Тут свихнешься с ума. А у озера Нарочь согнали нас корпус девять либо десять; считай, что на тот раз всего было вдоволь — и снарядов и орудиев, — а что получилось? Одиннадцать раз брали окопы, а наша же артиллерия нас и выбивала. Всю связь порвало, такая вышла каша, что, считай, сами друг друга били, а немцам — смех... Генеральская измена была, с царем вместе...

Один из командиров спросил:

— Это когда было?

— Март шестнадцатого. Разве так можно воевать? Самых даже несознательных такое дело обучило.

— То раньше было, а теперь — мир, — порешил низенький командир в полушубке.

— Жди, — зло оборвал солдат. — Это мы с тобой хотим мира, а кошелькам нужна война. В Бресте я был в пятнадцатом году. Все там горело; когда мы уходили. А теперь мир там куют, — да выкуют ли? Там речушка

есть, называется Муховец, втекает она в широкую реку — в Буг. Сколько наших погибло там, на этом речном перекрестке! В крови была вода. Мир рождается из крови, да, считай, неведомо, довольно ли ее, крови-то, пролито. Мы-то всем предлагаем мир, а на нас в ответ, считай, и Дутов, и Каледин, и учредилка, и Антанта, и немцы. У них один корень — кошелек.

Никто ничего не ответил, и сам солдат замолчал. Всем был отлично известен нрав «кошельков».

— Иди к нам в Красную Гвардию, — обратился к солдату высокий командир в черной кепке и черном пальто. Кости выпирали на его молодом исхудалом лице, на щеках и подбородке вился светлый волос. — Иди ко мне в отряд.

— К тебе-то? — удивился солдат. — К сосунку? Из меня у озера Нарочь кровь ручьем лилась, а ты и крови-то не видал.

— Видал, — ответил командир. — У нас война поумней, чем твоя.

Он в упор глядел на солдата своими желтыми упрямыми глазами.

Тот ответил с неожиданным добродушием:

— Вот таких у меня, считай, трое выросло. Тоже меня обучают... А я свое отвоевал.

— Ты-то отвоевал, да с тобой не отвоевали.

Солдат не успел ответить, потому что подошел Иван Фомич и спросил командира:

— К Макшееву?

— К товарищу Макшееву, — подтвердил командир. — Здравствуйте, Иван Фомич.

От Макшеева вышел великан Балабин, остановился, опустив голову, серьезный, озабоченный, и пробормотал:

— В Таврический, значит. Вот как. В самый центр дежурить!

На него поглядели с завистью — повезло человеку!

Пыжиков крикнул:

— Котляков!

Командир, говоривший с солдатом, пошел к Макшееву.

Солдат промолвил, глядя ему вслед:

— Горячка он, я вижу.

Иван Фомич отозвался:

— Горяч, да не мяч, ходит по-своему.

Макшеев занимал комнатку, оклеенную розовыми обоями. Раньше, в трактирные времена, она, видимо, служила чем-то вроде отдельного кабинета, в ней и сейчас оставались кокетливый диванчик у стены, претенциозная люстра под потолком. Макшеев сидел у окна, в шубе зеленого сукна с желтым обезьяньим воротником и в солдатской фуражке без кокарды. Он быстро глянул на Василия своими покрасневшими от недосыпания глазами, подозвал его поближе и сразу приступил к делу. Перед ним лежала на столе карта Петрограда. Раньше, когда он скрывался от полиции, он отпустил большую светлую бороду; теперь он брился, и резче прежнего выступали крупные, энергичные черты его лица.

— Завтра утром в пять часов поведешь свой отряд вот сюда, — говорил он, указывая красным карандашом на отмеченный крестиком пункт в центре города. — Здесь экспедиция государственных бумаг, гордецы, верхушка дерет нос, грозятся на завтра многотысячной демонстрацией за учредилку, есть опора меньшевикам, но и наших немало. Вообще в этом пункте возможны любые выходки, один из центральных кварталов, барский район... Тут есть еще институт, профессора, ученые, решили воздержаться от демонстраций, хранят нейтралитет, наука. — Он усмехнулся. — Между прочим, тот самый институт...

— Где вы учились?

— Тот самый.

И Макшеев продолжал:

— Держись тактично. Никаких грубостей, тем более — стрельбы, не поддаваться ни на какие провокации. Революционная дисциплина, революционный порядок. На месте ты сойдешься с ночным патрулем, столкуешься. Действуй по обстановке. Надо думать, что из обещанной демонстрации ни черта не выйдет. Но что-нибудь может и произойти. Полагаюсь на твой разум.

Он замолчал, прищулив глаза, словно вглядываясь в завтрашний день. Завтра — созыв Учредительного собрания, завтра, по всем данным, возможны вражеские вооруженные выступления, и Макшеев рассылал отряды для охраны города по заданию Смольного.

— Если возникнет подозрение о засаде в каком-нибудь здании, надо обследовать, — вновь заговорил он. — Чтобы не было стрельбы из окон и подворотен.

За учредиловцами — Антанта. Город полон офицеров. Завтра вынырнут и самые отъявленные враги. Вообще — бывшая царская столица, центр всякой сволочи, этого никогда не следует забывать. Есть у тебя вопросы?

— Все понятно, Владимир Николаевич.

Отряд ждал своего командира на улице.

Иван Фомич сказал напутственное слово красногвардейцам без обычных для него поговорок, — он считал их в политическом выступлении неуместными, и поэтому речь его получилась сердитой. Затем он вместе со всеми пропел «Интернационал». Пение сопровождалось оркестром. Только когда оркестр и хор замолкли, Иван Фомич позволил себе очередную шутку:

— Есть линия — заиграет и глиняная, а нет — так молчит и кларнет.

Ранние зимние сумерки сгущались на улицах. Почти во всех окнах было темно. Только кое-где светились робкие огоньки. Мимо заколоченных подъездов и лавок Котляков вел свой отряд на завод. На ночь решили остаться в модельной мастерской, чтобы завтра не было опозданий и неявок.

Модельная мастерская, самая обширная на заводе, с осени не работала. Молчали станки, не чиркали строгальные ножи, не визжали пилы, запахи клея и краски выветрились. Сюда никто обычно и не заходил, кроме старого модельщика дяди Яши да единственного оставшегося на заводе инженера. Инженер заходил только для того, чтобы распорядиться о переноске станков в механическую или какую-нибудь другую из еще действующих мастерских. Модельная пустела. Жалко было глядеть, как умирает мастерская как раз тогда, когда ей бы, казалось, жить и жить. А сколько воспоминаний связано было с ней!

II

Василий Котляков впервые явился на работу в модельную мастерскую лет семь-восемь назад. Дядя Яша, известный на Выборгской стороне добряк и отличный модельщик, устроил его к себе подручным. Василий был в ту пору еще подростком, мальчишкой, но среди ребят он славился как знаменитый драчун и на новой работе не давал себя в обиду, огрызался и на брань и на под-

затыльники, которыми полагалось угощать мальчиков просто за то, что они еще маленькие.

Василий с детских лет питал особое пристрастие к машинам. Все, что касалось машин, он схватывал на лету, с полуслова. Такого разнообразия станков, как в модельной, не было ни в одной из мастерских завода, и, пока не выгнали, ему не терпелось узнать как можно больше. Василия уже успели выгнать из типографии, где он до того служил на побегушках, и вообще он отлично понимал, что начальство может хоть кого угодно выставить вон ни за что ни про что.

Дядя Яша на иные вопросы Василия только руками разводил, но мальчик не отставал, и старик добывал ему книжки, в которых и сам не разбирался. В этих книжках, с чертежами и рисунками, попадались загадочные, непонятные, но тем более привлекательные слова и целые страницы. Василий запоминал их как церковнославянский катехизис, тоже непонятный. Но «аксиома» или «теорема» были для него поинтересней, чем «крыле мои рано» или «последних моря». Аксиома представлялась в виде этакой длинной-длинной девицы с коротеньким зонтиком, каких он любил дразнить, когда забегал в центральные кварталы. Теорема — толстая барыня в собольем палантине, из тех, которые чуть что — зовут городского. Параллелограмм сил — это огромные кулаки. Если ими стукнешь, так повалится и сам Лызлов, управитель завода, и даже таинственный, никогда не виданный хозяин завода, который, как бог Саваоф, насылает на людей одни только дожди да вьюги, а сам отсиживается за облаками. Бывало, хлопнешь после рабочего дня по набережной, плечи ноют, с неба сыплет мокрая дрянь, плывешь, как рыба в мокрых сетях, и вдруг сзади цоканье копыт, зычный крик — это едет заводчик. Люди шарахаются, бросаются в стороны, наступают друг на друга, а кучер, собака, и не думает сдерживать лошадей, так и прет на народ, а ежели кого из нерасторопных заденет колесо или толкнет оглобля, так он еще вдогонку огреет кнутом.

Работая на заводе, Василий соперничал насчет знания станков с Костей Куклиным. До того Костя все знал лучше других ребят — и про аэропланы, и про звезды, и про то, что земля вертится, и про многое другое. А теперь Василий хвастался перед ним при каждой

встрече. Оказалось, что Костя неважно разбирается в станках.

Василий стал забивать Костю своими познаниями, он не давал ему и слова сказать о моторах и аэроплан-ных хвостах. Дело доходило и до драк. Костя не был обидчив, но он сохранял уверенность, что все равно понимает куда больше Васьки, который загордился у себя на заводе и воображает, что все дело в станках. Нет, все дело в математике и физике. И однажды, когда Василий проговорился о таинственной аксиоме, Костя перед всеми ребятами торжествовал над ним победу. Оказалось, что он, черт его знает каким образом, знаком запросто с этой девицей, он даже выпалил подряд еще много замысловатых слов, о которых Василий и представления не имел. Василий сначала было растерялся, подавленный громадной образованностью приятеля, но тотчас же оправился и нашел самый лучший выход из тяжелого положения — он попросту дал Косте по уху, коротко пояснив:

— А другой раз не ври!

— Это кто врёт?

— Ты!

— Я?

— Ты!

После этой словесной подготовки Костя вознамерился прямым ударом в лицо решить дело в свою пользу, но наткнулся на локоть Василия. В завязавшемся бою победил Василий, чем и доказал свое научное превосходство. Сидя на поверженном в прах сопернике, он утверждал свою правоту тумаками и возгласами:

— Врешь! Врешь! Все врешь!

Ученые споры двух приятелей вызывали жгучий интерес остальных ребят именно этой своей стороной — драками. Один только Костя Куклин, вдохновляемый любовью к истине, рисковал вступать в бой с самим Васькой Котляковым, но каждый такой бой еще раз с достоверностью доказывал, что атаман, конечно, Вася Котляков, а не Костя Куклин. Впрочем, разве можно считать кулаки достойным и убедительным аргументом в научной дискуссии? И Костя Куклин, как подлинный мученик науки, напрасно взывал к высшему разуму и справедливости. Он находил сочувствие только у Мани

Колесниковой, кондукторской дочки. Чуть Василий, как этакий Поддубный из цирка Чинизелли, валил Костю на обе лопатки и, нарушая все правила французской борьбы и английского бокса, тузил его добавочно, требуя, чтобы тот отказался от своих научных убеждений, как Маня Колесникова хватала Василия сзади за волосы и с визгом тянула его. Она всегда не к месту путалась в серьезные мужские дела.

С этих драк и пошло: чуть Василий что скажет — так Маня сразу заспорит. Она, как назло, вопреки всем, не желала признавать его атаманом, обзывала обидными словами, отвергала все его заслуги и вообще полностью пользовалась тем, что сам же Василий запретил бить девочек.

Другие ребята, конечно, били, но в котляковской команде, как называли ребят, послушных Василию, это было категорически запрещено. За такую провинность атаман привязывал к позорному столбу за Сампсониевской больницей и десять минут подряд поучал преступника ужасными по своей подавляющей выразительности словами, правда без рукоприкладства — бить связанного нельзя, это тоже правило.

Виктор Дремин негодовал на эти дурацкие правила, но, признавая, что обожаемый атаман умней всех и уж, во всяком случае, умней его, вынужден был подчиняться. Если б атаман читал только книжицы с чертежами, то это бы ничего. Если бы он прихватывал еще Ника Картера и Ната Пинкертона, то и это было бы не вредно, повадки сыщика всегда надо знать. Но зачем он читает какие-то совсем неученые книжки, да еще ходит потом как чумной и рассказывает про босяков из ночлежки, которые умней образованных и защищают всякую женщину от побоев и обид! Вот от этих босяков, очевидно, Василий и брал свои правила. Виктор Дремин не замечал, конечно, некоторой путаницы в поведении атамана, наряду с благороднейшими установлениями позволявшего себе побоями решать ученые споры, — Дремину просто тяжело было существовать в таких путах.

Виктор Дремин, достойнейший член котляковской команды, первый друг атамана, был привязан к позорному столбу за то, что прибил надоедливую Маньку Колесникову. Атаман пересилил свою нежную любовь

к сердечному другу, самолично, хоть и совершенно расстроенный, привязал его веревками к позорному столбу на пустыре, и Виктор Дремин, слушая его горькую речь, глядел на дальний закат и думал, что вот так закатилась черт знает из-за какой ерундовины его слава.

Позор его усугублялся еще поведением Маньки, которой никто не звал, но которая, конечно, прослышала обо всем и прибежала как сумасшедшая. Она с ревом и криками ударила атамана по спине, что тот геройски выдержал, не прерывая своей поносной речи, а затем кинулась к Виктору, чтобы освободить его. Но тут уж Виктор пригрозил, что если она его развяжет, то он изобьет ее насмерть. Пусть он заслужит от атамана самую страшную казнь, зато все-таки хоть душу облегчит. Виктор крепко стоял на том, что атаману перечить нельзя, даже когда он чудит, потому что он умней всех и в главных делах все решает правильно.

Маня убрала от веревок руки, — но что сделала! Встала рядом с Виктором у столба и заявила, что теперь этот столб не позорный, а почетный, поскольку к нему привязали Витьку. Когда срок наказания истек, она крикнула атаману:

— Никогда, никогда тебя не полюблю!

Подумаешь, наказала!

Хуже всего было то, что с той поры она считала своим долгом всячески показывать свою особую преданность Виктору, по ее глупым понятиям чересчур за нее пострадавшему. Виктор никак не мог отделаться от нее, хотя тысячи раз толково объяснял ей, что правило есть правило и атаман не мог иначе поступить, раз есть в команде такой закон. Манька ничего не понимала и твердила:

— Я тебя люблю, а его — нет, нет!

Ну как же после таких поступков обойтись с ней хотя бы без легкой таски за косу?

Виктору Дремину, мужчине положительному, работающему на заводе подслесаренком, нравились кроткие полные девушки, а эта — шумная и тощая. Но приходилось терпеть приставания навязчивой Маньки, раз атаман установил, что бить девчонок нельзя.

Слава Дремина не померкла, а дружба с атаманом стала почему-то после этого случая еще крепче. Почему?

Наверное, потому, что атаман показал твердость характера, а Дремин любил именно таких, которые уж что считают правильным, то и сделают, хоть бы и себе во вред. Дремин понимал, до чего тяжело было атаману подвергать своего любимого друга позорному наказанию.

Впрочем, привязывание к столбу считалось сравнительно мелкой карой. Ябедников, наушников, доносчиков начальству и полиции купали в помойках, окунали в «помойную купель» с головой, а это было гораздо хуже, и человек после этого имел такой вид, словно вся его черная душа выступила наружу.

III

Василий Котляков не забывал о своей славе атамана ни на заводе, ни дома. Он во всех случаях жизни старался поддержать репутацию вожака, который не унывает, всегда знает цель и как этой цели добиться.

Тяжелей всего было дома, в подвальной комнате. Дома — путаница, и неведомо, как быть. Однажды ночью отца по подозрению в избиении мастера схватили и на глазах у Василия увели в тюрьму. Мать тотчас же послала Василия к прокатчику Севастьянову, а там оказался таинственный светлородый мужчина, давший Василию первое секретное поручение. Он оказался Макшеевым, о котором легенды ходили среди ребят.

В эту ночь Василий полюбил отца, отец стал для него героем. Полиция похватила еще немало людей, после чего рабочие оставили станки, вышли во двор, запели «Вихри враждебные веют над нами» и другие песни. Это была забастовка протеста, и, конечно (Василий был уверен в этом), благодаря ей всех невиновных в происшествии с мастером, в том числе и отца, выпустили на свободу и взяли обратно на работу. Дядя Яша точно удостоверил, что в час, когда били мастера, накинув ему мешок на голову, слесарь Котляков находился у него, Якова Самсоновича.

Замечательный это был день, когда вдруг оказалось, что и против начальства есть хорошие средства. Сам инженер Лызлов выходил объясняться с рабочими, был даже довольно вежлив и обещал некоторые послабления. Но отец ничего не понял в этом памятном событии.

Он вернулся домой еще более мрачным, чем раньше. Ходил он сутулясь, словно плечи его давила некая тяжесть, которой никак не сбросишь. Если же он что скажет, то завалит, как каменной плитой, всякую надежду на жизнь получше, закроет любой проблеск света, чтоб было черным-черно. Большой, сильный, тяжелый, он жил, как пришибленный великан, в вечной погоне за копейками. А копейки не шли, убегали от него, издеваясь над всеми его стараниями и усилиями.

Пил он пуще прежнего. Пьяный, вваливался в свой подвальный угол, глаза его сверкали неуголимым бешенством, он изрыгал злую брань, размахивал руками, и казалось, что он схватит сейчас какую-нибудь железную палку и начнет гвоздить ею направо и налево. Но, сделав несколько неверных шагов, он падал на табуретку, и тут им овладевало этакое безопасное буйство. Он не дрался, он только бил кулачищами по столу, а ногами по полу, выкрикивая бессмысленные, дикие слова:

— Топором, топором всех!.. Пусть хоть на каторгу!

По его грязным, не мытым после работы щекам текли слезы, лицо становилось полосатым. Мать подходила, прижимала его голову к себе и утешала, как ребенка:

— Глядь, и все устроится, Тимофеюшка, ты спокойней, спокойней, есть и добрые души, не все люди злые...

А он мотал головой и хватался за нее руками.

Когда он наконец валился как был, в грязной одежде, на кровать, мать осторожно, заботливо стягивала с него сапоги, приговаривая:

— Вот что они с людьми делают!

Мать никогда не теряла веселости, охотно улыбалась. Синеглазая, с гребенкой в золотых волосах, она умела отбиться от дворника Мефодия и от других обидчиков и так счастлива была, что ее Тимофеюшка вернулся из тюрьмы, что ни в чем не хотела его упрекать.

Василий любил мать, жалел ее, но отца, после того как тот вернулся из тюрьмы, решительно невзлюбил. Отец не только не был героем, но он оказался попросту трусом. Он испугался отсидки в тюрьме! Он не понимал, что его выручили товарищи, что и сын старался для него, бегая с призывами к забастовке в типографию

к знакомому метранпажу и ночью пробираясь с готовыми листовками к Макшееву. Отец, когда его освободили, отстранился от своих друзей, не ходил больше к Макшееву, с которым начал было до тюрьмы встречаться, и, как мрачная туча, раздражался в пьяном виде ничемным громом и никого не разящими молниями. Он сердился и кричал, когда мать говаривала:

— Васенька у нас способный. Вот станет он образованный...

Отец даже и в это не верил, хотя уж в этом-то сомневаться не приходилось, — во всяком случае, сам Василий нисколько не сомневался. Отец с бешенством накидывался на всякого, кто смел надеяться хоть на что-нибудь хорошее. К тому же он пропивал весь свой заработок и спокойнейшим образом, как барин, жил и кормился за счет жены и сына. Мать с утра до ночи качалась над корытом, стирая за гроши белье инженерам и служащим, сын все дни на заводе, а отец мало что ни копейки не вносил в дом, а еще считал себя несчастным страдальцем, и мать должна была его утешать, как грудного.

Дело дошло до того, что отец начал пропивать и заработок матери. Однажды Василий как раз вошел в комнату, когда мать, развязывая узелок в платке, где хранила деньги, говорила глухо и уступчиво:

— Да уж бери Тимофеюшка, как-нибудь проживем, уж выпей, когда душа просит...

Василий шагнул к отцу и крикнул:

— Пропивай свое, а материнское не дам!

Мать, ахнув, так и застыла с развязанным узелком в руках, а отец занес руку над сыном, чтоб одним ударом пришить мальчишку. Но Василий заорал со слезами бешенства в голосе:

— Струсил перед полицией! Струсил!

Отец опустил руку и долго смотрел на сына. Потом проговорил коротко:

— Пошел вон из дому и назад ни ногой!

— Я тебе мамку не оставляю, ты ее по мирупустишь!

Василий так гордился перед ребятами своим отцом-героем, схваченным полицией, даже выдумал ему кой-какие подвиги, но отец жестоко обманул его. Он твердил упрямо и бешено, в упор глядя на отца своими желтыми, диковатыми, как у лесной птицы, глазами:

— Не уйду без мамки! Сам уходи!

Отец стоял как ошалелый, а мать подскочила, ухватила Василия за руки и зашептала:

— Да что ты, что ты, Васенька! Отец же, родной наш, ты что делаешь!

Но сказанного не воротишь, да Василий и не собирався уступать. Он вымолвил:

— Я тебя, мама, с ним не оставлю. Уйдем, прокормимся небось. Без него, нахлебника, лучше, чем с ним.

Отец схватил шапку и вышел, хлопнув дверью. Было неясно, что он намерен сделать.

Василий с матерью не ложились спать. Мать, потрясенная, имела такой несчастный вид, что Василию и жалко было и непонятно — зачем она потакает отцу?

Среди ночи дверь распахнулась, и на пороге оказался отец. Кто-то, видно, угостил его, а может быть, он пропил что-нибудь из одежды — шапки на нем не было.

Василий поднялся, ожидая побоев, готовый к отпору. Но отец, как обычно, рухнул на табурет, и начались слезы и бессмысленные крики. Повторилась обычная сцена, словно и не было страшного столкновения с сыном. Назавтра отец и не упоминал о том, что произошло вчера. Он будто стер резинкой брань сына и свои угрозы. Все продолжалось как ни в чем не бывало, только отец больше не требовал у матери денег. И тогда Василий понял, что отец — человек конченный, вроде как покойник. Он, кажется, даже и сына испугался. Но если кто из ребят осмеливался порочить отца, то Василий сразу же, без единого слова, бил такого смертным боем. Презирать отца имеет право только он один, другие пусть не лезут.

Отец никого не выдал полиции, но в герои никак не годился. Он отстранился и от дяди Яши, друга семьи. Вскоре он стал ловить зеленых чертей, и его отвезли в городскую больницу, где он наконец и сгорел. Сын не плакал о нем, ни к чему плакать, но запомнил, что смерсно жить человеку в неволе не следует.

Василий тем крепче связывался с Макшеевым, чем больней его уязвляла судьба отца. Об этих его сношениях не подозревал даже и дядя Яша, к подпольным делам, впрочем, непричастный. А остальные уж и подавно ничего не знали. Начальник модельной мастерской, толстяк, куривший пахучие сигары, то ли бельгисц,

то ли англичанин, а может быть, и немец, выдвинул даже Василия, которого вообще поощрял, из подручных в станочники, доверил пятнадцатилетнему юноше нелегкую работу. Он посвятил этому событию краткое слово.

— Ты способный молодой человек, и тебе не хотят зла, — сказал он, — но ты должен знать свою пользу и больше ничего, тогда все будет хорошо. Каждый старается для себя и знает свою пользу. Свою пользу! — повторил он поучительно и потрепал Василия по плечу своей мягкой, как подушка, ладонью.

Этого инженера так все и звали — Своя Польза. Только он понимал пользу Василия иначе, чем сам Василий.

Дядя Яша, послушав похвалы начальника мастерской, вздохнул, когда тот отошел:

— Инженер бы из тебя вышел!

Василий терпеть не мог этих вздохов. В нем вспыхнула злоба к доброму старичку, он даже вспомнил, как нелюбимый отец в минуты раздражения кричал дяде Яше:

— Эх ты, ектенья! Как поп какой!..

Василий чуть не каждое воскресенье видался с Макшеевым и бегал от него по связи уже и к старому оружейнику Ивану Фомичу, человеку всегда бодрому, поворотливому, сильному, который говаривал при случае:

— Старик — кто на печи спит, а кто в работе злой — тот всегда молодой!

Однажды Василий рискнул спросить Макшеева о непонятных словах в книжках дяди Яши, и с той поры Макшеев начал, когда случалась возможность, обучать его математике, механике, показывал ему чертежное искусство.

Владимир Николаевич Макшеев был человеком необычной жизни. Он выбился в инженеры из рабочих, а таких по тем временам не сыскать на всей Выборгской стороне. Макшееву удалось переломить судьбу, уготованную ему рождением в бедной рабочей семье. Он умудрился, зарабатывая с детских лет чем попало, кончить реальное училище и институт, а затем вернулся к рабочим. Он тянул за собой и младшую сестренку. После пятого года он был арестован и сослан, но бежал из Сибири и теперь скрывался на Выборгской стороне.

Полицейские чины искали и преследовали Макшеева с остервенением какой-то личной обиды и ненависти. Считалось, что дорвавшийся до денег и власти выскочка «из низов» должен всеми силами, жадно и крепко держаться за свою необыкновенную удачу, а тут человек сам полез обратно в яму, из которой выбрался с такими невероятными усилиями. В этом усматривали особую, оскорбительную злонамеренность. Полиции представлялся особенно опасным этот человек, к сожалению образованный, «укрававший высшее образование обманным путем», как однажды горестно выразился искренне огорченный пристав.

IV

Детские игры и драки отходили в прошлое. Ребята становились сумрачней и серьезней. А Костя Куклин уехал. Он пристроился к одному авиатору, и тот увез его из Петербурга.

Прощались ребята с Костей августовским воскресным утром, когда по осеннему небу ползли, налезая друг на друга, дымчатые облака с рваными, светлыми краями и солнце, едва появляясь между ними, тотчас же скрывалось вновь. Сошлись в чахлом садике, вклинившемся меж фабричных построек, у непарадной, не одетой в гранит Невы, Невы заводов и пустырей. Здесь, на завороте к Охте, в самом широком месте реки, тяжелые воды, иссиня-черные, с колыхающимися отсветами, далеко отодвигали богатые улицы центральных кварталов от скудного берега Выборгской стороны. Огромная речная ширина была почти пустынна, только две-три лодочки плескались в ее просторах да узкий, черный и злой, как аспид, буксир медленно склонял свою длинную угольную шею, подходя к дальнему мосту, а за ним тащилась несчастная, насквозь промокшая, широкобедрая баржа. Воздух был насыщен морскими запахами, дразня береговых жителей свободой дальних странствий, глумясь над рабами задымленных, закопченных и низкорослых заводских корпусов.

Маня Колесникова, тоже, конечно, прибежавшая на «уходины», загляделась на белую чайку, которая качалась на волнах, похожая на пену, и думала, что Костя — как эта птица, а она, Витя, Вася и все другие — как

черная свинцовая масса воды. Чайка улетит — а волны катятся и катятся под хмурым небом, сами тоже хмурые, и куда, спрашивается, докатятся? В море? А откуда в океан?.. Всего этого Маня, конечно, не высказывала вслух — мальчишки засмеют, им не до глупостей.

Расположившись на некрутом склоне, у плещущей воды, и попивая портер, как большие, ребята развлекались чем попало. Они были не слишком внимательны к Косте, который полагал, что все-таки он сегодня должен быть в центре внимания.

Виктор Дремин спрашивал Костю, сколько он теперь будет зарабатывать, где и как будет жить; авиатор ли дает ему жалованье или хозяин, у которого авиатор служит; какие полагаются авиаторам харчи. Но на эти и другие дельные вопросы не получал толковых ответов, чем был очень недоволен. Костя обнаруживал, как всегда, крайнее легкомыслие, деньгами и питанием не интересовался, и по ответам его получалось так, что авиаторы только и делают, что не пивши, не евши летают круглые сутки по воздуху. Костя говорил только о полетах, а от остального отмахивался. Родители у Кости давно умерли, вечно пьяный дядя, лудильщик, гнал из дому. Парня сдувало с земли всеми ветрами, вот он и уцепился за своего авиатора. Он пробыл с ребятами всего какой-нибудь час и убежал, важно сообщив, что ему некогда, надо готовиться к отъезду, авиатор отпустил ненадолго.

К весне Василий получил письмо. Это было первое письмо, полученное им в жизни. Подвальным жильцам писем не слали, почтальон с толстой кожаной сумкой всегда заворачивал к барскому подъезду.

Почтальон держался в своей интересной форме молодцевато, шагал бодрым шагом, и усики у него торчали кверху, как у кота. Горничные и кухарки вертелись вокруг него, и Василий видел, как однажды он взял одну за подбородок, промолвив:

— Ишь, беленькая!

Когда две таких беленьких вцепились как-то у ворот друг другу в волосы и все сбежались на их визг, то это было из-за него, из-за красавца почтальона.

Ребят он щелкал по носу, сбивал им на лбы картузы, но, впрочем, случалось также, что давал конфетку или пряник, издавая трубные звуки;

— Тум-турурум-бум-бум!

При этом он пучил глаза и делал страшное лицо.

Письмо приняла мать. Когда Василий пришел домой, письмо лежало на подушке, и мать, отерев руки о передник, с уважением подала его сыну. Она и сама никогда не получала писем. Василий разорвал конверт, вынул листочек, исписанный не карандашом, а чернилами, и, тотчас же взглянув на подпись, сказал:

— От Кости.

Мать только счастливо вздохнула, гордясь сыном, которому уже пишут письма. Она присела на табурет и, чинно сложив руки на коленях, приготовилась слушать, и на щеках ее обозначились в улыбке ямочки.

Костя звал Василия к себе. Он жил в Москве. Авиатор познакомил его с учеными и студентами, они ходят в ангар, и сам Жуковский («Кто такой Жуковский?» — подумал Василий) будет его учить. Но Костя не забыл друга, рассказал, что у него на Выборгской стороне остался некто Котляков (так и написано было — «некто»), не такой, конечно, способный, как он, Куклин, но тоже мог бы подучиться. Теперь Вася может приехать в Москву, только пусть даст о своем приезде телеграмму («Телеграмму!» — ахнула мать), чтобы Костя его встретил на вокзале. В общем, Костя обеспечивал Васю своим высоким покровительством, а Васе оставалось только во всем его слушаться, как более умного.

Костя писал бойко, орудовал всякими словами совершенно свободно и, видно, нисколько не удивлялся своим успехам. Подумаешь, делов! Ежели очень захочешь — так все можно.

— Поедешь? — спросила мать.

Она, видно, и не поняла, что если Василию ехать, то — с его-то характером! — под начало к Косте Куклину? Да и на какое дело ехать? Неведомо на какое. К полетам Василия не влекло, его влекло к машинам, а машины — здесь, на Выборгской стороне, а не у Костиного авиатора.

Василий молча сунул письмо в карман. Ему захотелось оттузить приятеля, как бывало, но Костя далеко, не достанешь.

Мать пригнулась к сыну:

— Если денег, Васенька, так, — тут она зашептала, хотя они были одни, — я тебе дам, у меня прибережено. И на дорогу, и там еще останется. Поезжай...

Она соглашалась на то, чтобы он оставил ее одну, лишь бы ему было хорошо.

Василий ответил:

— Он для своего форсу зовет. Чтоб покрасоваться.

— Поезжай, поезжай, — говорила мать. — Что от счастья своего отказываться?

Василий только отмахнулся.

Но Костино письмо все же разбредило его. Вспоминался ученый старик, профессор, по фамилии Кондаков, который однажды провел Василия на выставку машин. Возник в памяти вечер, когда инженер Ланговой, прогнанный с завода за спор с хозяином, ввалился пьяный в убогую комнатенку дяди Яши, страшными словами ругал хозяев, очень интересно говорил о механиках и угощал Василия снедью, какой тот не ел ни до, ни после того. Но такие люди, чуть появившись, вновь исчезали в богатых кварталах. А теперь Костя Куклин звал, чтобы жить и работать с ними, среди них.

До самого воскресенья Василий, приходя в мастерскую, боялся, что строгальный нож отхватит ему руку, так одолевали сторонние мысли. А на работе отвлекаться нельзя. Чуть подумаешь о другом, так — чирк! — и нет пальца. Такое случилось с одним парнем у строгального станка. Парень потом сознавался, что подумал о жене, жена его болела и лежала дома одна. Как только он подумал о ней, так нож и резанул его по самую кисть. Приходил инспектор, в очках на кончике носа, тощий, с птичьим голосом, опрашивал всех по форме, писал бумагу, и, конечно, парню даже и пособия не выдали, признали его самого виновным в увечье. Дядя Яша собирал для него по грошу, а сам дал, как всегда, больше всех.

В воскресный день Василий рано ушел из дому. Он с самых малых лет в драках, играх, поручениях узнал все переулки, закоулки, пустыри, будки, сараи Выборгской стороны. Забегал и на тихую Охту и в разгульную Матросскую слободу, исходил весь этот кусок неевского берега, протянувшегося на север, к Финляндии, к гранитным скалам и озерам, которых Василий не видал,

но старался представить себе по Поклонной горе и Озеркам, где бывал с ребятами. Так же, как жителю центральных кварталов города привычны были коридоры его уютного логовища, спрятанного от невзгод в теснинах удобных домов, так привычны были Василию Батальонный или Крапивный переулок, Варваринская или Тимофеевская улица, Гренадерский или Сампсониевский мост.

В одном из дальних закоулков он подошел к старому деревянному домику и стукнул в окошко первого этажа. Дверь отворил высокий мужчина с большой светлой бородой.

— Это ты? Проходи ко мне.

Он, видимо, был сегодня чем-то сильно озабочен. Словно тень какая-то лежала на его лице. Все же он сказал:

— Ты по делу? Посиди. Я только допишу.

В его небольшой комнате везде стояли и лежали книги. Стол был завален бумагами.

Старику и старухе, родителям Севастьянова, коренным здешним жителям, он был известен как живущий на свой капитал господин Лобачев, из учителей. Сын им устроил тихого, непьющего, выгодного жильца, и ладно. О том, что его настоящая фамилия — Макшеев, они и не подозревали.

За окном — молодое апрельское солнце, питерская оттепель, рыхлый снег, капель. Когда Макшеев двинул чернильницей, зайчик метнулся по стене, и Макшееву вспомнилось, как в детстве сестренка верила, что на пасху солнце танцует в небе, и тащила его обязательно посмотреть, как оно танцует. И он спросил вдруг Василия:

— Ты помнишь Екатерину Николаевну?

Этот вопрос совершенно внезапно ворвался в размышления Василия, но Василий тотчас же кивнул головой:

— Ага!

Екатерину Николаевну, сестру Макшеева, учительницу начальной школы, услали в Сибирь, туда же, где осталась и жена Макшеева. Все они — не как отец Василий, никто из них не жил смирно.

Не постучавшись, вошел в комнату Севастьянов, высокий, худощавый мужчина, усы которого почти со-

всем поседели, а в бородаке седина проступала чуть-чуть. В его манере держаться чувствовался бывший солдат. Он глянул на Василия и обратился к Макшееву, опустившись на ветхий зеленый диванчик:

— Здесь встретимся?

— Зачем твоих стариков тревожить? Где всегда.

Севастьянов еще раз взглянул на Василия, и тот сразу поднялся. Что-то было сегодня во всем облике Макшеева, в неожиданном вопросе об учительше особенное, такое, что Василий решил не советоваться сейчас о Костином письме. Он сказал:

— Я прибежал спросить, не будет ли поручений.

Макшеев ответил, подумав:

— Вот что. В пять часов приходки. (он сказал куда) — может быть, понадобится. Передай и Дремину, чтоб пришел, больше никому. Идите разное, не вместе. Не приводите хвостов. Понятно? Без опозданий.

Василий явился даже раньше времени. Он пошел хитрыми путями, чтобы не наткнуться на ребят, а в особенности на Маню Колесникову.

Маня Колесникова, сразу почуяв тайну, не отяжется ни за что. К удовольствию Виктора Дремина, атамана строго-настрого запретил посвящать Маню в священные тайны Выборгской стороны, которые она по легкомыслию и бабьей неводержанности языка способна выболтать. Может быть, чувствуя это, хоть ничего и не зная, Маня и бросалась с таким остервенением на непоколебимого атамана. Конечно, ей было обидно, — но кто же виноват в том, что она родилась болливой и взбалмошной девчонкой?

Придя к назначенному месту, Василий увидел Колю Смирнова, который недавно отпал от котляковской команды, потому что ушел вслед за отцом на Путиловский завод. Смирнов спросил грубо, без всякого уважения к бывшему свосму атаману:

— Ты куда?

— Не твое дело. А ты чего тут путаешься?

— Хочу, потому и пришел. А ты пооди прочь, ступай откуда явился.

При этом Смирнов попытался даже толкнуть Василия в грудь. Это было уже слишком. Василий легко

задержал его руку и, с самым невинным видом сжав ему кисть, осведомился очень любезно:

— Как ты тут очутился? Зачем пришел?

Он был специалист по «тискам», пальцы у него были самые крепкие во всей команде, но Смирнов решил, видимо, во что бы то ни стало стерпеть боль, только глаза его потухли и голос чуть дрогнул, когда он проговорил глухо:

— Оставь! Не до шуток!

Василий заподозрил его теперь в самом плохом и потому настаивал, не отпуская его руки:

— Говори, от кого пришел? Зачем?

— От путиловцев. Связной. За тем же, за чем и ты.

Василий тотчас же отпустил его, и Смирнов стал растирать онемевшие пальцы, приговаривая хмуро:

— Уж и пошутить нельзя.

— Не до шуток! — вернул ему его же слова Василий и добавил: — А если б в полиции тебя так сжали — ты бы как?

Смирнов вскинул на него глаза, в которых сверкнул непритворный гнев:

— Хоть на куски бы изрубили!

Он протянул руку.

— Бери! Жми! Хоть отломи напрочь!

— Ладно. Я и без того верю, — удовлетворенно отозвался Василий. — Только знай время для шуток, а то мало ли что можно подумать.

— Это верно, — примирительно подтвердил Смирнов. При каждой встрече с Василием он начинал с вызова, а кончал покорностью.

Вокруг лежали еще не сошедшие снега, кое-где почерневшие и не плотные, а рассыпчатые, и среди них стоял домик сторожа. Вскоре прибежал Виктор Дремин. Все трое вошли к сторожу, где были Макшеев и Севастьянов.

Каждый паренек получил задание: Смирнов — на Путиловский, Дремин — к себе на завод, а Василий, как часто бывало, — в типографию, к знакомому метранпажу. При этом им коротко было рассказано наконец о том, что случилось. В далекой Сибири полиция стреляла в мирных рабочих и очень многих убила. В ответ подымается вся рабочая сила. Так вот почему тень лежала сегодня утром на лице Макшеева! Теперь

он был такой, как всегда. Он действовал. Раздавая поручения, он предлагал действовать и другим.

— За тысячу верст рабочих убили, а мы здесь даем ответ, — говорил Василий, когда ребята пустились исполнять задания.

— Помнишь Екатерину Николаевну? — как-то невпопад отозвался Дремин. — Учителышу из школы? Сестру Макшеева?

Второй раз сегодня Василия спрашивали о ней.

— Помню. А что?

— Отец сказал, что ее тоже там убили, она же за женихом поехала в Сибирь, а там вот и пошла с рабочими.

Василий с удивительной ясностью увидел худенькую, рыженькую девушку в заштопанном платье, которую выгнали из начальной школы и заменили болваном в мундире, и его как опалило.

Смирнов глянул в его бешеные глаза и серьезно предупредил:

— Ты, Вася, воли себе не давай! Теперь нужно по дисциплине!

Василий ничего не ответил.

Он сунул руку в карман, где лежали листки для типографии, перебрал их и нашел что-то лишнее. Это было Костино письмо, о котором он совсем забыл. Чтоб оно не путалось, он тут же порвал его, но не бросил, а сунул клочки в другой карман. Им сейчас с особой силой владело чувство конспиратора — не бросать зря никаких бумаг, даже самых пустяковых, а сжигать, сжигать!..

V

Рабочие выбегали из своих мастерских, двор зачернел людьми, и кто-то, кого Василий и не знал, кричал, поднятый товарищами на плечи:

— Довольно терпеть! Требуем своих прав! Люди, а не скот!

Он кричал еще что-то, чего Василий не расслышал, а толпа гудела, шаталась, стремилась через ворота на набережную.

Ломаный лед плыл по шальной весенней Неве, а в небе клочья порванных облаков, раскинутые озорным ветром по всей голубизне, неслись, как лебеди и чайки,

над заводами и дворцами, над булыжными улицами и торцовыми площадями, над каменной северной столицей. Веселый весенний ветер разносил буйные боевые песни. «Марш, марш вперед, рабочий народ!..»

Людской поток снесет любого, кто встанет на пути. «Вы жертвою пали в борьбе роковой...» Взмыло и стариков и женщин, Василия несло, как малую щепку, в этих волнах, поднятых гневом и болью. Он не атаман, нет, он один из тысяч и миллионов, — именно это и утешало и радовало его сейчас. Тысячи шли как один, в едином чувстве. Стачка! Самые смиренные и богобоязненные тоже кричали и пели.

— Как в пятом году, — сказал дядя Яша.

Нет, не как в пятом, а посильней!

Эти переломные дни навсегда запомнились Василию, но они тогда еще не завершились победой.

В модельной мастерской дела шли несколько иначе, чем в остальных. Здесь наиболее ответственные работы выполняли иностранцы, преимущественно бельгийцы. Из русских один только дядя Яша стоял в равном с ними должностном ряду. При складе, где сушилось дерево, и при магазине, куда уносились модели, русских и совсем не было. Иностранцы, в своих пиджаках, галстуках, с тщательно выбритыми лицами, держались отдельно. Они работали на более выгодных условиях, чем русские, в забастовках никогда не участвовали, и это стало особенно заметно после сибирской крови. Некоторые из них сочувственно слушали рассказы о случившемся, причмокивали губами, покачивали головами, но все же не пошли ни на митинг, ни на демонстрацию.

Когда Василий после забастовки вновь появился в мастерской, один веселый мусье сказал ему, моя в перерыве свои волосатые руки:

— У нас нет царь. Карашо. Ваш царь вешает...

Вытирая руки мохнатым полотенцем, он замотал головой, как в петле, и смуглое лицо его страдальчески сморщилось.

— Ваш царь тебя повесит.

А толстяк, начальник мастерской, вызвал Василия к себе в конторку и тихо заговорил, озираясь:

— Ты не должен быть с необразованным рабочим людом. Твоя польза — с образованными людьми. Ты забываешь свою пользу.

Начальник мастерской не любил русской полиции и не считался среди рабочих наушником Лызлова. Он был чужой человек из чужой страны, под защитой своего какого-то короля, и в русские порядки, которые с ужасом называл варварскими, не путался. Он вынул сигару, откусил, как шоколад, кончик, сплюнул и, закуривая, проговорил печально:

— Россия — очень страшная страна, очень страшная. Очень страшно быть русским способным человеком. Но я вижу, что вы не боитесь страха, — перешел он вдруг на вы. — Вас посадят в тюрьму и пошлют в Сибирь.

С той поры он поглядывал на Василия с укоризной, не повышал ему жалованья, прекратил поощрения, но не доносил на него, даже, возможно, охранял от кар.

В четырнадцатом году, когда царь в полной военной форме обнимался с почетным французским гостем в сюртуке и цилиндре, а «русский боярский хор» под аккомпанемент разодетых, как дворцовые полотеры, балалаечников исполнял «Марсельезу» в честь президента Франции, Василию не удалось применить свои способности к строительству баррикад — жандармерия заблаговременно оцепила завод.

Немецкие войска ринулись на Францию через Бельгию, и бельгийцы в модельной мастерской стали героями. Те, у кого на родине остались семьи, помрачнели, начали злобно следить за русскими рабочими и, чего не было раньше, доносили начальству на «изменников». Смуглый мусье с волосатыми руками полюбил русского царя и так посматривал на Василия своими словно тушью помазанными глазами, что Василий стал избегать его.

Людьми овладевал военный угар. На каждого военного оглядывались с восторгом, офицеров почитали без разбору, даже тех, кто до того ходил в карателях. Гимны, марши всюду, куда ни сунешься. Мальчишки бежали за шагающими по улицам ротами, и солдаты пели с присвистом «Пишет, пишет, царь немецкий», переиначивая на новый лад старую песню. Каждый чинуша, каждый лавочник, выпячивая грудь, громил «тевтонов» и брал Берлин за трактирной стойкой. Им вторили иные из вчерашних митинговых ораторов. Вчера — за свободу, сегодня — за веру, царя и отечество. Кучами отва-

ливались вчерашние «революционеры». Василий самостоятельно видел, как студент целовался с приставом. Газеты перешли со скрипок и флейт на барабаны, трубы и литавры. За Невой, в центральных кварталах не прекращались военные митинги. Новые богачи вырастали на солдатской крови, как жирная трава на кладбище.

Полиция бросилась на рабочие районы. Руководители и друзья Василия Котлякова выбывали из строя, как солдаты на войне. Севастьянова услали на фронт. Макшеев решением Комитета вынужден был уйти подальше от города, к Финляндии. Оставался Иван Фомич, передавший Василию листовку с призывными словами Ленина. Эту листовку пришлось переписывать от руки, потому что знакомый метранпаж Демьян Гаврилович отсекся от «пораженцев». Василий подбрасывал эту листовку на заводе с трепетом, какого раньше не знал. Но, видно, заподозрили в этом именно его, потому что смуглый мусье прямо подошел к нему на работе и сказал, сверкая своими угольными глазами:

— Некарашо. Убиваешь моих детей.

Василий отлично разыграл недоумение и даже возмущение, а дядя Яша пошел жаловаться на бельгийца начальнику мастерской.

Пошел разброд и в котляковской команде. Пыжиков, маленький, тощий, но какой-то очень ядовитый мальчишка, с толстыми, всегда мокрыми губами и кошачьими искрами в глазах, втерся в маршевую роту и вскоре подхватил Георгия на фронте. Другие добровольцами не шли, но путались, как дети в незнакомом лесу. Василий к Ивану Фомичу уже не ходил, он ждал, сам не зная чего. Его словно оглушило. О другой России, не о такой, о какой кричали сейчас на улицах, говорили Макшеев, Севастьянов, Иван Фомич, говорил сам Ленин. Где же она, та Россия?..

Однажды Василий прочел в копеечной газетке сообщение: «В воздушном бою погибли старший унтер-офицер Владимир и рядовой Куклин». Владимир был тот самый авиатор, который увез жаждавшего знаний мальчика.

Весь тот день Василия преследовал образ погибшего приятеля. Он как живого видел этого белобрысого паренька с ясными глазами, с веками почти без ресниц, с коротеньким носом, за который так и хотелось потя-

нуть, чтобы сделать его длинней. Костя ушел искать счастья в одиночку и нашел смерть. За кого, за что он погиб?

Выйдя из мастерской под морозное, ясное небо, на котором криво висела бледная луна, Василий увидел городского. Придерживая рукой тяжелую шашку, городской бежал по двору. Снег скрипел под его сапогами. Двое полицейских стояли у конторы, еще несколько — у ворот. Рабочие молча, с угрюмыми, каменными лицами выходили на белую набережную, иные вбирали головы в плечи, словно защищаясь от ударов.

За воротами стоял сизый автомобиль заводчика. Коляска отошла в прошлое, теперь люди шарахались не от окриков кучера, а от гудков шофера, который так же гнал свою проклятую машину на рабочих, как раньше кучер — лошадей. В автомобиле, поджидая, видно, Лызлова, сидел всем известный высоченный жандарм. Пикет полиции охранял его.

Появление жандарма на заводе означало аресты, увольнения, отправку на фронт со штрафными ротами. Никогда нельзя было угадать заранес, кого ждут очередные кары. Военные законы поощряли полный произвол полиции. Донос любого мерзавца мог загубить и совершенно неповинного человека. Кого забрали сейчас? Кого возмут ночью?

Василий, вместо того чтобы отправиться домой, вдруг зашагал в противоположную сторону и быстро свернул за угол, словно убегая. Навстречу выдвинулась рота гвардейских молодцов. Слышалось:

— Ать-два, ать-два!..

В лунном свете, не часто балующем северную столицу, все солдаты казались на одно лицо. Василий шарахнулся от них, как от смерти, и чуть не наскочил на какого-то чиновничка. Тот брезгливо, как барин, буркнул:

— Пьяная морда...

И тотчас же ударило от казарм, как пушка:

— Ура-а-а!..

Теснило грудь. Арестуют, затопчут, уничтожат.

В холодном лунном свете тыли вокзал, тюрьма, больница, и зыбкими казались не здания, не дома, а люди.

Василий шел, шел — и очутился среди железнодорожных домиков, рассыпанных вдоль путей. Он тихо

стукнул в окошко одного из них. Дверь скрипнула, и укутанная в шубенку фигура показалась на крылечке.

— Костя разбился, — сказал Василий, даже не поздоровавшись.

Маня Колесникова молча подошла, пристально глядя в него своими блестящими глазами.

— Костя живой, — ответила она наконец. — А с тобой что?

— Как так живой! В газетах же написано!

— Врут. Вот чувствую, знаю, что он живой. А с тобой что сегодня? — повторила она.

Были детские глупости — Виктор у позорного столба, «помойная купель», драки, а теперь — взрослая смертная тоска.

Маня взошла обратно на крыльцо. Вдруг обернулась и прикрикнула обычным своим резким голосом:

— Ступай домой! Раз назвался вожаком — так уж держись!

И хлопнула дверью.

Удивительно, как она умела быстро меняться. Только что добрая-предобрая — и вдруг злая как ведьма. Когда девчонка превращается в девушку, все в ней становится непонятно и загадочно.

Василий, постояв под окошком, медленно двинулся к вокзалу. С путей, из теплушек очередного эшелона неслась залетевшая с Украины песня: «Ой, на горе, на горé чобан вивцы гоняе...». Когда Василий сворачивал в переулок, его догнал припев: «Лучше было, лучше было не ходити, лучше было, лучше было не любити...».

Чем ближе к дому, тем труднее передвигать ноги. Ночь, когда арестовали отца, встала в памяти так, словно случилась вчера. Может быть, эта ночь повторится сейчас — только уже не с отцом, а с ним самим. Может быть, дома его ждет полиция.

Навстречу брел, пошатываясь и спотыкаясь, пьяный мастеровой и горланил:

— Бей! Кончай! В душу!..

Городового у ворот не было.

Василий шагнул во двор.

У подвала тоже никого не видать.

Василий сошел по скользким ступеням в темный и сырой проход, который и коридором не назовешь.

Решительно отворил лохматую, набрякшую дверь.
— Васенька, где ж ты пропадал, непутевый?..

Мать не спала, она все эти часы ждала его и чего-чего только не передумала!

Сразу ослабев, он опустился на табурет. Чтобы как-нибудь оправдаться, он повторил то, что сказал Мане Колесниковой:

— Костя Куклин погиб на фронте.

— Господи, твоя воля, — вздохнула мать и перекрестилась.

В воскресенье утром Василий Котляков, как и всегда, пошел с Виктором Дреминым к родителям Севастьянова узнать, нет ли вестей с фронта. В знакомом домике сидел очень молодой великан в желтой выцветшей гимнастерке с расстегнутым воротом и ватных штанах. Он пил с блюдечка чай и закусывал баранками. Обратив к вошедшим парням свое бурое, померзшее лицо, он промолвил:

— Не Котляков ли с Дреминым?

Шея у него была толстая и красная, даже багровая.

— Привет вам от солдата русских войск, — усмехнулся он. — Фамилия моя — Балабин.

Старики умиленно глядели ему в рот. Солдат был одной роты с их сыном и привез им вести о нем. Севастьянов, оказывается, прошел всю Восточную Пруссию до Кенигсберга.

— Туда шли быстро, а назад — еще быстрее, — рассказывал Балабин деловито и спокойно, только недобрая усмешка трогала его крупные, почерневшие в непогодах губы. — Сейчас хуже всех солдату, хуже даже, чем вам.

— Хуже, чем нам! — повторил жадно слушавший Василий.

— А что ж ты думал! — отвечал Балабин. — Солдат гибнет за своих врагов, вот что. К вам есть порученьице, — продолжал он тем же ровным тоном, так что не сразу можно было понять, что он такое вплет в свою речь.

Когда Балабин поднялся из-за стола, мать Севастьянова подала ему костыль, стоявший в углу. Балабин был ранен в ногу.

— Пора на койку, а то сестра заругается, — говорил он. — Выпустили на часок. Так вот, квартирую я в госпитале, — продолжал он, выйдя с Котляковым и Дреминым на улицу. — Приказано вам от товарища Севастьянова связаться с нами, будем иметь через вас сношения с волей. — Он сказал эти слова «с волей», как арестант, и взглянул на Василия испытующе своими прозрачными глазами, словно омытыми чистой водой. — Ориентиры сейчас дам. Память у тебя, я слышал, хорошая? — Василий почувствовал тут великую гордость, поняв, что Севастьянов подробно говорил о нем там, в окопах, этому чудному солдату. — Только чур, ребята, не трусить. За наше дело сто́ит, если надо, и умереть. Кошельки — не в первый раз Василий слышал такое обозначение богачей, — кошельки хотят в жизни только одного — своей выгоды, они только за себя, а наша борьба, наша жизнь — за всю трудовую Россию. Нам жалеть себя не приходится. Верно?

— Верно, — тотчас же ответил Василий.

После первых страшных военных месяцев приятно было встретиться со знакомыми словами и чувствами, как со старыми друзьями после долгой разлуки.

По пути домой Василий молчал, преисполненный восторженных мыслей. Мрачный и грозный вид атамана смущал Дремина. Когда товарищи проходили пустырь, где некогда Дремин был привязан к «позорному столбу», Василий вдруг остановился и спросил тихо и яростно:

— А ты отдашь, если надо, жизнь?

Виктор знал, что на это следовало ответить отчаянным голосом что-нибудь вроде: «Отдам! Клянусь!». Но он был решительно неприспособлен к торжественным сценам, любил слова простые, естественные, как у всех людей, и потому промолчал, как всегда в таких случаях. Но на этот раз Василий не отстал. Он воскликнул бешено:

— Ты Балабину не ответил и мне молчишь? Говори, что думаешь!

Виктор Дремин очень удивился.

— Дойдет до дела — увидишь, — отозвался он, с некоторой опаской глядя на вожака. — Ты не бесись, Вася, дело простое, а ты налетел, как черт в театре. Я вот думаю, что и к Ивану Фомичу не вредно теперь пойти.

Василий поглядел на него, выпучив свои дикие глаза, потом с него наконец сдуло «блажь», как называл Дремин такие выходки вожака. Василий сказал:

— Надо теперь за ребят приняться, да и новеньких искать. Молодые-то подросли, — добавил он солидно, как старик.

Ему не терпелось прибрать к рукам свою котляковскую команду. Что греха таить! Он сам в последнее время немножко запутался, не знал, как и что делать, вот ребята и разбрелись.

Не прошло и года, как в подвальную комнату нагрянули городовые. Но Котлякова уже и след простыл. Ушел вместе с ним и Дремин. Не так уж трудно ребятам с Выборгской стороны укрыться в родных, изведанных с малых лет пустырях, будках, сараях, перелесках, рощицах, да и в дальних лесах. По слову Ивана Фомича ребята ушли в глубокое подполье, к Макшееву. Все призывней звучали листовки, разбрасываемые по заводам и казармам невидимыми и неуловимыми руками.

Когда в конце шестнадцатого года Пыжиков явился на побывку, чтобы погордиться своим Георгием, он был с почетом принят Лызловым, после чего от него шарахались как от заразы. Но Пыжиков удивил заводских: когда ему пришел срок возвращаться на фронт, он исчез, дезертировал.

VI

Марья Кузьминишна Котлякова, мать Василия, и не пыталась больше руководить жизнью сына. Удивляясь тому, что у нее вырос такой буйный парень, и обмирая, когда он пропадал неведомо где, она всегда утешалась мыслью, что Васенька перебесится, образумится и станет инженером. Мысль, что Васенька станет инженером, особенно укоренилась в ней с той поры, как начальник модельной мастерской начал хвалить и выделять Василия и предсказал ему будущность образованного человека. В этих словах — «образованный человек» — воплощалось для Марьи Кузьминишны счастье сына: она воображала его в инженерской фуражке, с бородкой, важного; он ходит по театрам под руку с красивой женой, у которой большая шляпа с перьями; на заводе ему

с почтением кланяются; он живет в богатой квартире, на полках у него ученые книги, в гостях ученые люди, жена играет на фортепьяно, а она сама, его мать, сидит в шелковом платье за столом и угощает всех пирогами, приговаривая: «Кушайте, господа, кушайте, пожалуйте».

Марья Кузьминишна утешалась этими благостными мечтами, пока сын вел совсем не благостную жизнь. Она и своего Тимофеюшку всегда видела иначе, чем другие люди, потому что любила его.

Когда Василий исчез с завода, дворник Мефодий явился к Марье Кузьминишне и потребовал, встав у порога:

— Отвечай, где твой разбойник! Иначе...

Марья Кузьминишна ответила степенно и беспрестанно:

— Кому разбойник, а мне сын родной.

Наутро отец Дремина, сосед, увел ее в далекую избушку за город, к озерам, и они там зажили вместе. Сделал он это по приказу ребят, боявшихся, что полиция тронет родителей за грехи детей. Сыновья иногда вдруг появлялись у них, но тотчас же вновь исчезали.

Марью Кузьминишну и в ту пору не оставляла упрямая мысль, что Васенька станет инженером, и она, с тревогой подсчитывая пропущенные сыном годы учения, успокаивала себя:

— Да он у меня такой, что сразу всех обгонит, ему бы только начать...

Трофим Елизарович, отец Дремина, осторожно отзывался:

— Он занят другими делами. Мой вот будет рабочим, слесарем, и ладно.

Трофим Елизарович был инвалид, все ночи кашлял, и Марья Кузьминишна ухаживала за ним. С работы его, как больного, уволили еще в прошлом году, и он кормился заботами дяди Яши.

Дядя Яша являлся каждое воскресенье, в котелке, при галстукке, чисто выбритый, и вручал Марье Кузьминишне, которую признавал главной хозяйкой, очередную сумму денег на жизнь, говоря, что деньги эти от ребят. С ребятами он уговорился, и те подтверждали, что эти деньги они действительно получили за разные поделки, доставляемые дядей Яшей. Марья Кузьминиш-

на понимала, что деньги эти — от щедрот старого добряка, но делала вид, что верит, и тратила их целиком на пропитание Трофима Елизаровича. Сама же она пристроилась к зимогорам и дачникам стирать белье. Ее любили за честность, ласковый нрав и чистую работу, никто и не поверил бы, если б сказали, что она мать такого вредного парня. У нее было правило — никого не отягощать своим существованием, и она даже откладывала чуточку от своего скудного заработка для сына. Мало ли что может случиться с Васенькой, и тогда кто поможет, кроме матери? А если не потребуется на пищу, одежду или на болезнь, то уж наверняка понадобится на учение. Когда одна дамочка снисходительно спросила ее, есть ли у нее дети, Марья Кузьминишна ответила не без важности:

— Мой сын инженером будет.

Она верила собственным своим словам. Девочкой, в нищей семье, она мечтала и о принце, и о Золушке, и невеста о чем, и как жизнь ни хлестала ее, а в ней осталась жить пригородная мечтательница.

Весной Трофим Елизарович умер. Марья Кузьминишна похоронила его на местном кладбище, на горюшке над озером, и, кроме нее, один только дядя Яша провожал гроб, в котором покоилось высохшее тельце старого рабочего. Ребятам нельзя было и показаться здесь днем.

Первые дни Февральской революции запомнились Марье Кузьминишне как несчастье, потому что ее Васенька был в ту пору ранен. В те дни Макшеев, Иван Фомич и другие открыто встали у руководства Выборгской стороны, а Севастьянову удалось вырваться из армии уже после того, как Василий получил пулю в плечо. Ребята во главе с Василием, выйдя из подполья, бросились на охоту за полицией, и переодетый околоточный выстрелил из подворотни в страшного атамана.

Василий до лета пролежал в госпитале, занимаясь преимущественно чтением. Он читал газеты, брошюры, книги, в том числе и учебные. Виктор Дремин регулярно являлся к нему с сообщениями о событиях. Марья Кузьминишна завела дружбу с доктором, сестрами, сиделками и все время, пока Василий находился в госпитале, стирала им белье и помогала в общей стирке для

раненых. Впрочем, и тогда, когда Василий уже выздоровел, она продолжала помогать в госпитале уже не для сына, а просто так, по доброте душевной. В конце концов она осталась служить в прачечной госпиталя.

Из котляковской команды вырос тот красногвардейский отряд, во главе которого встал Василий, когда вышел из госпиталя. Отряд участвовал в октябрьских боях. Макшеев водил красногвардейцев в атаку у Пулкова, и отряд Василия Котлякова шел первым. Когда юнцы в черных пальто со стремительной силой покатились с Пулковской горы на многоопытных вояк Краснова, то всем своим существом они ощущали, что натиск их неотразим. После боя какой-то стриженный в скобку молодец, пойманный в плен, вертелся среди них, возбужденно сверкая глазами и словно веером разбрасывая слова:

— Что мы, казаки, можем, когда вся Россия на нас?

Еще в мартовские дни семнадцатого года Лызлов исчез, его нигде не могли найти. Летом уплыл морем за границу бельгийский заводчик, после занятия Бельгии немцами объединивший свою фирму с английской. Вслед за ним уехал в Стокгольм за своей пользой и начальник модельной мастерской, — он оказался шведом. Один за другим инженеры покидали завод.

Василий всего этого как бы и не замечал, не до того было. Но, вернувшись из-под Пулкова, он зашел в модельную мастерскую, и его впервые поразили запустение и тишина. Он вспомнил, что на весь завод остался только один инженер. А может ли он, Василий Котляков, заменить хоть кого-нибудь из бросивших работу инженеров? Нет, хотя он и самый знающий из ребят. Впервые за все годы собственное невежество ошеломило его, и в нем поднялось пренеприятное чувство, что победить врага в знаниях трудней, чем в боях. Эх, Костя! Как бы он пригодился теперь!..

Именно в ту минуту Василий решил собрать по мастерским все чертежи и проекты, все материалы, которые хозяева не успели вывезти или забыли. Макшеев поощрял это дело, ребята помогли, и Василий все, что удалось найти, сложил в модельной в шкаф, ключи от которого хранились у дяди Яши и единственного оставшегося инженера — Громова.

Макшеев в те дни предложил Василию перейти на работу в Совнархоз, где можно и учиться, но Василий ответил решительным отказом, даже обиделся. Ведь он мог изменить свою жизнь и тогда, когда Костя Куклин позвал его к себе в Москву. Он ведь всегда понимал, что Костя — хороший товарищ, что Костя позвал его всерьез, не для хвастовства. Но он, Василий, не захотел. Как же он, признанный ребятами вожак, может оставить их теперь, в разгар боев! Макшеев не настаивал, потому что понимал его.

Солдатские шинели, матросские форменки, рабочие пальто господствовали и в Зимнем дворце, и в блистательной «Астории», и в роскошном «Медведе», и в барских особняках. Круглосуточно горели огни Смольного. Голос Ленина бурей шел по стране, по всему миру, как веление судьбы, подчиненной строгому и нерушиму знанию.

Макшеев, направляя людей в бурные людские волны, ходившие по городу, действовал, конечно, не случайно. Он не случайно направил Балабина, самого опытного из командиров, к Таврическому дворцу, где в эти морозные январские дни восемнадцатого года вновь пыталась воскреснуть царская столица в облике Учредительного собрания. Не случайно он послал и Василия Котлякова к институту, который некогда кончил и где по сей день профессорствовал товарищ студенческих лет Ланговой, человек особо запомнившийся Макшееву. Макшеев, не насилуя Котлякова в его желаниях, все же старался исподволь подталкивать его к встречам с учеными. Он привязался к Котлякову и его товарищам, как учитель к ученикам. Счастливое и свежее молодое чувство бросило его в атаку под Пулковом, и он знал, что молодежь особенно полюбила его именно после этой атаки.

VII

Василий Котляков, приведя свой отряд на ночевку в модельную мастерскую, ни о чем не вспоминал — воспоминание, как бывает в молодости, заменялось простым чувством всего пережитого в этих стенах. С этим чувством отвоеванного родного дома он сразу и заснул.

Поднялись среди ночи. Ветер гулял по завесенному снегом двору, крепкий январский мороз жег щеки и уши. В еще не сошедшем утреннем сумраке фигуры людей казались расплывчатыми, как сгустки тумана. У ворот несколько красногвардейцев спорили с сухоньким желчным человеком в шубе с барашковым воротником и в барашковой шапке, тем самым инженером Грозовым, который остался на работе и после Октября. Ежась, забирая пальцы в рукава шубы, инженер скрипел упрямо и раздраженно:

— По всему городу дым коромыслом, возбуждение, споры, черт его знает, чем еще все это кончится, так уж воздержитесь сегодня от эксцессов.

— Да мы ж идем охранять людей!

— А кто вас знает! Идете с оружием.

Он часто ругался, придираясь к чему попало. К его сварливости на заводе привыкли, даже нравилось, что он не кланяется, не заискивает, ни о чем не просит, не трусит, а ворчит и брюзжит, как свой со своими. Но сегодня он ершился больше обыкновенного. И явился он на завод чуть ли не среди ночи. Видно, дунуло на него такой тревогой, что дома не усидишь.

— Завод трещит по всем швам, специалисты разбегаются, как от чумы, — злился инженер. — Сегодня готовятся демонстрации, и уж не трогайте, уважайте всякого знающего человека.

— И Лызлова тоже уважать? — улыбнулся Котляков. Он хотел прекратить эту никчемную перебранку.

Инженер вдруг вспылil:

— Поучаете меня, как маленького! А я в таком случае заявляю категорически — либо прекратите свои поучения, либо и я уйду, *tertium non datur*¹, — нарочно произнес он непонятные красногвардейцам латинские слова. Он иронически пожал плечами и повернулся к Котлякову. — Конечно, по-вашему, я ничего не смыслю, мне, ясное дело, мешают мои знания, мой опыт, моя культура, а вам видней, у вас, — ядовито прибавил он, — всего этого и в помине нету.

Котляков побагровел от злости, но сдержался, только, нахмурившись, переступил с ноги на ногу.

— Ну, это уж вы слишком жестко подошли, —

¹ Третьего не дано (лат.).

с укоризной заметил красногвардеец с посеребренной снегом бородкой. — Это не так.

Инженер, как следует уязвив молодых людей, немножко успокоился, но продолжал ругаться:

— Я больше понимаю и в людях и в деле, и напрасно вы, молодой человек, — вновь повернулся он к Котлякову, — полагаете, что вы умней меня.

Котляков на этот раз не смолчал. Он вымолвил, прямо глядя на инженера своими желтыми, диковатыми глазами:

— А что? Кое в чем и умней. Университетов не кончали, а умней.

Инженер, как это ни странно, не рассердился. Он с неожиданным интересом взглянул на Котлякова, словно ему сейчас требовалась именно резкость.

— Нет, это просто интересно! — воскликнул он. — Откуда у них столько самоуверенности? Вы любите говорить, что история — за вас. — Он слегка развел руками. — История работает на них — и, значит, у них это какое-то не личное чувство, а историческое!

Он вопрошал неведомо кого.

— На историю надейся, — ответил Котляков, — а сам не плошай. Такое уж у нас правило.

Ничего не ответив Котлякову, инженер пошел к выступавшим в мгlistой глубине корпусам цехов. Он шел, опустив голову, словно пригорюнившись. Было даже немножко жалко этого пожилого человека, добровольно пришедшего на помощь из другого, чуждого мира. Но вдруг он обернулся и крикнул Котлякову с прежним запалом:

— С людьми постарше и поопытней вас будьте пожебливей, не заноситесь! И повторяю — либо прекратите свои поучения, либо и я брошу завод!

И он свернул к механическому цеху. Красногвардейцам достались только его слова, а не то, что он чувствовал, и они, выстраиваясь для похода, переговаривались — довольно, впрочем, добродушно:

— А ты, Вася, прямо разлюбезный был с ним.

— Это он действительно нагрубил. Вот уж ворчун старый!

— Да прямо же дураками обозвал!

— А сам ни черта не смыслит. Уж что мы только не прощаем!

— Ультиматумы ставит. Прямо как германский генерал в Бресте.

— Взбодрился. За учредилку не идет, а сам, может быть, на нее с Антантой надеется? Все они сейчас головы подняли. А? Как думаете, ребята?

И тут один из красногвардейцев сказал резко:

— Вот он сам и есть — волк в овечьей шкуре!

— Неправда, — тотчас же возразил Котляков, — он честно пошел с нами. Только еще не все понимает и нервный.

Он был доволен, что удалось подавить в себе злое чувство к инженеру, обозвавшему его невеждой. Справедливость он восстановил, но обида оставалась.

— Построились? Пошли, ребята! — скомандовал он. — Пора.

Они долго шли в морозном сумраке пустынного города — через ледяной провал Невы, мимо темных домов, — и только такие же отряды да патрули встречались им. Наконец они вышли на широкую площадь.

Командир ночного патруля, коренастенький паренек с насмешливыми глазами, подошел к Василию и сказал, поздоровавшись:

— Вечером нас сменят, пойдем к Таврическому. Поглядим учредилку, а? На хорах можно. — Он говорил об Учредительном собрании как о каком-то спектакле. — Там соберутся все покойники с того света. Интересно.

О том, что учредилка грозит опасностью, он, видно, совсем не думал. Это был тот самый Коля Смирнов, который подростком гулял в котляковской команде, а затем стал путиловцем.

Василий спросил его:

— Как у тебя работишка?

— На заводе? Работаем. Комитет, рабочий контроль, все в порядочке. А у тебя?

Конечно, справедливо, что уж если что есть, так идет Путиловскому, Обуховскому, большим заводам, а все же досадно. Чуть нахмурившись, Василий ответил неопределенно:

— Да ничего. Тянемся.

Паренек кольнул его веселым взглядом и заметил снисходительно:

— Погоним их — так и у тебя трубы задымят.

Василий предпочел перейти к делам:

— Как тут? Спокойно?

— Тут? Да ни черта в волнах не видно. Рассвет — оглядимся. Еще, может быть, к ученым заявиться придется, а с ними нужно обхождение.

— Понадобится — найдешь и обхождение.

— Это тебя кашей не корми — а подай ученую бороду! — съязвил паренек. — Ладно, пойдешь к ним ты, — великодушно уступил он. — Поглядеть, может быть, и придется, — добавил он уже серьезно. — Там подобралась вонючая кучка, могут навредить. Рассвет — посмотрим, — повторил он.

Солнце подымалось где-то там, за тучными облаками. Город словно скидывал ночную шубу, которой прикрывал свою тревожную бессонницу. Здания, промерзшие, в белесом инее, выступали резкими, прямыми углами и плоскими фасадами, выполняя, как шпалеры вышколенных солдат, предписанный им закон стоять смирно.

На улицах появились люди. По тому, как боязливо они держались поближе к стенам, видно было, что это и не мятежники и не красногвардейцы, а такие, которые издавна называются обывателями. Они шли к лавкам, чтобы распределиться по очередям. Потом показались и другого порядка жители — служащие. Один оглянулся на красногвардейцев с любопытством, другой — с недоброжелательством, третий — с показным равнодушием.

— Надо бы пройти по подъездам да подворотням, — сказал Смирнов, — могли где-нибудь скопиться.

— Я пройду, — отозвался Василий. — Твои ночь не спали, а мы бодренькие.

— Много возьмешь с собой в обход?

— Одного еще прихвачу, нас двоих хватит.

— В случае чего с помощью не опоздаю.

— Да вряд ли потребуется.

Василию хотелось прежде всего пойти к институту, но, поймав себя на этом, он наметил институт последним в своем обходе.

Четырехэтажное розовое здание института косою лилией резало площадь. Перепончатая, заваленная снегом крыша подъезда убегала под длинный и узкий балкон. Ветер вздымал поземку, засыпая потухшие угли ночного костра на перекрестке, поддувая полы шинелей и пальто. Против института, над крышами обмерзших домов, большой круглой каплей выступали часы. Белые стрелки на их черном фоне раз навсегда сомкнулись на без пяти одиннадцать, словно часы отказались поспевать за стремительно рванувшимся вперед временем.

Юноша в студенческом пальто, в башлыке, из которого торчали только козырек фуражки да нос, в крайнем возбуждении следил из подъезда института за приближавшимися к нему двумя красногвардейцами. Вооруженное выступление явно сорвалось, улицы полны красногвардейцев, солдат, матросов, охраняющих город, — что теперь делать?.. Ничего страшного не было во внешности Котлякова — обыкновенный рабочий парень, но у студента он вызывал ужас и ненависть.

Отчаянным жестом развязав и спустив с головы башлык, студент заступил путь красногвардейцам и крикнул:

— Стой! Прочь отсюда!

Он даже замахнулся рукой в теплой коричневой перчатке.

Шедший с Василием приземистый Дремин в рабочем пальто и с винтовкой за плечами крепко попридержал студента за локоть и проговорил хладнокровно, с хрипотцой:

— Поперек батьки не суйся. Кто таков?

— Вы не смеете! — взвизгнул юноша и рванул руку. Но локоть оказался как в тисках.

— Не ори зря. Говори — кто таков?

— Пусти его, — промолвил Василий, и Дремин тотчас же подчинился. — Кто еще тут с вами? — спросил Котляков юношу. — Или вы один?

— Со мной весь институт, — сочинил для собственной бодрости студент, но таким небодрым тоном, что Котляков не поверил. Все же надо было на всякий случай проверить, нет ли тут засады. С самого утра происходили нападения из-за угла на правительственные

отряды, и захват отдельных учреждений входил в планы врага.

— Прошу документ.

Локоть болел от железной хватки приземистого парня, охота прослыть героем несколько приостыла, тем более что никто не выскакивал на помощь, и юноша, послушно вынимая студенческий матрикул, сказал не столько протестуя, сколько жалобно:

— Вы не имеете права действовать здесь как хозяева.

— А мы везде хозяева, по всей стране, — объяснил ему Котляков, и глаза его вспыхнули насмешкой. — Или не знаете? Не дошло еще?

По документу этот «герой» оказался студентом пятого курса Григорием Талановым. Котляков передал юношу оставшимся на площади красногвардейцам, сам же с Дреминым вступил в подъезд института.

— Теперь, Витя, осторожней, — предупредил он. — Здесь ученые люди, народ нужный, зря не раздражай. Так и в штабе сказали.

Когда дело доходило до ученой части, то Виктор Дремин замолкал. Тут его командир был первый специалист. Дремин не хотел осуждать командира за его пристрастие к ученым людям, но всегда имел на всякий случай в виду эту слабость своего вожака. Дремин не был против наук — пожалуйста, дело полезное, — но ученым людям он не доверял.

Красногвардейцы поднялись по лестнице, никого не встретив. Широкий коридор был тоже пуст. В этом святилище знаний, в строжайшей тишине Котляков почувствовал себя неловко, стесненно. Уличив себя в некоторой робости, он нахмурился и решительным шагом двинулся по коридору. Власть! Надо привыкать к власти и в ученых местах.

В одной из аудиторий слышался голос, басовитый, напористый, размеренный. Остановившись, Котляков подумал, снял винтовку и отдал ее Дремину, молчаливо глядевшему исподлобья на закрытую дверь. Приняв винтовку, Дремин тут же отщипнул в кармане кусочек хлеба от лежавшей там горбушки и сунул в рот.

— Жди тут, — тихо сказал Котляков, вошел в холодную аудиторию и опустился на одну из задних скамей, чего он не предполагал делать, когда входил сюда,

но что показалось ему неизбежным; чуть он вошел. В комнате было почти пусто, только пять-шесть человек разного возраста разместились впереди. Один — в военной шинели со следами снятых погон на плечах, одна женщина.

Черноусый солидный господин, истый буржуй с виду, распахнув шубу, стоял за кафедрой. Прервав лекцию, он строго проследил за вошедшим, и черные усы его сердито зашевелились. Выдержав паузу, он продолжал:

— Итак, по выводу Ньютона оказывалось, что величина сопротивления, производимого жидкостью на тело вращения, пропорциональна квадрату скорости и площади наибольшего поперечного сечения тела. В этом выводе не было необходимой точности...

Котляков, озирая сидевших в комнате, удивлялся тому, что все же нашлись в такие дни люди, чтобы учиться. В то же время он внимательно вслушивался в лекцию. Он ничего не понимал, хотя каждое слово врезывалось ему в память, так напряженно он слушал. Ему казалось, что голос профессора как бы усиливает, подчеркивает безмолвие слушателей, благоговейную тишину аудитории. Странное чувство овладело им — будто его ненароком из бурного океана вынесло в тихую заводь, где ни ветра, ни волн. Но известно, что черти водятся в тихом омуте, и Котляков внимательно вглядывался в каждого из слушателей. Сам же профессор показался ему знакомым. Где-то, когда-то он видал этого рослого человека; звучный голос и черные усы над полными губами вызвали у него давнее, но яркое воспоминание.

Профессор говорил:

— Метод выдающегося русского ученого Николая Егоровича Жуковского, — он очень веско произнес эти имя, отчество и фамилию, словно врубал каждому в память, — дает возможность получить выражения сопротивления, встречаемых пластинкой, движущуюся среди неограниченной массы...

Не прерывая своей речи, он пошел к доске и вычертил формулу, совершенно непонятную Котлякову.

— Если скорость нормальна к пластинке, то...

Профессор выписал другую формулу, столь же непостижимую, как и первая, и Котляков почувствовал

себя прежним маленьким мальчиком, которого гонял каждый барин, каждый городской. Прав, что ли, желчный инженер, обозвавший его сегодня полным невеждой?.. В его желтых глазах загоралось бешенство, он мрачно оглядывал студентов, которым рождение в состоятельных семьях дало понимание премудрых истин, изрекаемых ученым мужем. Но засады здесь, конечно, нет. Зла не умышляют. Понаблюдав минуты две, не больше, Котляков поднялся и тихо, на цыпочках, двинулся к выходу.

Профессор, прервав речь, воскликнул:

— Что за проходной двор! Кто вы такой?

Котляков, отворив дверь, остановился на пороге и отозвался не без озорства, мелькнувшего в его жарких глазах:

— Мы? Вашей науке без нашей не жить!

Усмехаясь, довольный своим ответом профессору, он вместе с молчаливым Дреминым, настороженно ожидавшим его у двери, пошел по коридору. Его окликнула спешившая за ним дама. Он видел, что она сидела на лекции в первом ряду. Она сказала, переводя дыхание:

— Профессор Ланговой желает знать, кто вы такой и зачем вы приходили. Я его жена, — добавила она.

Фамилия, названная дамой, разом напомнила Котлякову, кто таков этот профессор.

— Пусть профессор вспомнит модельщика дядю Яшу, — отвечал Котляков, — при нем мальчишка был, подручный.

Дамочка была, видно, из храбрых — она не пугалась ни озорных глаз, ни винтовок. Она потребовала:

— Профессор желает знать вашу фамилию.

— Котляков, — отрезал Василий. — И передайте профессору, что мы придем к нему всей толпой, пусть нас обучает, а не буржуйских сынков.

Дама промолвила строго и внушительно:

— Профессор Ланговой никогда никому не отказывал и не отказывает в обучении наукам. Профессор Ланговой всегда считал необходимым обучать рабочих и крестьян.

— В таком случае, — отозвался Котляков, — известно ли профессору — собираются отсюда стрелять в рабочих и крестьян или нет?

Дамочка так удивилась, что даже не сразу ответила.
— Стрелять? Здесь ведь научное учреждение.

У нее были большие темные глаза, а волосы — светлые. Совсем молоденькая, высокая, худенькая женщина. Можно бы принять и за девушку. Красная вязаная кофточка виднелась у нее из-под расстегнутого каракулевого пальто.

— Такого подозрения у нас лично не было, — объяснил ей Котляков. — Но в подъезде пришлось задерживать одного студентика, тот прямо так и заявил, что все — как он.

— Это Таланов, — живо сказала жена профессора. — Он — один. Даже те, кто вчера его поддерживал, сегодня не пришли. Сегодня институт почти пуст. Вчера Иван Терентьевич, — она поправилась: — профессор Ланговой на собрании настоял на своем, он доказал, что науке нельзя вмешиваться в политику, с ним согласились, только Таланов со своей кучкой...

— А кучка все-таки есть? — перебил Котляков.

— Я же вам говорю, что никто из них и не пришел сегодня. Профессор Ланговой сам проверил все помещение, он тут с самого утра. Это очень обидно и нехорошо, если вы вмешаете науку в политические дела. Тут только наука — и больше ничего.

Котляков заявил решительно:

— Солгал, значит, студентик? Так и было похоже. Ладно. Профессору Ланговому верю. Знаем его. Мы к вам с миром, для охраны.

И он пошел к выходу.

Когда он вышел на площадь, он увидел черную машину и стоявшего возле нее узкоплечего мужчину с большим, висящим, как груша, носом, в матросском бушлате и высоких сапогах, с огромной кобурой на боку.

— Отпустить его! — приказывал мужчина, указывая на Таланова. — Я его знаю. Болтун и трус.

— Ваш мандат? — обратился к нему Котляков.

— Что? — Мужчина в матросском бушлате обернулся к Котлякову. В его бесцветных, выпученных, широко открытых, как у наркомана, глазах странным образом отсутствовало какое-либо определенное выражение. — Что? — повторил он. — Вы и есть командир отряда? Я — из штаба, из Смольного. Никаких арестов.

Зачем вы задержали этого болтуна? Приказываю отпустить.

Слова из него шли в изобилии и беспорядке.

— Ваш мандат! — потребовал Котляков.

— То есть как?! — Но мужчина сунул руку в карман и вынул мандат. — Я объезжаю город, все центральные районы, я уполномочен...

Котляков проверил мандат и вернул ему.

— Зачем вы задержали этого болтуна? — продолжал уполномоченный. — Отпустить немедленно. Я его опросил. Не поддаваться на провокации!

— Надо было — и задержал, товарищ Розин, — спокойно ответил Котляков, узнав фамилию уполномоченного из его мандата. — К вашему сведению, этот болтун агитировал вчера за вооруженное выступление институтской публики. Но ничего у него не вышло.

IX

Профессор Степан Степанович Линеви́ч, физик, подавшись всем телом вперед, стоял у окна физического кабинета и глядел на занятую красногвардейцами площадь. То, что он сегодня, когда все дома́ были на запоре и ожидалась стрельба, вышел все же на улицу, возвело его чуть ли не в чин героя среди некоторых его соседей по дому. Но он и не помышлял о подвигах. Непобедимая, многолетняя привычка приходить в определенные дни и часы в институт привела его сюда, но на этот раз занятия сорвались — никто не явился на его семинар.

Быть одному в такой страшный день — это уже слишком.

Линеви́ч вышел в коридор и торопливо двинулся к аудитории, где читал лекцию Иван Терентьевич Ланговой. Их интересы сошлись еще в дореволюционные времена, когда Ланговой толкнул Линеви́ча на поиски закономерностей в мире мельчайших частиц материи и огромных скоростей, — в мире, в котором человеческий пылливый ум соприкасался с изначальными силами природы. Механика быстрых движений свела их, и Линеви́ч без ложного самолюбия признавал, что в этом содружестве главную и руководящую роль играл Ланговой, механик и машиностроитель, которому, впрочем, очень мало что удалось осуществить из своих проектов.

Тихонько войдя в аудиторию, Линевиц присел у окна. Иван Терентьевич на этот раз даже разозлил его своим спокойствием. В такой день, как ни в чем не бывало, читает очередную лекцию обычным своим звучным, уверенным голосом, с обычными жестами. Еще до революции он приобрел репутацию неблагонадежного, и Линевиц среди других коллег особенно возмущался нападками на него, попытками отобрать от него кафедру и отстаивал Лангового, подвергая даже самого себя опасности. Но до революции многие считали себя революционерами. Такая уж была традиция — против царского строя, против самодержавия. Ланговой же, не в пример другим, после Октябрьского переворота протестовал против саботажа, против всяких попыток борьбы с большевиками.

Лекция кончилась. Студенты один за другим выходили из аудитории. Остались только жена Ивана Терентьевича да один из слушавших его лекцию, в военной шинели, не студент, а преподаватель прикладной механики Юрий Петрович Кругликов, тощий молодой человек, чуть сутуловатый, остролицый, с пенсне на тонком носу, еще довоенных времен ученик Лангового.

Ланговой обратился к Линевицу:

— Благодарю, что зашли. Чем меня порадуете?

Линевиц ответил, указывая на окно:

— Посмотрите, Иван Терентьевич, что делается на площади.

И лицо его, с седоватой бородкой и усами, дрогнуло.

— А что? — Ланговой подошел к окну. Глаза его повеселели, и он пошутил: — Да, им пока еще некогда слушать наши лекции, они заняты другими, неотложными делами, мне пришлось даже сейчас прикрикнуть на одного...

— К вам врывались?

— Врывались? Нет. Но я терпеть не могу, когда входят и выходят во время лекции. Не примите на свой счет, Степан Степанович.

— Иван Терентьевич, — отвечал Линевиц, не подаваясь этому тону, который казался ему сейчас неестественным, — они окружили институт, и нам отсюда не выбраться, мы в ловушке.

— Вздор, — коротко отрезал Ланговой. — Кстати, — продолжал он, — вы не видали Таланова? Он способен

натворить бед. Тоже нашелся авторитет — паршивый мальчишка! Молоко на губах не обсохло, а ведь туда же лезет с поучениями и рассуждениями...

Линевич отлично понимал, что своими «тоже» и «туда же» Иван Терентьевич никак не намекал на него, не приравнивал его к студенту. Но он сейчас предпочел обидеться. Он с некоторым даже удовольствием вспылал:

— Я не понимаю вас, Иван Терентьевич! Вы прекрасно все видите, а разговариваете так, будто кругом благорастворение возду́хов, тишь да гладь да божья благодать! Вы просто нарочно!

— Я все вижу, — отвечал Ланговой, глядя в окно. — И обо всем этом мы не раз разговаривали с вами.

Физика взорвало. Он заговорил ядовито:

— Вы вот ничего и ничего не боитесь! Вы очень храбрый! А не желаете ли послушать, как вас охарактеризовал ваш недавний любимец, некто Розин, большевик...

— Безнадежный верхогляд, — перебил Иван Терентьевич, и черные усы его величественно приподнялись. — Идиот этот Розин, я ошибся в нем...

— Нет уж, позвольте, он ораторствовал публично, на собрании, от имени революционных масс, и вам надлежит знать...

И, торопясь, чтобы его не перебили, Линевич передал те слова Розина, которые он ни в коем случае не хотел повторять Ивану Терентьевичу, чье бешеное самолюбие было общеизвестно. Но ведь большевик Розин прямо грозил арестом профессору Ланговому!

Юрий Петрович Кругликов, преподаватель прикладной механики, до того скромно молчавший, вспыхнул:

— И вы, вы, Степан Степанович, спокойно, без спора слушали эти наветы, эти инсинуации?..

Он говорил в нос, как простуженный.

Иван Терентьевич справился с собой. Он прервал Кругликова.

— Идемте, Юрий Петрович! — заявил он с грозными раскатами в голосе. — Идем, Ниночка, — обратился он к жене.

Они двинулись к выходу, и Линевич почувствовал себя необычайно одиноким, навсегда лишенным наслаждения совместных с Ланговым работ. Он ужаснулся

тому, что натворил. Что бы ни было, а рвать с Иваном Терентьевичем нельзя. Он пустился вслед Ланговому и задержал его у двери.

— Поверьте, — зашептал он, — что я возмущен этими гнусными выпадами. Вспомните, как я всегда горой стоял за вас при царском режиме, — это было не так уж безопасно. Я сейчас просто считал долгом своим предостеречь вас от этого негодяя... Мы вообще отвлеклись в сторону — такие страшные события, — но я не хотел оскорблять вас. Мы ведь живем в путанице, в кошмаре...

В голосе Ивана Терентьевича дрожал еле сдерживаемый гнев, когда он отозвался:

— Я все помню, но прошу вас не поддаваться глупым страхам. — Он помолчал, заставляя себя отбросить просившиеся на язык грубости и отобрать приличные выражения. Это ему удалось, и он продолжал очень медленно, чтобы не сорваться. — Такие страхи бывают при распаде привычных условий жизни и рождении новых, ни на что прежнее не похожих. Но ученый обязан все внимательно изучить и понять. Недостойно нам, ученым, бояться родного народа. Я не могу и не хочу поверить, что вы, большой ученый, подвержены страху, который туманит рассудок. Это не может быть! Этого не должно быть!

Слова «большой ученый» немножко утешили физика. Он ответил:

— Я работаю, я продолжаю работу при всех необыкновенных трудностях. Но какие могут быть эксперименты, когда и электричество сейчас, как вам известно, столь же дефицитный товар, как и все прочие, кроме мякины и дерюги!.. Но я работаю, работаю, — притушил он вырвавшуюся злобу.

Они вышли в коридор. Здесь, в кучке студентов, бывших на лекции Лангового, ораторствовал о своих подвигах Григорий Таланов.

— Мы их раздавим! — горячился он. — Я им сказал, что они же сами распорядились о дежурных и запретили впускать незнакомых, и сами созвали Учредительное собрание, и я даже без оружия, и они меня отпустили. Но они не обманут, не подкупят меня! Мы их прогоним, прикончим!..

Завидев Лангового, он оборвал свою речь и торжественно обратился к нему:

— Иван Терентьевич, я обращаю к вам свое слово! Мыслящие люди негодуют, возмущаются!..

Иван Терентьевич обернулся к нему всем своим большим туловищем и, наступая, прижимая его к стене, заговорил с глубочайшим презрением, выбрасывая на него весь заряд гнева, накопившегося в разговоре с Линеви-чем и с огромным трудом пересиленного:

— Глупый, негодный, испорченный, дрянной мальчишка! Что вы понимаете? Общественный деятель, мыслящая скотина, бешеный бык! Кому вы молитесь? Ставьте самовар Антанте, вылизывайте сапоги, староста институтский, скоморох...

— Господин профессор, — подал наконец голос совершенно ошалевший от такой несусветной брани Таланов, — это недопустимо...

— Что? Вы еще пицците? Пачкайте пеленки, а не рассуждайте!

И он оставил Таланова почти в беспамятстве от унижения, растерянности и бешенства.

За Ланговым шли, как свита, жена, Кругликов и профессор Линевиц, каждый при своих чувствах и при своем отношении к тому, что произошло. Линевиц был в некотором даже восторге — его восхищала сила Ивана Терентьевича. Цельный характер. Таких он не видел среди учредиловцев и среди тех, кто уговаривал его бежать из Петрограда от большевиков.

Иван Терентьевич, спускаясь по лестнице, продолжал фыркать и сердиться. Он восклицал:

— На талановские наскоки надо отвечать так же, как на розинские дикости! И те и другие тянут в кровь, в варварство!

Линевиц не выдержал:

— Но ведь это же большевики первые...

— Надо быть справедливым, — перебил Ланговой. — Большевики в первый же день переворота предложили мир всем, всем, всем! Мир, мирная работа, за работу — хлеб! Правильно! Не они затевают войну. О царе говорить не приходится, у Керенского ничего не вышло, в учредилку я не верю, болтуны и прохвосты, посмотрим, что получится у большевиков. Нечего нам, ученым, изображать из себя государственных деятелей,

мы честно делали свое дело, от нас всегда была одна только польза народу и России, и не в чем нам каяться перед народом, не в чем! — вдруг разгорячился он вновь, сбиваясь с того, с чего начал. Он, может быть, и сам чувствовал, что в чем-то путается, потому и стал снова возвышать голос. — Это еще что такое? — озлился он, когда у подъезда его остановил красногвардеец. — Кто вы такой?

Он и забыл об отрядах, охранявших площадь.

— Документик, пожалуйста.

— Извольте пропустить, я вам говорю!

Красногвардеец чутьем распознал, что этот грубиян в богатой шубе не из вредных — бывает такое шестое чувство, — но не успел он принять решение, как подошел Котляков и приказал:

— Пропусти!

«Могучий человек», — думал Линевиц, когда они свернули на тихую улицу, с заколоченными магазинами и дежурными у ворот. Он был совершенно подавлен уверенной силой Ивана Терентьевича, но, когда он, распрощавшись, один пошел домой, страх вновь стал овладевать им. Страх пробирался, как промозглая сырость сквозь пальто, и щипал, щипал за душу. Это был страх перед переменами. Так мучительно мечталось — открыть утром глаза и вдруг убедиться, что все приснилось, что на самом деле просто продолжается прежняя уютная жизнь, убедиться в этом по газетам, по взгляду в окно на улицу, по мирному церковному благовесту. Ах, как хотелось!..

Х

Смирнов, путиловский паренек, был очень разочарован Учредительным собранием. На хорах, среди рабочих, солдат, матросов, ежились какие-то барышни, дамы, господа, а снизу после ухода большевиков понесло могильным тленом. Огромный зал с потолком выше, чем купол цирка, с великолепной лепкой, сиял огнями люстр, тут бы дать шикарное представление с артистами и музыкой, а вместо того здесь произносились речи, которых ни в одном полку, ни на одном заводе и слушать бы не стали. На трибуну выходили господа в пиджаках или переодетые в военные гимнастерки и бубнили такую

тоскливую канитель, что Смирнов даже зубами скрипнул, зевнув.

— Извиняюсь, — сказал он оглянувшейся на него чернявой барышне, довольно смазливенькой, с которой он не отказался бы пройти под ручку.

Та возмущенно шикнула:

— Некультурность!

А это разве культурно — занять такое отличное помещение, чтобы наводить скуку на народ? Это совершенно некультурно — требовать войны, когда народ постановил мир, не давать землю крестьянам, когда народ постановил дать, и вообще рассуждать так, словно народ не сказал уже свое слово на съезде Советов. Уж очень добродушно поступила Советская власть, созвав это барское собрание, только драгоценный день потеряла. Так думал Смирнов, а сказал барышне коротко:

— Глуposti.

Потом он вынул из кармана настоящую ландринскую конфету и протянул:

— Лучше покушайте.

Барышня воззрилась на конфету, но все же заставила себя отвернуться.

Подумав, Смирнов положил конфету перед ней на обитый бархатом барьер и стал следить — возьмет или нет? Барышня героически выдержала искушение, но затем началась игра пальцами. Она как бы невзначай подобралась левой рукой к самой конфете, и вдруг — бац! — конфета полетела прямо на какую-то лысину. Но ведь здесь не театр, а всего только учредилка, не беда, черт с ними, со здешними лысыми и проборами.

— Получайте другую, — строго сказал Смирнов и выложил вторую, и последнюю, конфету. — Только уж больше не шалите.

На этот раз барышня, хоть и с очень гордым и независимым видом, но все же взяла конфету и быстро сунула в сумочку.

«С чаем сосать», — подумал Смирнов.

Теперь оставалось закрепить успех веселой беседой. Барышня нравилась Смирнову все больше и больше. «Из гимназисточек», — решил он. Гимназистов он не любил, как барчуков, но против гимназисток никогда не имел возражений и даже пел известную песню про

гимназисточку в белом фартучке и с русской косой. И он чуть слышно напел своей барышне в ухо: «Разбирая поблекшие карточки...».

Василий Котляков так соскучился, что ушел с хоров и шатался вниз. Иные из учредителей и сами, видно, тосковали неимоверно. Они ходили и сидели, как совы и филины, вдруг настигнутые дневным светом. В зале многие спали, а с трибуны все лились и лились словесные потоки. Вот так зрелище!

Уже часа три назад большевистская фракция огласила написанную Лениным декларацию о выходе из Учредительного собрания, и большевики покинули Таврический дворец.

А заседание между тем длилось и длилось. Оно по замыслу должно было, очевидно, длиться до окончания века или, как выразился Смирнов, «дондеже пуп не посинеет». Он сказал своей гимназисточке эту грубость вполне сознательно, чтобы она наконец хоть как-нибудь, хоть возмущением, отозвалась на все его старания. Но она только вздрогнула, встряхнулась, как птичка, и продолжала молчать. Все же она не уходила, а сидела как пришитая рядом с ним на совершенно опустевших хорах. Это что-то значило!

В половине четвертого ночи огромного роста матрос подошел к столу председателя и сказал, в упор глядя своими черными, сверкающими глазами на маленького, кругленького барина:

— Охрана устала. Закройте собрание.

Так сгинули кто куда все эти сюртуки и галстуки, фальшивые гимнастерки и френчи, безвестно растворяясь в российских пространствах и зарубежных эмиграциях. Учредительное собрание, в основном избранное до Октября и отвергнувшее декреты всенародного съезда Советов, было распущено.

Когда зал опустел, гимназисточка встала с неожиданной решительностью и сказала так, словно для этого ей обязательно нужно было все доглядеть до конца:

— Я пойду с вами. Можете проводить меня до дому.

Это было, очевидно, с ее стороны очень большим подвигом. Но Смирнов спокойненько, с некоторой даже небрежностью, ответил:

— Что ж, двинем в путь. А на завтра я вам скажу, где нам встретиться. У вас-то все время ваше, а я че-

ловек государственный, у меня все по часам. Да, имечко-то ваше?

— Ольга.

— А по фамилии?

— Воронеж.

— Значит, Олечка Воронеж, — сказал Смирнов, словом «Олечка» как бы определяя их будущие отношения. — А что касается меня, то вы видите перед собой путиловского гвардейца Николая Васильевича Смирнова. Идем, Олечка. Обижать я вас не намерен. Отметьте: путиловская гвардия — это вам не какой-нибудь гвардейский офицерик, а рабочая гвардия, настоящая. Гвардейский офицерик — тот бы вас не пожалел, вы их сторонитесь, обожжете крылышки. Не обожглись еще?

— Нет, — отрывисто, сорвавшимся голосом ответила гимназистка.

— Что касается меня, — продолжал Смирнов, ведя ее под ручку вниз по лестнице, — то не беспокойтесь. Меня ваша судьба очень озаботила; я как заметил вас, так почувствовал сразу, что быть вам с нами. Эх, Олечка, как бы из вашей публики перетянуть к нам побольше таких, которые порядочные. Ведь понятно же — человек не отвечает за то, от кого родился. Но теперь-то пойдет ответ. Теперь каждому предлагается разобраться самостоятельно и занять свою позицию. И жалко, Олечка, ежели кто из нужных людей, от которых может быть польза, залетит в могилу по глупости и неосознанности. Иной попросту и не понимает, хоть и образованный. А я вижу — сидит такой невинный воробушек, надо, пока не поздно, спасать.

Гимназистка вдруг заплакала.

— Это ничего, — сказал Смирнов. — Поплачьте. Все-таки как-никак расстаетесь со своим классом, в котором выросли.

Он, очевидно, совершенно не сомневался в будущем Оли Воронеж.

Внизу Смирнов увидел Василия Котлякова.

— А, ты еще здесь! — окликнул он его.

— Да уж надо было достоять до конца, — отозвался Котляков.

— Комедия-то какая, а?

— Тут, конечно, смешно, а дальше особого смеха

не жди. Что это девушка плачет? — шепнул он, указывая глазами на стоявшую в сторонке гимназистку.

— Да так, заблудилась перепелочка в нечистом поле, взял под покровительство. Расстается со своим буржуазным классом. Все-таки же тяжело, привыкла. Ну как, Олечка, отплакалась? Или еще хочешь? — Он уже переходил с ней на ты. — Знакомься. Мой друг Василий Котляков, выборгская гвардия, выдающийся товарищ, с малых лет водил нас на врага. Еще много о нем услышите. А это — Олечка Воронеж, гимназистка, из буржуазного враждебного класса, но порядочная, из нее выйдет толк, потому что хочет глядеть на все сама, думать хочет сама и, значит, честная. Вот вы познакомьтесь, Олечка, с нашим народом — и перестанете плакать. Понятно?

— Хорошо, — сказала Оля Воронеж и решительно тряхнула головой, хотя и была в совершенном смятении. — Я обо всем этом подумаю и завтра же вам на все отвечу.

Василий с интересом слушал этот разговор. Ему нравилось, что Смирнов так смело шагает, смелость с девушками была и ему хорошо знакома. Пожав Оле Воронеж руку, он сказал с улыбкой:

— Коля говорит правильно. Вы его слушайте внимательно, он хороший и умный парень.

Они вместе вышли на улицу, а там разошлись в разные стороны.

Василий спешил домой.

Марья Кузьминишна не спала в своей новой квартире, в которую ее переселил сын. Квартира была большая — целых две комнаты в третьем этаже, но зачем она, если сын пропадает все дни неведомо где? Марья Кузьминишна уже не работала в госпитале, а помогала на пустеющем заводе по хозяйству и сама тоже возвращалась только к ночи.

Марья Кузьминишна, затопив, на случай если Вася придет, железную печурку, сидела у стола с Васиной рубахой. Она неодобрительно рассматривала ее — и плечи и спина в дырах, на Васе все прямо горит, как на маленьком. А другая рубаха нестиранная, надо собрать белье да постирать, уж как-нибудь согреть воду. С водой трудно, трубы замерзли, а синьки, как на смех, сколько хочешь.

Вася всегда, с малых лет, все на себе умел ~~пор~~вать, вояка, драчун. И ей вспомнилось вдруг, как он врывался, разгоревшийся, шумный, в подвал, хватал лепешку — и опять прочь, даже не успеешь шлепнуть. Тогда и Тимофеюшка был жив. «Отмучился», — подумала она о муже, и тут ей представилось, что Васеньку опять, может быть, как тогда, подстрелили злыдни... У нее перехватило дыхание, и она опустила рубаху на колени, недвижно глядя на скудный огонек огарка. «О господи!»

С лестницы послышались знакомые сильные, быстрые шаги. Отбросив рубаху, она вскочила, как молодая, заторопилась, отворила дверь. Тихо. Значит, показалось. Когда Васи не было дома, она всегда, что бы ни делала, прислушивалась к каждому звуку на лестнице. Она взглянула на ходики — утро, светает уже...

И тут донеслись до нее шаги, на этот раз громкие, явственные. Она вышла на площадку и сразу же забыла о тоске и страхе, как будто и не было их. Ее вояка подал голос снизу, как ни в чем не бывало:

— Ты, мама?

Конечно, у него своя жизнь — взрослый парень, не в люльке качать. Упрекать не надо. В голосе ее прорвались молодые, счастливые нотки, когда она откликнулась:

— Я, Васенька.

— Учредилка сдохла, — сказал Василий, входя и стяхивая с себя снег.

Он снял шинель и кинул ее на сундук, перекочевавший из подвала, старинный, по крайней мере двадцатилетней давности. В нем хранилось чуть ли не все имущество семьи. «Шильце да мыльце», — шутил Василий. Мебель осталась от прежних жильцов, бежавших еще осенью.

Пока он мылся (для него всегда наготове ведро воды), Марья Кузьминишна собрала ужин — котлетку из конины, немножко пшенки, две картофельные лепешки. Он ел и рассказывал. Когда он уничтожил все, что перед ним стояло, Марья Кузьминишна подала ему стакан настоящего чаю.

— Нет, кипяточку!

Главное, чем поддерживала свои силы Марья Кузьминишна, был чай. Она всегда, всю жизнь любила

крепкий, хороший чай, и, когда чай стал исчезать и дорожать, Василий отдавал его матери, а сам пил только кипяток. Так уж повелось. Но на этот раз Марья Кузьминишна приказала:

— Если говорю, значит, можно, пей.

Василий уступил. Уж очень хотелось понаслаждаться живительной, согревающей влагой. Было приятно согреться, отдохнуть под материнским кровом, где все для него и только для него. Как бы он жил без этого баловства? Глаза его смыкались.

— Ляг, Васенька, отдохни, заморился ведь...

И постель ему уже готова. Нет, он, конечно, все-таки избалован матерью. Она ведь и по сей день считает, что, конечно же, он станет образованным, инженером, профессором... Пусть считает, ему это приятно. Тут он вспомнил непонятную лекцию Лангового и нахмурился. А, к черту!..

— Пойду завтра на завод, — говорил Василий, укладываясь спать. — Надо там...

И, не договорив, он мгновенно, чуть голова его коснулась подушки, заснул.

Не успел он поспать и трех часов, как стукнулась в дверь и влетела в квартиру Маня Колесникова. Она теребила его за плечо:

— Спишь? А на твоём заводе — беда. Тоже мне герой, красногвардеец, нашел время носом свистеть...

— Что? А? Какая беда?

— Вставай, беги на завод. Что ж ты лежишь?

— Да погоди же!..

Но Маня уже убежала. Василий, вскочив, накинув на плечи шинель, бросился было догонять, но махнул рукой и стал торопливо одеваться.

Маня — всезнайка Выборгской стороны, она всегда оказывалась именно там, где что-нибудь приключилось, но если заупрямится, то не скажет ни за что, хоть умри. Пустилась теперь будить всех отпущенных сегодня на отдых.

Завод, на котором работал Василий Котляков, стоял на самом берегу Невы. Все меньше и меньше людей двигалось по утрам к его приземистым корпусам, — люди уходили в Красную Гвардию, а иные, особенно из пришедших в последние военные годы, разбредались по деревням, поближе к хлебу. Цеха пустели, работа оста-

навливалась, сугробы росли во дворах, и дядя Яша скорбел о том, что не стало больше модельной работы, и просился в заводские сторожа, тем паче что прежний сторож все больше внушал сомнений. Дядя Яша стремился в сторожку как к последнему своему прибежищу на заводе, где прожито и проработано чуть ли не пятьдесят лет, и Василий помогал ему в этом.

Прежний сторож, заросший волосами так, что брови, усы и борода образовали на его лице сплошные заросли, из которых торчал только сизый нос, был назначен еще бельгийским управлением, но так здорово ругал хозяев, что его оставили и после Октября. Однако чем суровей становились времена, тем ясней было, что нельзя держать сторожем чужого человека, о прошлом которого никто ничего не знал, а надо поставить своего, такого, про которого все известно. Таким и был дядя Яша. И дядя Яша терпеливо ждал разрешения перенести свои пожитки из комнатенки, которую хотел бросить, в сторожку.

Василий почти бежал по узенькой набережной, которая тянулась неровной грядой над белой замерзшей пустыней реки. Что такое случилось?.. Что-нибудь с дядей Яшей? Или вообще с заводом? Но вот же завод стоит, издадека видать...

В сторожке Василий увидел дядю Яшу, который деловито, как охотник, вернувшийся домой, чистил ружье.

— Что тут вышло? — спросил Василий с налета.

Дядя Яша отложил ружье и поведал о кровавом происшествии на заводе, сквозь стекла своих стареньких, в стальной оправе, очков глядя на Василия грустным и строгим взглядом. Затем он, ступая большими ногами, обутыми в подшитые валенки, подошел к двери, отворил и указал, где случилась беда. Сам он остался в сторожке, не покидая своего поста, а Василий пошел по заводскому двору к невысокому зданию с пустыми глазницами окон, брошенному на волю всем ветрам и непогодам. Ступеньки лестницы, каждая по-своему, сколосбочились и оледенели. Взойдя на второй этаж, Василий прошел в кабинет, где некогда инженер Лызлов, воля и кнут заводчика, повергал в трепет робкие души. Ветер гулял по конторе, как по двору. На письменный стол, покореженный и сизый от мороза, намело снегу.

Настежь открытый сейф был пуст. От разломанных шкафов и полок уже мало что оставалось на топку.

Трое рабочих угрюмо сторожили здесь мертвое тело человека, лежавшее на столе. Василий подошел и поглядел в строгое желтое лицо покойника, того самого инженера Громова, который вчера утром обругал его невеждой. Инженер был найден на набережной убитым, и все данные были за то, что совершил это исчезнувший с завода сторож. Ночное дело. Сторож, должно быть, уже давно успел обречься, изменить свою личность так, что и не узнаешь, не найдешь.

По чьему поручению действовал сторож? Откуда он вынырнул и в какую нору ушел? Неизвестно. Единственное, в чем никто не сомневался, это что в убийстве — рука заводчика, прежних хозяев. Связишек у них здесь довольно, да и не от них одних, а со всех концов мира шныряют и рышут по российским путям и перепутьям французские франки и американские доллары, английские фунты и немецкие марки, чтобы порешить революцию.

— Ушел от своих к нам, они его и убили, — сказал один из рабочих.

— Семья-то у него была? — спросил Василий. — Сообщить надо.

— Выяснили. Он жил один на квартире. Ищисвищи, где сын да дочь. Сын — офицер, а дочь замужем за кадетом каким-то.

Василий не мог отделаться от ощущения, что есть в этом деле еще что-то такое, до чего сейчас, пожалуй, и не докопаться.

Но что же теперь будет? Оставался на заводе один инженер — и того убили.

На дворе оркестр, пришедший из штаба, заиграл торжественный марш. Принесли кумачу, чтобы обить гроб. Василий сошел во двор. Макшеев как раз входил в ворота и, увидев Василия, подозвал его.

— Похороним торжественно, — сказал он. — Пусть знают наше уважение ко всякому, кто идет на помощь. Затем вот что. На днях я встречусь с Ланговым. Ты приготовь свои материалы, все эти чертежи, проекты, — может быть, понадобятся.

Василий, чтобы отвлечься от похорон, тотчас же отправился в модельную мастерскую, открыл шкаф и

оразу заметил, что кто-то уже до него лазил сюда. Папки лежали не так, как раньше. Быстро проверив, не пропало ли что, он запер шкаф и спустился обратно во двор. Найдя дядю Яшу, спросил:

— Ты в тот шкаф не ходил?

— Нет, вот уж неделю не смотрел. А что — пропало?..

— Нет, все на месте, только чья-то лапа погуляла там. Надо сказать Владимиру Николаевичу.

Дядю Яшу занимали не чертежи, он жалел убитого инженера.

— Ведь со стороны пришел, а там тоже мстители. Небось изменником его считали. У них-то свой взгляд.

XI

Иван Терентьевич Ланговой жил недалеко от института, в квартире, где восемь лет назад скончался его учитель и отец его жены профессор Кондаков. Большой, писанный маслом портрет профессора Кондакова висел в кабинете, маленькая фотография в рамке стояла на широком письменном столе, отдельный шкаф хранил труды Кондакова, изданные на русском и иностранных языках, в другом шкафу были собраны все рукописные материалы знаменитого русского ученого, его письма, дневники, заметки. Память любимого учителя была священна для Ивана Терентьевича, он находил в его работах все новые и новые идеи, которые следовало, развив, воплотить в жизнь. Среди незаконченных трудов Кондакова был учебник механики, предназначавшийся специально для рабочих-подростков. Иван Терентьевич завершил эту работу и недавно сдал ее в печать. До революции он нигде не мог пристроить ее. Иван Терентьевич выпускал эту книгу под именем Кондакова с кратким пояснительным предисловием.

Вернувшись из института, Иван Терентьевич нашел доставленную ему корректуру учебника и сразу же, не откладывая, засел за нее. То обстоятельство, что при всех бурных событиях, наборщики набрали, а корректоры выправили учебник, очень утешило его. Его вообще утешало всякое подтверждение того, что работа во всех областях жизни продолжается, это внушало

ему оптимистическую веру в будущее. И он старался все свое время отдавать научным занятиям.

Хозяйством в семье Лангового ведала его сестра Аглая Терентьевна, жена же Нина Павловна, или попросту Ниночка, была помощницей в научной деятельности Ивана Терентьевича. За восемь лет супружества она прошла курс наук под его руководством, а кстати, научилась и стенографировать, чтобы записывать лекции мужа.

Аглая была женщина могучая, как и все Ланговые, но несчастливая. На второй год замужества она потеряла в один день мужа и ребенка, умерших от холеры, и уехала в Тверь к бездетному брату Ивана Терентьевича, при котором и существовала, увядая от горестных мыслей. Когда брат умер, Иван Терентьевич вызвал ее к себе, и в его семье Аглая нашла свое новое счастье, возродилась к жизни. Она влюбилась в детей Ивана Терентьевича без памяти, всем своим стосковавшимся по потомству существом, готова была ради них горы vorочать. И действительно vorочала. Голод уже начал валить людей, а у нее не иссякали запасы заготовленной впрок провизии. Аглая умудрялась также добывать каким-то образом и дровишек для топки, так что семья не мерзла, и свечей, и керосину для ламп. Она постоянно бегала в районный Совет. А расточение имущества, меняемого на пищу, поставила на широкую ногу; из комнат постепенно начинала исчезать уже и мебель. Но братниного кабинета Аглая не трогала, оттуда ничего не ушло — в сердце осталось преклонение перед великим братом и его наукой. Она позарилась было на ковер, но и на него махнула рукой — пусть остается.

Все же кумиром Аглаи был уже не Иван Терентьевич, а его божественные дети. Такого чуда, как Павлик, свет не видывал. Темноволосый, черноглазый, как отец, писанный красавец, он семи лет от роду и читал, и писал, и знал таблицу умножения, и обо всем судил точно так же, как и Аглая.

Ниночка как-то спросила:

— Иван Терентьевич был таким же в детстве?

— Нет, — убежденно возразила Аглая, — Павлик куда развитей.

Лева — чудо номер два. Светленький (к сожалению, в мать), он будет не ученым, как Павлик, а знаменитым певцом. Каждое утро начиналось с его пения. Он выводил ноты чистейшим ангельским голосом, перебирая все гласные от «а» до «у». Он выпевал иногда даже «ю» и «я», что было уже совершенно удивительно, — ведь ему еще и года не было, а уже такой богатый голос, даже из соседней квартиры приходили жаловаться, что там все слышно.

В Аглае открылись непомерные силы. За последний год она, вместо того чтобы зачахнуть, окрепла, огрубела и, раз навсегда застудив горло, говорила густым, как у дьякона, хриплым басом. Она командовала Ниночкой, а глуховатую богомольную старушку, жившую у Ивана Терентьевича в прислугах, загоняла так, что та всерьез помышляла удалиться от суеты сует в монастырь. Но пьяные расстриги и отступники произносили кощунственные речи, предавались в «святых местах» богомерзким проказам и непотребствам, радовали разгулом плоти антихристово племя. Податься было некуда, и богомолка, покорная властной и требовательной Аглае, ходила на Васильевский остров и обратно. Она ходила к своему племяннику, рыжему дворнику, оборотистому мужику, уразумевшему все выгоды товарообмена, при котором к рукам пристаёт и городское и деревенское добро.

Великое открытие Аглаи заключалось именно в том, что она нашла клад в никчемной, казалось, старушке и двинула ее к хлебным, крупяным и прочим богатствам ее деревенских родственничков. Рыжий дворник, Игнатий Игнатьевич Карпов, расширял свою торговлишку, благоразумно пренебрегая неверными, теряющими свою цену деньгами и обставляя свое городское помещение и деревенскую избу на Псковщине всеми барскими роскошествами. Он согласился вступить с Аглаей в торговые отношения и выделял ей, ради своей тётки, лучшие продукты.

Аглая опустошала квартиру Ивана Терентьевича главным образом ради детей, не возражала против того, чтобы потребляли пищу и брат с женой, но негодовала и возмущалась, когда ее хозяйственными достижениями нахально пользовался норовивший всегда явиться к обеду Аркадий Николаевич Розин, тунеядец,

человек без мебели, без лишней одежды, вообще без хоть чего-нибудь годного на промен. Она не могла спокойно смотреть, как этот напористый пучеглазый «приживал» хлебал наваристый суп, какого нигде теперь не достанешь, так, словно ему по закону положено проедать чужое добро. И все потому, что брат нашел в нем, видите ли, ученичка. Хитрец во всем поддакивал Ивану Терентьевичу и таскался на каждую его лекцию специально для того, чтобы хорошо кушать, а Иван Терентьевич ослеп и не видел того, что и Павлику ясно. Аглая все разъяснила Павлику, и произошел невероятный скандал, когда Павлик за столом сказал непрошеному нахлебнику:

— Кто не работает — тот не ест. Зачем же вы обедаете?

Иван Терентьевич, когда прихлебатель ушел, накричал на Аглаю так, что та, вопреки своему обычаю, решила даже отмолчаться. А уж она умела при случае отругаться так, что люди надолго запоминали. Она никого не боялась. В роду Ланговых вообще никто никого никогда не боялся.

В последнее время Розин исчез. Он не являлся ни на лекции, ни на обеды Ивана Терентьевича. Ланговой и без Линевича знал, что этот появившийся у него осенью в аудитории почтительный ученичок проповедует теперь какую-то совершенно новую, революционную науку, основал кружок под каким-то странным названием, вроде «Космос и мы», и поносит Ивана Терентьевича почем зря. Но зачем знать в точности, какими словами тебя ругают? Иван Терентьевич решительно не интересовался подробностями, а теперь пришлось выслушать от этого Линевича, что его, профессора Лангового, в неутомимых трудах и борьбе двигающего вперед русскую науку, Розин обзывает контрреволюционным агитатором, спекулянтom, буржуазным хламом, мародером, кадетом, живым трупом и старой рухлядью, подлежащей немедленному истреблению. Профессор Линевич с излишней точностью передал все грубости, которые позволил себе по отношению к профессору Ланговому негодный ученик.

Эти непристойные, бранные слова вспоминались и теперь, за корректурой, которую, придя из института, читал Иван Терентьевич. Он вскочил и, пошагав по

кабинету, остановился перед портретом своего покойного учителя. Ему показалось, что тот смотрит на него не с поощрением, не с утешением, а с некоторой насмешкой.

— Обедать! — торжественно возгласила Аглая, отворяя дверь.

О каждом приеме пищи она объявляла, как полководец об очередной победе. Она, конечно, молодец, семья благодаря ей не голодает, но все же — ну ее к черту! Конечно, не жена, не Ниночка, а она, Аглая, истинная хозяйка в доме. Он ушибается, спотыкается об эти «обедать», как о какой-то пузатый комод, загораживающий все ходы и выходы. Тут наука в опасности, а она — с пустяками. Ему одному не справиться с теми задачами, которые он поставил перед собой, а сотрудников не подберешь никак. Да и разруха, средств нету... Этот трус Линевиц прав — людям не до электроаппаратуры физического кабинета. С учениками неладно. Где они? На войне погибло несколько отличных учеников Ивана Терентьевича. Один из самых способных — Миша Громов — почти совсем не появляется в институте, он в каком-то диком, сумбурном состоянии. Да и он сам, профессор Ланговой, перестает себя понимать. Для институтских коллег он большевик, а для большевиков он, наоборот, буржуй. Этот сегодняшний парень выкрикнул странную фразу, в которой, может быть, черт его знает, есть какая-то дикая правда.

Иван Терентьевич молчал во все продолжение обеда и ел невнимательно, что чрезвычайно обижало Аглаю, привыкшую к похвалам. Аглая с гордостью чувствовала себя основой, фундаментом уклада, создавшегося за последние годы в доме профессора Лангового. Что бы ни было за стенами квартиры — здесь царил нерушимый порядок пищи, сна, уборки, топки, гулянья детей. Вот и сейчас все есть на столе, как в прежние времена, — соль, уксус, горчица, хрен. Надо есть с аппетитом и похваливать. Вот Павлик понимает, он пихает все в рот так, что только следи, чтобы не подавился. А ученый брат ничего не понимает.

Ниночка не прерывала молчания. Ее мать была плохой женой профессору Кондакову, и дочь, наученная опытом родителей, дала зарок не повторять ошибок матери. Не раз случалось, что она, угадывая желания мужа, первая решалась на поступок, который он все еще

продолжал обдумывать. В его поведении был один великий тормоз — он боялся уронить достоинство науки, свое достоинство как ученого. В переводе на простой Ниночкин язык это означало, что ее муж слишком самолюбив и не любит первым обращаться куда бы то ни было, а ждет, чтобы обратились к нему. А она, всегда поддерживая престиж мужа, в то же время любила поступки естественные и простые, а следовательно, разумные, и к тому же по-женски верила в силу личных знакомств и связей.

Она принимала некоторые свои меры для того, чтобы охранить мужа и семью от неприятностей и катастроф. Последнее время она попросту боялась за мужа, потому что знала о нападках Розина еще до того, как о них рассказал Линевиц. Когда ей сообщили, что Розин угрожает Ивану Терентьевичу арестом, она решила действовать незамедлительно. Это кошмар и ужас, если ее Ванечку заберут в Чека, об этом она и думать не могла, она умирала от этой мысли. А все может случиться, все может быть, не все такие, как сегодняшний парень, в котором она почувствовала очень обнадежившее ее уважение к ученым. Она пошла к Макшееву как к старому знакомому мужа, сказала ему, что хорошо было бы, если б он нашел время встретиться с Иваном Терентьевичем, и ей понравилось, как он попросту ответил:

— Да, да, я сам думал, но кручусь, мотаюсь, дела, знаете ли... А ведь он нам нужен, очень нужен. Почему в прессе его голоса не слышно?

— Да вы же знаете, — спокойно улыбнулась в ответ Ниночка, — он по политическим вопросам не умеет высказываться.

Конечно, она даже и не намекнула на угрозы Розина. Ей не хотелось, чтобы Макшеев заподозрил, что только страх толкнул ее на свидание с ним, это было бы неверно. От мужа она сочла нужным скрыть этот свой визит к Макшееву.

XII

Инженер Лызлов вышел из Таврического дворца с Григорием Талановым, подавленным и расстроенным. Лызлов представлял крупную английскую машиностроительную фирму, которая после занятия Бель-

гии немцами стала фактически хозяином и того бельгийского завода, где работал Котляков. В прошлом году Лызлов от имени фирмы предложил Таланову по окончании института весьма выгодное место. Тот, конечно, согласился, — но что будет теперь, когда все рушится и гибнет?.. Обуреваемый тягостными мыслями о крушении жизни, Таланов искал поддержки в Лызлове. Высокий, сухощавый Лызлов по пути из Таврического дворца говорил отчетливо и точно:

— Не к чему больше сорить речами, надо делать дело. Наша сила — в знаниях. Эти знания невозможно ни реквизировать, ни национализировать, они — в наших головах, а не в сейфах, не в кассах, не в сундуках. Культура — это порода, она приобретается поколениями предков. Всю свою культуру мы должны обратить против восставших невежд. С нами весь цивилизованный мир.

— Но что же делать сейчас? — спрашивал Таланов. — Что делать?

— Пора переходить от слов к боевым делам, — отвечал Лызлов.

Они приближались к дому, где он жил.

— Зайдемте ко мне, — сказал Лызлов. — Все равно не заснуть.

Лызлов был холост. Он жил в большой, богато обставленной и убранной коврами квартире. Он держал не только горничную и кухарку, но и лакея, — в этом был особый шик и, кроме того, признак больших денег. Лакей имел особые полномочия и в отсутствие хозяина впустил того самого сторожа, который убил инженера на заводе, где работал Василий Котляков. Лакей уже успел остричь и обрить гостя, только сизый нос выдавал убийцу. Сторож (фамилия его была Синюшкин) до революции служил в псковском поместье отца Лызлова, земского начальника, а в прошлом году сын, тогда еще продолжавший управлять англо-бельгийским заводом, затребовал верного слугу к себе для важных дел.

Потолковав на кухне с Синюшкиным (дальше кухни сторож, конечно, не был впущен), Лызлов вернулся к Таланову. Он заговорил:

— Могу вам сообщить, что один изменник интеллигенции уже убит. На Выборгской стороне. Народ

действует, борется, пока интеллигенты разливаются в речах. Народ указывает нам путь к действию.

Его жестковатое, грубо скроенное лицо смягчено было бородкой клинышком. Но и с этой бородкой рабочие Выборгской стороны узнали бы своего гонителя, и потому Лызлов заблаговременно сменил не только квартиру, но и фамилию. Он теперь именовался по паспорту Шиловым. Англо-бельгийская фирма поручила ему все заботы о своих бывших петербургских владениях. Убийство главного инженера на заводе, где работал Котляков, было совершено по его указанию для острастки. Лызлов был связан и с банкиром Мердером, перекочевавшим еще весной прошлого года из Петербурга в Америку. Деньги Лызлов получал в английских фунтах и американских долларах, и притом в количествах, которые удовлетворяли его. Эсеровские лозунги были до времени неплохим прикрытием всех этих дел, и он связался с эсеровской военной секцией.

За вином и закуской Лызлов успокаивал Таланова:

— Летом вы кончите институт. Возможно, что к тому времени власть будет еще разбойничья, и всякие Ланговые воспрепятствуют вашему диплому. Но — будьте спокойны — вам обеспечен английский диплом, а это посерьезней русского. Наука тоже объявила войну насильникам и невеждам, и народ — с нами.

Лызлов старался почаще упоминать о народе. Молодому человеку все еще хочется, кажется, всерьез изображать «волю народа», «дело народа». Пусть. Это даже полезно.

При упоминании о Ланговом Таланов вспомнил оскорбительную брань Ивана Терентьевича в коридоре института, и злоба вспыхнула в нем.

— Народ — это те, кто с нами, — промолвил Лызлов. — Те, кто с нами, — еще раз отрубил он, с удовольствием чувствуя, что им найдена короткая, сжатая и удобная формула. Никакого тумана, никакой путаницы, все ясно и ложится в душу, как приказ.

Эта формула обрадовала, видно, и Таланова. Он воскликнул:

— Да! Мы выражаем волю народа!

Лызлов вынул из кармана трубку, набил ее английским табаком, закурил и добавил с силой:

— Полезно припугнуть продавшихся большевикам изменников двумя-тремя террористическими актами.

Было уже утро, когда Таланов ушел от Лызлова домой, на Серпуховскую, второй двор, налево, пятый этаж. Там, в средней руки квартирке, обреталась его мать, полная женщина с седыми, коротко стриженными волосами и в пенсне. Она раскладывала пасьянсы, читала Боборыкина, ворчала на прислугу и редко выходила на улицу. Она гордилась тем, что когда-то кончила Бестужевские курсы, и до сих пор говорила: «мы, бестужевки». В своей жизни она встречалась с самим Михайловским и за кулисами одного литературного вечера поставила однажды перед Достоевским глубочайшего значения вопрос — не унижают ли чаевые человеческое достоинство дворников?

Мать вышла к сыну в капоте и сразу заговорила:

— Ты меня убиваешь. По городу ходят вздорные слухи, твоя мать в тревоге, твоя мать сидит не евши, а ты развлекаешься неизвестно чем. Нет, в мое время дети больше любили своих родителей!

— Отстань, — коротко отвечал сын и, запершись у себя в комнате, сочинил письмо, в котором угрожал смертью Ивану Терентьевичу Ланговому, а с ним и Линевичу, осмелившемуся улыбаться при оскорбительной для Таланова сцене, и Кругликову, и всем остальным сторонникам большевиков. Требуя от почтенных профессоров решительной перемены в поведении и прекращения большевистской агитации, он подкрепил свои угрозы фактом — убийством инженера на Выборгской стороне.

Мать раскладывала пасьянс, когда он уходил, и даже головы не повернула в его сторону. Она наказывала сына гордым невниманием к нему.

Таланов сам отпечатал свое письмо на машинке в военной секции, никакой подписи, конечно, не поставил и опустил его Линевичу в ящик на двери. Он все-таки понимал, что Лангового не испугать.

Горничная подала Линевичу это страшное анонимное послание вместе с другой почтой. Линевич вскрыл конверт и, бледнея, прочел смертный приговор. Пошатываясь, он прошел к жене и подал ей письмо. Жена восклицала в отчаянии:

— Я тебе давно говорю — надо бежать, бежать из этого ада! Ты сведешь в могилу и меня и детей. Зачем ты связался с Ланговым?.. Нас убьют, как этого инженера.

Тоненькая, хрупкая, еще совсем молоденькая с виду, она разрыдалась. Степан Степанович схватился за голову, надел шубу и ушел. Жена права — надо бежать. Но — наука. Как быть с наукой? В науке он — патриот и революционер... Линевиц шел к Ивану Терентьевичу. Все-таки он шел к нему...

Иван Терентьевич работал у себя в кабинете, когда Линевиц, вторгшись к нему в шубе и теплых ботах, заговорил, не поздоровавшись:

— Я пришел сообщить вам об одном убийстве...

— О каком убийстве? — спросил Иван Терентьевич, всем своим телом вместе с креслом поворачиваясь к Линевицу.

— На Выборгской стороне, один инженер... — Линевиц дрожащей рукой протянул Ивану Терентьевичу письмо Таланова. Пока тот читал, он говорил: — Убивают все время, уже который год, и война, и бандиты, и все привыкли, хотя ужасно, ужас... Но в этом убийстве на Выборгской стороне — новая нота! Месть изменнику интеллигенции за работу с большевиками! Вот на что я обращаю ваше внимание, Иван Терентьевич. Я революционер в науке, но мы пришли к страшному кризису. Судьба России — в нас, носителях русской культуры. Учредительное собрание разогнано! Его разогнали ваши большевики, Иван Терентьевич!

— Ах, вот что! — насутился Ланговой, откинув письмо, и черные усы его сердито шевельнулись. — Это-то я знаю. Это слава богу. Я и раньше говорил вам, что учредилка — это болтуны и прохвосты. А письмо — вздор, чепуха. Неужели оно всерьез взволновало вас?

Линевиц глядел на Лангового с ужасом.

— Иван Терентьевич, есть предел моему согласию с вами. Мы живем в междоусобице, а я за единую Россию. Я напоминаю вам, что Розин тоже требовал вашего ареста и казни... Наука — между двух огней. Мы обязаны спасти науку.

— Снимайте шубу и успокойтесь, — хмуро отвечал Иван Терентьевич. — Прежде всего успокойтесь.

Но Линевиц и не подумал снять шубу и успокоиться. Он круто повернулся к полкам с книгами и неподвижно

ным взглядом уставился на толстый корешок «Физики» Краевича, словно искал в нем спасения. Затем он столь же резко и внезапно обернулся к Ланговому.

— Конец! — вымолвил он, и голос его дрогнул. — Мы между двух огней! У вас тоже дети, Иван Терентьевич, я пришел спасти вас. Мне дорого научное сотрудничество с вами. Надо немедленно бежать! — Он шагнул к Ивану Терентьевичу и всплеснул руками, как женщина, что весьма странно было при его очень мужском, с седоватой бородкой и усами, лице. — Иван Терентьевич, вы ослеплены! Надо немедленно уезжать.

Иван Терентьевич проговорил сдержанно:

— Вспомните, Степан Степанович, что вы русский, а следовательно, должны быть в России.

— Но Россия гибнет! — воскликнул Линевиц, и какие-то даже писклявые ноты прорвались в его голосе. — Нету России! Есть кровавый океан!

И он, попятившись, споткнулся о ковер, не проданный Аглаей из уважения к науке, и упал на диван, опять по-женски всплеснув руками.

Ниночка, следившая, стоя у двери, за всей этой сценой, сочла своевременным вмешаться.

— Степан Степанович, — сказала она, — вы прилягте, я сейчас принесу вам валерьяновых капель. Вы просто очень изнервничались.

— Валерьяны, — бессмысленно проговорил Линевиц, потирая лоб. Он производил впечатление не вполне нормального человека. — Валерьяны, валерьяны... — Он помолчал, морща лоб, стараясь, видимо, овладеть собой. Затем продолжал: — Я хочу заниматься научной работой, и для меня чрезвычайно ценно сотрудничество с вами, Иван Терентьевич. Я хочу быть с вами, Иван Терентьевич, но не с ними. И вообще — зачем политика? В этой смуте и наука погибнет!

— Вы испугались родного народа, — промолвил Иван Терентьевич очень тихо (Ниночка знала, какой буре предшествует обычно этот тихий голос, но не решилась сейчас перебить мужа). — Вы испугались того, что наука становится достоянием миллионов. Пусть мерзавцы боятся этой конкуренции. — Он сделал издевательское ударение на последнем слове. — Но не вы. Вы ничего не понимаете. Замолчите.

Но Линеви́ч не слушал его. Он разговари́вал, казалось, не столько с Иваном Терентье́вичем, сколько с самим собой. Он говори́л:

— Не нужна нам политика. Политики бы спорили, а мы с вами сходились бы на научной почве, работали бы вместе. А теперь?.. — Он тяжело, как больной, поднялся. — Я не могу больше, — сказал он. — Иван Терентье́вич, только Европа нас защитит! Я сам патриот России и русской науки, но я не могу больше, не могу! Надо варягов! Больно, но скажу... — И он, расставив ноги, самым странным образом растопырил руки, трудно поднимавшиеся в тяжелой шубе. — Я скажу Европе: «Придите и владейте нами, земля наша...».

— Вон! — произнес вдруг Иван Терентье́вич таким тихим голосом, что нельзя было понять, гонит он обезумевшего гостя или просто так у него случайно выговорилось. Этот тихий голос так решительно противоречил смыслу слова, что Линеви́ч и не услышал, и не заметил опасности, а восклицал с отчаянием:

— Европа! Европа!

Он молитвенно сложил руки, и тут его ошеломил неистовый крик:

— Подите вон! Довольно! Не обязан терпеть! К дьяволу!

Ниночка на этот раз никак не смогла предотвратить один из тех скандалов, на которые горазд был профессор Ланговой. Да и то сказать — Иван Терентье́вич уже давно с трудом воздерживался от грубостей в общении с Линеви́чем.

Линеви́ч отскочил от Ивана Терентье́вича и заспешил к двери. Он хорошо знал нрав своего коллеги.

Вне себя, Иван Терентье́вич с совершенно неясными намерениями двинулся вслед за Линеви́чем на лестницу.

Снизу слышался топот чьих-то ног, словно к Ивану Терентье́вичу подымалась статуя Командора или попросту лошадь. Но это была всего лишь Аглая, в огромных, по огромной ноге, рабочих башмаках на деревянных подошвах. Она несла, перекинув через плечо, как переметную суму, мешок мороженой картошки пудика **этак** на два. Приостановившись и поглядев на **торопливо** прошедшего мимо нее перепуганного физика, **она** сурово продолжала свое неуклонное восхождение.

— Это ты его огласил? — осведомилась она у брата своим хриплым дьяконским басом.

— Сверкать пятками по Европе! — ответил Иван Терентьевич. — А батогами по пяткам, а? Батогами по пяткам...

Он еще не остыл, когда Ниночка появилась на пороге кабинета и с самым невинным видом сообщила:

— Тебя спрашивает по телефону Макшеев.

— Кто?

— Макшеев, Владимир Николаевич.

Их пути разошлись сразу же после окончания института. Но однажды, лет восемь назад, они встретились. Макшеев, бежавший из ссылки, ходивший зимой в легком пальто и без калош, поразил тогда Лангового бодрой уверенностью в будущем. Он тогда показался Ивану Терентьевичу почти безумным фантастом, но теперь он стал властью. Сумасшедшая жизнь!

XIII

Макшеев отозвался на приглашение Лангового, и два бывших институтских товарища вновь сошлись после долгого перерыва.

Макшеев с любопытством поглядывал на Ивана Терентьевича, которого знал веселым и удачливым гулякой, силачом, спортсменом. Пожалуй, нет прежней живости в движениях, появилась некоторая солидность, но все та же самоуверенная повадка, упрям и вспыльчив, очевидно, как раньше. Ланговой с не меньшим интересом присматривался к товарищу, который мог стать ученым, но избрал полную смертельных опасностей, бурную жизнь революционера.

— Пройдем ко мне, — говорил Иван Терентьевич, пропуская Макшеева к себе в кабинет. — Я и не узнал бы, бороды-то нет.

— Да, снял. А ты совсем не изменился.

Макшеев, как и восемь лет назад, первый сказал «ты», и Ниночку порадовало это. Она вошла вслед за мужчинами в кабинет. Она все-таки боялась, что это устроенное ею свидание к добру не приведет, — она слишком хорошо знала самолюбивое упрямство супруга. Но Макшеев вел себя совершенно свободно, без всякого напряжения, словно он остался таким же товарищем

Ивану Терентьевичу, как в студенческие времена. А когда он подошел к шкафу с новыми книгами и стал разглядывать их, Ниночка совершенно успокоилась. Гость вел себя умно, тактично, он понимал, с кем имеет дело, и явно не хотел ссориться. Такое и должно быть у него поведение — ведь он власть, он сейчас сильнее профессора Лангового. Ниночка вышла, отговорившись хозяйственными делами, и Макшеев остался наедине с Ланговым.

Он говорил, вынув из шкафа одну из книг:

— Вот этой твоей работы я еще не знаю.

— Она вышла в шестнадцатом году.

— А! Ну в том году я не мог... — Макшеев листал книгу. — Ого! Ты далеко пошел в своих атомных делах... Интересная страница о гелии.

Он нарочно начал разговор с научных тем, и Лангой охотно поддержал:

— Гелий ты найдешь в каждом радиоактивном веществе, это кое-что доказывает.

Они заговорили об излучениях вещества, о неведомых еще человеку сверхмощных силах природы, но оба думали о другом, и это придавало некоторую искусственность их беседе. Вдруг Макшеев, продолжавший листать книгу, оживился:

— Вот как! Ты прямо соединяешь науку с жизнью.

И он прочел:

«Декарт в молодости был офицером, участником Тридцатилетней войны, непосредственным свидетелем чрезвычайных падений и взлетов в судьбах людей, и мне думается иногда, что именно эти перемены навели его на мысль о переменной величине в математике. Декарт нанес удар огромной силы по средневековой неподвижной метафизике постоянных чисел, и Ньютону с Лейбницем осталось только сделать неизбежные выводы, закрепить и развить мысль Декарта в дифференциальном исчислении. Радуйтесь переменам! — вот завет лучших людей науки и чудеснейшая традиция наших отечественных ученых». Люблю твои внезапные публицистические отступления. В самый канун революции ты сказал: «Радуйтесь переменам».

Он поставил книгу на место и спросил:

— Можно будет потом взять ее?

— Конечно. Если тебе интересны мои работы.

— Твои работы я читал все, кроме этой.

Его «ты», обращенное к Ивану Терентьевичу, звучало уже естественней.

— Никак не мог ждать такого внимания, — отозвался польщенный Иван Терентьевич. — Ведь мои работы имеют очень специальный характер.

— Не считай меня невеждой. Я давно слежу за тем, как у нас создаются новые научные дисциплины, а ты в этом деле много сделал. Ты смело насыщаешь свои модели реальными свойствами вещей, твои абстракции отражают все новые и новые свойства материи, а это своего рода революция в науке. И кстати, твой интерес к микромиру очень для тебя органичен. Вот ты отвергаешь учение Лавуазье о неизменности химических элементов, но в то же время ты охраняешь все ценное, что добыто наукой, от панических воплей. Ведь в одной из статей ты утверждал, что классическая механика остается незыблемой даже при условии открытия законов, противоречащих существующим законам механики, то есть якобы опровергающих эти законы. Ведь так?

— Совершенно верно, — отвечал удивленный Ланговой. Он не ожидал таких знаний от этого жившего совсем другой жизнью человека.

— Ты говорил, что существующие законы механики — частный случай новой, еще только создаваемой теории, частный случай новой механики. Верно?

— Но меня ведь побили за это как консерватора. Ты не знаешь...

— Знаю. Читал. Но кто бил? Мистики! Они же рады поднять по любому поводу крик о крушении всех закономерностей природы и всех наук! А тут повод подходящий. Но ты твердо выстоял. Спорил. Возражал. Ругался. И еще долго придется тебе драться с ними.

— Ты меня просто поражаешь, — не выдержал наконец Иван Терентьевич. — Ведь это споры какой-то жалкой, малочисленной кучки ученых, самое только начало споров. Специалисты — и те еще ни черта не понимают, не могут разобраться, а для широкой публики это сплошная абракадабра. Никто и знать не хочет, и вдруг ты...

Иван Терентьевич запнулся.

— Что — я? — усмехнулся Макшеев и, пошагав по кабинету, остановился перед Иваном Терентьевичем.

сидевшим в своем тяжелом кресле, перед письменным столом. — Ведь наше дело — тоже наука. Мы своего рода энциклопедисты, только не прежнего толка, а нового, ленинской школы. Мы всё обязаны знать. Сегодня — в военном деле, завтра — в хозяйственном, послезавтра — может быть, где-нибудь в научном учреждении, но всегда при этом — в деле партийном, большевистском. Я всего лишь один из многих партийных работников.

Это был резкий поворот к политике. Макшеев стоял перед Иваном Терентьевичем, совсем как восемь лет назад, — расставив ноги, уперев по своей привычке руки в бока так, что большие пальцы торчали вперед. Он стоял так крепко, что, казалось, никакая сила не сдвинула бы его с места. Но сейчас на нем военная гимнастерка и военные штаны, сунутые в высокие сапоги.

Иван Терентьевич начал:

— Если б все были такие, как ты...

Макшеев перебил:

— Я тебе говорю без всякой ложной скромности — другие и умней, и больше знают, и зорче, а я — из малых, можешь мне поверить. Но все мы, большие и малые, — ученики Ленина, величайшего ученого. Мы тоже изучаем законы, столь же непреложные, как и законы природы, мы действуем на основании этих законов, — только они касаются жизни человеческого общества. И уж нам ли не интересоваться всеми достижениями наук! Нам твоя наука нужна, а тебе не обойтись без нашей науки.

— Один рабочий парень сказал мне почти то же самое, — вспомнил Иван Терентьевич.

— Знаю. Котляков. Он мне рассказывал.

Иван Терентьевич был несколько подавлен тем, что институтский товарищ умудрился соединить жизнь революционера с научными занятиями. Он никогда не считал это возможным. Он глядел на Макшеева с какой-то даже детской обидой в глазах, а тот продолжал:

— Мне всегда думалось, что на таких работах, как твой, своеобразно сказывалась революционная борьба народа.

— Да?

— Ты мог этого не знать, но, по-моему, это так. Мне интересна эта связь. Да ведь ты и сам почти то же

говоришь о Декарте. Я всегда считал тебя бесспорным революционером в науке. Жена меня ужасно ругала, что я к тебе раньше не пошел, но буквально минуты не вырвешь.

— Твоя жена с тобой?

— Вернулась из ссылки только после революции и работает в Наркомпросе. Я многое знаю о тебе, знаю, что ты не замарался ни в саботаже, ни в делах с учредилкой, — так и следовало ожидать. Но сейчас на тебя стали нападать с двух сторон. Твоя жена очень хорошо сделала, что пришла ко мне...

— Она была у тебя?

— Да. Выдаю этот жуткий секрет — была. И очень хорошо сделала, предотвратила какую-нибудь вредную глупость или грубость, — мы еще не можем уследить за всем, беспорядков и чепухи у нас еще более чем достаточно. Только жена твоя не сказала, что этот сукин сын Розин даже грозил тебе арестом, об этом я сам узнал. Но ты об этом забудь, уж как-нибудь мы его урезим. И не обижайся на свою жену. Моя тоже то и дело поправляет меня, и я только благодарен. Занесет, знаешь, иной раз, а она — за руку. Твоя жена не зря дочь Кондакова, твоего и моего учителя, ведь он в трудный момент тоже бросился к нам.

Напоминание о Кондакове поспело как нельзя более кстати, иначе Ниночке пришлось бы выдержать бурю. Все же Иван Терентьевич проворчал:

— Вечно путаются не в свое дело.

— Но ведь мой звонок и твое приглашение ускорила твоей женой. Ты этим недоволен?

— Да нет! Что ты!

— Тогда не сердись на Нину Павловну. Если б у всех ученых были такие жены, нам было бы легче.

Иван Терентьевич попытался повернуть к прежней, нейтральной теме:

— Признаться, я не ожидал, что у нас произойдет такой вполне научный разговор.

Но Макшеев не уступил:

— Думал, что и я — как Розин? Ну и ну! Вот придет к тебе учиться рабочая молодежь, тогда увидишь, что мы за люди и как относимся к науке. Кстати, пошлю к этому Розину Котлякова, пусть послушает, — там могут и до бандитизма дойти. Все взболтано,

примазывается всякая сволочь, пьяные дебоши, бескультурье, развал хозяйства, — чудное мы получили наследство, а порядочные люди заботятся о своем самолюбии.

Иван Терентьевич, может быть, и не стерпел бы этот укол, если б Макшеев не продолжал без паузы:

— Розин, по существу, ставит себя в один ряд с убийцами инженера на Выборгской стороне. На заводе, где тебя некогда ограбили — украли у тебя твое изобретение, станок, — так вот, там убили последнего оставшегося инженера, за то, конечно, что он помогал нам.

— Убийцу нашли? — быстро спросил Иван Терентьевич, мгновенно забыв обидный намек Макшеева.

— Убежал. Конечно, работать с нами далеко небезопасно. Честь и слава тебе, если придешь!

Он быстро, в обычном для себя темпе, пришел к делу, к смыслу этой встречи.

— Я не трус! — тотчас же отпарировал Ланговой. — Я этих убийц не боюсь!

— Большому кораблю большое плавание, — улыбнулся Макшеев, — я тебя зову не на завод, а на дела побольше.

И тогда Ланговой почувствовал необходимость точно и ясно определить свою позицию.

— Я против саботажа, — отвечал он медленно, обдумывая каждое слово, — и, во всяком случае, считаю долгом людей науки помогать рабочим и крестьянам, помогать народу, России.

— В общем, ты еще не видишь, что Россия — это большевики, — сформулировал Макшеев, — но ты сумел понять, что такое учредилка. Завод, где произошло убийство, очевидно, на особой заметке. Там нужны честные и смелые люди. У тебя, наверное, есть такие среди учеников. Назови их, рекомендую.

У Лангового возникло ощущение, что старый товарищ тащит его, схватив за шиворот, именно в том направлении, которое Иван Терентьевич теоретически, на словах, считал правильным. Но переход от слова к делу в жизни куда тяжелей, чем в научных изысканиях, и Ланговой отозвался, насупившись:

— У меня есть ученик, его фамилия — Громов, он еще на пятом курсе, но, в сущности, готовый инженер,

хоть сейчас я могу выдать ему диплом. Можно сломать некоторые правила, — добавил он, помедлив, — но все же кой-какие формальности немножко задержат.

— Чем скорей, тем лучше, — заметил Макшеев, мельком, не без насмешки глянув на Ивана Терентьевича. — Между прочим, фамилия убитого инженера тоже Громов.

— Да? Я его родственников не знаю. Расскажи, как произошло убийство.

Иван Терентьевич готов был хоть бы и рассказом о кровавом деле замедлить ход событий.

Макшеев пожал плечами.

— Это убийство лишний раз доказывает, что мы еще не можем за всем уследить. — Передавая коротко то, что он знал об убийстве, Макшеев добавил: — Любопытная деталь. Котляков — он тоже с того завода — собрал разные брошенные чертежи и проекты и спрятал их в шкаф, а когда после убийства заглянул туда, то оказалось, что кто-то там шарил. Даже забытые остатки пытались утащить, но, видно, что-то помешало.

Теперь Иван Терентьевич ухватился за упоминание о Котлякове, чтобы увести разговор от слишком острых тем:

— Кто он такой? Он вдруг вошел во время лекции. Спасибо, что хоть без винтовки.

Макшеев присел на диван.

— Хороший парень, очень способный, — отозвался он и продолжал, не желая отвлекаться в сторону даже рассказом о Котлякове. — Вообще после пятого года выросло удивительное поколение рабочей молодежи, я таким не был, я встретился с революционной наукой только в институте, до того занят был собой, и все тут; время, правда, было другое. А эту молодежь с малых лет забрала борьба, у них пожар в крови, о личной карьере они и не думают, их одержимость сильнее всех страстей, у них, как бы сказать, неосознанная самоотверженность. В этих молодых людях растет новый тип деятелей, их влечет до конца пройти все бои, и я уверен, что в их непреодолимой тяге к борьбе есть изрядная доля страсти к опыту, к знаниям, страсть к научным знаниям вспыхнет в них с огромной силой, когда придет победа в войне. Тогда они ворвутся в институты,

в университеты, как свежий ветер, как буря. И тогда держись. — Он хотел спокойно рассказать профессору Ланговому о новой молодежи, но, чем больше говорил, тем больше волновался. — Их ничто не своротит с пути, ничто не остановит, разве только смерть...

Голос его оборвался. Потом он добавил глухо и нерасчетливо:

— При всей своей жажде знаний они не пожалеют косности и в самом крупном ученом, в каком-нибудь величественном жреце науки из барской квартиры, с барскими привычками, с громкими фразами о России и колебаниями, когда доходит до дела. Они жизнью своей защищают Россию от врага и не потерпят пренебрежения, они дают России величайший из научных приоритетов — приоритет открытия новой эры в истории человечества, в то время как некоторые ученые только болтают о любви своей к России.

Иван Терентьевич побагровел, дрожащими от злобного волнения руками выдвинул боковой ящик стола и запустил в него руку.

— Болтают? Да?.. Я не хотел говорить о личных делах... — Иван Терентьевич вынул из ящика папку и развязывал тесемки. — Вот... Убили инженера? Да? За болтовню?.. Так вот анонимка... это мне... я плюю на это... Но если дело о России... громкие фразы...

Он кинул Макшееву письмо Таланова.

Макшеев, проглядев анонимку, промолвил:

— Эту анонимку разреши взять, узнаю машинку военной секции эсеров, вот кто убивает.

Иван Терентьевич молча барабанил пальцами по столу.

Макшеев продолжал:

— Но ответь, пожалуйста, ты честный человек и скажешь, что думаешь. Вот ты оскорблен моими словами об ученых, а ответь мне — есть ли такие ученые, которые не то что колеблются, а готовы даже и варягов призывать ради своего удобства, своих косных привычек в быту? Ты ответь.

Ланговой вспомнил Линевица и перестал барабанировать по столу. В этот момент он остро ненавидел Линевица.

— Ты ответь, — настаивал Макшеев и поднялся с дивана. — Я задел тебя, сам того не желая, и пусть,

ладно, тем лучше. Но я сказал всего лишь о колебаниях, тут нет ничего особенного. Ты ведь колеблешься, это факт, ты не можешь еще решительно заявить, что правы мы, большевики, в той борьбе, которая идет. Давай рассуждать спокойно. В своих научных трудах ты борешься со всем, что является тормозом в движении, в познании истинных законов природы; ты стремишься и на практике поломать все, что мешает развитию знаний, исходишь из практики, из жизненных наблюдений в своих теориях, учишься у природы и борешься с ней, и в науке ты поэтому революционер. Ведь так? Мы заняты тем же, только в общественных отношениях. Мы твое дело в науке понимаем и приветствуем, а ты нашего дела не понимаешь и потому колеблешься. Есть такой закон исторического развития, проверенный опытом, жизнью: капиталисты, помещики не отдают добром свои богатства, нажитые талантом, потом и кровью народа, они сопротивляются самым свирепым образом, они были тунеядцами и желают оставаться ими, они за свой комфорт, за свою выгоду все заливают кровью, а человек, борющийся единственно только за себя и за свою выгоду, — уже не человек, а самая злая и страшная тварь на земле. Ты сам узнал это, когда вступил в спор с заводчиком. Эти твари подымают сейчас войну против нас, закупают людей направо и налево, туманят мозги громкими фразами, а есть и ученые, которые идут за ними. Вот, например, этот Линевиц, получив анонимку, струсил и убежал, — я же кое-что знаю и об ученых, не зря говорю. А у народа — широкий размах, народ борется за всю трудовую Русь, хочет создать справедливое общество тружеников. С одной стороны — труженик, а с другой — тунеядец. У кого же правда? Надо увидеть прежде всего это, а не придирается к грязи, которая к нам примазывается, к невежеству, грубости, которых в наших рядах более чем достаточно, надо видеть самую суть — и помочь. Не могу я уважать твои колебания и не буду! Они противоречат твоим словам о России...

Он по своей привычке уже похаживал по комнате. Остановился перед Иваном Терентьевичем и продолжал:

— Ты ловишь обиду в моих словах, ты осторожничаешь, дипломатничаешь, а я все это в разговоре с тобой

считаю ненужным. Мы предложили и предлагаем мир всем народам, всем правительствам, а что в ответ? Морганам, Рябушинским, Круппам нужна война, они наживаются на ней, и что им до океанов крови! Им никого не жалко. У них нет и родины, их родина — кошелек, мошна. Крупп за сходную цену продаст Германию, а Морган — Америку, как Рябушинский продает Россию. А патристических фраз у них сколько угодно, — это им поставляют литературные холопы и глупцы. И я терпеть не могу патристические фразы без дела. На кого все это падает в первую очередь, кто гибнет в войнах? Молодежь! Я ведь тоже немножко и воспитатель молодежи, как и ты, и мне жалко, мучительно жалко! Я не понимаю, как можно не видеть этого! Ведь ты же любишь молодежь!

Он вновь прошелся по комнате и опять остановился перед Иваном Терентьевичем. Он, видимо, хотел овладеть собой, но краска ударила ему в лицо, и он заговорил глухо и взволнованно, с горящими глазами:

— Нас расписывают как злодеев, а что ведет нас в бой? Любовь к людям, любовь к угнетенным, к униженным, любовь к родной стране, к родному народу. Эта любовь ведет и нашу молодежь, цвет страны; за эту любовь она гибнет, и нельзя говорить об этом спокойно — я не могу. Надо же помочь, делом помочь, ускорить победу. У нас же сердце в груди, не волчья шерсть, как у Рябушинских. Ты же человек, у тебя тоже сердце, ты обязан видеть...

Никогда Иван Терентьевич не мог вообразить себе таким этого человека, которого считал очень умным, но холодным.

— Ужинать! — торжественно возгласила Аглая, встав на пороге комнаты и мощной рукой отводя Ничочку, бросившуюся за ней, чтобы остановить.

Макшеев и Ланговой, вздрогнув от неожиданности, с изумлением воззрились на это внезапное вторжение могучей девы быта. Даже для Макшеева был чрезмерен столь резкий переход. А Иван Терентьевич выкрикнул вне себя:

— Да ну тебя к черту! К черту!

Часть вторая

I

В просторном зале Совета тускло горела под потолком электрическая лампочка — сегодня ток дан был на всю ночь. Комната тонула в тенях, тени лежали на лицах людей. Здесь, в этой комнате второго этажа, Иван Фомич инструктировал красногвардейцев, назначенных для реквизиции продовольствия.

Он разъяснял:

— На собрании капиталистов Рябушинский кликнул клич — задушить нашу революцию костлявой рукой голода. Так и сказал, собака, — «костлявой рукой». Враги заграбастали продовольствие, скрывают, обманывают, не отдают. А у нас на складах запаса почти нету, хлеба на два-три дня, да и то ежели по четверти фунта на человека в день. Понятно? Что до жиров и мяса, то и совсем нету. Отсюда приказ — взять на учет все продовольственные грузы на железнодорожных путях. И еще приказ — арестовывать всякого мародера, спекулянта, врага, кто утаил от нашей Советской власти пищу для населения. При сопротивлении — хлопать на месте.

Глаза его наливались гневом, старые брови, разросшиеся, как седые кусты, на его бородатом лице, сердито двигались. Он то нажимал пальцами на стол, то отпускал, словно работал на каком-то невидимом станке. Даже Маня Колесникова, которой обычно и минуты не сиделось на месте, слушала его, чинно сложив руки на коленях, и не шумела.

Иван Фомич продолжал сумрачно и горько:

— Товарищ Ленин упрекнул нас в бездеятельности на этом фронте, справедливо упрекнул, назвал эту нашу бездеятельность чудовищной. — Он помолчал, чтобы все

оценили значение и силу этих упреков, затем закончил строго: — Владимир Ильич направляет вас на очень серьезное, очень важное дело — на борьбу с голодом. Вот и все, товарищи. Понятно вам?

И подивился про себя, что вот приходится называть товарищами парней, которых он знал еще маленькими детьми.

— Понятно, понятно...

Маня Колесникова повторила отдельно еще раз:

— Все понятно.

Только этим она и выдала свой особенный, спокойный характер. Иван Фомич покачал головой:

— Тебе бы жалобы принимать или что другое, а не с винтовкой. Девичье ли это дело?

До выхода на участки еще оставалось время. Еще длилась долгая, зимняя, северная ночь. Еще совсем темно было за замерзшими окнами. Отряд Котлякова был последним из тех, которые Ивану Фомичу поручили проинструктировать. Красногвардейцы остальных отрядов ожидали, переговариваясь, посмеиваясь, похаживая, а то и просто подремывая, в комнатах нижнего этажа.

Иван Фомич говорил Мане:

— Лучше бы я тебя посадил на жалобы. Вот приходит, например, Костин дядюшка, Кости Куклина. Ему за племянника, видишь ли, шла от царя какая-то копейка, так он и от нас требует, как за героя. Выгнал мальчишку при жизни из дому, а за его смерть наживает денежки. Вот чертов спекулянт, хваткие когти! Лудить-паять, деньги загребать. Ты бы как решила? А? Это тебе экзамен на должность.

Маня Колесникова быстро, не задумываясь, ответила:

— Костя Куклин живой.

Этого Иван Фомич никак не ожидал.

— Да откуда ты знаешь? — удивился он.

— Ниоткуда, но знаю, — заторопилась Маня с непонятной уверенностью. — Про него парочко написали. Вот не понимаю почему, а знаю, что живой.

— Врет, — коротко отрезал Дремин, и Маня тотчас же присмирела. Как раньше, так и сейчас Виктор Дремин, единственный из парней Выборгской стороны, мог утихомирить ее даже не словом, а одним только взглядом или движением.

— Нет, на жалобы не годишься, — вымолвил Иван Фомич, — фантазерка, все напутаешь. Куда ж тебя приспособить?

Он помолчал, словно собираясь с силами, и по лицу его прошла грозовая тень. Похоже было, что обращением к Мане Колесниковой он дал себе краткий отдых для того, чтобы потом поднять с души и бросить самые тяжелые слова. Отвернувшись от Мани и прямо глядя на парней своими опять налившимися гневом глазами, он выговорил:

— Если кто, выполняя задание товарища Ленина, запачкается, если кто тяпнет в карманище, так...

Он все-таки не досказал, голос его зазвенел и оборвался, только борода продолжала дрожать. Он тихо и горько произнес:

— Понятно?

Было жалко старика, так любившего молодежь, и красногвардейцы весело, утешая, отозвались:

— Правильно! Понятно!

— Рабочую честь не марать! — кончил Иван Фомич.

Красногвардейцы вышли из комнаты и, стуча сапогами, спустились по лестнице.

У подъезда Котляков, построив отряд, заявил:

— Вот что, ребята, Иван Фомич не сказал из доверия и уважения, а я скажу — если кто хоть крошку из найденного продовольствия возьмет себе, хлопну на месте, хоть бы первый был мне друг. Так и знайте. Воров среди нас нету, но соблазниться можно, ежели желудок пуст. Так вот, подтяните брюхо, воровства не потерплю.

Красногвардейцы приняли предупреждение молча и без обиды. Вожак есть вожак, он обязан говорить такие слова, иначе действительно может случиться какая-нибудь дрянь.

— Все, что найдем, отправлять на наш склад, — уже спокойней заключил Котляков.

— А найдем ли? — усомнился Женя Дергашин, парень с мальчишеским, улыбающимся лицом, но с коренастым телом сильного мужчины.

— Найдем, — с хладнокровной уверенностью отозвался Дремниш.

Вставало сумрачное питерское утро под белесой пеленой неба. Был тот час, когда в прежние времена уже кое-где загорались огни в окнах, тот час, когда ночь уже

таяла в первых лучах невидимого за сплошной завесой облаков, но непобедимого солнца. В этот час особенно живителен бодрящий морозный воздух и кажется, что неизвестное, ожидающее впереди, одарит одним только счастьем, что, может быть, вообще не будет больше никаких ночей. Так всегда кажется молодости в первый рассветный час.

Парни и девушки шли дружно, в ногу, словно играли в солдаты, а не были ими в действительности. Веселящее чувство владело всеми одинаково, но при этом Котляков особенно старательно обдумывал то, что предстояло им сегодня, Дремин наливался упрямой силой, а Маня Колесникова выбилась из строя и шла уже рядом с Котляковым.

Маня была не только всезнайкой Выборгской стороны, ее называли и занозой, и егозой, и колючкой, и еще по-всякому, но всегда в одном и том же смысле. У нее большой рот, угловатые плечи, она в общем даже некрасива, но всегда она в движении, прямо так и горит, глаза вечно блестят, и это неотразимо действует на парней! Иногда и не понять, злобится на нее парень или влюблен. В последний месяц она болела сыпным тифом, но ее даже и сыпняк не уgomонил — она вышла из больницы остриженной и с тем же характером, что и раньше. В солдатской шинели и высоких сапогах, она шагала крупно, по-мужски, а уши ее меховой шапки растопырились так, что, казалось, Маня собралась подняться на них, как на крыльях, в воздух. Она необычайно гордилась тем, что ее тоже взяли в этот поход, и Котляков подозревал, что она в душе считает себя даже главной, потому что ее отец, на днях оправившийся от раны, полученной в боях с юнкерами, теперь состоит в комитете железнодорожных рабочих и ждет на вокзале, чтобы вместе отправиться в обход. Конечно, она вообразила себя главной, потому что уже опередила командира и шла впереди всех. При этом она напевала какую-то совершенно неподходящую песню.

Василий одернул Маню:

— Зачем ты обманула Ивана Фомича? Стыда у тебя нету. Обманула — и радуешься, невесть что поешь.

— Кто обманул? Я? — Маня, оборвав песню, сдержала шаг и пошла рядом. — Это в чем я обманула? — спрашивала она с возмущением, совершенно пренебре-

гая тем важным обстоятельством, что Котляков все-таки командир отряда и в походе уж обязательно надо говорить с ним почтительно. — Я обманула Ивана Фомича! — восклицала она. — Нет, подумайте только, что он говорит!

— Смирно! — прикрикнул на нее Котляков. — Не в лесу ягоды собираешь, сорока. Вот отправлю тебя сейчас домой!..

Эта угроза подействовала. Маня замолкла, отстала на шаг, но вся так и кипела негодованием. Еще минута — и она разревется. Она часто плакала от обиды или раздражения. Ей вообще казалось, что к ней всегда несправедливы, обижают, потому что то и дело ее приходилось одергивать.

Василий, выждав минуту, пояснил:

— Обманула насчет Кости Куклина. Ничего не знаешь, а говоришь.

— А зато я чувствую! — не уступила Маня и опять пошла рядом с Васей. — Это ты бесчувственный — пропал Костя, и тебе все равно, а я чувствую и знаю, что он живой. У меня сердце есть, а у тебя нету.

Ну что тут поделаешь! Нету сердца...

— Ступай, оса, прочь, — приказал Котляков тоном командира.

«Прочь» — это достаточно неопределенно. Маня отстала немножко и пошла рядом с Дреминым, молча оттеснив Женю Дергашина. Тот и не пытался сопротивляться ей — лучше не связываться, исцарапает, как шиповник. Он при первом знакомстве принял ее за розу и уже достаточно пострадал за эту грубую ошибку.

Маня начала было жаловаться Дремину:

— Нет, скажите на милость, кричит, ругается!..

Но Дремин отмахнулся от нее, как от мухи, даже головой мотнул.

— Врешь и врешь, — оборвал он ее. — И не навязывайся. Ты бы, Вася, унял ее раз навсегда.

Лицо у Мани приняло покорное и даже испуганное выражение, она робко косила глаза на строгого Витю и старалась применить к его шагу, а тот и не глядел в ее сторону.

Маня молчала всю дорогу, стояла тихо, скромно позади, когда Котляков совещался у вокзала с ее отцом,

и воскресла только тогда, когда дело дошло до осмотра вагонов. Тут она проявила необыкновенную энергию. Она откидывала створы товарных вагонов, влезала в пассажирские, не гнушалась лазить и в уборные, верещала и шумела так, что ее отец, кондуктор Колесников, то и дело покрикивал на нее:

— Не жужжи как шмель.

Но отца-то она с детства привыкла не слушаться, тем более что он души в ней не чаял. Она успела уже сегодня получить и «сороку», и «осу», и «шмеля», но это была только малая доля ее обычной дневной порции.

С отрядом шел заспанный мужчина в железнодорожной форме, внезапно поднятый с кровати, на которой он очень уютно устроился в часы своего дежурства. Это был служащий управления, пожилой и грузный. Он угрюмо плелся в окружении красногвардейцев, нахмуренный, как зимняя туча, и замкнутый, как сундук с тройным запором. Он невнятно мычал в ответ на все вопросы и вид имел такой, словно над ним совершают возмутительное насилие. Небритые, подозрительно полные щеки его подергивались. Эти полные щеки Котляков тотчас же отметил.

Белесый денек уже вступил в свои права, и солнце пробивалось сквозь облачную завесу, а никаких продуктов еще не было обнаружено. Красногвардейцы подошли к стоявшему в сторонке от путей вагону. Вагон этот был снят с тележки и поставлен прямо на землю, в снег, как жилой дом. В окно была выведена дымовая труба. Ясно, что там живет какой-то железнодорожник с семьей.

Дремин прямым ходом направился к этому вагону-домику.

— Живут там, видно, — неопределенно заметил Котляков, но Виктор, не услышав в его словах точного приказа, вошел в домик, и не прошло и минуты, как труба в окне вдруг задвигалась и отвалилась и вместо нее показался белый мешок, который Виктор Дремин без лишних слов протискивал наружу.

— Вот тебе на! — воскликнул Дергашин. — Вот тебе и живут!

Котляков крепко ухватил за плечо подавшегося было прочь управленца.

Вагон-домик оказался полон мешков с мукой и крупой, мясными и рыбными консервами, мороженными и засоленными тушами и прочей снедью.

— Что скажете? — обратился к управленцу Котляков. Он стоял, чуть подавшись вперед, сдвинув кепку на темя и расставив ноги. За плечами — винтовка, в руке — револьвер.

— Не знал, — ответил управленец, пожимая плечами. Скулы его беспокойно двигались.

Котляков поднял револьвер, и, нахмурившись, спросил насмешливо:

— По ком скучаете? По Каледину? По Маннергейму? По немцам?

Управленец, конечно, скучал по ним по всем, но он залепетал:

— Я сочувствующий.

— Понятно, — сказал Котляков. — Он сочувствует любому, только б тот прикончил большевиков. Вполне понятно. Теперь, господин сенатор, извольте сообщить: где еще у вас уворованные продукты?

Он сам не понимал, почему вдруг назвал управленца сенатором. Но так уж сказалось. Управленец вздрогнул, и скулы у него задвигались еще тревожнее. Наконец он проговорил:

— Я ничего не знаю. Я только недавно на службе...

— А ведь мы не шутим, — тихо заметил Котляков. — Либо показывайте все, что у вас есть, либо...

И он направил дуло револьвера прямо в лицо управленцу. Тот отшатнулся. Он как бы сейчас только понял, что его могут вот тут, на этом самом месте, пристрелить насмерть. Он заговорил дрожащим голосом:

— Я все скажу, все... Только уберите это... эту...

Он махал рукой перед лицом.

Котляков отвел револьвер.

— Я все вам покажу. — Управленец захлопал носом. — У меня дочери, жена... Ввиду трудных времен, только для них служу... И если вы знаете, то... то — да, я сенатор... но я — сочувствующий сенатор...

Котляков был поражен этим неожиданным признанием. Этот небритый человек оказался действительно сенатором, чего Котляков никак не предполагал, называя его так, — просто попалось слово на язык. Но он и виду не подал, что изумлен, только гордо покосился на

потрясенных его прозорливостью товарищей. Чем больше успех, тем скромней и проще надо себя вести. Поэтому Котляков скомандовал деловито:

— Показывайте, что у вас есть. Витя, я тебе дам троих, чтобы все это вынести. Машина будет. Действуйте тут.

В самых разных местах, подчас очень неожиданных, оказалось немало всякого продовольствия.

Уже близился вечер, когда красногвардейцы уселись в кружок между путями, чтобы передохнуть и пожевать сухую воблу. И тут Маня не удержалась и высказалась:

— Без Вити зря бы проплутали, ничего не нашли бы. Он первый догадался. Ты, Витя, самый умный! — прямо обратилась она к нему. Тут ее «занесло», и она добавила совсем уж лишнее: — Тебе бы и надо быть командиром!

Дремин побагровел от возмущения, от обиды за Котлякова. Он ответил увесисто и плотно, словно поленницу дров укладывал:

— Будь моя власть, я за такие слова первым делом погнал бы тебя из отряда!

И он отвернулся от притихшей Мани.

Василий, с трудом овладев собой, сказал голосом, в котором дрожало сдержанное бешенство:

— Дремин открыл тайник первым, это правда. А за нарушение дисциплины — вон из отряда, предупреждая в последний раз, и это тоже правда. Работаем не для своего самолюбия, а для людей.

Он и не глядел на Маню, решив во что бы то ни стало отделаться от нее, потому и не заметил, как Маня, вздрогнув, ошеломленно взглянула на него, словно он ее крепко и неожиданно ударил. Он и не подозревал, какое уважение у нее вызвали эти его обыкновенные слова. «Я о себе с Витей, а он — обо всех!» — подумала она смиренно. Что поделаты! Она-то уж, во всяком случае, не годится в вожаки.

II

Синюшкин, бывший заводской сторож, вполне понимал, зачем люди едут в поездах, идущих на восток или на юг. С таких поездов в каждом хлебном пункте, а то и просто на нужной станции, ссыпаются оголодав-

шие граждане с разным барахлом на промен, вылезают прибывшие к своим родным лохматые и злые солдаты и прочий люд, бегущий из фронтового пекла или от питерского голода. Но зачем ехать в Питер? Для чего человеку ползти в поезде сквозь российские поля и леса в самый центр заварухи? Да и вообще, для чего ходят туда поезда?..

Синюшкин шел по набережной вологодской речки Золотухи, маловодной и в весну, с высокими и крутыми берегами, и без всякого удовольствия думал о том, что ему опять придется вскоре увидеть Неву. Он еле унес ноги из проклятого Питера в благословенную Вологду, он ходил тут безбоязненно и в церковь и в трактир, ел хлеб с маслом, а его опять гнали в пекло.

Лызлов приказал ему прошлым летом идти на завод, и он пошел. Приказал ругать и заводчика и все начальство, в том числе и самого Лызлова, — и Синюшкин ругал. Приказал убить инженера — Синюшкин убил. Лызлов не приказывал после этого ехать в Вологду, но Синюшкин убежал вслед за ним. Синюшкин служит инженеру Лызлову для того, чтобы жить, а не для того, чтобы его поставили к стенке и палили в него из ружей. Лызлов не побил своего верного слугу за ослушание, только выругал его. Это, очевидно, потому, что уж очень он нужен Лызлову.

Но в Вологде Синюшкин блаженствовал недолго. Лызлов посылал его в родную деревню на Псковщине и велел ждать там распоряжений. Синюшкин боялся, что в деревне не обрадуются появлению барского слуги, могут и обидеть, но Лызлов дал ему немало денег, а обещал еще больше. Синюшкин верно служил деньгам, он был весь в своего хозяина.

Теперь хозяин вел его на станцию. Хозяин шел рядом в длинной шинели, сухощавый, с бородкой клипыш-ком. Он курил на морозе трубку и молчал.

Когда поезд тронулся, увозя Синюшкина, солнце уже высоко стояло в почти безоблачном небе. Ясный морозный день подымался над старинной Вологдой, над ее деревянными и каменными домишками, над золочеными куполами многочисленных церквей и соборов, над древним Кремлем и Духовым монастырем, над гордым центром с гостиницей, базаром и правительственными зданиями и над спящей белизной окружавших город

полей, в которых терялись пути и дороги под ровным белым покровом. Заводские строения чернели то тут, то там, напоминая о коже и масле, свечах и водке, пиве и мыле, которыми одаряет людей Вологда. Все это можно обозреть разом, если взойти на Соборную горку, высший пункт города.

Вологда широко раскинулась по равнинным берегам медленной, лениво несущей свои воды реки, взявшей название свое от города (Золотуха — только ничтожный приток ее). Зимой реку почти и не различишь — и сушу и воду ровняет снежный покров. Некогда новгородские ушкуйники, поставившие здесь первый посад, насмерть бились за свое новое поселение с московскими князьями. Иван Грозный жил здесь подолгу и, как рассказывают, замышлял даже превратить красавицу Вологду в русскую столицу. Петр Первый не раз посещал Вологду, и памятен дом, в котором он останавливался здесь. Хороша Вологда и летом в зелени и цветах, и зимой в снегах. Жить бы богато и свободно этому городу, усилиями новгородской вольницы вставшему на широких русских путях, — но острог на окраине не пустовал никогда, здесь царские палачи обрывали лбы, били вольных людей кнутом, вешали.

Лызлов, возвращаясь с вокзала, не думал ни о красотах города, ни об истории его, ни даже о людях, его населяющих. Его привлекли сюда иностранцы, которые скапливались в этом русском губернском городе. Связь с банкиром Мердером он держал через известного в Петербурге коммерсанта. Этот человек вызвал его в Вологду. Лызлов ждал здесь распоряжения в связи с ожидавшимся наступлением немцев на Петроград. О переговорах в Бресте сведения были такие, что вряд ли можно было ждать мира. Если немцы войдут в Петроград, то заводами овладеет немецкий хозяин. Лызлов не знал еще в точности, в каких отношениях ему надо состоять с немцами. Его предупредили только, что он должен быть готов к отъезду навстречу немцам. Он пока что отправил вперед своего верного слугу Синюшкина, чтобы тот ждал его в волости, где отцовское поместье. Синюшкин, вопреки приказу, бежал из петроградской квартиры Лызлова в Вологду, но лучших слуг не было — приходилось мириться.

В распивочной, помещавшейся в первом этаже дома, куда вошел Лызлов, было пьяно и дымно. Водочный фабрикант Крынкин спаивал Вологду по тому случаю, что его единородный сын стал пророком. Сын ходил по улицам в отрепьях, под которыми звенели вериги, и пророчествовал, а затем ушел из города в поля и леса, чтобы замаливать грехи людей и выпросить у бога прощение им. Крынкин, как отец пророка, сам сегодня не пил. Он только угощал. Изредка он поднимался и, простирая руки, благословлял собравшихся, несколько спутав, видимо, себя с сыном и воображая, что он тоже святой.

Сына он избивал с малых лет и однажды так стукнул его по голове, что с той поры что-то и случилось с ним странное. Во всяком случае, с той поры сын стал принимать побои с молитвой и просил отца давать ему еще и еще страдания. Бить его стало скучно, и сын, вымаливая страдания уже не от отца, а от всех, кому не лень, стал в конце концов местным вологодским юродивым. Жену свою водочный фабрикант Крынкин давно заморил, и теперь рядом с ним восседала древнего рода княгиня, бежавшая из своего петербургского особняка и укрывшаяся под сенью водочного завода. Княгиню Крынкин пока что остерегался бить — он гордился ею, она и святой сын составляли его новую славу.

— Господи благослови, — с кротостью говорил Крынкин, простирая руки над любезным его сердцу разгулом. Он стоял под специально по его приказу вывешенными образами, толстолицый, с реденькой бордочкой, и в бесцветных глазках его выражалось умиление.

Княгиня, пьяная, сидела, подперевши щеку рукой, как самая простая баба, глядела печальным взором на разнузданные пляски перепившихся буянов и молча слушала хохот и улюлюканье набившихся в зальце торговцев, пропойц, чиновников. Княгиня была павшая, это все понимали, но все же это была самая настоящая, доподлинная княгиня, своим присутствием возвышавшая общество.

Лызлов, заглянув в трактир, безглаголиво поморщился. Поднявшись во второй этаж, он дернул звонок у левой двери. Он еле успел отойти — так быстро отворилась дверь. Перед Лызловым стоял полный, бритый, веселый

мужчина без пиджака, в подтяжках. Он хлопнул Лызлова по плечу, взял под руку и повел в квартиру. Движения его были быстры, лицо улыбалось, жизнь, казалось, так и играла в нем.

— Живу над рестораном, а есть не песут, — заявил он, пожимая плечами. — Ни одного официанта. Не можете ли вы помочь? Пожалуйста, устройте мне обед.

— Попытаюсь, — ответил Лызлов.

Он спустился вниз и не без труда уговорил одного из служащих отвлечься от попойки Крынкина и обслужить иностранного коммерсанта. Подействовали только доллары.

Коммерсант (его звали Эве Бэлл), с аппетитом уничтожая пельмени, к которым он пристрастился в России, говорил:

— Мира в Бресте не будет. Это уже ясно. Они съедят друг друга — немцы и большевики. — И он, отирая губы салфеткой, с удовлетворением откинулся на спинку стула. Оглядев просторную нечистую комнату, обставленную мягкой мебелью, он продолжал: — Россия — богатая страна, но очень неблагоустроенная. В России очень плохие уборные, много пьяных и клопов, грязь и невежество. Когда мы придем, будет много работы. Скажите, почему в России освободили крестьян? — вдруг спросил он. — Я читал и не понял.

— А почему у вас освободили негров? — ответил с некоторым озлоблением Лызлов.

— Мы держим своих негров так, что они не устраивают революции, а ваши негры сделали революцию. Наши деловые люди не ведут себя так, как ваш капиталист там, внизу, в ресторане.

Эве Бэлл доел пельмени, выпил кофе и встал.

— В России много странного и дикого, — сказал он, похаживая по комнате. — Среди ваших большевиков есть образованные люди, но они не признают нормальной коммерции и придерживаются варварских взглядов. Они не понимают, что привилегии знаний, привилегии образования, привилегии землевладельца, банкира, собственника заводов и фабрик законны и справедливы. Если послушать русских большевиков, то мой отец неправильно владеет даже своим магазином и баром! — Он, пожав плечами, усмехнулся такой явной несусазице. — Эта варварская доктрина годится дикарям, но не

лицам, получившим образование. Вас я понимаю, но их!..

Он остановился перед Лызловым, засунув руки в карманы, и, покачиваясь на своих толстых, коротких ногах, проговорил:

— Я полагаю, что смогу в ближайшие дни передать вам окончательные распоряжения фирмы.

III

Эве Бэлл орудовал в России уже больше десяти лет. Он явился в Петербург скромным представителем американской фирмы насосов, и ему удалось войти в доверие к богатейшему петербургскому банкиру Мердеру. После Февральской революции Мердер уехал в Стокгольм, а оттуда — в Америку. Эве Бэлл, отправив свою семью в Швейцарию, сам решил остаться в страшной России и после Октября. Это решение сразу же повысило ему цену. Он стал уполномоченным фирм, подчиненных Мердеру, и эти фирмы поручили ему заботы о своих заводах в Петрограде. Эве Бэлл командовал не одним только Лызловым. В бегстве богатых конкурентов он видел свое счастье. Он азартно боролся за право оказаться одним из первых завоевателей и колонизаторов России. Уже не для своих хозяев, а лично для себя Эве Бэлл скупал от бежавших из Петрограда владельцев за бесценок, за никчемные керенки, дома, предприятия, все, что попало. Стальной ящик, полный законно составленных актов, он самолично зарыл в саду при опустевшем поместье Мердера под Петроградом. Все эти бумаги, закопанные до времени в землю, сразу сделают его миллионером после подавления революции и откроют путь к новым приобретениям. Он станет сильней Мердера.

В Вологду Эве Бэлл приехал для связи с Архангельском, где уже началась интервенция, и для участия в организации восстания в приволжских городах. Вологда намечалась центром этих восстаний, а Эве Бэлл всегда стремился оказаться заблаговременно в центре будущих событий — он был честолюбив. Он не мог еще конкурировать с крупными дельцами и заговорщиками, но не упускал выгоды быть с ними, исполнять их пору-

чения и, по возможности, больше знать об их планах на будущее; он имел дипломатический паспорт.

Для секретных свиданий он купил в Вологде окраинный домик на имя своего сотрудника, получившего при правительстве Керенского русский паспорт и несуразную русскую фамилию, переделанную из английской, — Келдов. Это был рослый светлоглазый человек, любитель бокса и знаток джиу-джитсу, отлично, как и Эве Бэлл, владевший русским языком.

Отпустив Лызлова, Эве Бэлл присел к столу. Он написал очередное нежное письмо жене и детям, которые почитали его как героя, и сунул его в карман, чтобы отправить с дипломатической почтой. Вечером он пошел в свой окраинный домик. Там его ждал один из руководителей местной левозеро-серовской организации и Вологодского Совета, с которым до того Эве Бэлл держал связь через Келдова. Левый эсер был широкоплечий детина в толстовке, толстогубый, с очень сумрачными глазами и неровным, большим носом на крупном румянном лице. Левые эсеры в Вологде были в то время еще сильны, они опирались на деревенское кулачество, они потворствовали местным купцам и фабрикантам.

Широкоплечий детина, едва уместив свое огромное тело в кресле (кресло скрипнуло, когда он сел в него), медлительно заговорил о брестских переговорах. Он явился с важными новостями, но начал с того, что ежели большевики добьются мира в Бресте, то немцы перебросят все свои войска на Западный фронт.

— Германия может одолеть союзников, — заключил он, и в его тоне был вопрос.

Эве Бэлл сразу понял сомнения собеседника, но не беспокоился. Даже если агент подается на сторону Германии, то все равно в конечном счете и это пойдет на пользу Антанте. Но, снисходительно улыбнувшись, он все же объяснил:

— Германия долго не выдержит, Германия хочет захватить добычу не по своим силам. В Германии голод, усталость, германские солдаты заражаются русским большевизмом. Германия и большевики съедят друг друга. — Он не стал вдаваться в лишние рассуждения. Зачем? — Брестский мир не должен быть, не будет! — Он спокойно и решительно перечеркнул рукой воздух. — Пусть немцы возьмут Петроград и свергнут

большевиков, за ними придем мы. Германии — никакой пощады, на колени! Служите нам — тогда останетесь живыми. А большевикам — смерть, казнь, виселица! — Он резанул рукой, словно отрубая голову. Затем, поудобней устроившись в кресле, заключил: — Я интересуюсь судьбой России, мне жалко Россию, я люблю русский народ, и я хочу помочь русским завоевать мир и свободу.

— Я тоже все время говорю о мире и свободе, — усмехнулся левоэсеровский детина. Усмешка у него была тяжелой, сумрачной, как тяжел и сумрачен был он весь. — Я говорю такие речи, что диву даюсь! Приходится. Простой народ требует мира — и рабочие, и мужики, и солдаты. Война и маленьким торговцам не нужна, я знаю торговцев вполне хорошо. Своя лавочка торгует и без войны. Война нужна акулам империализма. — Он опять тяжело усмехнулся, медленно выдавив толстыми, неповоротливыми губами последние два слова. — Вы хорошо служите своим акулам, я вас хвалю. Надо твердить, что мы, мол, за мир, за мир, за свободу, иначе ободранцев в бой не толкнешь. Но что, если ваши, как у нас, догадаются да прогонят Моргана? — вдруг спросил он. — К стенке — и хлоп!

Эве Бэлл стойко выдерживал цинические речи собеседника — этого требовали интересы дела. Пожав плечами, он ответил:

— Антапта — не Россия.

Левоэсеровский детина, исподлобья глянув на Эве Бэллу, возразил очень уверенно:

— Вы потому и разглагольствуете о мире, что боитесь своих солдат. Это я говорю с точностью. Пошлите своих солдат завоевывать Россию, и они заразятся от большевиков. В русской революции великий соблазн для ободранцев всех стран. Большевики объяснят вашим солдатам, что нищему человеку помирать за денюжки богача Моргана не следует, а те это простое разъяснение могут понять. И еще надо знать, что русский всегда бил иностранца, если тот нападал. Уж что говорить, если самого Наполеона обесславили. Россия — такая. Россию знаю лучше вас.

Все это было, конечно, разведкой, да и желанием набить себе цену как специалисту по России. Эве Бэлл именно так понимал наглую развязность собеседника,

но не обнаруживал ни раздражения, ни спеси. Как человек деловой, он вел себя с достоинством, несколько даже чопорно, в контраст с поведением эсера. Он ответил все тем же ровным тоном:

— Сейчас стоит вопрос о Германии. Большевики хотят в Бресте заключить мир с немцами.

Он напоминал левому эсеру о цели встречи.

Тот повторил:

— С немцами? — Его нахмуренные светлые брови выражали некоторое напряжение мысли, и он словно сам с собой разговаривал. — Немцы так прямо и заявляют: «Дейтчланд, дейтчланд юбер аллес», да еще «юбер аллес ин дер вельт». Болваны, хотя и хорошо, если бы взяли Петроград. Вы — похитрей, поумней, да и посытей, побогаче, а на сытости революции не растут. Руеский богатый, образованный класс устраивает большевикам гражданскую войну, а вы интервенцию. — Он поднял голову и прямо взглянул на Эве Бэлла своими прозрачно-серыми, словно пустыми, страшноватыми глазами. — Ежели взорвем к черту большевиков изнутри, то ваши солдатики пройдут по расчищенному пути, увидят, как богатый, образованный класс поступает с нищим, когда нищий бунтует. Пусть знают свое место на этой земле. Главное дело в нас, в русских подрывателях, которые расчистят пути. Вы это, я полагаю, понимаете.

Он помолчал, ожидая одобрения или возражения. Но Эве Бэлл тоже молчал, улыбаясь. Это была странная улыбка, она решительно ничего не обозначала, в ней ничего нельзя было прочесть. Это была любезная улыбка, за которой таилось неведомо что. Левозсеровский детина почувствовал некоторую неловкость, словно ему тесно стало в толстовке, он даже плечами повел, но все же, хоть уже и не без усилия, продолжал в прежнем тоне, стараясь теперь, впрочем, высказать кой-какие комплименты собеседнику:

— Что ж, поделимся, не подеремся! — Он неожиданно захохотал громовым смехом и столь же неожиданно замолк, наткнувшись все на ту же любезную улыбку Эве Бэлла. — Ладно, — сказал он, помолчав. — Идем с Антантой. Я — тот же класс, что и вы. Купеческий сын Шкуропьятов, с Андреевского рынка в Петрограде. Имею заграничное образование, кончил до войны

Боннский университет, но по складу грубиян, что приходится скрывать под лоском любезности и правильных революционных слов, а с вами можно и не таиться, одного поля ягоды...

Эве Бэлл холодно стерпел и эту сознательно, в злобе произнесенную грубость, — нужный человек. Но придет время — и он припомнит этому лакею, как тот осмеливался вести себя с барином, когда барин нуждался в нем. Лакей получит сполна.

— Впрочем, социального происхождения не скрывал, — продолжал Шкуропатов, не задумываясь над тем, какие опасности таит в себе молчание Эве Белла, — все данные — в личном деле, отрекся от своего класса, борец за революцию. — Опять тяжелая усмешка тронула его толстые губы. — Официально, для последнего отречения от родного купеческого класса, приобрел другую фамилию, чтобы от меня не пахло рынком.

Он замолчал, и тогда Эве Бэлл, решив, что довольно баловать агента, с внезапным, очень естественным взрывом оживления заговорил:

— Я слушаю вас с большим вниманием, все это очень любопытно, но нам пора приступить к делу. В интересах России я не могу терять время. Горячая любовь к России и сердечное желание помочь великому русскому народу в его справедливых стремлениях к миру и свободе заставили меня приехать в этот прекрасный город. Я надеюсь, что в вас я имею друга и помощника. Бог, — он привычно поднял глаза к потолку и скрестил руки на груди, — видит мои чистые пожелания счастья и благоденствия России.

Шкуропатов несколько даже перепугался. Это была какая-то совершенно новая, пезнакомая еще школа ханжества и лицемерия. Купеческий сын подумал даже на миг, что этот чудак, может быть, всерьез сам верит своим нелепым словам, начисто противоречащим его поступкам. Ну и ну! Шкуропатов впервые встретился сегодня с Эве Бэллом для длительной беседы. Он почувствовал уважение и страх. Келдов вел себя проще, и с ним можно было не стесняться, а с этим надо вспомнить Боннский университет и забыть об Андреевском рынке. Нахмурившись, Шкуропатов заговорил совершенно по-деловому:

— Имею сведения из Бреста от наших левозсеровских делегатов. Похоже, что Брестский мир удалось сорвать. Сейчас изложу все по порядку...

В тот же вечер Эве Бэлл вызвал Лызлова и распорядился:

— Вы поедете в город Псков.— При всем своем хорошим знании русского языка, он все же не без труда выговаривал это название. — Вы отправитесь навстречу немцам, окажете им услуги на пути в Петербург и станете управляющим того завода, на котором работали раньше. Вы должны заслужить доверие немецкого командования. Дальнейшие распоряжения будете получать через...

Он точно сообщил, как и через кого Лызлов должен будет держать с ним связь после того, как немцы возьмут Петроград.

IV

У дяди Яши завелась дочка, приемыш. Марья Кузьминишна узнала об этом, когда зашла к старичку за карточками, чтобы взять для него мяса.

Девушка, сидевшая на корточках перед печуркой и старательно раздувавшая огонь, услышав о мясе, разогнулась и вскрикнула:

— Где выдают? Я сейчас побегу!

Когда она умчалась, дядя Яша пояснил:

— Вчера взял ее к себе. Сирота. Катюшей звать. Мне Колесников, кондуктор, сказал, что осталась без всякого призора. Отца на войне убили, мать померла в больнице, а Катюша поправилась, да деваться некуда. Тоже ведь живая душа, — добавил он как бы в свое оправдание, снял с носа старенькие, в стальной оправе, очки, протер стекла, осторожно попридержав ватку на перемычке, и снова надел. Пальцы его подрагивали.

А Катюша бежала по безлюдной набережной к лавке. На голове ее возвышалась большущая серая папаха. Из-под папахи выглядывало худенькое, очень возбужденное личико с испуганными глазами. Между коротенькой синей шубенкой и коричневыми валенками мелькали обтянутые черными чулками тонкие быстрые ноги. На локте болталась полосатая кошелка.

Мостовую с тротуаром перекорежило так, что все сдвинулось на ней вкривь и вкось. Девушка хоть и по-

глядывала под ноги, но все же споткнулась и шлепнулась. Она вскрикнула больше от неожиданности, чем от боли, вскочила, напаялила слетевшую с головы папаху, подобрала кошелку и тотчас же помчалась дальше, только изредка на бегу потирая ушибленную коленку.

— Ты куда?

Девушка, обернувшись к согбенной старушке, похожей и на бабу-ягу и на добрую фею, выкрикнула с восторгом и ужасом:

— Мясо дают! Настоящее! Не конину!

И метнулась за угол, в переулок, к лавке.

Какая очередь! Мужчин почти нету, зато женщин, девчонок, мальчишек — длинный хвост. Грозятся, ругаются, всякий, конечно, норовит пролезть вперед. Катюша сразу заметила, что совсем близко от заветных дверей магазина стоит Манечка Колесникова, кондукторская дочка, подруга, — они поклялись друг другу в верности навек, когда обе лежали рядышком в сыпнотифозном бараке. Катюша обрадованно подскочила к Манечке и деловито, словно так и надлежит, втиснулась перед ней, сказавши спокойненько:

— Вот и поспела, только на минутку и уходила...

Но сзади закричали:

— Куда влезла с папай? Ишь, какую башню поставила на голове! За версту видать...

Спереди оглянулись и тоже заголосили. Какой-то негодяй мальчишка дернул сзади за лисий воротник. Слишком заметная папаха подвела — такую бы все запомнили.

Манечка самоотверженно клялась и божилась, что уж сколько часов Катя стоит тут, только шляпка была другая, за папай она и уходила, ей-богу, потому что мороз, ушам больно, но Катюшу неумолимо выталкивали и выбросили бы вон, если б Манечка не помянула о дяде Яше. Это знаменитое имя смутило некоторых, многие были обязаны старичку, и Манечка, заметив, что натиск ослаб, твердила настойчиво, оборачиваясь во все стороны и выставив локти в обороне:

— Она дяди Яшина, ее дядя Яша послал.

И в конце концов от них отстали, тем более что общее внимание отвлек новый скандал — поймали ворешку.

Довольная победой, Катюша зашептала Манечке:

— Только я услышала про мясо, как хватать-похватать — и бегом. Расшиблась дорогой — ой, как! — Нагнувшись, она погладила коленку, и лицо ее страдальчески сморщилось не столько от боли, сколько от воспоминания о боли. Затем она продолжала азартно: — А в конце вставать, так никакого продукта не получишь, все разберут дочиста...

Хотя она и приглушала голос, но он все же прорывался звонкими нотами, и Манечка, предостерегая, отчаянно мигала ей не одними только глазами, а, казалось, и всем лицом. Катюша зажала в ужасе рот ладонью, но тотчас же отняла руку и огляделась. Кругом все шумели, занятые новым скандалом, и ее глупость прошла незамеченной. Только горбатая старуха с клюкой — эта уж наверняка ведьма — неподвижно устояла на Катюшу злыми, подозревающими глазами. Катюша с самым виновным видом спросила ее:

— Вы, бабушка, что так на меня засмотрелись? Что-нибудь интересное?

Но ведьма ничего не ответила. Она была глухая.

Когда Катюша возвращалась с драгоценной ношей по набережной, на этот раз неторопливо, не епеша, она издали увидела, что в заводские ворота вошли два каких-то парня с винтовками. Любопытная ко всему на свете, она ускорила шаг, придерживая кошелку, качавшуюся под локтем, и в сторожке увидела тех самых парней.

— Получила? — спросила Марья Кузьминишна.

— А как же, — ответила Катюша, кося глазом на парней, которые расселись в сторожке как дома. Она стала строгой, прямо чопорной, все движения изменились — никакой бойкости, даже какая-то холодная гордость появилась в лице.

— Быстро принесла, — промолвила Марья Кузьминишна, и Катюша, встретившись с ней взглядом, позволила себе чуточку улыбнуться, поняв, что эта все сообразившая женщина не выдаст ее. Надо, конечно, умолчать о том, как она втерлась в очередь, — дядя Яша, наверное, не любит таких фокусов и может рассердиться.

— Завидную папаху носишь, — заметил один из парней, не потрудившись даже познакомиться и сказать сначала, кто он такой.

— Подарок, — ответила она, отведя взгляд от нежежи как можно дальше в сторону.

— А какой принц подарил? — осведомился парень, и Катюша обиделась, слышав его снисходительный тон, — разговаривает как с девчонкой.

— С принцами незнакома, — высокомерно отвечала она. — Солдат подарил в госпитале.

Тут она заметила, что, занятая наблюдениями и завязавшейся интересной беседой с неизвестным парнем, она совершенно забыла о хозяйстве, и кошелка, поставленная ею на табурет, уже в руках Марьи Кузьминишны, которая вынимает и рассматривает мясо. Катюша опять вся изменилась; взявшись за кошелку, она проговорила:

— Сейчас, Яков Самсонович, сготовлю. Вам я тоже принесла, — обратилась она к Котляковой, — вот ваши карточки. — Она вынула их из-за пазухи и отдала. — Вам отдельно положено.

— Хорошо принесла, — похвалила мясо Марья Кузьминишна, и Катюша приняла похвалу как должное. Не так давно она была известная на Удельной Катя Зворыкина, дочь рабочего паровозного депо и портнихи, а если она сейчас стала дяди Яшина, то это не значит, что у нее переменялся характер или что она разучилась понимать хозяйство.

— Сиди отдыхай, — отстраняя ее от кошелки, говорила Марья Кузьминишна. — Небось с самого утра хлопчешь. Я все и сготовлю. Видишь, гости к тебе пришли, — указала она на парней, снова улыбнувшись. — Ты и не познакомился, Вася, — упрекнула она того парня, который первый затеял с ней разговор.

Парень поднялся и насмешливо поклонился.

— Честь имею представиться, Василий Тимофеевич Котляков. А это мой друг, Виктор Трофимович Дремин.

Катюша отлично поняла, что он издевается над ее манерами. Но она знает, как надо вести себя девушке, чтобы уберечься от какого-нибудь нахальства, и не собирается ни для кого изменять свое поведение. Тут же ей подумалось, что она теперь сирота, что нет больше у нее никого, кто бы защитил, как мать, и ей стало грустно. Она теперь сама себе защитница и сама за себя борется. Она, чуть прищурившись, очень серьезным,

долгим, оценивающим взглядом прошла по Котлякову и отвернулась с достоинством и равнодушием.

Виктор Дремин, названный ни с того ни с сего по имени-отчеству, не шелохнулся. Он глядел исподлобья на мясо, мрачно соображая, принимать или нет угощение, которое, конечно же, будет предложено. Очень хотелось принять, но, с другой стороны, его самого ожидает у матери с отцом полученный по карточкам паек. Уйти, что ли, от греха?

Василий, следя за Катюшей, спросил:

— Не о вас ли мне говорила Колесникова Маня? Вы вместе болели.

Катюша при упоминании о новой подруге сразу заулыбалась:

— Да, мы с Манечкой вместе лежали в больнице.

Протянув ему руку, она по всей форме представилась:

— Зворыкина.

Она казалась простенькой по сравнению с острой Маней. Но вдруг эта тихоня строго проговорила:

— Зачем вы так ломались?

Василий не успел ответить, потому что Марья Кузьминишна вмешалась в беседу:

— Катюша теперь будет жить с Яковом Самсоновичем. Работница такая, что тебе поучиться, — продолжала она, стараясь как можно больше выхвалить Катюшу, чтобы та почувствовала, что тут люди добрые и никто ей не сделает зла. — Молодец, какое мясо достала! Сейчас сготовлю. Ты, Витя, не уходи, — прибавила она, увидев, что Дремин сильным и неожиданным движением — видно, не без большого над собой усилия — поднялся со скамьи. — Ведь есть время. Отдежурили?

Проблема — принимать угощение или нет — встала перед Дреминым со всей остротой. Он знал свой аппетит и вообще был одним из самых неутомимых едоков Выборгской стороны, поэтому в его понятие долга входило и то, что нельзя в голодные времена обедать добрых друзей. Но, подумав, он решил, что отказаться и уйти никогда не поздно, и согласился:

— Ладно, посижу еще.

— А вы давно на заводе? — завела Катюша светскую беседу так, как ее учила мать, — о работе, о погоде, об общих знакомых.

Котляков ответил:

— С малых лет при Якове Самсоновиче. Сначала подручным, а потом и на разряд. Ну, разрядик небольшой.

— Да уж, хорош ты был, — вмешался дядя Яша, любивший повспоминать прошлое. — И забастовки, и листовки...

— Не будь Якова Самсоновича, пропал бы, — проговорил Котляков. — Он меня выручал, да и не одного меня. Прятал. Меня же искала полиция, так он скрывал меня по разным местам, подбрасывал денежек. К знаменитому человеку попали, барышня.

Он не случайно назвал ее барышней, это была опять насмешка, но Катюша на этот раз и не заметила. Она посмотрела на дядю Яшу круглыми от удивления и почтения глазами и снова перевела взгляд на Котлякова. Так вот среди каких людей она очутилась. А ей-то думалось, что просто так старичок и просто так парни. О таких людях ее отец говорил шепотом и с превеликим уважением, но сам держался в сторонке, боясь потерять работу.

Дядя Яша промолвил:

— Мне Витя говорил, что ты сенатора поймал.

— А почему поймал? — отозвался Василий. — Я только потом и сообразил. Потому что по фотографии вспомнил, в газете видел в войну, только, конечно, физиономия была тогда бритая и одет не так.

— Память у тебя ученая, — заметил дядя Яша.

Марья Кузьминишна, сняв с печурки сковородку, пригласила:

— Придвигайтесь, кушайте!

— Мне-то не хочется, — хриплым голосом отозвался Дремин, — сыт.

— Кушай, кушай, — хлопотала Марья Кузьминишна, — не стесняйся. И тут покушаешь и дома. Ты по-сильней нас, тебе и кушать надо больше.

Так убедительно, к удовольствию Виктора, она разъяснила, почему он имеет право есть больше других и почему, главное, ему, не как другим, все время хочется есть.

— Садись, сиротка, — обратилась Марья Кузьминишна к Катюше, выговорив печальное слово с такой ласковостью, словно оно было самое обыкновенное.

Это «сиротка» прозвучало для Василия новостью, об этом Маня Колесникова не сообщала.

Поев, Василий поднялся и протянул руку Катюше: — Будем знакомы. А мне пора.

Сегодня он шел по поручению Макшеева на собрание научного общества «Рабочий космос».

Очередное собрание происходило в брошенной мастерской кустаря. В этом просторном, неприглядном помещении, заставленном притащенными откуда-то школьными партами, сошлись люди. Было здесь несколько молодых женщин с размашистыми жестами. Спорили обо всем сразу — о мировой революции, свободной любви, космических ощущениях, вселенской одежде. Маленький старик с наивными глазами утверждал, что если все население земли в одно и то же мгновение сделает некое открытое им па, то произойдет моральное возрождение человечества и откроется смысл вселенной. Меньших масштабов, чем вселенная, здесь, видимо, не признавали. Какой-то вихрастый, словно нарочно одетый и загримированный под художника, ни с того ни с сего крикнул:

— Долой Айвазовского!

И среди них, к несказанному удивлению Василия, ходил таким козырем Пыжиков.

— А, Вася! — приветствовал он Котлякова. — Заходи, заходи, тут народ ничего себе.

Он вел себя как хозяин. Чувствовалось, что он тут в цене. Самый доподлинный рабочий. На Василия оглядывались с интересом, но никто не здоровался — старые формы отброшены, приходить мог кто угодно и когда угодно, а знакомиться нечего. К черту буржуазные обычаи!

Лекция началась без предупреждения.

Лохматый мужчина в косоворотке и смазных сапогах возвещал удивительные истины. Он утверждал, что новая, революционная наука отменяет все прежние науки, что всех прежних ученых надо выбросить вон, потому что вся эта механика, математика и прочая тригонометрия (так он и выразился) — сплошная контрреволюция. Надо на голом месте строить новую Вавилонскую башню мирового пролетариата и мировой революции. Что это за башня — он не разъяснил, но зато неистово требовал, чтобы рабочий класс смел с лица земли всю

контрреволюционную гидру вроде домов, трамваев и прочих буржуазных прихотей. Он вздымал руки кверху, издавал яростные вопли, тощее тело его дрожало, как в припадке. При этом он мастерски ловил летающее с острого носика пенсне, — вот это он проделывал замечательно ловко. Наконец он замолк.

— Поговори-ка ты, — толкнул Пыжиков Василия в бок. — Что ни скажешь — примут «на ура», раз рабочий.

Но в этот момент словно дуновение прошло по комнате, и появился сам председатель общества Розин, сутулый, узкоплечий человек с большим, висящим, как груша, носом, тот самый, с которым Котляков столкнулся на площади перед институтом в день созыва Учредительного собрания. Как и тогда, он был в матросском бушлате и высоких сапогах, с огромной кобурой на боку.

Он заговорил неожиданно звонким голосом:

— Пришел решительный час революции! Мы не подписали мир в Бресте, но воевать не будем! Ни войны, ни мира! Мировая революция даст мир пролетариям всех стран! Да здравствует мировая революция!

— Хитро, — проговорил Пыжиков, обернувшись к Котлякову.

Но сзади стоял какой-то незнакомый молодчик офицерского вида во франтоватом френче.

Котлякова и след простыл. После первых же слов Розина он выбежал на улицу и помчался на Выборгскую сторону, вскочив в какую-то попутную машину.

В штабе Выборгской стороны всё как всегда: красногвардейцы пересменялись, у дверей макшеевской комнаты ожидало несколько человек. Когда очередь дошла наконец до Василия, Макшеев по-деловому спросил его:

— Ну что, был у Розина? Докладывай.

— Розин объявил, что мира в Бресте не подписываем и воевать отказываемся. Как же так? А если мировая революция задержится?

Макшеев нахмурился.

— Розин — не Цека, — сказал он жестко. — Ты — что? Я тебя не учиться туда посылал.

Котляков покраснел. Его словно холодной водой окатили.

— Спокойней, — продолжал Макшеев, — спокойней надо. Что Цека скажет, то и будем делать. Только-то и было там сегодня?

— До того какой-то лохматый требовал уничтожить все на свете, потому что, мол, всем этим пользовалась буржуазия.

— Ну, значит, и землю надо взорвать. Так. Хорошенькое научное общество. А следующий раз ты без няньки должен соображать, что Розин — не Цека и что действовать будем только по слову партии, по слову Ленина. Чересчур горячиться вредно. Кого-нибудь из наших видел там?

— Пыжикова.

— А остальные?

— Сброд, Владимир Николаевич. Сумасшедшие и подозрительные. Даже, по-моему, из офицеров есть.

— Да, сброду много, — промолвил Макшеев. — Что ж! Жизнь не арифметика. Обдумаем и решим. Теперь по другому делу. На днях место убитого инженера займет другой Громов, его племянник, родной племянник, как выяснилось. Его рекомендовал Ланговой. Когда он явится, поможешь ему, если понадобится, разобраться, материалы свои дашь. Немножко придется обождать, Ланговой хочет провести Громова в инженеру по всей форме. А как твои настроения?

— Если немец полезет — на войну, Владимир Николаевич. У меня ребята всегда наготове.

— Меня переводят в Совнархоз, — сказал Макшеев. — Жалко мне расставаться с вами.

Он поднялся, вышел из-за стола и взял Котлякова за плечи.

— Давай о себе знать. Мы еще встретимся с тобой. Еще много раз встретимся.

V

Днем и ночью не прекращалось движение по широкой снежной аллее, которая вела в глубину сада, к Смольному. Здесь, в самом конце длинного и, как стрела, прямого Суворовского проспекта, в излучине Невы, в трехэтажном здании с арками и колоннами разместился штаб революции. Бурная жизнь огромной страны, вступившей на путь социализма, из самых жизнетворных, глубоких народных недр своих слала сюда депутатов, делегатов, гонцов, ходоков. Они — боевыми отрядами, группами, в одиночку — расходились отсюда

по районам города; разъезжались по всей стране с декретами, воззваниями, поручениями, распоряжениями, разъяснениями. Здесь встречались Ростов и Архангельск, Минск и Владивосток, Рига и Ташкент. Древний Урал и молодой Донбасс, сибирский крестьянин и украинский рабочий находили здесь руководство, опору, будущее. Ночами окна Смольного сверкали огнями, а на большом дворе грелись у костров патрули.

В стороне от входа теснились легковые автомобили, грузовики, мотоциклы. Верховые, подскاکав, привязывали коней к деревьям и взбегали по широким ступеням отлогой лестницы, на бегу вынимая пропуска и показывая часовым. Коридоры и лестницы, просторные комнаты и залы Смольного были полны красногвардейцев, солдат, рабочих, матросов, крестьянских ходоков. Немолчный шум голосов отдавался в стенах, махорочный дым плыл в воздухе.

— О чем говорить! — сердился солдат, чисто выбритый, с потрескавшейся, обветренной кожей лица и светлыми, словно выцветшими, глазами. Он был, если приглядеться, еще молод, но казался пожилым. Видно, много всякого испытал человек.

— Чего ж тут долго разговаривать? — повторял он, оглядываясь на ожидавших вместе с ним таких же, как он, фронтовиков, прибывших, видно, под его командой.

Они — кто кивком, а кто коротким словом — подтверждали его речь.

— Всем известно, — говорил сердитый солдат. — Не с неба свалился развал в армии. Какое было солдатское положение? Раб. Не человек. Любой прапорщик — по физиономии, а ты тянись перед ним, рука к козырьку. Воюй без снарядов, без оружия, без пищи. Начальство тебя продает, интенданты обкрадывают, без сапог меряй версты. Какие ж тут рассуждения? — Он все больше и больше сердился. — У немцев — все, у нас — ничего. За Наревом, помню, глушили нас и девяти- и двенадцатидюймовыми, а у нас артиллеристы выпустили десяток снарядов, да и нечем больше стрелять, ушли. Плакали, с нами прощаясь. А чем они виноваты, если снарядов не шлют? Кто мы были для начальства? Скотина, не люди. Без артиллерии двадцать четыре часа держались против немца, пока патронов хватало. Из тысячи человек в полку одиннадцать осталось; я, одиннадцатый,

ранен был. Не трусы, значит?.. Продавали нас, пока мы не поумнели, не повернули штык против кровопийцев...

— Перед кем оправдываешься? — вымолвил Котляков, остановившийся послушать. — Без оправданий знаем.

Солдат метнул на него взгляд и, отвернувшись, вынул из кармана шинели обрывок газеты, оторвал угол, насыпал из кисета махорки, свернул козью ножку.

Низенький, сухонький, с седой бородкой крестьянин проговорил:

— Ездил я при царе на станцию Лида с подарочками от нашей округи. Писарь повел в штаб, а какой-то высоченный, при шашке да в папахе, как заорет: «Куда привел мужика? Вон!..». И тят писарька по щечке...

— Да чего тут рассуждать! — вновь заговорил сердитый солдат и, закурив, пустил изо рта столько дыму, что старенький крестьянин закашлялся и замахал перед лицом рукой. — Всем известно, — продолжал солдат, оглядывая окружавших его, но обходя взглядом Котлякова. — Антанта, я слышал, дает сто рублей за русского солдата, чтоб воевал, да мы больше не скот, не продаемся с базара. Мир — и все тут. Конец войне. — Он прямо взглянул Василию в лицо. — Кто виноватый, что армия развалилась? Кто виноватый, что по всей стране разруха? Царь с Керенским да с Антантой. Бились за их разбой, а теперь страна — наша, народная, за плечами не вор, не кат, а своя власть. Теперь бы надо оборонять, да несем все последствия ихнего управления. Всем известно. Мы прибыли сюда докладывать, что фронт трещит, не удержишь, да и есть приказ расходиться по домам. Коли так, хватай хоть похабный мир, чтоб революция живая осталась. Для длинных разговоров времени нету, разбойники могут смять. Я сам отпущенный домой, да не поехал к семье, а прибыл с товарищами сюда. Пойми ты, чужак человек. Ведь еще и несознательности сколько в людях! Околеть можем.

— Партия околеть не даст, — отозвался Котляков. — Что скажет партия, то и сделаем. На то мы и большевики. Партия умней скажет, чем мы придумаем.

Круглолицый парень в кожаной куртке и кожаной фуражке, подбежав, заторопил радостно и оживленно:

— На прием! Собирайсь! Ильич зовет!

Сердитый солдат и его товарищи, подтягивая пояса, оправляя шинели, бросая сигарки на пол, с вдруг изменившимися, просветлевшими и озабоченными лицами, с едва скрываемым трепетом молча пошли по коридору, стараясь ступать потише. Но их шаги гулко отдавались под сводами. Котляков только сейчас обратил внимание на то, что все они, так же как сердитый солдат, тщательно выбриты. Они, видно, по-солдатски, по-дисциплинированному подтянулись, почистились, прежде чем явиться сюда.

Отряд Василия Котлякова со вчерашнего вечера был в Смольном. Со всех районов города, как в Октябрьские дни, к Смольному сходились красногвардейцы в предчувствии грозных событий. Они толпились и в самом здании, и во дворе, и в саду, под недобрим небом, небом выюг и буранов, на морозном ветру, предвещавшем метель.

В тревоге и напряжении ждал последних вестей с фронта весь трудовой народ города, усилиями поколений воздвигнутого в дельте быстро текущей реки, у широкого моря, под северным небом, на просторной земле, изрезанной речками и речушками. Хорошая человеческая мысль великого народа победила мшистую топь и лесную дичь этого привольного куса северной пустынной земли, породила сына-красавца, вставшего часовым у морских путей. Хорошая человеческая мысль привела к власти законного хозяина страны — рабочих и крестьян. Мирным труженикам не нужна военная добыча, их добыча — добрый плод их собственных совместных трудов. Но счастье богачей — в несчастье народов.

Рабочие, солдаты, матросы ждали последних вестей с фронта, готовые немедленно выполнить решения народной власти. Когда Василий Котляков вышел из-под сводов Смольного навстречу морозному ветру, к нему подбежала вездесущая Маня Колесникова.

— Что будет? — спрашивала она. — Ты скажи, — теребила она его. — Ну, миленький, ну, скажи.

Склонив голову набок, она заглядывала ему в глаза.

— А ты чего хочешь? — отозвался Василий. Он отдыхал, глядя на нее. Она была преисполнена радостной и стремительной жизни, каждая черточка на ее подвижном лице дрожала живым чувством.

— Повоевать, может быть, хочешь? — говорил Котляков.

— Что ты! — возмутилась Маня. — Зачем нам война?

— А если к тебе в дом ворвутся разбойники да на твоих глазах станут убивать отца и мать?

— Я кинусь на них, буду драться, кусаться, кричать, — ответила Маня тихо и серьезно, — народ созову.

— Значит, воевать будешь?

— Какая же это война! — удивилась Маня. — Когда напали, ворвались — так это они воюют, а не я. Я защищаюсь.

— Понятно, — промолвил Василий. — У нас вот именно и есть такое положение, а наши заграничные братья, такие же рабочие, как и мы, не торопятся нам на помощь.

— А почему? — спросила Маня так доверчиво, словно Котляков все решительно знает. — Мы же на весь мир объясняем.

— Потому что у них нету большевистской партии, — отвечал Котляков. — Они еще в разброде, их обманывают, им ложь сплит глаза, как вот эта метель.

И он повел вокруг рукой. Вьюга мела все сильнее и сильнее.

— А мы справимся без них?

— Справимся, — ответил Котляков и добавил: — Ты меня прямо как оракула спрашиваешь.

Маня не поняла слова «оракул» и перевела по-своему:

— Ты — вожак, ты понимаешь лучше.

— Вожаки — вот там, — ответил Василий.

И он указал на здание Смольного.

— Там большие вожаки, — не уступила Маня, — а ты маленький вожак, но все-таки вожак.

— А коли так, то ты должна меня слушаться, — сказал Котляков.

— Я и слушаюсь, — отвечала Маня. — Я тебе скажу, с какого дня я тебя слушаюсь. С того дня, как мы ходили за продовольствием. Я тогда, оказывается, думала только о себе да Вите, а ты — обо всех. Ты тогда сказал: «Не для своего самолюбия работаем, а для людей».

Василий совершенно забыл об этих своих словах. Да и что в них особенного? Самые обыкновенные слова,

вроде тех, которые он и сейчас говорил Мане про войну, и про мир, и про заграничных братьев. Он пожал плечами.

— Ты наш вожак, — с уважением повторила Маня, настойчиво закрепляя за ним это звание и, увлекшись, сказала, как всегда, лишнее: — Вот я бы никому не призналась, а тебе признаюсь. Ты думаешь — я только из товарищества прибежала сюда? Нет, не только. Я из-за Вити. Вот. Тебе одному призналась.

Он с гораздо большим удовольствием услышал бы, что она пришла из-за него. Но если вожак — так уж крепись.

— А что ж! — заметил он. — Ничего плохого в этом нету.

Манечка с просиявшим лицом схватила его за рукав и потянула к себе.

— Вот спасибо тебе. Вот спасибо!

И она отбежала, утешенная. Она знала нерушимо, что при любых самых великих исторических событиях любовь — это все равно очень важно. Ведь и хорошие события тоже делаются любовью. А плохие — например, война — людской злобой. Такая у нее была философия.

Котляков с усмешкой крикнул ей вслед:

— Ты не замерзни тут! Ведь метель подымается! Ступай в Выборгский Совет, дадим туда знать обо всем. Обещала слушаться, так слушайся.

Маня остановилась и, оглянувшись, отозвалась:

— А я тут с подружками. Хорошо, мы пойдем в Совет, если ты велишь. А ты все о других заботишься, чтоб не замрзли. Сам не замерзни, в кепке ходишь, вожак.

Она как бы нарочно повторяла и повторяла это слово, будто хотела, чтобы он покрепче запомнил, что она сдалась, не будет больше презирать его.

Котляков поглядел ей вслед и среди группы поджидавших ее девушек увидел свою новую знакомую — Катюшу Зворыкину — в смешной высокой папахе.

Немцы, нарушая перемирие, рванулись в наступление по всему фронту.

Был вечер, и метель бушевала за стенами, залепляя окна снегом, когда Василий Котляков, стоя во главе

своего отряда, слушал в одном из залов Смольного декрет Совета Народных Комиссаров:

«Чтоб спасти изнуренную, истерзанную страну от новых военных испытаний, мы пошли на величайшую жертву и объявили немцам о нашем согласии подписать их условия мира...»

Читал тот самый сердитый солдат, которого уже видал Котляков. Он стоял прямо, расправив плечи, чуть приосанившись, и произносил слова четко, как приказ. Многие слышали его сердитые речи, и то, что именно он, требовавший мира, читает воззвание к народу, как бы подчеркивало неотвратимую неизбежность вооруженного отпора врагам, отвергнувшим мир и устремившимся за кровавой добычей войны.

Солдат читал:

«Выполняя поручение капиталистов всех стран, германский милитаризм *хочет задушить русских и украинских рабочих и крестьян, вернуть земли помещикам, фабрики и заводы — банкирам, власть — монархии.* Германские генералы хотят установить свой «порядок» в Петрограде и в Киеве. *Социалистическая республика Советов находится в величайшей опасности...*»

Было сделано все, больше чем все, для того, чтобы добиться мира. Но разбойники, как всегда, оказались разбойниками — они схватили за горло.

Солдат читал:

«...*Все силы и средства страны. целиком предоставляются на дело революционной обороны...*»

Выборгская сторона, как и другие рабочие районы города, огласилась в этот день призывными гудками, не такими, как на работу, а непривычными, необычными, тревожными.

В заводскую сторожку вбежал один из дежурных красногвардейцев и закричал:

— Дядя Яша! Война! Немец на Петроград пошел!

Катюша сидела на лежанке, подобрав ноги под шубенку. Она дрожала, чувствуя приступ непобедимого

холода, даже зубы у нее стучали. Почти плача от ужаса, она куталась и куталась, не в силах согреться. И ей ясно виделось, как ее новые знакомые — Котляков с Дреминым — уже бегут на вокзал, садятся в поезд и уезжают на войну, никого и ничего не боясь. Они герои, а она дрянь перед ними, она трусиха и дрянь.

VI

Свирепая зима, заметавшая город вьюгами, дула в окна и стены вокзала, в спины и лица людей, бушевала над застывшими водами узкого канала, резавшего северную столицу от Невы до моря, снежной крупой обдавала матроса в черном бушлате, живописно обмотанного пулеметными лентами, с тремя кобурами на поясе — по бокам и на животе — и двумя винтовками за плечами. Матрос, озираясь, вопрошал со ступенек вокзала:

— Братишки! Кто тут с Балтийского?

А люди шли и шли навстречу ветрам и метелям за вокзальных безмерных просторов, называвшихся отныне вместе с городом, со всей огромной страной не просто отечеством, но отечеством социалистическим. Тревожные гудки сопутствовали этому потоку, вызванному словами, грянувшими из Смольного: «Социалистическое отечество в опасности!».

Откликнулись люди и с Балтийского, и с Путиловского, и с других заводов, и отдельные воинские части. Легко несущий свое обильное вооружение матрос уже отыскал товарищей и ушел с ними, когда у вокзала остановился отряд выборжцев.

Стоявшая у ворот женщина в овчинном полушубке и валенках пошла, склонив голову, окутанную платком, к командиру, а девушка в синей шубейке и высокой папаше не двинулась с места, только во все глаза глядела туда, куда ушла ее спутница.

— Вася, — позвала женщина, и командир выборжцев оглянулся.

Горячая человеческая лава с красными полотнищами втекала в ворота и подъезды вокзала. Воздух наполнился шумом голосов, резкими звуками автомобильных гудков, пытением и стуком моторов, звоном и лязгом оружия. Все вокруг звало в поход, только в поход, и Котляков торопливо говорил матери;

— Пришла все-таки, мама? Да ведь трудно же тебе через весь город. Как назад дойдешь?

— Не забота, Васенька, — отвечала Марья Кузьминшна, — не забота, вот прими узелок тебе, пирожков напекла...

У вокзала уже кричали:

— Выборжцы! Где выборжцы?

— Вернусь, мама, вернусь, — говорил Василий с уверенностью. — За мир боремся, не за войну. Иди, иди. Только как же ты одна?

— Сиротка со мной, Катюша...

Василий поглядел туда, куда она показывала, и встретился взглядом с устремленными на него круглыми, серьезными, напряженно, не мигая, смотревшими глазами девушки. Он приветствовал ее взмахом руки, поцеловал мать и, повернувшись к своему отряду, скомандовал:

— Пошли.

Все привокзальные пути были забиты вагонами, товарными и пассажирскими. Красные, зеленые, синие, они сбежались сюда, как на митинг, из Минска и Полоцка, из Витебска и Двинска, с дальних и ближних пожарищ. Были здесь инвалиды с побитыми стеклами, с вмятинами и дырами, даже с совершенно разрушенными стенками, обгорелые, покореженные. А были и целенькие или почти целенькие. Покрытые сизым инеем, с замерзшими окошками, они только и ждали приказа, чтобы вновь ринуться хоть куда. Целая вереница богатых спальных тяжеловесов, выдавших на своем веку и Варшаву, и Ригу, и Владивосток, выстроилась в отдельный ряд. Солдаты, матросы, красногвардейцы, а за ними и провожающие шагали между неподвижными составами, как по зимним улочкам некоего одноэтажного городка. Взад и вперед сновали люди в железнодорожной форме. Слышались слова команды, сердитые и радостные возгласы, переключка мужских и женских голосов, и вдруг весь шум перекрывался пронзительным свистом паровоза или внезапно грянувшей, возникшей в какой-нибудь из групп песни. Женщины в платках и тулупах, мужчины с ледяными сосульками на седых бородах теряли, находили и вновь теряли своих родных и близких, спеша по узким проходам, спотыкаясь о стрелки и рельсы, пролезая под вагонами, таща за собой вырывавших-

ся из рук детей, восторженно глазевших на все это скопище людей, флагов, поездов и, уж конечно, на винтовки, пулеметы, пушки, на всю эту грозу, идущую на врага.

За толпой вагонов открывались широкие снежные просторы. Дощатый помост, как мол в море, далеко выдавался из-под навеса, и тут, на морозном ветру, вытянулся длинный поезд, сцепленный из теплушек, классных вагонов и платформ с орудиями. Это был эшелон, отправлявшийся сегодня к Пскову бить врага.

Василий Котляков, сбив шапку на темя, радуясь морозу, шуму сборов, возбужденным голосам и молодым лицам товарищей (все тут были друзьями — знакомые и незнакомые), радуясь предстоящим победам, в которых он не сомневался, разговаривал сразу со всеми.

— Спокойно, не суетись! — кричал он соскользнувшему со ступеньки и чуть не упавшему парню. — Ладно, не бойсь, свое отдам! — отвечал он другому, забывшему что-то дома. — Да не убежит твоя Лизанька! — шутил он с третьим, потерявшим по пути свою невесту, которая провожала его. Тот улыбался растерянно и смущенно.

Дремин обратился к своему командиру:

— Гляди, опять мать идет.

Василий увидел Марью Кузьминишну, идущую к нему с Катюшей. Она шла робко, как виноватая, как дишняя в этих всепоглощающих походных сборах. Но она шла и шла к нему, и Катюша в своей смешной высокой папаше сопровождала ее.

Василий сморщился, как от боли, и, покусывая губы, дергая щекой, двинулся навстречу матери. Ее виноватая походка ужалила его. Надо ее успокоить, взбодрить. И он вспомнил, как она в досаде, когда была недовольна им, бывало говаривала: «У матери сердце в детях, а у детей — в камне». Это, конечно, так, сгоряча. И он сказал ей, обнимая:

— Вот молодец, мама. А я думал — найдешь еще или нет? Загадал, что еще встретимся, что ты не уйдешь домой.

Все это он выдумал тут же, на месте, но мать улыбнулась, утешенная, а этого только ему и надо было. Уж во всяком случае, он решил веселить ее до самого отъезда. А срок уже приближался.

— На посадку, братишки!..

Живописно вооруженный матрос шел к паровозу, помахивая револьвером. Казалось, он собрался оседлать этого большого, черного, тяжело дышащего лебедя, и кто-то, видно из кавалеристов, оглушительно скомандовал под хохот окружающих:

— По коням!

И все же это была дисциплина, добровольная, требовательная, ведущая к безотказной защите молодой, только что рожденной Советской республики, — дисциплина людей, готовых умереть за родину и революцию, и это была жизнь, полная самых радостных мечтаний и надежд, в которой нет воли слезам жен, невест, матерей.

— Ну, девушка, — сказал Василий Катюше, — ты о маме и дяде Яше заботься, не бросай их, помогай, люби.

Катюша на каждое его слово послушно кивала головой. Потом она вдруг, словно только сейчас решив (а она это наметила еще у ворот вокзала), сорвала со своей головы папаху и надела ему, взяв себе его шапку.

— Ты это что? — растерялся Василий. Резкий, неожиданный и решительный жест Катюши никак не вязался с тем характером, которым он в воображении наделил ее.

Он схватился было за папаху, чтобы отдать обратно, но она серьезно и строго отчеканила:

— Папаха теплей. Вы в ней не отморозите уши ни в поле, ни в лесу. А мне в городе есть где согреться.

— Возьми, — сказала Марья Кузьминишна. — Мы ей тут другую достанем.

И Василий оставил папаху на голове.

Прощаясь, он бы и Катюшу поцеловал, но что-то в ней было такое, так она мгновенно менялась — от дружбы к строгости, — что он не рискнул, а только пожал ей руку. Он еще раз поцеловался с матерью, и та проговорила тихо:

— Я знаю, Васенька, так надо.

Пора было в вагон. Он подтянулся и сел в открытых дверях теплушки, спустив наружу ноги в валенках. Место ему очистили. Вокруг него, одно над другим, улыбались молодые лица. Виктор Дремин влез вслед за своим вожаком.

Дремина провожала Маня Колесникова, во всяком случае, она все время, пока он медлительно беседовал то с тем, то с другим из товарищей, стояла рядом, не по-обычному молчаливая, но очень напряженная, словно вся взвинченная. И вдруг, когда поезд тронулся, она прыгнула в вагон, уцепившись за чьи-то плечи и руки.

— Манька! Куда? — закричали с разных сторон. — Да что ты!

Какой-то миг казалось, что она сорвется под колеса, но сильные руки втянули ее в вагон, и она молча, с побледневшим лицом, все в том же напряженном состоянии пробилась в угол и села, охватив колени руками и опустив голову, ни на кого не глядя, не отвечая на вопросы, упреки, удивленные, насмешливые и ласковые возгласы. Никто, впрочем, особенно не изумлялся — неожиданные поступки были в манере Мани Колесниковой.

Провожаящие двинулись за поездом. Марья Кузьминишна опиралась на Катюшу, которая поддерживала ее, и шла, шла. Но поезд уходил все быстрее и быстрее, и уже нельзя было разглядеть, чьи ноги болтаются наружу — Васины или чужие.

Эшелон уезжал весело и победно, и, когда он исчез в сизой мгле, оставшиеся еще долго стояли и глядели вслед отстучавшим вагонам, словно удивляясь тому, что надо расходиться по домам. Поступок Мани Колесниковой, замеченный немногими, был как бы упреком Катюше. Но Катюша и думать не желала о том, чтоб поступить так же, как Манечка, — в конце концов, она непохожа на подружку, у нее другой характер, может быть хуже, даже наверное хуже, но — другой. Она не может так вдруг поехать на войну. Ей попросту холодно сейчас, ей хочется согреться, хочется в сторожку, в тепло. И она осторожно, но настойчиво тянула Марью Кузьминишну, которая неподвижно глядела в морозную даль, поглотившую эшелон, и не слушала девушку. Но Катюша оживила ее — не утешениями, не соболезнованиями, а очень простыми, обыкновенными словами:

— Тетя Маша, идем домой, ноги озябли.

И тогда Марья Кузьминишна, разбуженная, отозвалась, заторопившись:

— Идем, доченька, идем.

В тот же день Марья Кузьминишна переселилась в сторожку к дяде Яше.

Отряд Котлякова был переформирован в роту, а командиром батальона оказался тот самый солдат, с которым Василий в канун Учредительного собрания столкнулся в штабе Выборгской стороны.

— А! — обрадовался солдат. — Сосунок, мячик-горячик, хотел меня под начало, а, считай, сам попал ко мне в лапы. Держись — обломаю.

— Рад служить под вашей командой, — отвечал Котляков со всем полагающимся почтением и добавил не без ехидства: — Не думал вас встретить в армии.

— Помню, помню, — ворчал батальонный. — «Ты отвоевал, да с тобой не отвоевали...» Что правда, то правда. Сыны на войну пошли, и я за ними. Не люблю один горе горевать.

Он настоял на том, чтобы Пыжиков был назначен командиром одного из взводов в котляковской роте, вопреки всем возражениям Василия.

— Фронтовик, знаком с германской повадкой, георгиев, конечно, уж нет, отменили, да, считай, все-таки знак, что сражался, понимает войну. Нам опытность нужна, нечего швыряться, что парень шатучий, в бою зато будет нешатучий. Я сам фронтовик, помню — иной и выпьет и подерется, а в бою герой. Тут наука, учись разбирать людей по-военному.

Пришлось подчиниться и поставить во главе хороших ребят сомнительного парня, который то и дело подавался в сторону и при царе и позже. Ребята приняли это как должное. Все понимали, что дела пошли по-иному, и тут атаман уж не такая сила, чтоб все делать по-своему, и не так его слушают, как на Выборгской стороне.

От Пыжикова не остался в секрете этот спор о его назначении, и Василий иногда ловил такие его взгляды, в которых затаилась смертельная ненависть. Похоже было, что ядовитый парень при первом же случае подколлет или пристрелит его, а то может и перебежать к врагу.

Дремлин, тоже назначенный взводным, отнесся к делу хозяйственно, спокойно. Он первым вопросом поставил харчи, а вторым — сапоги. Что касается храбрости в бою и прочего, то он об этом и не беспокоился, это

же само собой разумеется, нечего об этом долго разговаривать, известно же, какие ребята, чего там.

Командиром этого рабочего полка был Севастьянов.

Первый бой возник у деревни, тонувшей в глубоких снегах. Кое-где торчали деревца, изредка сбиваясь в кучку, словно сговариваясь о каком-то важном и веселом деле. Справа они собрались небольшой рощицей, как на митинг. Вдали спал в сизой дымке лес. Живительно шел в грудь морозный воздух. Над беслыми мерзлыми полями и болотами, в которых чернели линии загонов и стволы деревьев, вставало красное зимнее солнце.

Котляков хотел сразу же выяснить дело с Пыжиковым. Что задумал каверзный парень? И он послал его со взводом вперед, в разведку. До этой минуты Пыжиков исполнял все распоряжения командира роты без промедлений, точно, показывая себя дисциплинированным командиром. На этот раз Василий уловил только легкое колебание в лице Пыжикова, но тотчас же взводный справился с собой и бодро пополз во главе красноармейцев к деревне. Что-то он, видно, решил. Котляков двинул роту непосредственно вслед за ним.

Очень скоро щелкнули первые выстрелы. Немцы, очевидно, не ожидали наступления русских, они уже привыкли ходить по русской земле, не встречая особого сопротивления. К Котлякову прибежал радостный, запыхавшийся связной и доложил:

— Дергашин передает: в подштанниках германцы деру дают. В миг деревню заберем, если б подмога.

Котляков обратил внимание на то, что донесение поступило почему-то от Дергашина, а не от Пыжикова, но не до того было. Он повел роту, чтобы разом вышибить немцев.

Победа досталась легко. В сущности, это был еще не бой, тут немцы явно распустились, даже разведки не производили, а теперь, очевидно, соберут силы, и дальше дела, конечно, так просто не пойдут.

— А где Пыжиков? — спросил Котляков Дергашина, когда рота заняла деревню.

— Какой-то германец пальнул, а он и упал, — ответил Дергашин. — Его в эту избу понесли, фельдшер с ним.

Котляков ждал чего угодно, только не того, что Пыжиков ранен. Почему-то такой случай не приходил

ему в голову, хотя война же, любого может и ранить и убить. Сбитый с толку, даже несколько сконфуженный, он вошел в избу, где на лавке лежал Пыжиков. На губах Пыжикова запеклась кровавая пена, лицо приняло землистый оттенок, Пыжиков умирал. Может быть, уже и умер. Как это так? Василий остановился перед уже переставшим стонать ядовитым парнем ошеломленный, недоумевающий.

Кто же Пыжиков — храбрый или трус? Почему он с такой ненавистью глядел на ротного — хотел при случае убить, или изменить, или просто обиделся? Может быть, он обыкновенный честный парень, и зря Василий подозревал его? Прав был батальонный, поставив Пыжикова во главе взвода, или нет? Ответа на эти вопросы не будет никогда. Никогда. Оказывается, бывает так, что смерть обрывает все, и уже нечего спрашивать, а надо просто хоронить человека. Удивительно странное чувство владело Котляковым. Все-таки война, значит, непохожа на ту борьбу, которая велась на Выборгской стороне, совсем что-то другое. Мысли Василия путались, он не мог разобраться в своих чувствах, только жизнь окрасилась для него в какой-то новый цвет. Все это непохоже даже и на атаку у Пулкова. Одна атака — и все, потом вернулись к себе на завод, и можно было во всем разобраться. А тут...

Подскакал Севастьянов с вестовым. Соскочил с коня, и Котляков доложил ему о деле, чувствуя себя совершенным юнцом, новичком, не способным, может быть, и к тому, чтобы командовать взводом, не то что ротой. Батальонный, стоявший тут же, казался ему неизмеримо выше его, потому что три года воевал на фронтах. А Севастьянов сражался уже в двух войнах, и эта для него — третья. «Глупый мальчишка», — горько думал о себе Василий. Он решил, что сегодня же откровенно попросит снять его с командной должности и направить рядовым в любой взвод.

Маня Колесникова достала кумач, сколотили гроб, и в красном гробу понесли тело Пыжикова к вырытой в мерзлой земле могиле. Котляков, как ротный, тоже поддерживал гроб своим плечом.

У могилы Севастьянов снял фуражку, ветер прошелся по его седым волосам. Севастьянов поднял голову, обернулся к красноармейцам и деревенским жителям,

тоже собравшимся здесь, и заговорил с молодой горячностью, подняв сжатую в кулак руку:

— Мы — не царская армия, мы — рабочий класс, мы — рабоче-крестьянская власть революционной России, и каждый шаг наш есть шаг освобождения народов! Маленькая победа, товарищи, — продолжал он, — очень маленькая, и враг почти не сопротивлялся, первая маленькая победа сегодня на этом фронте, но за нами великая победа Октября, а впереди — коммунизм. Мы, русские, первые свергли у себя на родине капиталистов и помещиков, и никогда не померкнет наша гордость, и никогда не пойдет история вспять! Поздравляю вас, товарищи, с первой победой на фронте борьбы с германским империализмом! Готовьтесь к более тяжелым боям, куда более тяжелым, и к более трудным победам, куда более трудным! Товарищи! Почтим память нашего незабвенного товарища Пыжикова, беззаветно павшего за родную Советскую Русь!

Котляков дал команду, и рота отсалиutowала тремя залпами погибшему герою Пыжикову.

Когда Котляков пришел после похорон в избу к Севастьянову, чтобы просить его о переводе в рядовые, Севастьянов двинулся ему навстречу.

— Хвалю тебя, хвалю, — говорил он. — Имею сообщения. Действовал логично, осмотрительно и храбро. Взяты запасы оружия и продовольствия, есть и пленные с ценными показаниями. Для первого боевого крещения хорошо. Сообщу, что выборжцы в грязь лицом не ударили.

Василий был так изумлен, что не знал, что и ответить. Он молча стоял перед Севастьяновым, вытянув руки по швам, и молчал. Севастьянов потрепал его по плечу.

— Хорошо, что ты тут повел резервы непосредственно за разведкой, не дал врагу опомниться. Не будь этого — немцы успели бы мобилизоваться и дать отпор. В каждом бою, в связи с обстановкой, своя тактика. Ты поступил правильно, в соответствии с обстановкой.

Но ведь Василий пошел непосредственно за разведкой потому, что подозревал Пыжикова! Только поэтому! И это невозможно объяснить. Никто не поверит. Подумают еще, что свихнулся. И вот получилось, что Пыжиков — герой, а он, Василий Котляков, — хороший

командир. Опровергнуть не удастся. Или, может быть, была и та мысль, за которую хвалит командир полка?.. Он вспомнил, что и вдруг вырвавшаяся фраза, брошенная Ланговому в институте, очень понравилась почему-то Макшееву и запомнилась, как рассказывал Макшеев, Ланговому. А ведь он тогда случайно крикнул, от растерянности, — что в ней было особенного?

Василий Котляков чувствовал себя сейчас как школьник, попавший ненароком на университетскую лекцию. Он ответил Севастьянову:

— Я так понимаю, что я еще очень неопытный командир, товарищ Севастьянов, я хотел...

Севастьянов перебил его:

— Все мы в этой войне неопытные, вместе будем учиться, вместе. Война-то на прежние войны непохожая. Тут наша наука нужна, а в нашей науке ты опытный, не собьешься, больше университетских знаешь и практику имел. Ничего. Смелей. Не по-прежнему воюем. Не за царя да Антанту.

VI

Кончилось двухсотлетнее владычество Санкт-Петербургской власти над Россией. Страна с рабочим Питером во главе без шума, без торжественных слов назвала столицей древнюю Москву — Москву Кремля и Пресни. В Москву переехало Советское правительство.

Макшеев тоже уехал в Москву вместе со своим учреждением. Он условился о том, что будет держать постоянную связь с Ланговым.

На заводе, откуда ушла на фронт вся молодежь, место инженера, убитого Синюшкиным, занял ученик Лангового Громов, коренастый, черноволосый, сумрачный человек. Иван Терентьевич сам привел его на завод. Странно — ничто не шевельнулось в его душе, когда он после восьмилетнего перерыва увидел знакомые стены, в которых привелось ему кое-что пережить, где он работал, потерпел поражение в споре с заводчиком, где украли у него первое его изобретение. Все это ему самому вспоминалось как сон, все отодвинуто, уведено вдаль. Слишком резкая черта прошла между тем временем и нынешним, а главное — мысли Ивана Терентье-

вища были устремлены никак не в прошлое — он жил в постоянном напряжении, он хотел с такой же последовательностью применять в жизни свои взгляды, как и в науке, чтобы не терпеть больше упреков в косности и оскорблений. Надо, чтоб душа сдвинулась наконец с чертовых тормозов. А это нелегко, главное — непривычно.

Иван Терентьевич советовался с Громовым о том, кого бы еще из инженеров привлечь к работе на заводах. Громов, не возразив против составленного Иваном Терентьевичем недлинного списка, назвал еще одного инженера, занятого исключительно только своим делом и относившегося к делам политическим, как к атмосферным явлениям. Инженерское звание служило ему вроде как зонтиком от политических бурь. Был он из тех, которые ничего нового и не пытались придумать, но с превеликим почтением относились ко всему, что уже сделано и одобрено авторитетами.

— Вы думаете, он годится? — удивился Ланговой.

— Сам он ни к чему, но его знания нужны, — ответил Громов.

— Не понимаю вас. Да он и не согласится, он консерватор в политике.

— Пойдет за хороший паек, — злобно ответил Громов, и лицо его потемнело.

— У вас в жилах течет не кровь, а муравьиный спирт, — сказал Ланговой. Ему неприятно было, что его ученик как бы зачеркивает личности людей, относится к живым людям, как к учебникам.

Когда Иван Терентьевич пришел с Громовым на завод, дядя Яша встретил его с почтением, свел с начальством и, хотя ему очень хотелось повспоминать о прошлом, лишнего не говорил, чувствуя, что именитый профессор почему-то не хочет и упоминать о том, что было. А ведь ничего грешного профессор не совершил. Наоборот — пострадал.

Иван Терентьевич пожал руку дяде Яше и сказал только:

— Вот и опять увиделись. Теперь обстоятельства другие.

— Да, уж теперь другие дела, — подтвердил дядя Яша с достоинством.

Громов получил от дяди Яши ключи от шкафа с материалами, и Ланговой, пройдя со своим учеником в модельную мастерскую, счел нужным рассказать об этих материалах все, что слышал от Макшеева.

— Они теперь под замком, в безопасности, — кончил он, — но их хотели украсть.

Громов вдруг насторожился.

— Кто хотел? — отрывисто спросил он.

— Убийца, конечно. Сунулся, но, видно, что-то помешало. Яков Самсонович считает, что просто тот рабочий парень — Котляков — забыл, что сам рылся, но Котляков вряд ли был так небрежен. Это случилось как раз в тот день, когда был убит ваш дядя.

— Так я и знал, — неожиданно проговорил Громов. — Украсть хотел мой дядя.

— Да что с вами! — удивился Иван Терентьевич. — Человека убили... как вам не стыдно!

— Очень ясно, — сказал Громов, и лицо его почернело. — Он взял их, побоялся, что-то помешало, или все-таки в последнюю минуту заговорила совесть. Ясно. Его ненавидели, хотели убить, и он хотел замолить грехи перед этой сволочной сворой, кинуть им в пасть краденую работу. Вот и все. Вернуться, так сказать, в свое общество.

— Да опомнитесь! Они же убили его!

— Он был с ними достаточно резок. Порвал. Грозил разоблачениями. Агитировал. А тут, наверное, ругался с рабочими и оскорблял. Знаю таких.

— Его убили! Убили!

— Но он все-таки заколебался. На какие-то минуты. Вынул из шкафа, связал, хотел унести, а потом бросил, оставил. Выбежал, очевидно хватаясь за голову и все как полагается... Узнаю миленькие надломы и надрывы, чтоб черт взял всю эту гнусную психологию! Терпеть не могу!..

— Да он просто, наверное, забыл. Вы говорите так, словно присутствовали, а ведь вы...

Громов, черный, с горящими глазами, отчеканил, перебивая Ивана Терентьевича:

— Он колебался! А если вы считаете, что я присутствовал, то пусть рассудит Чека!

— Вы ненормальный. Опомнитесь! Вас не было тут, вы-то уж решительно ни при чем. Но и он не виноват.

Он честно погиб на посту. — Слово «колебался» ударило Ивана Терентьевича с неожиданной силой, и он стал защищать убитого инженера с чрезвычайной горячностью: — Бросьте всякую мысль о виновности вашего дяди! Это нехорошо.

— Он колебался! — упрямо повторил Громов. — Я об этом обязан сообщить. Он мой родной дядя.

Очевидно, его одолевало беспощадное, свирепое недоверие к людям того круга, в котором он вырос.

Иван Терентьевич прикрикнул:

— Не выставляйте в себе человека, это — смерть. Ваш дядя невиновен! Я вам говорю, что невиновен!

Он выпалил эти слова так, словно самого себя защищал.

Но ученик, полностью признавая его научный авторитет, морального его авторитета, очевидно, не признавал. Он отозвался резко:

— Я веду себя так, как считаю нужным и справедливым. Должен, кстати, предупредить вас, Иван Терентьевич, что я недолго пробуду на заводе. Я согласился, не пошел на фронт, потому что здесь тоже смертельная опасность, раз на этом месте убивают, но вообще я уйду в армию, я решил это окончательно. Грехи родни надо искупать на самых опасных делах.

IX

Волость, в которой находилась деревня Вилки, была богата озерами, их насчитывалось чуть ли не тридцать. Десяток с лишним тысяч жителей разбросаны были здесь по деревням и поселкам. Каждая весть из широкого мира, лежавшего за пределами волости, шла сюда неделями, она ползла поселками и заболоченными лесами от человека к человеку, и каждый вкладывал в нее свою лепту, приукрашивая на свой лад, жертвуя в добавление к ней от щедрот своего воображения каким-нибудь и не случившимся, и даже совсем немыслимым происшествием. Но все же вести доходили, и когда бывший земский начальник и местный помещик Лызлов замыслил выдвинуться в уезд, в рабоче-крестьянскую инспекцию, то эта кандидатура вызвала такой прием у крестьян, что Лызлов едва успел скрыться. Дом его сожгли, а землю поделили.

В деревне Вилки, окольными путями удирая от немцев, застрял столичный путешественник — василеостровский дворник Игнатий Игнатьевич Карпов, тот самый, с кем вела свой товарообмен Аглая Терентьевна Ланговая. При нем были сани с лошадыо, а за кучера — подросточек Митька, деревенский братишка дворника. Клади Игнат вез на этот раз меньше обычного — штук пять мешков, и все. Игнат постановил переждать в Вилках военную грозу, потому что стала доноситься стрельба, а он не предполагал участвовать в сражениях, когда отправлялся за продуктами. В деревне оставалось мало мужчин — из бедноты почти все ушли к красным войскам.

Игнат остановился у своего знакомого, пожилого мужика, сын которого тоже служил дворником в Петрограде. На третий день пребывания незадачливого путешественника в Вилках в избу, где он жил, постучался прохожий человек в длинной шинели, сухощавый, с жестковатым лицом, с бородкой клинышком. За плечами у него болталась котомка в ремнях.

— Вы о Синюшкине, здешнем жителе, не слышали? — спросил он. — В деревне он или где?

— Я сам не здешний, — ответил Игнат, присматриваясь к незнакомцу, в котором сразу признал городского человека. — Надо бы хозяина спросить, да вот невежество...

И он указал на печь. На хозяина избы военные события подействовали странно — он с утра так налился сивухой, что теперь беспробудно спал. А жена его вышла с другими за околицу глядеть на зарева дальних пожаров.

Игнат, находившийся, ввиду опасностей военного времени, в размягченном состоянии, пригласил прохожего посидеть, отдохнуть, ему хотелось культурного общества, содружества с человеком, как видно, образованным, который, может быть, полезен будет для совета. Он готов был к добрым поступкам, потому что сам нуждался сейчас в помощи и услугах. Прохожий человек, подумав, принял его приглашение.

Игнат усадил незнакомца за стол, налил ему из кипящего самовара чаю, дал большой ломоть хлеба и, пока тот ел и пил, повествовал ему о своих бедах, представляя себя тоже человеком городским, забредшим

в эти некультурные дебри по печальной необходимости. Он с огорчением рассказывал, как неладно получилось с его братишкой:

— Во куда его занесло! Думалось — до станции и назад, а на станции орлы с шишками. — Так он по ка-скам обозначал немцев. — И как убегаючи заколесило по гатям да тропам, так и угнало мальчишечку от дома. Там-то знают, что он со мной, и ничего, значит, худого с ним не случится, да мне-то каково! Теперь и неведомо, как да что... Он-то все пути-дороги тут знает, не я его, а он меня везет, да одного-то, глупого, отпускать нельзя. не ровен час — напорется на душегубов.

Прохожий человек быстро и внимательно глянул на Митьку.

Митька, беленький, голубоглазый, в сером кафтанчике и больших валенках, играл кнутом, поглядывая в окошко, и с большим интересом слушал о том, что такое с ним случилось. Он был доволен. Скучное дело — довести брата до станции — обернулось очень интересно. Жаль только, что старшой брат держит его все время при себе и не отпускает. Митьке давно уже хотелось поглядеть, как это стреляют из пушек. По его мнению, в этом ничего не было страшного. Один деревенский дезертир рассказывал ему, что кладут в пушку ядро, а потом дергают за веревочку, и гром подымается такой, что люди глохнут.

Митька, пощелкивая кнутом, косился голубеньким своим глазом то на дверь, то на брата, но дернуть прочь из избы не рисковал. Если послушаться, то будет такое расстройство, что лучше не надо. Он боялся не побоев, а разных жалобных слов, на которые старшой брат был очень щедр.

Прохожий человек, попив и поев, спросил добродушно:

— Мальчонка-то послушный? Ничего?

— Он у меня смирный, — подтвердил Игнат. — Что ни скажете, — сделает. И все тут хорошие люди, хорошие...

Ему сейчас хотелось, чтобы действительно все были хорошими людьми. Он лично в этом очень сейчас нуждался.

— А вы откуда будете? — спросил он гостя осторожно.

Прохожий вынул из кармана трубку и, зажимая ее своими сильными, жилистыми пальцами, набил табаком из кисета, затем вынул коробок спичек, чиркнул, закурил и коротко выдохнул вместе с дымом:

— На промен вышел. Из города.

Дальше Игнат из деликатности не расспрашивал его. По нескорому ответу и тощей котомке он решил, что продуктов барин не наменял. Привез, конечно, на обмен какую-нибудь мелочишку с этажерок, — а кому она здесь нужна? Таких бар сейчас немало ходит по деревням, и все только смеются над ними.

— Поганые здесь места, — заговорил он вновь, продолжая светскую беседу. — Городскому человеку проваливаться в снега — оно удовольствия нету.

При этих словах Митька с недоумением и укоризной серьезно взглянул исподлобья на брата. Что тут поганого? Зачем сердиться на хорошие леса, в которых и зимой весело, а летом грибов да ягод столько, что не обещешься? А птицы как чирикают! А увидишь дятла — так насмеешься! И он промолвил хмуро:

— За околицу я пойду! Чего тут сидеть?

— Приказано — так сиди-и!

Митька с точностью знал, что если брат так взвизгивает на последнем звуке, так уже расстройства и трепки не избежать. Забот с этим Игнатом, как с маленьким! Испортился он в городе. И Митька опять стал развлекаться кнутом, пощелкивая им. Из-под распахнувшегося кафтанчика показывалась голубая рубашечка с косым воротом.

Вдруг вбежала хозяйка с криком:

— Идут! С леса вышли и сюда идут!

— Кто идет?

— Они! — всплеснув руками, заголосила на всякий случай хозяйка. — Они, батюшка!

— Да кто они? — спросил прохожий человек, притушил трубку и сунул ее в карман. — Русские? Немцы? По лицам-то кто? По одежде?

— В одежде, — охотно подтвердила хозяйка, — и с лицами, батюшка, они и есть.

— Вот дура-баба, — заметил прохожий. — Тебя спрашивают — русские или немцы?

— А кто же, как не русские. Свои, работники с городу. Мы тоже не дуры, знаем. У нас один немец был

в начальниках, так он, батюшка, от нас, мужиков, бежал, его хоть бы и на вилы взяли, не зря Вилками прозываемся.

Пока она тараторила, Игнат пошел из избы, размахивая руками и восклицая:

— К станции двинуто! Ну, братцы, айда теперь — проедем!

По этому длинному «е» Митька понял, что он в добром расположении. Хозяйка, спохватившись, вышла вслед за Игнатом. А Митька, первым рванувшийся к двери, остался в избе, потому что его ухватил за плечо и задержал прохожий человек. Рука, схватившая Митьку, была сильная, высвободить плечо не удавалось.

— Пойдешь со мной, денег дам, конфет, — приказывал прохожий человек. — Куда скажу, туда и поведешь. Лошадь тебя со мной выдержит? Сильна? Верхом поедем.

Он, видно, не привык к отказам и уверен был, что все будет исполнено, как он сказал.

Митька попытался вывернуться, но железные пальцы только еще крепче сжали его плечо.

— Ишь ты! Ловкóй! — сказал он. — Хитер! Еще и к немцам выведешь!.. Да пусти, говорю! Гляди, кнутом хвачу, коли не пустишь!..

Он сильно дернул плечо. Он был не из пугливых.

— Хозяин на печи! — крикнул он. — Вот проснется, так задаст!

— Живо! — тихо и спокойно приказывал прохожий человек. — Не пойдешь — стукну! Ну!

— Лошади понукай, — ответил Митька.

— Ладно, — сказал прохожий человек, — пойду без тебя.

Но Митька встал на его пути.

— А ну погоди! Ты кто такой? Вот сейчас наши придут...

И тут Митька, изловчившись, быстро сунул в рот пальцы и свистнул так, как привык свистать по дремучим лесам, когда перекликался с ребятами. Свист был такой, что хозяин разом и проснулся и соскочил с печи как ошпаренный. Со спутанной бородой, лохматый, он был похож на вдруг выпрыгнувшего из трубы домового. Прохожий человек вынул из кармана шинели что-то, чего Митька не успел разглядеть, очень точно и ловко тюкнул мальчика по виску и выскочил во двор.

Хозяин, не соображая, что такое за видение перед ним, думая спяну, что это кошмар ему снится, отупело уставился мутными, бессмысленными глазами в дверь, откуда в нетеплую избу так и дохнуло морозом.

...Игнат, входя в избу, приглашал:

— Тоже петроградские, значит? Земляки, значит? Прошу покорно, хлеб да соль, тут все хорошие люди, хорошие...

Он увидел лежащего на полу братишку и, еще не понимая, что случилось, но уже видя и обалделого хозяина и поваленный табурет, изменил тон. Он спрашивал с удивлением и страхом:

— Ты чего тут, Митька, черт, натворил без людей, чудило? Вставай! А ну подымайся, не шали-и!

Но это визгливое «и», всегда предшествовавшее тасканию за вихры и жалобам, на этот раз не подействовало на Митьку — он не поднялся, не пошевелился даже.

— Да ты что? — спрашивал Игнат, наклоняясь над ним. — Да что же это? Как же, братцы? Митька, косточка... — Он разогнулся и заметался по избе как шальной. — Братцы! — кричал он, хватая вошедших красногвардейцев за рукава и полы. — Да что же это?.. Да этого и быть не может! Глядите!.. — Он замер над Митькой, схватившись за голову. Поднял мальчика, положил на лавку и снова замер. Потом вдруг сорвался с места, словно все перевернулось в нем. — Оружи-и! — завопил он неистово. — Давай оружи-и! Братцы! Воевать иду! Митька, черт, косточка!.. — зарыдал он и тут же оборвал рыдания. — Оружи-и! — кричал он и полез на печь, толкая ногами ошалелого, неподвижного, налитого сивухой хозяина. Там, на печи, он видел, лежал обрез.

Командир роты, вошедшей в деревню Вилки, Василий Котляков не слишком много узнал о Синюшкине, которого искал убивший Митьку прохожий человек. Синюшкин, бобыль, в прошлом году уходил в город на завод, недавно вернулся было, но беднота так встретила его, что он убежал в леса к дезертирам и разбойникам. Вот и все. А до того служил у помещика и земского начальника Лызлова, был его доверенное и важное лицо.

— А сына у этого Лызлова не было? — осведомился Котляков.

Оказывается, сын был, только уже давно не показывался тут. Сын, оказывается, богато жил в столице, был инженером. Ездил по городу в собственном экипаже. Прохожий человек, убивший Митю, был именно он — инженер Лызлов.

Х

Вечером была объявлена весть о подписании мира с немцами, и Мане Колесниковой не спалось. Она расположилась на широкой печи, а бойцы разлеглись на полу и лавках. Маня разулась, развязала тесемки солдатских штанов, сняла гимнастерку, но все равно было очень жарко, теснило грудь, щемило сердце, словно весь месяц боев и походов разом обрушился на нее в эту первую мирную ночь. Ей не спалось. Вспоминались погибшие товарищи, парни с Выборгской стороны, знакомые с детства, и ей было грустно. Коля Никонов упал мертвый на бегу — головой вперед и распластав руки, как это случалось с ним, когда он мальчишкой бегал вперегонки. Мише Калашникову оторвало ногу в одном из сражений, и он все кусал губы, чтобы не закричать от боли, и глядел на товарищей, вынесших его в лес. Так он и умер, не сказав ни слова, а только поводя вокруг карими, потухающими глазами. Вспомнился Мане и подросток в голубенькой косоворотке, которого зарыли в одной братской могиле с бойцами и партизанами крестьянского отряда. Только Пыжиков почему-то не вспоминался.

Маня и в роте Василия Котлякова любила, как раньше, пошуметь и наговорить лишнего, и на нее, как и на Выборгской стороне, то и дело приходилось покрикивать, но представить себе роту без нее уже никто не мог, даже Дремин, который начинал ловить себя на том, что, стараясь вообразить в мечтах своих тихую, кроткую, полную девушку, видел почему-то шумную Маню.

Бойцы спали, Маня одна не спала. Одолеvalo томление, и жалко, очень жалко было погибших товарищей. Хотелось пошептать по-живому, но подружек нету, она — единственная девушка в роте. Приподнявшись, она вглядывалась в темноту, туда, где среди товарищей спал без сновидений Витя Дремин. Он не вожак, конечно, но в нем — спокойствие и уверенность неколебимые, на все

он имеет свой веский, солидный ответ. Почему он не любит ее? За что?..

Маня подложила под голову свернутый полушубок, легла на бочок, свернулась клубком, но сон не шел к ней. Она все выдерживала, не жаловалась, всегда старалась всем помочь, всем услужить, быть хорошим, храбрым товарищем, а на нее вечно покрикивали. Думают, что она очень сильная, — так уж не нужно иногда и пожалеть. А она все-таки девушка, и ей хочется, чтобы и ее когда-нибудь кто-нибудь пожалел; она-то знает, что душа у нее тихая, кроткая и простая, совсем не шумная, она только одна это и знает, Витя Дремин и заглянуть в душу к ней не желает, как ни мучься. Маня и не заметила, как заплакала незлобными, тихими слезами, слезы заливали лицо, и в этом было такое облегчение, что она наконец заснула.

Бойцы спали еще, когда она открыла глаза. Одевшись и обувшись, она тихонько, чтоб не разбудить товарищей, сползла с печи и, пробравшись между бойцами, вышла на крыльцо. Кого-то из бойцов она все-таки задела ногой, и тот, натянув на голову шинель, пробормотал сквозь сон:

— Ох, егоза...

Мартовский воздух был как живительный напиток. Снега сверкали на солнце. Маня, зажмурившись, подпрыгивая, побежала к колодцу помыться. Оглянувшись, скинула полушубок, сняла гимнастерку, до пояса спустила рубашку и на холоде, поеживаясь, чистенько вымыла шею, грудь, руки до плеч. Она любила эти утренние, одинокие, холодные умывания, с оглядкой, как бы кто не увидел. Одевшись, она потанцевала у колодца, чтобы согреться, а затем опять взялась за ведро — приготовить побольше воды для бойцов.

За этим занятием и застал ее Дремин.

— Я тебе воды приготовила, — сказала она тихим голосом, серьезно и пристально глянув на него.

— Хорошее утро, — ответил Дремин.

Он зачерпнул кружкой колодезной воды из ведра, выпил, выплеснул остатки в снег и повторил:

— Хорошо, весна скоро.

Маня не сводила с Дремина глаз. Сердце ее сильно билось. Была предвесенняя свежесть в этом зимнем утре, в теплом ветерке чувствовалось дыхание весны, хотелось

понаслаждаться хоть коротеньким мирным счастьем, и она промолвила:

— Витя, — ей приятно было произнести его имя, и она повторила: — Витя, пройдемся за околицу, погуляем, пока ребята спят. Потом вымоешься.

И они пошли по деревенской улочке, меж покривившихся изб и ломаных плетней.

Выйдя на крылечко, Котляков увидел их, но не окликнул. «Хороша Манечка, да не наша», — подумалось ему. Он оглядывал озаренные утренним солнцем избы, огороды, поля, рощицу, подступавшую к самой деревне. Линии заборов и плетней, стволы берез и березок удивительно четко вырезывались в воздухе. Земля начинала уже дышать теплом, чернота то тут, то там проступала в разрыхляющемся снегу. Чистота мартовского деревенского утра рождала животворные, просторные мысли. Даже в слабости своей, разоренный, измученный народ вырвал у врага необходимую передышку, отстоял Советскую власть, защитил Петроград. А что дальше будет! Василий не мог представить себе точно, что будет дальше, он просто радовался, чувствуя, что за эти недели, выйдя на просторы страны, кой-чему научился, возмужал, выдержал-таки роль командира и в непривычной войне.

На крыльцо вышел хозяин избы, в которой ночевал Котляков. Он три года воевал на фронте, был ранен, а последний месяц сражался в местном партизанском отряде. Немолодой человек, с лицом жестким и суровым, он был невесел, даже угрюм.

— Теперь обратно в Питер уйдете? — спросил он.

Он так буркнул этот свой вопрос, словно только и хотел того, чтобы Котляков с товарищами поскорей убирались отсюда.

Василий осторожно ответил:

— Такого приказа пока нету.

Крестьянин молча постоял рядом с Котляковым, потом проговорил:

— Охранение не мешало б. Верить сволочам нельзя. Да и бандиты гуляют.

— Я тоже так думаю, — заметил Василий успокоенно. — Мировая нечисть еще сильна.

Дремин и Маня возвращались к колодцу. У заколоченной церкви они остановились, задрав головы. Котля-

ков, следивший за ними, тоже взглянул вверх, на колокольную вышку, к которой он сам, никому не уступая этой чести, прикрепил красный флаг. Флаг трепало на ветру. Ветер дул на запад.

XI

Марья Кузьминишна вела с Катюшей ежедневные разговоры о Васеньке. Она очень рада была, что нашла такую внимательную слушательницу, и рассказывала, какой Васенька был умный с самых младенческих лет, как сам смастерил коньки, как уважали его на заводе, как даже сам начальник мастерской сказал, что Васенька будет инженером, а начальник был швед и уж никак не мог ошибиться. Она расписывала Васеньку так, что получался просто изумительный парень, и сама верила в то, что говорила.

Катюша из всех этих рассказов извлекла только то, что парень ничему толком не учился, а способности у него есть. По своей семье и по соседям она и сама понимала, почему у него не вышло с учением, — нищие, отец пил (об этом она узнала от правдивого дяди Яши), сын не хотел оставить мать (это хорошо), да к тому же буйный характер, задиристый мальчишка, связался с революционерами, такому ни в одной гимназии не ужить-ся, мигом бы исключили. И сейчас, конечно, при таком характере ему за партой не усидеть. Все ясно. У Катюши вообще ум был трезвый, мечтам она особенно не предавалась. Но ей очень хотелось сделать что-нибудь для этого парня, чтобы услужить его матери. Марья Кузьминишна относилась к ней как к дочери, все прощала и не ругала даже тогда, когда Катюша, бывало, провинится, и Катюша привязалась к ней по-родному.

В первый приход Ивана Терентьевича на завод она не встретилась с ним — стояла где-то в очереди. Но однажды, когда Марья Кузьминишна была на работе, дядя Яша совершал свой обычный обход, а Катюша подметала в сторожке пол, в дверь постучался и вошел неожиданный гость в тяжелой шубе и меховой шапке. Он спросил Якова Самсоновича.

— Он скоро придет, — сказала Катюша, с любопытством оглядывая незнакомца — каждый новый человек был интересен ей. — А вы сами кто будете?

— В таком случае я подожду, — заявил гость, оставив без внимания Катюшин вопрос. В сторожке было тепло, и он, сняв шубу, бросил ее вместе с шапкой на табурет. — Я и не знал, что у Якова Самсоновича такая внучка. Вы ведь внучка?

— Нет, — сдержанно отозвалась Катюша. — А вы кто такой будете? — повторила она настойчиво.

— Я? Профессор Ланговой.

Ученое звание гостя удивило Катюшу. По ее представлениям, Ланговой никак не был похож на профессора. Она воображала всякого ученого человека таким седовласым мудрецом, строгим, в очках, и обязательно с длинной, пушистой бородой. А этот и одет не как ученый. Большое, могучее тело Ивана Терентьевича покоилось в просторной толстовке и сунутых в валенки, ничем не примечательных, даже чуть лоснящихся штанах. По настоянию Ниночки, боявшейся сыпного тифа, Иван Терентьевич решился наконец обрить голову, и его сверкающий череп поразил Катюшу — она представляла себе ученых не иначе, как с белой гривой. Совсем неожиданными показались Катюше лихие черные усы под широким, с большими ноздрями, носом. И все-таки это был профессор.

Катюша захлопотала. Схватив с табурета шубу, она повесила ее на торчавший в стене гвоздь и ахнула, увидев, что шапка при этом упала на пол и что профессор уже сам подобрал ее.

Гость был, видимо, чем-то озабочен. Он хмурил брови, толстые губы его, как это бывает в раздумье, шевелились, словно он не то сосал, не то жевал что-то. Проведя чистым белым платком по черным своим усам, Иван Терентьевич как бы стер эти лишние движения, и лицо у него стало добрым и приветливым. Катюша все замечала.

— Будем знакомы, внучка, — произнес Ланговой, протягивая ей руку. — Или племянница?

Катюша представилась чопорно:

— Звoryкина.

И прибавила:

— Я не родственница Якова Самсоновича. Я сама по себе.

Ивану Терентьевичу забавной показалась эта девушка, в которой степенность боролась с порывистостью.

— Сама по себе, — усмехнулся он. — Человек «сам по себе» не бывает.

И он прошелся по сторожке. Катюша, неотрывно следя за ним, обратила внимание на розовые, очень, по ее мнению, профессорские складки на его затылке. Они, как и ворчливо-поучительный тон последних его слов, тоже, по ее понятиям, вполне профессорский, несколько примирили ее с его голым черепом и безбородым лицом.

— Где же Яков Самсонович? — спросил наконец Иван Терентьевич. — Нельзя ли найти его?

Катюша не могла оставить свой пост, поэтому она вежливо промолчала, и профессор, кажется, понял. Не настаивая, он вновь прошелся по сторожке.

— Значит, вы не родственница Якова Самсоновича, — констатировал он.

Катюша объяснила толково и деловито:

— Я всегда заменяю Якова Самсоновича, когда он уходит. Он вот-вот вернется.

— Значит, вы на ответственном посту, — прервал ее Иван Терентьевич. — Это хорошо. Мы и в институт будем принимать девушек.

У Катюши были свои тайные намерения, когда она осведомилась:

— Вы и у нас будете учить?

— Посмотрим, — неопределенно отозвался Иван Терентьевич. Ему все больше нравилась эта смешная девушка. — А вы бы хотели учиться механике или математике? Теперь и девушки могут быть инженерами.

— Я к этому неспособная, — очень серьезно ответила Катюша. — Из математики я в школе никогда больше тройки не получала.

— А то и двойки?

— А то и двойки, — вздохнула Катюша.

— Бывает, — весело заметил Иван Терентьевич. — Уроков, наверное, не готовили?

Отец всегда помогал Катюше готовить уроки, и это воспоминание резануло ее по сердцу. Она торопливо заговорила:

— У нас есть очень способные на заводе. Правда, есть такие, которые и способные и хотят. Только они на войне, — прибавила она печально.

Тут дверь со двора скрипнула, и вошел дядя Яша. Увидев Лангового, он двинулся к нему.

— Как Нина Павловна? — заботливо спрашивал он, пожимая руку Лангового своими все еще крепкими пальцами старого мастерового. — Как детки? Ну, дай бог, дай бог... — Улыбка сошла с его лица. — Вот почему просили вас, — сказал он горестно, — беда, хотят консервовать завод.

— Совнархоз решил консервировать?

— Да кто его разберет! На весь завод, действительно, ни людей, ни возможностей, а вот мы рассуждаем, что механическая может жить. Только тут расчеты нужны.

Он с надеждой взглянул на Ивана Терентьевича.

Тот промолвил:

— Макшеев в Москве. Я думаю, что он поддержит. Кстати, хотел спросить вас — в механическом цехе был после Макшеева инженер Голубецкий. Где он?

— Ищи ветра в поле, — усмехнулся дядя Яша. — Сначала выступал на митингах, «мы да вы», да «я, мол, тоже пострадавший от царизма», а как объявился рабочий контроль, так съезжился весь да зайцем прочь.

Насупившись, Иван Терентьевич сказал:

— Вот еще что плохо. Громов идет в армию. Невозможно удержать. Но у меня есть другой кандидат.

И прибавил, покосившись на Катюшу:

— Сторож у вас хороший — строгий.

Дядя Яша заметил:

— Да, дисциплинка в ней есть, не жалуюсь. Вам бы надо пропуск взять постоянный.

Иван Терентьевич надел шубу и шапку, и они ушли.

«А что? — подумала Катюша. — Без пропуска пускать не велено, ни в чем я неповинная».

Через час Ланговой сидел в модельной мастерской с Громовым. Они составляли докладную записку.

Расхаживая по модельной мастерской, Иван Терентьевич диктовал Громову, а тот молча писал. Ланговой наслаждался этим беспрекословным повиновением колючего и злого ученика. Он почти злорадствовал, принуждая его к полной покорности. Когда докладная записка была закончена, он взял ее из рук Громова, и, не торопясь проверить, заговорил:

— Я хочу в последний раз спросить вас — вы окончательно решили бросить завод?

— Я желаю помочь большевикам в более опасных местах. Убийство моего дяди было здесь, очевидно, единственным и последним.

— Так что, уважаемый самоубийца, вы не считаете заводскую работу нужным делом?

— У меня особое положение.

— Я вижу, что у всех молодых особое положение. Хорошо. Вы не имеете права уйти, прежде чем не сдадите все дела преемнику. Сюда назначат Кругликова, он оставляет научную работу и идет на практику.

— Когда сдать дела?

— Надо дожидаться конца курса. Значит — к лету.

— Долго, но я потерплю.

— А вообще вы сумасшедший, — резюмировал Ланговой.

Громов огрызнулся:

— Я не считаю достаточным переменить только одежду, надо менять душу.

Он явно намекал на толстовку Ивана Терентьевича, сменившую пиджак. Но Ланговой уже начинал привыкать к грубостям и не вспыхнул. До лета ссориться с этим грубияном нельзя, потому что он, профессор Ланговой, обещал Максееву заботиться в числе других заводов и об этом. Он нахмурился и отозвался сардонически:

— Можете показывать на мне свою храбрость, только извольте работать.

— Простите, — буркнул Громов.

— Работайте, — повторил Иван Терентьевич, — а извинения — к черту! Сам не прошу прощений и с других не требую.

Он повернулся и ушел, не попрощавшись. У него самого начал ощутимо меняться характер.

Когда он пришел на завод с Кругликовым, Катюши в сторожке не было.

— А где ваша помощница? — осведомился он у дяди Яши.

— У старой моей приятельницы, — отвечал дядя Яша. — Письмо с фронта пришло. — И дядя Яша счел возможным поделиться домашними делами с профессо-

ром, который вроде как уже свой, заводской. — Васю Котлякова помните, который вам лекцию прервал?

— А? Тот парень! Помню.

— Письмо от него. Давно не писал. Вот Катюша и побежала к его матери.

Иван Терентьевич пожевал губами так, словно проглотил что-то невкусное. И в этот момент в сторожку влетела Катюша. Увидев Ивана Терентьевича, она с разбегу остановилась, глядя на него сияющими глазами. Затем не выдержала и выпалила, обратившись к дяде Яше:

— Он там большой начальник, в военном комиссариате.

И тут же решительно обратилась к Ивану Терентьевичу:

— Я хочу вас просить. Мне нужны книги для одного знакомого.

— По какой специальности? — осведомился Лангой, приняв особо солидный вид.

— Как раз механика! Математика!

— Достать книги можно у меня, — веско ответил Иван Терентьевич. — Зайдите ко мне завтра к девяти часам утра. Адрес вам скажет Яков Самсонович. Я знаю этого вашего знакомого. Встречались.

Молодость напомнила ему о том, что сам он уже не очень-то молод. И вдруг в нем вспыхнула ненависть к кабинету, аудитории, к сидячей жизни, ко всему, что старит его. Он еще молод, черт возьми! Надо выйти на широкие просторы — и никогда не постареешь. Вот Макшеев. Ровесник, а молодой! Молодец Ниночка, что столкнула его с тяжелого кабинетного кресла. Они ведь оба молодые, вся жизнь впереди! Кажется, сдвинулось что-то наконец в его душе.

XII

Василий Котляков был назначен начальником волостного военного комиссариата, и его стали называть — волостной комиссар. События даже только в этой одной волости убеждали в необходимости обучаться военному делу. По лесам и болотам волости ходили банды кулаков и дезертиров во главе с бывшими царскими офицерами.

Многие добровольно вступали в Красную Армию, и Котляков каждый раз заново испытывал чувство большого подъема при словах торжественного обещания:

— Я, сын трудового народа...

Обучая местных бедняков, он обучался и сам. Его день был заполнен делами с утра до позднего вечера. Бывало, что дозорные сообщали о появлении белогвардейских банд, и тогда приходилось браться за оружие. Маня Колесникова обнаружила отличные способности разведчицы, — она всегда быстро и своевременно извещала о приближении конных или пеших разбойников. Дремин начинал испытывать невольное уважение к ней.

Весна разлила все речушки волости, затопила низины, превратила дороги в непроезжее месиво. Но Котляков заблаговременно, по-военному, установил телефонную связь с ближайшей станцией. Линию связи провел Дремин, да так хитро, такими потайными ходами, что можно было не опасаться, что бандиты порвут ее. Таким образом, волость была всегда в курсе событий, знала, что делается в Москве, в Питере. Изба, где помещался военный комиссариат, становилась культурным центром волости, сюда заходили за новостями, разъяснениями, советами. Один из первых в уезде комитетов бедноты организовался в этой волости, и председателем его был избран тот самый фронтовик, хозяин избы, у которого жил Котляков. Организовалась партийная ячейка. Мирная передышка шла на пользу — все воочию видели, как по-новому перестраивалась жизнь и в этом углу уезда. Но работа проходила в непрерывной борьбе.

Однажды, когда дороги пообсохли, Котлякову со станции доставили большой пакет — не из учреждения, а от Марьи Кузьминишны. В этом пакете были книги, среди них учебники алгебры и геометрии, а также книга профессора Кондакова по механике под названием «О том, как работают машины и как рассчитывают их действия». Марья Кузьминишна объясняла в письме, что книги достала и посылает Катюша Зворыкина, потому что узнала, что Василий хочет учиться. Катюша просила не сообщать об этом Васе, но пусть Вася все-таки знает, пусть знает и то, что советоваться об учебниках Катюша ходила к самому профессору Ланговому и тот дал ей их. Как всегда, мать ни слова не писала о своих тревогах,

она старалась в разлуке никогда не обременять сына своим беспокойством о нем.

Котляков, сидя с этим письмом у окошка в теплой избе, вспоминал мать, дядю Яшу, сиротку Катюшу, которая удружила ему папашой, верно служившей ему. Но хочет ли он вернуться домой? Нет. Ни за что. Он должен вернуться другим, совершенно другим, знающим не одну только Выборгскую сторону. Каким другим? Об этом он не рассуждал, им владело радостное чувство, как всегда, когда он думал о будущем, и зеленая ветка, протянувшаяся к самому окошку, обещала одну только радость.

Село затихало в вечерних тенях. Луна вставала в небе. Взяв книгу про машины, Котляков при свете огарка и луны прочел предисловие. Под предисловием стояло имя профессора Лангового. Давние, но яркие воспоминания захлестнули Василия, — он видел в детстве и автора этой книги, профессора Кондакова. Ему вспомнились выставка новейших изобретений, праздник воздухоплавания, а в то же время его уже увлекли первые фразы книги Кондакова: «Чтобы лучше понять, чему можно научиться из нашей книжки, разберем раньше, чем научные знания отличаются от ненаучных».

Он не успел дочитать и первой страницы, как к окошку подбежал один из красноармейцев с криком:

— Беляки! От Колесниковой конник прискакал!

Если от Колесниковой — значит, правда.

Отбросив книгу, Котляков схватил винтовку и во главе отряда, собранного по тревоге, поскакал навстречу бандитам. Лошадь у него была смешная — длинная, белая, коротконогая, она была безропотно-смирного, доброго, веселого и в то же время непугливого нрава. Василий звал ее Мушкой. Высокого рыжего скакуна, который был предназначен ему, он отдал Дремину. Этот скакун имел дурную привычку падать вдруг на передние ноги, отчего всадник летел через голову в пыль, снег или грязь, смотря по времени года. Но Дремин, изучивший эту подлую повадку своего коня, умудрялся держаться в седле не падая.

Мушка шла своей веселой рысцой, и Котлякову, такому наезднику, над которым не смеялись только из уважения, было так хорошо на ее спине, словно Мушка специально заботилась о его удобстве.

Волостной комиссариат помещался в самом большом селе волости, — село называли волостной столицей. В летнем теплом сумраке звонко шелкали выстрелы, — это дозорный отряд уже вступил в бой. Подскакавшая подмога решила дело. Бандиты побежали обратно в лес. Обыкновенная стычка, каких немало случалось в последние месяцы, — не в первый раз совершалась попытка овладеть «столицей» и перерезать большевиков.

Соскочив со своей Мушки, Котляков увидел, что Маня с рассыпавшимися до плеч волосами, с лицом, неузнаваемо искаженным от ярости, волочит и треплет несопротивляющегося мужика. Тот видел, что ему уже не убежать, и только поводил плечами под толчками де-вушки. Котляков подошел, и Маня крикнула ему:

— Узнал?

Котляков, конечно, узнал в пленном заводского сторожа с сизым носом и отросшей лохматой бородой. Это был действительно Синюшкин. Опустив голову, сумрачно оглядывая окруживших его людей, он угрюмо обдумывал, каким фокусом убежать от вплотную надвинувшейся смерти. Синюшкин решил предложить свои услуги этим осилившим его людям, — это, пожалуй, лучше всего. Но, встретившись взглядом с Котляковым, он испытал такое ощущение, словно его кинули вдруг в ледяную воду и бьют багром по голове. Он так поступил зимой с одним из пленных, и его выдумка всех развеселила. Но совсем не смешно, когда тебе грозит то же самое, что ты сделал другому. Синюшкин рванулся в сторону, но сильные руки схватили его и удержали. Тогда убийца заплакал, повалившись в ноги страшному комиссару Василию Котлякову. Он бился лбом о землю и все пытался добраться до пыльных сапог Василия, чтобы поцеловать хоть носочек. Радость воскресила его, когда он услышал спасительные, как он думал, слова комиссара:

— Этого мерзавца надо живым доставить в Петроград.

Он не узнал ни Котлякова, ни Мани, ни Дремина. Он не догадывался, что его отправляют на суд завода, где он был сторожем и на котором убил главного инженера. Он понимал только, что ему дана отсрочка, а раз так, то уж придумается и спасение. Ему не рвали по во-

лоску бороду, не выкалывали глаз, не резали ушей и носа, не делали всего того, что он сам производил над пленными большевиками.

Синюшкин рвался теперь к сапогам Василия, чтобы поцелуем отблагодарить милостивого комиссара, но его оттащили в сторону и повели.

Маня вернулась в село вместе с Котляковым, который вел свою Мушку в поводу. Отдав Мушку вестовому, Котляков вошел в избу, и Маня вошла вслед за ним. Она увидела на столе брошенные Василием книги и без спроса начала рассматривать их. Поимка Синюшкина выбила ее из дисциплины, вызвала мысли о заводе, о Питере, о Выборгской стороне, о подружках, оставшихся там. Она спросила:

— Откуда у тебя эти книжки?

Ей все надо знать.

Котляков ответил невнимательно, думая о своем:

— Прислала Катюша Зворыкина.

— Да? — глаза у Мани заблестели. — А что она пишет? Ну, миленький, ну покажи письмо!

Только что она была грозной воительницей, а сейчас — назойливая девчонка. «Очень пристающая», — говорил о ней Дремин, и Котляков подумал сейчас, что Маня действительно чересчур уж беспокойная девушка. Его одолевали тревожные мысли, он думал о том, что налеты бандитов учащаются, конечно, из-за хлеба. Они хотят захватить «столицу», овладеть всей властью для того, чтобы забрать осенью все плоды летних крестьянских трудов. В малом виде в этих нападениях выражалось то, что происходило во всей стране. Со всех концов рвались на Советскую страну бандиты, чтобы грабить народ, вновь, как прежде, богатеть его трудами. Все они — от Дутова до атамана Богаевского, от Краснова с Деникиным до атамана Семенова и генерала Миллера — лезут с интервентами для одной и той же цели — богатеть плодами народных трудов, вернуть народ в рабство, и есть образованные люди, которые помогают им. Все белые правительства состоят из образованных людей. А где уж тут самому стать образованным, когда надо все время отбиваться от дьяволов? Когда сможешь прочесть да понять эти учебники? А надо, надо... Злоба схватила Василия за сердце. Маня приставала:

— Где письмо? Ну покажи.

— Никакого письма нету, — оборвал Котляков. — Отстань.

Маня по-своему поняла его резкий тон.

— У нее любовь к тебе? — вкрадчиво промолвила она. — Тогда другое дело. Таких писем не читают.

Василия взорвало.

— Любовь! Любовь! — огрызнулся он. — Тебе бы только любиться! Отстань, тебе говорят! Много ты понимаешь!

Маня вдруг побледнела. С открытым ртом и немигающими глазами она замерла перед Котляковым, оскорбленная, возмущенная, недоумевающая. Он вожак, но за что он так грубо кричит на нее, когда она только что... только что... Слезы покатались у нее из глаз.

Василию стало стыдно. Он промолвил отрывисто:

— Извини, Манечка! Не на тебя злоба, а вырвалась на тебя.

— Я понимаю, — сказала Маня обрывающимся голосом, — я не обижаюсь...

И тут Маня, не в силах больше сдержаться, бросилась, отвернувшись от Василия, на кровать и горько зарыдала. Волосы рассыпались по ее вздрагивающим плечам.

«Все-таки нельзя, чтобы девушки воевали», — подумал Василий, а сердце его щемило от жалости.

— Маня, — сказал он спокойно, как старший, — брось плакать. Потом, после войны, поплачешь разом обо всем, а сейчас нельзя, не такое время.

Маня не подымала головы, но плечи ее перестали вздрагивать.

— Ты замечательная, храбрая, хорошая девушка, — продолжал Котляков, — ты лучше всех девушек, каких я видел, тебе будет большое счастье в жизни. — «Как цыганка гадаю», — подумал он. Он не жалел самых ласковых слов, лишь бы она успокоилась. — Ты исключительная девушка, — говорил он. — Но ты не плачь. Ты знай, что бывает так, что лучше не заговаривать с нами, мужиками, мы — грубые, надо видеть, когда мы в грубом настроении, и не подходить. Я не со зла на тебя, а от других мыслей крикнул. Я тебя как лучшего товарища люблю.

Маня при этом слове подняла голову. Заплаканное лицо ее немножко просветлело.

— Тебя все любят, — говорил Котляков, — но будут еще грубить тебе, не раз будут грубить. Потому что мы — мужики, мы — грубые.

— Ты не грубый, — смилостивилась Маня. — Это я не вовремя к тебе пристала, я виновата.

Котляков присел на подоконник и заговорил:

— Нам нельзя быть слабыми. Слабых они бьют, а сильных остерегаются, такая уж у них сволочная повадка. Помнишь немцев? Чуть мы показали силу, так они и пошли на мир. Нам не нужна война, но на обе лопатки не ложимся, обороняем нашу Россию и Советскую власть. Будем бить и бить всех, кто полезет на нас. Я хочу тебе, Маня, разъяснить, что если кто из нас тебе сгубит, то ты на свой счет не относи, ты пойми, что это значит — сила бродит в душе. Сама же это по себе знаешь. Ты нас не размягчай, ты же сама все понимаешь. Надо держаться крепко, и любовь, как бы сказать, приходится зажимать.

— Я понимаю, — сказала Маня.

— Ты пойми сердцем, — отвечал Котляков. — А то опять я не замечу, как обижу, а ты — опять в слезы. Я тебе прямо скажу — не могу видеть, когда плачет своя девушка. Чувствую растерянность, а это — нельзя.

— Я больше не буду плакать, — отозвалась утешенная Маня. — При тебе не буду, — поправилась она для честности.

— Ну смотри, — предупредил Котляков, — обещала — так уж держи слово. А если что тебе покажется обидным — говори без слез, как командиру. Не бойсь, выслушаю внимательно. Если что верно — то поправим, защитим. Давай по-товарищески, а слезы — это такой довод, что слабеешь. Нельзя.

— Ты умнее Вити, — задумчиво промолвила Маня. — Ты все думаешь, думаешь — и эти книжки, наверное, поймешь.

— Эти книжки понять не мудрено, — отвечал Котляков. — Это, как бы сказать, первоначальные книжки, школьные. А вот попал я однажды ненароком на лекцию этого самого профессора, к которому Катюша ходила за ними, и ничего не понял. Ничего. А все его слова запомнил, хоть сейчас повторю.

— Повтори, — заинтересовалась Маня.

— Вот, пожалуйста, и повторю. Слушай. — И он начал: — «Итак, по выводу Ньютона оказалось, что величина сопротивления, производимого жидкостью на тело вращения, пропорциональна квадрату скорости...» — ну и так далее... — оборвал он.

Маня, помолчав, робко спросила:

— И тебе непонятно? Сам не понимаешь, что говоришь?

— Сам не понимаю, что говорю, — грустно подтвердил Василий.

Маня опять помолчала.

— А я тебе вот что скажу, — начала она вдруг с обычным своим оживлением, — вот мы всех врагов победим, и ты все, все поймешь, ты будешь инженер, профессор — всем это известно, про тебя так все и говорят, — ты всему научишься. Я того, что ты сказал, никогда не пойму, я к этому неспособная, а ты будешь ученый человек, — настойчиво повторила она.

Котлякову было приятно слушать ее, он почему-то верил ей не только как разведчице, но и тогда, когда она что-нибудь предчувствовала. Но он пожал плечами.

— Где уж там! — отозвался он.

— Будешь ученый, инженер, профессор, — упрямо твердила Маня.

— Ладно, — заключил Василий, — там видно будет. Только вот найдет меня вражеская пуля, тут и конец всем учебникам. Вот и надо пока, чтобы величина сопротивления была больше ихнего нападения, — пошутил он, — тогда только они подожмут хвост и перестанут мешаться в наши дела.

— Разрешите, товарищ комиссар? — услышал он вдруг.

Под окном стоял молодой парень с пушком на щеках. Месяца три назад он был совершенно неграмотен, а теперь мог уже и расписаться и по складам прочесть простую книжку — не учебник алгебры, конечно. Это произошло не с ним одним, и не без участия Котлякова. Василий гордился такими переменами на селе.

— Что тебе? — спросил он.

Тот отрапортовал, радостно играя в дисциплину:

— Товарищ комиссар, сложилась обстановка, — это стало его любимым выражением, — неосознательные идут

к пленному, Дарья Кудашова повела, узнали губителя, он тут...

Парень не успел договорить. Котляков сорвался с места и бегом побежал к сарайчику, в котором был Синюшкин. Еще издали он увидел кучку людей и услышал крики:

— Выдавай! А ну наддай!!

Несколько красноармейцев удерживали напивавших на сарай людей, уговаривали:

— Осади. Да ну...

Брани с обеих сторон раздавалось немало. Котляков вскачил перед уже расшатанной дверью сарайчика на сваленные тут бревна.

— Стой! — крикнул он. — Слушай!

— Котляков это, — заговорили вокруг. — Ладно, пусть скажет...

— Убийца живым не будет! — выкрикнул Котляков. — Он и в Питере душегубствовал! Нужен он, чтобы других выловить!

— Как печать оставили? — раздался голос из толпы.

Это сказал Артемов, солидный крестьянин, человек, уважаемый на селе.

Котляков не сразу понял, а поняв, радостно подтвердил:

— Правильно! Чтобы им других припечатывать.

Артемов продвинулся к бревнам, встал на них и загородил Котлякова своей плотной фигурой.

— Расходись, — приказал он негромким голосом. — Я же говорил вам, чтобы не шли. Командую — разойтись и спать. А Дашку под ручки — да тоже на замок. Она с беляками снюхалась.

Он сошел с бревен и объяснил Котлякову:

— Я давно приглядываю за Дашкой. Она не за ягодой ходит в лес, а к ним, к муженьку.

Очевидно, Дарья Кудашова подбивала людей на самосуд над Синюшкиным, чтобы тот не выболтал лишнего, чтобы не выдал и ее. Это тоже было обычное, как и сегодняшняя стычка, дело. В селе вылавливали сообщников бандитских банд. Дарья, отбиваясь, выкрикивала такую брань, какой и мужик постыдится. Муж этой тощей ведьмы, высохшей от злобы, так и не вернулся с войны, и на селе поговаривали, что он уже не унтер, а офицер.

Налеты бандитов учащались. Дороги становились непроезжими для мирных людей. Похоже было, что опять накатывается большая военная волна, от которой рябь идет и по этой волости. После вестей о провокационном убийстве германского посла Мирбаха левыми эсерами и о ярославском мятеже Котляков усилил охрану, проводил ежедневные беседы и разъяснения, сколачивая сильную сельскую группу верных людей.

Августовский выстрел в Москве потряс страну.

Все враждебные силы, тайные и явные, направили злодейский выстрел в Ленина. Ярость народа была ответом на эту попытку поразить революцию в самое сердце. Советское правительство объявило страну военным лагерем.

Часть третья

I

Весна пришла на приморскую землю, изрезанную реками, заболоченную, поросшую лесами, поливаемую дождями. Природа, словно забавляясь, набросала сюда вперемежку, не очень заботясь о порядке, все, что попало под руку, — пески и болота, глину и валуны, кривую березу и мощный дуб, синее озеро и свинцовую реку, змею и рысь, холм и трясину, многоверстный массив мачтовых сосен и тут же — низину с мелким осинником, ельником, березняком. Все это смешалось в диком разнообразии. И море было тут не мирное, дикое, не сестроецкое, не петергофское, не териокское. В штормовые дни седые косматые волны буйно вздымались между Кронштадтом и фортами. Ветры сталкивались здесь так, что тучи в небе при грозах шли навстречу друг другу. В ночных молниях распахивался мрак от горизонта до горизонта. Здесь было вольней, суровей, лесистей, чем в других близких к Питеру местах.

Это была древняя земля новгородских вольных людей, Водская пятина с Ижорским и Спасским посадами, земля многих битв Москвы с иноземцами, земля питерских каменщиков, кирпичников, обжигальщиков. Некогда Швеция, наступив на горло Москве, отбирала здесь русские города Ям, Копорье, Иван-город, чтобы потом, убегая от русских войск, отдать их обратно. И теперь здешние реки вновь стали рубежами обороны от иноземных врагов.

В призрачном блеске майской ночи девятнадцатого года, в тени берез, у самого берега неширокой реки, Василий Котляков говорил Виктору Дремину:

— Народ распустился. Давно не слышали пуль — и нате, забыли, что рядом враг. Надо так подтянуть заста-

вы, чтоб небось очнулись, — да словно кто руки вяжет. Народ не тот прислан.

— Командир — из царских генералов, — коротко ответил Дремин.

— Не в том дело, — отрезал Котляков. — Этот генерал — не как другие. Наш генерал Николаев — честный, я его разглядел. Дело в том, что мы не ходим в разведку к Нарове, решили, что врагу не пройти теми лесными болотами, и успокоились. Дело в том, что заставы растянута так, что вся цепь в дырках — где враг захочет, там и пройдет. Все это я говорил Николаеву, он-то со мной согласен, но армейский штаб тормозит. Здесь, мол, не фронт, а так себе, затычка. Наступать здесь не предполагаем. Боев, мол, нет и не будет. Сегодня-то нет, а что, если завтра нагрянут, сволочи? И почему не погнать их с нашей земли?

— А чего и ждать от царского генерала? — хладнокровно заметил упрямый Дремин.

Котляков нахмурился.

— Заладила сорока Якова. Генерал да генерал, а ты кто таков? Тебя сюда зевать послали? Видишь одного генерала и ничего больше.

Дремин некоторое время молчал, преодолевая обиду, затем проговорил:

— А откуда же идут разговоры в полку? Кто сюда прислал красноармейцами разных лабазников да кулаков, а честных людей убрал? О чем они агитируют? Что враг не нападет. Что отдыхайте и ждите замиренья. Что у какого-то принца на островах американский Вильсон даст мир. От кого все это пошло? Ясно — от генерала.

— А ты слушаешь да кушаешь?

— Да есть такие, что прямо на генерала указывают. Что он так агитирует.

— То-то и есть, что нарочно указывают, а ты веришь. Нет, ты не туда глядишь. Нарочно указывают на честного, тем более повод есть — царский генерал. Наш генерал не изменник, он честный человек.

Дремин смолчал, но ему очень не понравилось, что его друг и вожак так настойчиво защищает царского генерала. Есть все-таки у Васи опасные странности — то похвалит ученого саботажника, то, как теперь, и того пуще — царского генерала.

Котляков тоже молчал, задумавшись. Беспокойство владело им. А вокруг, в весенней светлой ночи, словно таяли кусты и деревья, наводя дремоту, обманывая, усыпляя.

Котляков зимой пришел сюда, на этот вечно мокрый, сырой кусок приморской земли, с вновь сформированным полком, в котором был комиссаром. Полк состоял из верных людей. Но почему-то, из каких-то высших штабных соображений, большинство людей полка распределили по другим частям. Полк рассыпался, в него влились вновь присланные пополнения, засоренные сомнительными людьми, которые в открытую лишнего не болтали, а исподволь, как узнавал Котляков, вели подозрительные разговоры. Словно кто нарочно хотел перекрасить полк в другой цвет, вселить в него чужую душу.

— Ты все о генерале, — вновь заговорил Котляков с горечью. — А о нашем командире полка молчишь? Он, может быть, тоже генерал? Он — из солдат, из рабочих, у него три сына в Красной Армии, мы с ним еще с брестских времен, — а что он делает? «Дисциплина! Штабу видней!..» — передразнил он. — Чуть я к нему — так он свысока: «мячик-горячик», «сосунок», и пошел, и пошел. А сосунок он сам, хоть и любит вспоминать, как у озера Нарочь из него кровь ручьем лилась. Приложился к штабной груди — и не оторвешь. Верит, как солдат, всякому военному начальству, потому что, мол, сейчас не при царе, верит громким словам и не видит правды.

Дремин не отозвался на эти слова, только стал еще сумрачней.

— Молчишь? — усмехнулся Василий. — То-то же. Конечно, неприятно признать, что виноват свой брат рабочий, веселей свалить все на царского генерала. Севастьянов бьется в штабе с бывшими офицерами и прямо называет среди честных Николаева, а уж он не ошибется. Очень трудное положение. Севастьянову нельзя оставить бригаду. Короче — если я уеду на день в Питер и оставлю тебя комиссарить в полку, ты не начудишь? Кроме тебя, никого нету, чтобы заменить.

Дремин хмуро отвечал:

— Поезжай. Сработаю по-твоему.

— Тут, на месте, ничего не переделаешь, — продолжал успокоенно Котляков. — Севастьянов прямо поручил мне передать донесение в Питер. Значит, сговорились? Бери

вожжи в руки и держи крепко. Помнишь, что сказал Ильич? Ильич сказал: «Все силы международных капиталистов хотят нам дать этой весной последний бой». Куда же годится вся эта беспечность на питерском фронте? Не я один тревожусь, многие говорят, да и генерал тоже недоволен. Не добьюсь толку в Питере — обратимся в Москву.

За последний год Котляков только раза два бывал в Петрограде по делам — на день или два. Ему трудно было обосновать свое ощущение, но он чувствовал, что в родном городе тоже что-то неладно, что враги затаились, спрятались под суровой одеждой полупустых домов, заражая жизнь трупным ядом. Нет, не все буржуи разбежались. Бывало, что мимо Василия проходил какой-нибудь человек в затрепанной шинели или в овчинном полушубке, и вдруг что-то Василию чудилось в нем такое, что он останавливался и глядел вслед с сомнением. Может быть, переодетый белогвардеец? Переодеться врагу просто. Котляков предпочитал уже откровенных ворчунов, которые брюзжали и ругались, волоча санки с досками из разломанных заборов или сгибаясь под котомками с мороженой кониной, роскошью девятнадцатого года.

В этот свой приезд Котляков с особенной настороженностью приглядывался к встречным.

Прямо с вокзала он направился в штаб.

В том состоянии, в каком он находился, все казалось ему подозрительным. Даже какая-то женщина с кошелькой вызвала сомнение: вот в такой кошелке легко пронести любые шпионские сводки. Он пристально всматривался в женщину, а та вдруг обрадованно пошла к нему:

— Узнали? Да ведь раз либо два только и виделись. Как моя Манечка? Все глаза по ней выплакала. Отец-то у нее на войне, в Сибири, а я одна тут, уборщицей...

Это была тетка Манечки Колесниковой.

Смешное происшествие. Котляков успокоил тетку насчет Мани и уже веселей двинулся дальше.

В штабе его принял толстогубый детина с большим лицом, таким полным и румяным, словно не было голода в Петрограде. Он говорил властно и никаких возражений не допускал. Его фамилия была немножко знакома Василию, она несколько раз промелькнула в газе-

тах. Но истинная фамилия штабиста — Шкуропатов — была неизвестна Котлякову. Шкуропатов к этому времени, удачно изобразив возмущение убийством Мирбаха и разделившись с левыми эсерами, стал видным военным чином.

Шкуропатов с первых же слов Котлякова оборвал его:

— Никаких дискуссий по военным приказам не допущу. С нашей вышки видней, чем из вашего угла. Мы видим весь фронт и поступаем так, как требуют интересы революционной войны. Не спорить, а проводить наши приказы вы обязаны. Будете разваливать дисциплину — отправлю в ревтрибунал, нам таких военкомов не нужно. Не воображайте, что, где вы, там главный участок фронта. На ваших болотах боев нет и не будет. Если еще раз услышу подобные жалобы — под расстрел! Так и передайте Севастьянову.

И этот огромный детина указал на дверь. Он прогнал Василия. И снова подозрения овладели Котляковым. Когда он шел на Выборгскую сторону по пустынным улицам голодного Петрограда, он обратил внимание у Литейного моста на двух людей. Оба были одеты по-пролетарски, в простых пальто, но с подозрительной поспешностью подались в сторону от Котлякова. «Что за чертовщина!» — подумал Василий.

«Нервы», — думал он, идя через мост, с детства знакомый, многолюдный, а теперь пустынный, без звона трамваев и шума голосов. Он уговаривал себя, он веселил себя происшествием с Манечкиной теткой, но мрак опять обволакивал душу в этот ясный весенний день. Тяжко чувствовать надвигающуюся опасность, верить этому своему чувству, понимать всей кровью, что опасность есть, и большая, и не знать, в чем дело, что грозит и откуда, из какого угла. Ему представилось вдруг, что толстогубый детина — враг, но разве это возможно? Не может же враг забраться так высоко!..

Почему-то вспомнился Синюшкин. Как ни старался Василий доставить преступника в сохранности в Питер, а все же в дороге Синюшкин был убит. И не где-нибудь в лесу, а уже на станции. Выстрел из кустов — и вместе с этим мерзавцем погибли важные, может быть, сведения. Котляков ругал себя за то, что не допросил Синюшкина как следует. Неопытность. Да и опасно было

держат Синюшкина даже и день в деревне, не одна же Дарья Кудашова науськивала на него.

Никогда еще Василию не было так тяжело. Когда он появился в заводской сторожке, радостное восклицание Марьи Кузьминишны так и оборвалось.

— Что с тобой, Васенька? — тихо спросила она.

Василий вынул из сумки свой паек и положил на стол, проговорив:

— Возьми, мама, не спорь.

Он и поздороваться забыл.

Марья Кузьминишна даже не взглянула на хлеб и кульки.

— Я на минутку, — сказал Василий. — Сегодня обратно на фронт. Ты не беспокойся. Фронт тихий. Не война, а отдых.

Но его вид опровергал эти слова.

Он поцеловал мать.

— До свиданья. — Он никогда не говорил «прощай», она по суеверию этого не выносила. — Скоро, может быть, опять приеду.

— А Катюши нету, — попыталась удержать его Марья Кузьминишна. — Она на Красной улице, на курсах. Может, вернется сейчас.

— А! Катюша! — Василий хотел изобразить интерес к девушке. — Ну как она? Да, передай спасибо ей за книжки. И дядю Яшу поцелуй.

— Она комсомолкой, — продолжала Марья Кузьминишна. — На курсах занимается.

— Очень хорошо. Ну, до свиданья.

Когда он вышел, Марья Кузьминишна, подавленная, опустилась на табурет. Конечно, Васенька и раньше бывал невнимателен, но таким она еще никогда его не видела. Разве нужен ей этот хлеб? Да тьфу! Что такое с Васенькой?..

Василий чуть ли не бегом спешил к Ивану Фомичу. Для чего? Да просто посоветоваться. Так и Севастьянов велел на случай неудачи в штабе.

У дома, где помещался райком, его окликнул какой-то паренек в солдатской гимнастерке:

— Ты куда такой бешеный?

— А?

Котляков узнал Колю Смирнова, с которым не видался со времени учредилки.

— Погоди, мне срочно, я с фронта.

— Нет, ты погоди. — Смирнов крепко ухватил его за руку. — Не бесись.

— Оставь! — Василий вырвал руку. — У меня минуты на счету.

— Врешь! Не один ты бегаешь по Смольному да по райкомам. Видали таких.

— А что? — Василий обернулся к нему. — Ты что-нибудь знаешь?

— Все знаю. Знаю, что если ты такой влетишь к Ивану Фомичу, так толку от тебя не будет. Только напутаешь. Уже когда-когда, а сейчас нечего пороть горячку.

Василий вдруг увидел, что пустой левый рукав приколот у товарища к гимнастерке. Он начал:

— Ты...

— Как видишь, царапнуло немножко. — Пареньку не изменял насмешливый тон. — Я сюда с Путиловского, контактуюсь по старой памяти. А ты, Вася, похладнокровней, руками не маши. Не то время.

— Пойдем, Коля, — сказала вдруг худенькая чернявая девушка в шинели и ушанке, как у Мани, стоявшая тут же у стены. — Ты же видишь, что он и разговаривать с тобой не хочет.

Василий оглянулся на нее, Смирнов объяснил:

— Моя жинка. Тоже с фронта. Из политотдела. Завтра обратно.

Василий наконец опомнился. Он схватил паренька за здоровое плечо.

— Друг сердечный! Ты!

— Он самый собственной персоной. Олечка, — прибавил он, — подай дяденьке ручку, дяденька уже не злой.

Олечка сунула свою руку лопаткой. Она, видно, очень рассердилась на Василия.

— Ты ее раз видел, в Таврическом, она тогда была Олечка Воронеж, а теперь комсомолка, — говорил Смирнов.

— А! — Никакой Олечки Воронеж Василий не помнил. — Как же... Да...

— Послушай, — серьезно сказал Смирнов. — Горячка — это еще куда-куда, а вот паника — это плохо. Поправь пояс.

— Ладно, — улыбнулся Василий. — Угомонил. Простите, — обратился он к молоденькой жене Смирнова. — Я сегодня не в себе.

Та отозвалась резковато:

— Это я и сама вижу. Только, может быть, как раз в себе?

Смирнов критическим взглядом оглядел Василия.

— Теперь, кажется, можно тебя и отпустить. А то ведь прямо жалко видеть, как налетают на Ивана Фомича. Ведь он тоже человек, переживает. Он-то ни в чем не виноват, делает что может, но в городе-то да на фронте он не хозяин, большой власти нету.

— Хозяин — рабочий класс, — сказал Василий.

— Вот за это спасибо, — отозвался Смирнов. — Этой последней новости я еще не знал. Пойду сообщу на Путиловский. Вот ребята обрадуются!

— Послушай, — сказал Василий. — Я веду себя не так, но ведь беда не ждет! — воскликнул он. — Тут секунды терять нельзя.

— А знаешь военное правило? При панике отойди в сторонку, возьми картошку да ножичек и режь две минуты подряд. А затем действуй. Борьба идет внутри, раскапываем врага у себя, вот что. Не такое уж это простое дело. Борьба есть борьба, борьба и крови просит.

Он имел право сказать это со своим пустым рукавом.

— Ты прав, — согласился Василий. — Но мое сообщение, может быть, полезно будет Ивану Фомичу. Меня послал Севастьянов.

— В штабе был?

— Да.

Василий ничего не добавил к этому короткому «да».

— Теперь понятно, — серьезно ответил Смирнов. — Может быть, значит, и я немножко виноват. Надо было сообразить, что ты из штаба, если такой. Тогда иди, иди к Ивану Фомичу. Только похладнокровней.

«А ведь она меня никогда не простит», — подумал Василий, прощаясь с женой Смирнова. Он не обнаружил никакого внимания к ее мужу, потерявшему руку, он не мог вспомнить ее (а теперь смутно вспомнил) и не оценил ни ее превращения в комсомолку, ни ее любви... Впервые у него мелькнула мысль, что он может

производить пренеприятное впечатление человека грубого и равнодушного к другим. Ведь вот он даже не поблагодарил Катюшу за книжки, хотел написать письмо, да, поругавшись с Маней, забыл и не написал. Одна только мать все ему прощает, а другие — нет. Ведь вот Смирнов позаботился же и о нем и об Иване Фомиче...

Он явился к Ивану Фомичу спокойный, совершенно владея собой. Старый оружейник ругался с человеком, в котором Котляков сразу же признал Розина, даже фамилию вспомнил. Вот таких он почему-то запоминает.

— Не могу! — мотал головой Иван Фомич, и борода его развевалась. — Совнархоз запрошу, Москву запрошу, а до того не стану оголять Питер! Из Москвы пусть скажут заводам!

— Я передаю вам приказ... Вот мой мандат... Я уполномоченный...

Розин совал Ивану Фомичу какие-то бумаги, но тот даже не поглядел на них.

— Мобилизоваться всем — это да, а прикрыть заводы да по домам или бежать — это нет! — повторял Иван Фомич. — Так и передайте! Рабочий класс на себя руки не наложит! И без того довольно вокруг катов, чтоб на дыбу потянуть! Нет и нет! Пожалуйста.

Он указал на дверь и увидел Котлякова.

— Ко мне?

— На денек с фронта.

Да, грешно было бы налетать на Ивана Фомича в том состоянии, из которого, спасибо, вывел Смирнов.

Розин обратился к Василию:

— Вот фронтовой товарищ скажет, можно ли не подчиняться приказу?

— Вашему? — ответил Василий. — Можно. Ваш приказ «ни войны, ни мира» стоил нам кровушки.

Розин уставился на Котлякова своими выпученными глазами и пошел прочь. С порога обернулся:

— Вы еще ответите за все это!

Он хлопнул дверью.

— Расшумелся, — сказал Иван Фомич. — Эх, Вася, Вася! Много еще всякой сволочи!

— На фронте тоже пахнет изменой.

Иван Фомич сумрачно, из-под насупленных бровей, глянул на него.

— Донесение Севастьянова я передал, как приказано, в штаб, — продолжал Котляков. — Но помню его назусть.

— Садись, запиши, — сказал Иван Фомич. — Мы всё шлем прямо в Москву. Пиши. Эх, дожили! — воскликнул старик горько. — С собственным штабом бо-ремся!

II

Те двое, которых Василий Котляков встретил по дороге к заводу, сразу после того, как Котляков зыркнул на них своими бешеными глазами, свернули в подворотню, и один сказал другому тоном приказа:

— Нам нельзя вместе показываться на улицах.

Другой ответил послушно:

— Хорошо. Я не возражаю.

Роли временно переменились — Келдов приказывал, Эве Бэлл подчинялся. Келдов был уже русским механиком на одном из действующих заводов, а Эве Бэлл — нейтральным иностранцем. С таким драгоценным человеком, каким оказался этот английский Келдов, Эве Бэлл стал не просто вежлив, но даже почтителен. Он бы никак не мог играть так искусно роль русского рабочего.

— От вас так и несет буржуазным духом, — говорил, усмехаясь, англичанин.

В том-то и дело, что Эве Бэлл никак не способен был выговаривать естественным голосом такие слова, как «буржуазный дух», «акулы империализма» и прочее, это было невозможно для него, а Келдов, как и Шкуропяттов, совершенно свободно оперировал не только этими, но и более сложными и страшными понятиями. Он отлично владел революционной фразеологией. Он даже мог поносить Антанту, словно был действительно пролетарием, рабочим, чекистом. Эве Бэлл изумлялся этому хитрому умению, восхищался наукой английской разведки.

Тут же, во дворе, они расстались, и Эве Бэлл один вернулся в свое нейтральное посольство. Его ждало здесь неожиданное сообщение — сам Мердер приказывал ему немедленно ехать в Париж.

Эве Бэлл отправился в далекий путь.

От пограничной станции до Гельсингфорса, от Стокгольма до Парижа Эве Бэлл осаждали репортеры. Требовались свежие рассказы о «большевистских зверствах». Но Эве Бэлл таинственно молчал в ответ на все вопросы или отделивался загадочными фразами, которые можно было понять и так, и сяк, и как угодно.

В Стокгольме Эве Бэлл был встречен своей женой; она преклонялась перед его величием и героизмом. Эве Бэлл и сам чувствовал себя героем. Он явился в Париж гордым и высокомерным, словно все ценности, закупленные им в России, уже принадлежали ему, а не числились только в актах, сложенных им в стальной ящик и зарытых в русской земле.

Он приехал в дни Версальской конференции, когда уже готов был поход «четырнадцати государств» на Россию.

С императорской Германией было покончено. Подкошенная Россией, она была добита Антантой еще в прошлом году. Но пока маршал Фош в Компьенском лесу диктовал германским генералам условия капитуляции, немецкий народ, воодушевленный русской революцией, восстал, и 9 ноября высокий господин в цилиндре, пряча лицо в поднятый воротник пальто, вскочил в отходящий с Потсдамского вокзала поезд и, только переехав границу Голландии, вздохнул свободно. Это был Вильгельм II. Ветер революции дул на запад.

Германские лакеи в генеральских мундирах угодливо толпились в европейских приемных с предложением своих услуг по уничтожению большевизма. 15 января 1919 года, за три дня до официального открытия мирной конференции, на улице Берлина от внезапного удара прикладом по голове упал, обливаясь кровью, герой германской революции Карл Либкнехт. Брошенный в автомобиль руками палачей, он был пристрелен в Тиргартене. В тот же день пуля убийцы пронзила голову Розы Люксембург, и тело ее кинули в угрюмые воды берлинского канала. Германские каратели, кланяясь, доложили своим новым хозяевам о кровавой услуге, и победители тотчас же сняли с Германии обязательство о немедленной выдаче сельскохозяйственных машин — пусть послушные убийцы укрепят хлебом свою власть в Германии.

Покончив с потерпевшей поражение Германией, Версальская конференция принялась за дележ непобежденной России. В великолепном зеркальном зале Версальского дворца дрались за недостижимые богатства. «Русский вопрос» стал центральным вопросом, и Эве Бэлл полагал, что он по праву должен быть теперь одним из центральных людей. Невесть что воображалось ему в честолюбивых мечтах.

На следующее же после приезда в Париж утро Эве Бэлл отправился к Мердеру, не сомневаясь в том, что будет принят тотчас же.

Походкой сановника, высоко держа победную голову, он прошел по коврам и коврикам в приемную банкира. Но тут секретарь, холодный как зима, предложил ему обождать, и три часа подряд Эве Бэлл следил, как неведомые ему посетители проходили к Мердеру, после чего секретарь сказал ему, что господин Мердер занят и предлагает явиться завтра к такому-то часу.

Эве Бэлл, оскорбленный, удалился, но обижаться на власть миллионов нельзя, и он пришел на следующий день. Прождав три с половиной часа, он опять выслушал от ледяного секретаря, что сегодня господин Мердер не может его принять.

В третий свой визит Эве Бэлл ждал четыре часа, после чего секретарь заморозил его все тем же стандартным вызовом на следующий день. Это повторялось шесть раз подряд. На седьмой день, явившись в приемную банкира, Эве Бэлл чувствовал себя уже жалким просителем, вся жизнь которого зависит от могучего владыки. В конце концов, бумаги в стальном ящике были только его надеждой, а реальные деньги ему давал Мердер, — Эве Бэлл, как человек дела, понимал это. Он осунулся, в глазах его появился тревожный блеск, его деятельность в России представлялась ему уже полной неудач и ошибок. Приволжские восстания не удались, все заговоры срывались... О чем он будет докладывать Мердеру?.. После пяти часов ожидания он был прогнан и только на следующее утро наконец принят Мердером.

Банкир восседал за огромным письменным столом. Все было огромно в его кабинете — шкафы, сейф, кресла без инкрустаций. Сам банкир был тоже огромен — широкоплечий великан, похожий на зажиревшего атле-

та, с бычьим лицом, над которым лежала сивая грива волос. Бэлл, чувствуя себя пигмеем в этой обширной, высокой комнате, ждал, когда ему подадут руку и пригласят сесть. Он ждал несколько минут, ему показалось — вечность. Наконец банкир, отложив дописанное письмо, взглянул на Бэлла и молча указал на стул. Эве Бэлл сел, но не решился заложить ногу на ногу.

Мердер раскрыл свою записную книжку в простом кожаном переплете, — он пользовался самыми обыкновенными письменными принадлежностями, что с восхищением отмечалось газетами как подлинно демократическая черта. Перелистывая книжечку, банкир ровным, без интонаций, голосом начал:

— На русские дела отпущены следующие суммы...

Он называл только фамилии и суммы, больше ничего. Список был длинный. Чем дальше читал Мердер, тем катастрофичнее представлялось Эве Бэллу положение в России. Голос банкира гипнотизировал его, ему казалось уже, что это он виновен в провале всех попыток свергнуть большевиков. Когда Мердер подвел общий итог безвозвратно пропавших денег, Эве Бэлл был уничтожен, тем более что некоторая часть этих сумм шла через него. Он испытывал и страх перед возможной карой, и подлинное горе — он оплакивал погибшие доллары, как люди оплакивают погибших людей.

Мердер, захлопнув свою книжечку, взглянул на Эве Бэлла совиными глазами и, не дав ему и слова сказать в ответ, приказал явиться завтра в десять часов утра.

Эве Бэлл, потрясенный, вышел на шумный парижский бульвар. Со всех сторон неслась музыка. Париж веселился, танцевал, на всех углах, на скамьях, у стен целовались парочки. Пьяная волна разливалась по Парижу все эти недели, офицеров и солдат поили, чествовали, обнимали, целовали, как спасителей. Мир! Версальский мир! Не будет больше крови! И вдруг Эве Бэлл испугался — что, если всерьез замышляется мир и с большевистской Россией? Что, если его ставка бита? Он видел однажды, как в толчки выкидывали с биржи обанкротившегося игрока. Внезапное падение акций сделало в каких-нибудь несколько минут нищим этого богатого человека, полного мужчину лет сорока, мужа прелестной жены и отца троих детей. Еще утром он был горд и важен, а теперь стоявший рядом с ним маклер

с огромными усами, еще утром его приятель, пихнул его в бок так, что банкрот попал в объятия к другому биржевику. Тот толкнул его дальше, и так до самых дверей, под смех и шутки бывших друзей и знакомых, бросали обанкротившегося неудачника, пока наконец не выкинули на улицу с оторванным рукавом, развязавшимся галстуком, багрово-красного, но покорного, знающего, что он заслужил позор.

Эве Бэлл видел эту сцену очень давно, в отроческие годы, но запомнил на всю жизнь. Нет ничего постыдней неудачи. Жалости к неудачнику нет. Он сам презирал неудачников. Он сам никого никогда не жалел. Но сейчас ему грозила участь банкрота. Мердер завтра выкинет его на улицу. В сорок лет ему придется начинать жизнь заново, с мелких спекуляций, и никогда больше он не добьется доверия крупных фирм, навсегда он останется скомпрометированным.

Эве Бэлл снял шляпу и отер пот со лба. Надо одолеть судьбу. Еще не все потеряно. Надо призвать на помощь все хладнокровие, весь опыт, все знания и вступить в борьбу за себя. Борьба за себя, только за себя и ни за кого больше — высшее, священное достижение культуры. Эве Бэлл почувствовал прилив вдохновения. Он будет думать, думать, думать — и завтра явится к Мердеру во всеоружии, до последних деталей определив свое поведение.

III

Мердер, как и Эве Бэлл, в давние времена избрал для своего обогащения Россию. Родившись в Германии, он стал русским банкиром в Петербурге, а в годы войны объединил свои действия с петербургским отделением моргановского банка. Он связал свою судьбу с судьбой Моргана, и выигрыш последовал за выигрышем.

Он приехал в Париж наблюдателем от Моргана. Русские дела раздражали его. Он был недоволен Эве Бэллом. О чванливом поведении Бэлла в дороге ему докладывали каждый день, и Мердер злился все больше и больше. Ему хотелось сразу же прогнать неспособного слугу, но он сдержал свой гнев и решил сначала послушать, что тот скажет в свое оправдание. Прочтя список погибших миллионов, он тотчас же отпу-

стил агента, чтобы не совершить необдуманного поступка. На следующий день он применил тактику стремительного натиска, чтобы сразу же вызвать Эве Бэлл, который, конечно, будет хитрить, на полную откровенность. Чуть только Эве Бэлл шагнул в комнату, он, выходясь над письменным столом всей своей массивной фигурой, свирепо крикнул ему:

— К черту такого агента, как вы!

Эве Бэлл незамедлительно выбросил главный свой козырь:

— Большевики очень сильны, господин Мердер. С ними быстро никто не кончит.

Рукопожатия не было. Не было даже простого «здравствуйте». Они стояли друг против друга без улыбки — огромный банкир и небольшого роста коммерсант.

Мердер рывкнул:

— Не большевики сильны, а вы трус и тряпка!

— Большевиков труднее победить, чем Германию, — упрямо возразил Эве Бэлл. Он шел ва-банк, как и тогда, когда решил остаться после Октября в большевистской России.

— Они были, — Мердер подчеркнул слово «были», — сильны немецкими деньгами. Германии больше нет теперь. Большевики держат власть террором, резней, бойней. Вы ни к черту не годитесь, — повторил он.

— Нет, — смело отвечал борющийся за свою жизнь Эве Бэлл. — Большевики не устраивают ни резни, ни бойни. Когда большевики взяли власть, то в городе настал значительно больший порядок, чем до того. А германские деньги — ложь русских беглецов, нужная для пропаганды среди дураков, но ненужная деловым людям. Большевики — очень серьезная и сильная организация. Большевики без армии организовались в один день, остановили и победили великолепно оснащенную армию Германии. Это было в феврале прошлого года, когда большевики были еще очень слабы. Теперь они значительно сильнее. Они заразили своей доктриной германских солдат и отбросили условия мира в Бресте. Их победы не случайны. Я знаю большевиков. Я приехал не для того, чтобы обманывать себя и вас.

Мердер пристально глянул на Эве Бэлл, и тот понял, что его тщательно обдуманная комбинация сулит

выигрыш. Надо, конечно, как это ни страшно, возвеличивать силу большевиков.

— Германию победили мы, а не большевики, — сказал Мердер. — И мы победим большевиков. Я имею лучших агентов, чем вы, я найду тысячи более способных агентов, чем вы.

— Война с большевиками потребует еще очень больших затрат, — сказал Эве Бэлл, совершенно игнорируя ругань и угрозы банкира, — но обычного типа война может не дать результатов. Не я решаю, есть ли смысл идти на дальнейшие расходы. Я хорошо знаю большевиков и Россию, — повторил он. — Если мои знания нужны, то я готов к услугам.

— Я не нуждаюсь в услугах человека, который считает, что большевики сильнее всех.

— Большевики заражают своим ядом наших солдат. Среди наших солдат в России — брожение.

— Вы стали большевиком в России, — сказал Мердер. — К черту!

Это было поразительно глупо. Эве Бэлл едва удержался от усмешки, хотя понимал, что стоит только Мердеру нажать кнопку звонка, и ледяной секретарь выбросит негодного агента вон. Но Мердер не вызывал секретаря, и Эве Бэлл был почему-то теперь уверен, что и не вызовет. Эве Бэллом владело спокойствие вдохновения. Он ощущал сейчас громадное преимущество перед банкиром, — он пробыл больше года в большевистской России, он знал ее, он сейчас был бесспорно умней своего собеседника. И он отвечал:

— Как человек дела, я обязан правильно оценивать силу противника, чтобы рассчитать необходимые средства для победы над ним. Я только выполняю свою обязанность. Большевики опираются на русский народ и на все народы, населяющие Россию. Большевики, как никто в мире, умеют организовать народ. Русский народ ненавидит нашу войну, но страшен в обороне своей страны от нападений. Русский неистовый патриотизм должен быть оценен высоко. Я считаю нечестным обманывать вас. Я знаю большевиков, — вновь повторил он.

Банкир внимательно слушал, нагнув по-бычьей голову. Затем указал Эве Бэллу на кресло и сам сел.

Эве Бэлл, удобно уместившись в кресле, положил ногу на ногу. Он больше не боялся Мердера. Тот, видно,

тоже почувствовал в своем агенте силу опыта и знаний и слегка изменил тон.

— Вам посылались материалы для пропаганды, — проговорил он.

— Они не годятся для России. Большевики постоянно, ежедневно объясняют народу в прессе и на собраниях, чего они добиваются. Они объясняют, что всеми попытками свалить Советскую власть руководят миллиардеры. Большевики считают демократией только власть народа. Пропаганда большевиков организована изумительно. Она имеет громадный успех в России.

— Вы не боролись против нее.

— Большевицкая пропаганда выражает желания масс. Против нее невозможно бороться при помощи тех материалов, которые я получал. Против фактов нельзя бороться словами. Большевики разоблачают нашу пропаганду посредством фактов. Они убедительно доказывают, что мы говорим о мире, стремясь к завоеваниям. Русские не хотят завоевывать чужие страны, и никакие завоевания не могут встретить сочувствия в русском народе. Русские ненавидят коммерческую войну и любят Россию, как дети — мать. Легче вбить гвоздь в цементную глыбу, чем вдолбить здравую европейскую мысль в голову русского оборванца. Я никогда не видал большей ненависти, чем та, которую питают эти субъекты, составляющие большинство населения России, к капиталистическому классу. Они готовы обороняться и без оружия, голыми руками. Истребить этих фанатиков Маркса и Ленина будет очень трудно. А их надо именно истреблять. Я читал о партизанах во времена наполеоновского похода в Россию. Это было страшно. Сейчас тоже возникают целые армии из партизан.

— Вы хотите сказать, что у нас нет опоры в России? — спросил Мердер.

Это был уже вопрос, а не утверждение. Мердер спрашивал, и это доказывало победу комбинации Эве Бэлла. Он ответил:

— Наша опора — богатый класс России, в большинстве невежественный, даже неграмотный, что очень хорошо, но достаточно жадный и ненавидящий большевиков. Мы можем опираться также на образованных людей, оставшихся на службе богатого класса, и на

дураков, которые не понимают своих интересов и по привычке жмутся к прежним хозяевам.

— Все образованные люди — против большевиков?

— Нет. Многие служат большевикам.

— Этого не может быть. Мы заплатим им больше, чем большевики.

— Многие образованные люди в России ставят идею выше денег. Россия — своеобразная страна. Там господствуют странные и мятежные доктрины, выросшие на нищете в течение столетий. Они чужды культурному миру, но должны быть приняты во внимание в предстоящей борьбе.

— Надо разоблачить правителей, опубликовать их доходы, доказать, что они грабят народное добро.

— У правителей нет доходов. Большевистские руководители заботятся не о личном обогащении, а о пользе для государства и нищего народа. Я выяснял. У Ленина и его друзей нет ни денег в банке, ни имущества, ни земельных владений. Большевики ничего не взяли в стране лично для себя.

— В этом их слабость. Нищета никому никогда не помогала.

— Они не нищие.

— Я вас не понимаю. Не богатые и не нищие. Кто же они?

— Их доктрина отрицает законные прибыли владельцев предприятий и большие земельные владения. Их доктрина не отрицает денежного обращения, но отрицает власть денег. Их доктрина переворачивает все нормальные представления здравомыслящих людей о жизни и ставит нищих во главе государства, дает власть нищим над богатыми. Я прочел много их статей и книг. Это чудовищно.

— И миллионы культурных людей не могут опровергнуть эту сумасшедшую чепуху! — возмутился Мердер. — Я тоже много знаю. Они прогнали владельцев заводов и фабрик, они прогнали крупных землевладельцев! Без владельцев нету заводов, как нет армии без генералов!

— Они выбрали свои комитеты, и многие заводы у них работают.

— Я вижу, что вы хорошо изучили обстановку.

Это была первая похвальная реплика Мердера.

Эве Бэлл ответил:

— Я старался только добросовестно выполнять свои обязанности. Их газеты пишут правду о положении дел.

Мердер буркнул:

— Я не могу читать их газеты. Европе грозят новые монголы.

Эве Бэлл заметил:

— Я слышал, что большевистская пропаганда имеет успех и в Америке. Я слышал о многотысячных митингах в Чикаго и других городах. — И он вернулся к первоначальным обвинениям Мердера: — После этого не следует удивляться нашим неудачам в России и обвинять в них отдельных миссионеров культуры, таких, как я.

Мердер соблаговолил улыбнуться. И, что было совершенно необыкновенно для столь могучего человека, он почти извинился:

— Мне дали неверные сведения о вас.

Помолчав, он спросил:

— Вы работаете с английским разведчиком?

— Да, — подтвердил Эве Бэлл. Он, вспомнив Келдова, понял, что Мердер опасается перехода его на английскую службу. Он понял также, что этот выход, в сущности, и давал ему спокойствие в сегодняшней беседе. Действительно, чего он боялся вчера? Как все-таки принижает человека привычка к определенному хозяину! Если б Мердер выгнал его, то его приняли бы в объятия Англия, Франция, Япония — любая страна. Везде нужны его знания, его опыт. А какая страна платит, какой стране служить — не все ли равно! Важны деньги.

— Английская разведка работает и после Локкарта? — осведомился Мердер.

— Конечно, — опять коротко ответил Эве Бэлл.

— У вас какой паспорт? — спросил Мердер.

— Нейтральный.

— Вы об этом не сообщали.

— Не хотел затруднять вас мелочами. У меня паспорта нескольких государств.

Что-то вроде уважения мелькнуло в глазах банкира. Перед ним сидел незаурядный человек.

— Ваши соображения на будущее? — спросил он.

И тут Эве Бэлл обеспечил себя и на тот случай, если

открытая война против большевиков будет проиграна. У него был дальний прицел, когда он ответил:

— Главная война — подрыв России изнутри. Террористические акты, диверсии, шпионаж, поддержка богатого класса, подкуп образованных людей и колеблющихся. Подрывная война, а в то же время, по возможности, и война открытая. Это займет много времени и потребует больших средств.

— В этом ничего нового нет, — сказал Мердер. — Старая английская система.

— В некоторых отношениях следует поучиться у Англии. Я убедился в этом в России.

— Ничего нового, — повторил Мердер. — Но применить эту систему надо со знанием дела. Я полагаю, что вы из тех людей, которые сумеют провести эту систему в жизнь. У вас много своих людей в России?

— Да.

Мердер помолчал. Потом сказал:

— Делайте свой доклад. Я слушаю. Вы будете обедать у меня. Я вас познакомлю с женой.

«Вот и все», — подумал Эве Бэлл, выходя вечером из особняка Мердера. Ему странно было вспоминать вчерашние страхи. Он уходил от Мердера победителем.

Бульвар, полный народа, шумел, как вчера. Эве Бэлл усмехался, думая о том, что переиграл миллионера, возвеличивая силу большевиков. Оригинальная ситуация! Но ведь большевики действительно необыкновенно сильны грозной, устрашающей, непостижимой силой. И тут новый страх овладел Эве Бэллом, страх хуже вчерашнего. Он испугался собственных своих утверждений. Что, если сбудутся слова того вологодского варвара и американцы поставят к стенке Моргана?

Оглядывая возбужденную толпу бульвара, Эве Бэлл видел много рабочих и солдат. Ему слышалась в шуме толпы нарастающая угроза. На миг показалось ему, что и в Париже произошла революция. Где полиция?..

Внезапный ужас темнил ему рассудок. Чем заняты эти мерзавцы ученые? За что им платят деньги? Почему они до сих пор не выдумали такого средства, которое без всяких армий, без солдат уничтожило бы разом население любой страны? Травить большевиков газами, поливать кипящей смолой... Впервые у Эве Бэлл сдали нервы. Возникали в памяти лица большевиков, отряды крас-

ногвардейцев, красноармейцев, чекистов, матросов... Теперь победа над Мердером казалась ему ерундой, пустяком, легчайшим делом. Он — в одном стане с Мердером, он и прогнанный остался бы с Мердером. Но большевики! Какими средствами обезвредить этот страшный яд?..

IV

Василий Котляков и Виктор Дремин до самой революции оставались на Выборгской стороне, а Костя Куклин еще подростком ушел к авиаторам. Они трое вместе бегали в Коломяги, на новый Комендантский аэродром, висели на заборах, ошалело задирая головы к небу, в котором гудели тяжелые машины, и эти чудеса оторвали Костю Куклина от приятелей.

Костя завел знакомства в ангарах с механиками и слесарями, а потом пристроился к одному из авиаторов, бывшему актеру. Некоторые актеры сочиняли себе такие залихватские псевдонимы, которые прямо за шиворот хватали людей и вели их в театр, а этот сменил для сцены свою обыкновенную фамилию Кузнецов на еще более распространенную: Владимиров. Эту фамилию он сохранил и для полетов. Ему было все равно, какой у него ярлык, лишь бы попроще.

В театре он служил на мелких ролях. Родных у него в Петербурге не было. Большого роста, широкогрудый, любитель спорта, он, видимо, не знал, куда девать свою силу. Он пугал актеров тем, что любил ходить по карнизам домов, а в поездах иной раз вылезал на ходу в окно и задумчиво, с комически-важным видом гулял по крышам. Об этом особо вспоминали, когда он стал авиатором.

О том, что он прилежно изучал механику, никто толком не знал. Видели только в его комнате книги в шкафу да прикрепленные кнопками к стенам огромные листы, на которых его собственной рукой изображены были крылатые машины, воздушные корабли. Хозяйка, молодящаяся старушка из модисток, очень обижалась, что он заменил этими грубыми плакатами изящные картинки с видами Неаполя и красивыми женщинами. В каждой петербургской интеллигентной семье считались интересными подарками детям целлулоидные «цеппелины»,

жестяные «блерио» и «вуазены» и другие модные летающие игрушки, но непомерной величины рисунки аэропланов, даже не расцвеченные красками, в комнате взрослого человека, актера, были совершенно неуместны. Футуризм какой-то. Об этом тоже вспомнили, когда Владимиров изменил святому искусству ради авиации и съехал из меблированных комнат, где жил. Поселился он в пригороде, поближе к аэродрому. Актеры так и не собрались навестить его — то да се, и, в конце концов, почему они первые должны идти к нему?

Костя Куклин толково помогал ему на аэродроме, и Владимиров, человек одинокий, взял к себе мальчика, после смерти родителей имевшего неверное пристанище у вечно пьяного дяди, лудильщика. Владимиров кормил его и терпеливо обучал летному искусству. Костя не удивлялся этой удаче, — он хотел летать, а если хотел, то, следовательно, все равно добился бы своего. Костя Куклин обладал очень целеустремленной волей, воспитанной в товариществе Выборгской стороны. Забегая к приятелям, Костя объяснял им, почему тяжелая машина держится в воздухе и не падает, что такое руль поворота и руль глубины, моноплан и биплан и так далее.

Он оказался способным чертежником и с увлечением копировал разные варианты нового мощного многомоторного аэроплана, постройку которого проектировал Владимиров. Денег на это дело никто не давал, и Владимиров становился все печальнее и печальнее. Бывало, что на пути к аэродрому он вдруг останавливался и внимательно, словно удивляясь, оглядывал нищий, с кривыми хибарками, пригородный мир, родной Кости мир. Владимиров стоял неподвижно, засунув руки в карманы штанов и расставив ноги, и щурил светлые, почти прозрачные глаза, словно выискивая хоть какое-нибудь утешение на этой бедной земле, на которой и трава выросла жидкая и пыльная. Костя стоял рядом и скучал. В такие минуты его тянуло к ребятам Выборгской стороны. Он не знал и не понимал, что такое тоска.

Костя, перегруженный новыми увлекательными занятиями, все реже и реже появлялся на Выборгской стороне. Аэропланы уводили Костю все дальше и дальше от Васи и Вити, и наконец он и совсем простился с ними — Владимиров увез его с собой в Москву.

Авиатор Владимиров был серьезно занят своими проектами. Он вел переговоры с неким инженером Покорским, который сам занимался такого рода строительством и обещал помочь ему. Покорский требовал только одного — чтобы Владимиров отдал свои чертежи и расчеты на рассмотрение иностранной авиационной фирмы. Но Владимиров настаивал на строительстве аэропланов в России. Их спор решила война. Владимиров принял войну с полной верой в ее справедливость. Он пошел добровольцем. Покорский был связан с генералитетом, и Владимиров получил приказ отдать ему все свои материалы. Можно было схитрить, утаить главное, но Владимиров на этот раз не просто по воинской дисциплине отдал все, — он считал своим патриотическим долгом безвозмездно, без какого-либо договора, вручить России свое изобретение. Он был отстранен от строительства своих аэропланов и отправлен на фронт, но при этом ему было обещано, что первый полет на аэроплане новой системы будет совершен им. Владимиров мечтал о той минуте, когда он поведет своего воздушного великана на врага, и делился этой своей мечтой только с Костей, который был для него, одинокого человека, как родной сын. Эта мечта не осуществилась. Старенькая французская машина, на которой он летал с Костей, рухнула наземь в бою с тремя немецкими «таубе».

Владимиров погиб. Но Костя Куклин, вопреки официальному сообщению, остался жив, — Манечка Колесникова все-таки оказалась права. Писарь зря обозначил Костю в донесении покойником. На самом деле Костю, подобранного в крови, без сознания, эвакуировали в Москву, где он и пролежал несколько месяцев в госпитале, даже и не подозревая, что уже не числится в живых. Костя непосредственно из госпиталя отправился к инженеру Покорскому, не сомневаясь в том, что тот сразу привлечет его к строительству аэропланов Владимирова. Покорский жил в двухэтажном особняке в центре города. Это был полный господинчик, у которого, когда он говорил, обнажалась ярко-красная, словно воспаленная, верхняя десна и лопались пузырьки между редко расставленными, большими, как у лошади, зубами. Он суетливо выскочил в переднюю и, не приглашая Костю в комнаты, проговорил быстро, выслушав его:

— Чертежей у меня нет, нет, нет. Что? Нету.

И он покатился обратно, предоставив горничной выставить посетителя за дверь. У него был жирный, лоснящийся, сальный затылок. Но от Кости не так просто было отделаться. Он пошел следом за инженером в гостиную, заставленную душной, мягкой мебелью, продолжая как ни в чем не бывало разговор.

Покорский перебил его своей категорической скороговоркой:

— Машина в работе, в работе. Но военный секрет, военный... Я связан, связан...

В то же время Костя почувствовал, что кто-то сзади скрутил ему руки за спину. Лакей с мрачной физиономией вышибалы из веселого дома, явившийся из глубины квартиры, выбросил его на лестницу. На проекте Владимирова стояло уже имя Покорского, а строительство аэропланов нового типа было перенесено за границу, куда собирался и Покорский.

Костя Куклин, ошарашенный, очутился на улице.

После гибели Владимирова он остался совершенно один, без руководителей и товарищей. Вернуться на Выборгскую сторону он не хотел — это означало бы отказ от авиации, а он уже умел управлять аэропланом. Из авиационных войск и вообще из армии его после ранения отчислили. Но Костя Куклин был не из таких, которые способны долго огорчаться, а тем более отчаиваться. Выкинутый вон Покорским, он прежде всего зашел в дешевую кухмистерскую, не сомневаясь в том, что ему удастся пообедать, хотя денег у него не было. Так и случилось. Он присоединился к компании студентов и сытно поел, рассказывая молодым людям о своих авиационных подвигах.

Один из студентов вспомнил сообщение о гибели Владимирова, и тут Костя впервые узнал о том, что он тоже считается погибшим. Ему стало неприятно, но студент сказал:

— Значит, долго тебе жить!

Студенты не только заплатили за его обед, но и собрали в его пользу несколько рублей, которые Костя взял, не сомневаясь в том, что так и полагается. В добывании пищи и денег он вообще никогда особенно не стеснялся.

Поразмыслив, Костя стал толкаться по всем учреждениям, которые имели хоть какое-нибудь отношение

к авиации, и наконец устроился механиком при одном из авиаторов.

Он не принимал активного участия в революции. Его участие выразилось только в том, что он предложил после Октября свои услуги в качестве летчика. Старые раны залечились окончательно, и его признали годным.

Костя обучал молодых людей искусству летать, а в девятнадцатом году его впервые в жизни взяла тоска. Его потянуло в родной город, ему захотелось узнать, живы ли его друзья детства, и он отпросился на питерский фронт. Костя, очень организованный человек в своем основном деле, в остальном был довольно беспорядочен, даже сумбурен, и не размышлял над тем, почему ему хочется того-то или того-то. Захотелось — и он добивался этого. При этом он, преодолевая любые препятствия в основных своих стремлениях, в остальных желаниях был совсем не упрям. Не удалось — ну и ладно. Но, видно, на Выборгскую сторону ему давно уже хотелось, и он просто за делами не замечал этого, — такой уж был человек, что не следил даже за собственными чувствами. Это желание накопилось, видно, до того, что в исполнении его Костя проявил такую же энергию, как в авиационных делах, — и, конечно, добился своего.

Родной город пробудил в нем неожиданные для него самого лирические чувства. Костя шел с вокзала на Выборгскую сторону, забыв на некоторое время об авиации, обо всем на свете. Завтра ему надлежало принять аэроплан, а сегодня — день свободный. В заводской сторожке он увидел дядю Яшу и не нашел слов для приветствия. Он стоял перед недоумевающим старичком и приглядывающейся к нему Марьей Кузьминишной молчаливый, растерянный, даже простого «здравствуйте» не сказал, словно вдруг вернулся в детство, только смещенное, как во сне. Изменения в городе и в этих двух резко памятных ему людях казались ему именно теми, какие бываю́т во сне со знакомыми людьми и предметами. Он опомнился, когда Марья Кузьминишна воскликнула:

— Костенька!

Тогда Костя всхлипнул, что было уже чрезмерной неожиданностью, — он и в детстве не плакал. Он поцеловался с Васиной матерью и дядей Яшей, как блудный сын, вернувшийся домой с повинной головой.

— А Вася? Витя? Маня? — спрашивал Костя.

Он недолго пробыл в сторожке. Рассчитав время, он решил, что если достать попутную машину, то можно обернуться на фронт и обратно до завтрашней явки, — фронт недалеко. А лучше всего — отложить явку на день или два. Не увидеть Васю и Витю Костя не мог. Решив, он тотчас же по своему обычаю принялся за дело, и, конечно, всего добился — добыл и пропуск на фронт, и бумажку об отсрочке явки, и все остальное, что нужно было, даже богатый паек в дорогу. Костя был оборотистый парень. А самое главное — он поймал попутную машину, одну из немногих оставшихся, — все машины пошли в ремонт, а этот грузовик посылали на фронт, в бригадный штаб.

Так случилось, что светлой майской ночью девятнадцатого года, через несколько дней после поездки Василия Котлякова в Петроград, в домик лесничего, где помещался Котляков, постучался юноша в щегольской куртке, широчайших галифе и пилотке, лихо сдвинутой на ухо. Когда Василий услышал от дежурного, кто просится к нему, он выскочил навстречу, приказав немедленно вызвать связистку Колесникову и Дремина.

Костя Куклин молча покорился объятиям и потряхиваниям своего старого товарища. Он был в упоении и улыбался так широко, как никогда. А Василий, хлопая его по спине, обнимая за плечи, радовался тому прежнему, детскому, что он узнавал в нем. Костиними были и очень серьезные глаза, почти без ресниц на веках, и белобрысый клоч, выбившийся из-под лихой шапчонки. Это был Костя Куклин, друг и товарищ!

Вбежала Маня Колесникова и, не говоря ни слова, кинулась Косте на шею. Тут Костя проявил некоторую активность. Он обнял и прижал ее к себе, но она вырвалась, пригрозив:

— Но-но, не очень!..

Дремин соблаговолит улыбнуться и пихнул Костю в грудь своей ручищей. Когда тот пошатнулся, Виктор неодобрительно проговорил:

— Что же это ты? Слаб стал! Раньше был посильней!

— Да он же ранен был! Ранен! — крикнула Маня. — А вот видишь, Вася, — обернулась она к Котлякову, — говорила я, что он жив. Вот как сердцем чувствовала.

А потом начался разговор, сбивчивый, перескакивающий с одного на другое, но всем четверым хорошо понятный. Детские воспоминания путались в этой беседе с тем, что случилось уже в революцию, будущее с настоящим, пока наконец Костя не выплыл из этого сумбура, как этаким солист из хора, со своей речью о науке. Он заговорил о механике с таким знанием дела, что Котляков с удивлением глядел на него.

— Я вижу, ты ученый стал, — заметил он.

— Нет еще, — хладнокровно отозвался Костя. — Я, конечно, буду очень крупным ученым, вроде Жуковского, но пока я еще и института не кончил.

Опять этот Жуковский, о котором он, Василий, — увы! — ничего не знал...

Василий нахмурился.

А Костя продолжал:

— Быть ученым — это дело трудное. Ты судьбу благодари, Вася, что не хочешь этого, не стремишься, а то бы голову сломал.

Маня вдруг вспыхнула:

— Вася будет побольше ученый, чем ты! Зазнавала!

Дремин одобрительно глянул на нее, а Котляков грубо оборвал Маню:

— У каждого своя наука. Мы люди военные, рабочее.

Костя не отличался, видимо, большой чуткостью. Он услышал только, что Маня назвала его зазнавалой, и отозвался:

— А чего зря скромничать? Мне сам Жуковский напороочил. Я к нему как-то ходил. Конечно, я буду большим ученым.

Он так же просто обратился к Котлякову:

— Слушай, если ты хочешь учиться, то это же здорово! Я могу тебе помочь. Ладно?

Надо было отдать ему справедливость — он шагал черз неловкие недоразумения, даже не замечая их. Легкий человек.

Но Василий ответил:

— У меня другая наука. Поумней, чем твоя.

В детстве он оттузил бы Костю Куклина, но сейчас — другое, и он прибавил:

— Ладно, оставим это.

И полная ясность восстановилась в отношениях старых друзей.

Это был прежний, знакомый Костя, который всегда все любил объяснять. Маня подошла к нему и поцеловала в самые губы, промолвив:

— Я боялась, что ты плохой, а ты, в общем, хороший. Ты, Костя, хороший, и я тебе очень рада.

— Конечно, я хороший, — убежденно подтвердил Костя. — Не понимаю, почему ты боялась, что я плохой.

Когда Котляков с Дреминым вышли ненадолго по делам, он обратился к Мане:

— Манечка, давай любить друг друга. Тебе же церковь не нужна и ты не мещанка?

Маня, отстранившись, ответила:

— Но ты мещанин. С ума ты сошел. Так не разговаривают.

— Да? — удивился Костя. — Тогда ты не обижайся. Я ничего худого не хотел.

Это был какой-то наивный грешник.

Когда Котляков и Дремин вернулись, Маня сообщила им:

— Знаете, что он мне сейчас предложил? Свою драгоценную любовь. Он, оказывается, просто глупый, а совсем не ученый.

— Да ладно! — отмахнулся Костя, несколько не сконфуженный. — Я же не настаиваю.

— Еще бы настаивал! Схлопотал бы по щечке, и все тут. Мы его переучим, — решила она. — Он немножко испортился без нас.

Костя не возразил.

— Может быть, — сказал он без всякой обиды.

— Ушел от нас и немножко испортился, — повторила Маня. — Надо его поучить.

— А когда? — сказал Костя. — Мне же утром обратно, а потом на фронт — и не сюда; сюда — я уже просил — авиацию не посылают.

— Ничего нам сюда не посылают хорошего, — буркнул Котляков, но тотчас же отбросил эту тему: — А куда тебя направляют?

— Не знаю еще, только не сюда, это мне уже сказали. Хотя я буду добиваться. А пожалуй, добьюсь, — заключил он. — Только где тут перевоспитываться, когда

все время в полетах да в заботах: одни ремонты заедят все часы.

— Вот после войны перевоспитаем, — решила Маня. — Будь ты хоть трижды ученый, а человека из тебя тоже надо сделать. Правда, Витя?

И они так взглянули друг на друга, что даже Костя Куклин, будь он хоть чуточку повнимательней, мог бы догадаться, что нечего соваться к Мане с любовью.

— Если на войне не убьют, — заметил Дремин, отличающийся не всегда приятной трезвостью мысли.

— Меня-то не убьют, — отвечал Костя уверенно и хладнокровно. — Меня не могут убить, — объяснил он, — потому что у меня еще впереди уйма всяких дел, наук. Надо будет, например, найти проект Владимирова и построить его аэроплан. — Он и не подозревал о краже проекта, такие преступления ему и в голову не приходили. — Нет, меня-то не убьют, — повторил Костя. — Мне еще много надо сделать в жизни.

— Да ну вас со смертями! — отмахнулся Василий. — Поговорим-ка о жизни. Теперь встречаться будем. Ты, Костя, как только прибудешь на свой участок, сразу дай знать. Смотри — все четверо видимся после стольких лет да радуемся друг другу. Так вот нам всю жизнь и быть.

— Так и будет, — сказал Костя и прислушался. — Машина как будто... Пора мне, ребята. Ну — до скорого!

Котляков, Дремин и Маня Колесникова долго еще рассуждали о том, какой был Костя Куклин и каким стал. А Костя Куклин, усевшись в кабине, сказал шоферу о товарищах коротко:

— Замечательные ребята. Люблю их.

Устроившись поудобнее, он сразу заснул.

Он не проснулся больше.

Не успел грузовик пройти и километр, как выстрелом из леса Костя Куклин был убит, — пуля попала ему в висок.

Группа одетых в красноармейскую форму людей выскочила из-за деревьев и бросилась к машине. Шоферу удалось убежать, и он предстал перед Котляковым бледный, испачканный, со страшной неожиданной вестью. Василий на своей белой Мушке и Дремин на рыжем скакуне поскакали на место Костиной гибели. Машины

уже, конечно, не было — неведомые убийцы укатали на ней. Тело Кости Куклина нашли в кустах, в стороне от дороги, без щегольской куртки и широчайших галифе, взятых убийцами, и без документов.

Котляков и Дремин привыкли к смертям. Но внезапность этой гибели ударила их с огромной силой. «Меня-то не убьют», — вспомнил Василий, глядя на восковое лицо товарища с коротеньким носом, за который так и хотелось потянуть, чтобы он стал длиннее, и глаза Василия наполнились слезами. Жизнь, обещавшая так много, была вдруг на полном ходу оборвана пулей все тех же всюду стерегущих, отовсюду нападающих врагов. Вот так хотят они оборвать жизнь всего народа, жизнь России.

Котляков чувствовал, что душа его не может, не хочет принять этой смерти. Надо же было выйти живым из воздушного боя, чтобы погибнуть так бессмысленно! Не может этого быть!

Но будущий крупный ученый, уверенный в себе и своей работе, товарищ и друг, лежал мертвый на лесной дороге. И что-то страшно и окончательно повернулось в душе Василия Котлякова.

V

Машина мчалась по лесной дороге, прыгая по ухабам и рытвинам, широко расплескивая скопившиеся в колдобинах лужи. Человека в красноармейской форме, лежавшего поверх кабины на крыше, с винтовкой, направленной вперед, шатало и мотало. Он едва не свалился, когда машину подбросило на корневище. Высунувшаяся чуть ли не до середины дороги ветвь ударила его по фуражке, фуражка слетела, светлые волосы взметнуло на ветру, открылся широкий розовый шрам на лбу. Он чуть приподнял голову, свирепо глянули глаза, он длинно и грязно выругался.

Машину вел юноша с нежным румянцем на щеках. Девичья, невинная, немножко даже восторженная улыбка раздвинула его мягкие губы. Он, видимо, ничего не испытывал сейчас, кроме наслаждения вести автомобиль, — ни страха, ни злобы. Рядом с ним в кабине, там, откуда только что сбросили Костю Куклина, сидел высокий плотный человек — как и все другие, в красно-

армейской форме — и, сбив папиросу в угол рта, пристально глядел на бегущую под колеса дорогу, то пыльную, то мокрую. С винтовкой, выставленной в оконце кабины, с револьвером в руке, с гранатами у пояса, он весь устремился вперед и, казалось, опережал быстрый ход машины.

— Не опрокинь, — пробормотал он, когда машина подскочила на гранитном осколке, вбитом в землю.

— У дяди тоже была, — отвечал юноша, поворачивая баранку то вправо, то влево. — Ужасно люблю.

— Дядю?

— Машину.

— А я — дядю. — Усмешка тронула губы офицера. Казалось, что верхняя и нижняя части его длинного лица жили самостоятельно: когда рот его улыбался, глаза оставались угрюмыми. — В Петербург придем — пусть шампанское ставит.

Юноша называл себя племянником петербургского богача Штейнингера. Поручик, сидевший с ним в кабине, старался быть вежливым с этим родственником главы «национального центра», но получалось плохо.

Лес редел.

— Стоп! — приказал поручик, и машина, замедлив ход, остановилась.

Из кузова вывалились набившиеся туда солдаты — все в красноармейской форме. Сверху спрыгнул унтер со шрамом на лбу и, тотчас же сорвав с одного из солдат фуражку, напялил ее себе на голову. Солдат слова не сказал — с этим свирепым унтером лучше не связываться.

Поручик вышел к опушке и оглядел поле. Солнце, едва поднявшись над горизонтом, грело землю, и пар шел после сыроватой ночи. В дымке росистого утра впереди, на горюшке, чернели избы. Поручик сделал знак, и юноша подвел машину. Унтер подошел к поручику. Для его большой, шишковатой головы фуражка была мала, и он, сорвав ее, запустил ею изо всей силы в ее владельца. Тот молча подхватил и надел.

— Можно, — сказал поручик, и все вновь забрались в машину.

У околицы — окрик часового. Миг — и часовой упал, подстреленный. Одна граната — в кучку выскочивших

справа красноармейцев, другая — влево. Навстречу бежало несколько человек. Один кричал, указывая путь в штаб бригады. Унтер, подхватив и установив выброшенный из машины пулемет, поливал пулями выскакивавших красноармейцев.

Поручик предоставил своей группе, к которой присоединились поджидавшие здесь изменники, разделяться как знают, а сам, выхватив из ножен шашку, ринулся с несколькими солдатами к избе командира бригады. Под ноги попался гусь, — вытянув длинную шею, раскрыв неуклюжие крылья, он возмущенно греготал, протестуя, со всех ног убегая к плетню, но уйти не успел: поручик, играя, рубанул удивленную птицу по длинной шее, и гусь повалился набок. Срезав растерявшегося часового, поручик ворвался в штабную избу, где командир бригады Николаев, бывший царский генерал, дрожащими пальцами заряжал револьвер, вдруг оказавшийся разряженным.

— Сдавайся! — радостно крикнул поручик, зарубил кинувшегося ему навстречу красноармейца, выстрелил в другого и выбил револьвер из старческих рук генерала. Он был, видно, скор на поступки. Солдаты не поспевали за ним. — Стоп! — крикнул он, увидев, что один из солдат кинулся на комбрига. — Его — живым, остальных — к богу в рай!

Он выплюнул окурок, прилипший к углу рта, и опустился на табурет.

— Честь имею явиться, ваше красноармейское превосходительство! — сказал он, злобно глядя на комбрига и улыбаясь большим ртом. — Поручик гвардии Преображенского полка Азанчеев.

Комбриг, без фуражки, без оружия, стоял ошеломленный, опершись концами пальцев о деревянный стол, в углу, под почерневшей иконой. Это был сухошавый старик с седыми волосами, торчком стоящими над высоким лбом, с тщательно подстриженными острыми усиками, с коротенькой, клинышком, бородкой.

В избу вбежал командир батальона — низкорослый розовощекий сангвиник, уже успевший нацепить на плечи погоньи капитана. Это он пропустил на своем участке захватившую штаб группу.

— Опоздал! — воскликнул он, комическим жестом указывая на тело красноармейца, которое выносили сол-

латы. Голова зарубленного красноарменца отвалилась назад, глаза тускло и мертво глядели на капитана. Отвернувшись, капитан протянул руку Николаеву: — Поздравляю, ваше превосходительство! Удалось на славу! Ура!

Николаев выпрямился. Царские погоны на плечах красного командира поразили его необыкновенно. Он вспомнил комиссара, предупреждавшего его об измене, и краска проступила сквозь старческую, жесткую, морщинистую кожу его лица, глаза приняли почти детское, обиженное выражение.

— Вы — предатель родины, — проговорил он дрогнувшим голосом и шагнул из-за стола, рукой привычно лица эфес шашки на боку и не находя. Вспомнил, что он обезоружен, и беспомощно оглянулся вокруг. Но вокруг были только враги, и он опустил голову. Потом вновь выпрямился, заложив руку за борт простенького зеленого кителя, и, сжав губы, старыми глазами много думавшего и все решившего до конца человека скорбно и гневно в упор взглянул на знакомого ему командира, вдруг изменившего свое обличье.

Капитан обернулся к поручику:

— Что тут такое происходит, господа? Генерал сошел с ума? У него от радости помрачился рассудок?

— Вам лучше знать своего генерала, — отвечал поручик, и лошадиное лицо его не улыбалось больше.

Капитан обратился к Николаеву:

— Ваше превосходительство! Мы пришли освободить вас! Ведите нас на Петербург!

— Я не изменю России, — ответил Николаев.

— Какой России? Нет, господа, он рехнулся!

Генерал сказал:

— Россия — это большевики. Я не предаю Россию наемникам иноземных варваров.

Капитан, побагровев, поднял руку и шагнул к Николаеву. Он, видно, хотел ударить старого офицера по лицу, но, словно споткнувшись о взгляд его бесстрашных, много выдавших глаз, круто, рывком повернулся к поручику:

— Чего вы любуетесь? На сосенку его, и все!

Поручик отозвался, вставая:

— Вздернем всенародно, не сейчас.

Большая деревня Выра вытянулась близ шоссе на пути из Петрограда в Киев. Здесь земля посуше и выше, чем во многих других, близких к Питеру местах, и сюда, в район Сиверской, в грибные и ягодные леса, на песчаные берега беспечной реки Оредеж, каждое лето устремлялись столичные дачники среднего достатка. Но девятнадцатый год не видел дачников.

В деревне Выра заночевал комиссар рабочей бригады, человек с широким разлетом бровей над пристальными, словно изумленными глазами, с коротенькими усиками, темневшими под прямым, точеным носом. Его мягкий широкий подбородок упирался в жесткий воротничок, надетый под застегнутый на все пуговицы китель. Он похаживал по просторной избе, чуть поскрипывая своими до блеска начищенными сапогами, — он в любых условиях старался содержать себя в чистоте, в пример красноармейцам.

Комиссару не хотелось спать в эту майскую светлую ночь. Он то глядел на карту, вновь и вновь изучая уже изученные места, то подходил к распахнутому окошку и смотрел на темные ряды затихших изб. Мысли и воспоминания, подчас самые неожиданные, возникали, рассеивались и вновь возникали. Вспомнилось из народной песни: «Что были пташечки — в ирей полетели...». Ирей, по-старинному, — царство солнца, южная страна, и не отсюда ли «Выра», деревня по пути летящих на юг птиц?..

Где он слышал эту песню про ирей, про солнечную страну? Ес очень давно пел какой-то слепец в дымном и пьяном трактире. Слепец был в отрепьях, в драной шапке, которую тотчас же, чуть вошел, снял, кланяясь так низко, что седые редкие волосы упали на лицо. Его вел поводырь, малыш, может быть внук. Серьезными, внимательными, недетскими глазами мальчик оглядывал людей, шумевших за портером и водкой. Рыжие веснушки проступали на его лице, нежном, миловидном и перобком. Старик пел, а малыш молча держал свою шапчонку, ожидая подавания... Почему-то и сейчас щемит сердце, когда вспомнишь о нем.

Комиссар рабочей бригады был некогда трактирным слугой, официантом в ресторане. Не столько мучили

оскорбления надменных хамов, сколько приниженность, а подчас, напротив того, высокомерная наглость людей, заклеянных постыдным наименованием «лакей». Бывали, конечно, и внезапные взрывы. Он был совсем юным, когда видел, как один половой, обезумев от унижений, с ножом бросился на купца и как волокли этого несчастного слугу в участок с лицом, сплошь залитым кровью. О, как беспомощен и самоубийствен гнев затравленного одиночки!..

Потом, когда нынешний комиссар уже кое-что стал понимать, его врагом стал пожилой, в бакенбардах, официант в чистом фраке, при белом галстуке. Этот гордец солидной походкой уважающего себя человека важно и ответственно шествовал по ресторанному залу. Как министр, распределяющий блага среди подведомственных ему людей, он одарял ресторанный народ бифштексами, ростбифами, винами. Он благостно улыбался, он почтительно, но с достоинством отзывался на обращения алчущих и жаждущих, он пренебрегал неблагодарностью ворчунов и ругателей, он на зов: «Эй, человек!» — подходил так величественно, словно действительно был единственным человеком в этой шумной и наполовину пьяной толпе, он возвращал презрительной кличке ее высокое содержание. Все оскорбления важных посетителей он выносил каменно — ради семьи, ради денег, ради того, чтобы его дети не знали унижений отца, чтобы они «выбились в люди». Он всем внушал, что требовать от хозяев надо только денег, да и то с почтением, с осторожностью. Он возражал против такой «глупости», как профсоюз. Однажды он каменно вынес оплеуху от молодого франта, великокняжеского холопа, почетного посетителя. Пощечина была дана так, ни за что, просто для форсу — чтоб официант переменял не понравившуюся марку вина. Официант пошел в буфет менять вино такой же солидной походкой, как всегда, высоко держа голову, только на побледневшей щеке обозначилось красное пятно.

— И тебя смазали? — спросил буфетчик, с любопытством приглядываясь к почтенному сослуживцу и не замечая, что впервые сказал этому всеми уважаемому человеку «ты».

Подошел метрдотель и постоял невдалеке, поигрывая брелочком и наблюдая. Проследив, как официант понес к столику заказанное вино и почтительно поставил

его перед важным гостем, он одобрительно кивнул большой, круглой, с жирными щеками головой.

Официант не изменил своим принципам и после этого случая. Пощечина не развенчала его среди большинства служащих, и только немногие подались от него к нынешнему комиссару, тогда молодому официанту, который вскоре был избран председателем профсоюза служащих трактирного промысла. Невыразимо трудно было убеждать и сплачивать людей, приученных и привыкших к холопству. О, как страшна и как калечит людей власть богатых и знатных над бедными и простыми!

А слепой певец с малышом поводырем вспоминались и в ссылке, и в войну, на которую послали фельдшером, и в октябрьских боях, и в смертельных схватках, с белофиннами, и всегда жалостью, надеждой и любовью щемило сердце, словно певец был родным отцом, а малыш — сыном. «Что были пташечки — в ирей полетели...»

Комиссар рабочей бригады собрался прилечь. Он растянулся на широкой лавке шинель, и когда наклонился, от неловкого движения защемило запонкой кожу на шее. Он не успел поправить запонку или снять воротничок, потому что на улице раздались внезапные выстрелы и крики. Комиссар прыгнул к окошку и, сразу поняв все, лавкой, столом, всем, что попало под руку, загородил дверь и вдвинул в окошко пулемет.

Здесь все было произведено куда хитрей, чем в других полках. В армейской штабной канцелярии, без слов понимая друг друга, переодели белогвардейцев бывшего Семеновского полка красноармейцами, снабдили их фальшивыми анкетами рабочих и крестьян, направили на фронт, и бумажная хитрость раскрылась в деревне Выра неожиданным нападением на безоружных и спящих. Как-нибудь несколько минут резни, а затем остался стучать один только пулемет.

Пулемет бил из окошка штабной избы, он дрожал, как живой, кричал, сердился, негодовал, звал на помощь, но друзей уже не было. Командир полка, зарубленный, ничком лежал посреди широкой улицы, на пропитанной кровью земле. Комиссар полка, согнувшись, боком привалившись к стене, сидел на крыльце и не слышал пулеметного зова, потому что тоже был мертв. На улицах и в избах пали, чтобы не встать больше, верные люди полка.

Комиссар рабочей бригады бил из пулемета по убийцам, остервенело лезшим к избе. Запонка резала шею, и комиссар изредка дергал головой и морщился. Но и секунды не было, чтобы сорвать воротничок, сейчас уже совершенно ненужный. Комиссар пустил в расход последнюю пулеметную ленту. Отбиваться больше нечем. Пулемет замолк. Комиссар сорвал воротничок и всей грудью вдохнул животворный воздух майской ночи, насыщенный запахами вольной зелени лесов и полей. «Что были пташечки — в ирей полетели...» Тот малыш теперь сражается красноармейцем, в этом нет сомнений. Все будет хорошо, малыш, не горюй...

Не слушая, как трещит дверь под ударами прикладов (это его уже не касалось), комиссар взял револьвер, в котором оставлена была на этот случай одна пуля. Большевики не сдаются, нет.

Когда убийцы ворвались в избу, они увидели на полу мертвым комиссара рабочей бригады.

— Что за люди! — воскликнул командир убийц. — Не сдаются, а если схватишь, молчат! Да когда же пробьемся мы сквозь них в Петербург!

Из всех трагедий фронта эта трагедия в деревне Выра была одной из самых приметных, но и на других участках фронт продолжал шататься.

VII

Семен Семенович Карнаухов, командир полка, в котором был комиссаром Котляков, считал себя самым опытным в полку человеком. Три года воевал, был ранен, знает все — и войну и людей на войне. Он и командовать умеет, и не трус — уж какой трус, если сорока лет от роду опять пошел воевать!

Он порадовался, когда Котляков, которого он еще при первой встрече в штабе Выборгской стороны назвал сосунком, попал к нему в прошлом году, в войне с немцами, под начало. Сосунок хотел им командовать, да не удалось — поставили в подчинение старшему. Это правильно, справедливо. Неуместно отцу троих детей, старому рабочему и солдату, тянуться перед молокососом.

Командир полка, как человек добрый, не затаил обиду, а, напротив того, поощрял Котлякова, выдвигал, хвалил и, когда тот ушел в волостной комиссариат, расстался с ним сердечно, надеясь, впрочем, что этот ершистый малый не попадется ему больше на жизненном пути. Но они вновь столкнулись, и на этот раз к большому неудовольствию полкового командира: Василия назначили к нему в полк комиссаром. Котляков стал вроде как вторым начальником над людьми.

В последнее время дело доходило до прямых ссор. Командир полка ругался с комиссаром ежедневно.

— Наводить критику на приказ — это ж, считай, военный проступок! — Слово «преступление» он все-таки не в силах был выговорить. — Не допущу! Не царская армия, а свой штаб, свое начальство, свои генералы. Я тебе говорю! Это так же верно, как я есть солдат и рабочий: Севастьянов при царском генерале комиссарит — это, считай, один коленкор, а что тебя, сосунка, ко мне приставили — это негоже! Сам с головой, сам рабочего класса!

Не давая и слова сказать Василию, он перебивал:

— В полку у нас люди как люди, мы, рабочий класс, считай, всех должны за собой вести, и если присылают кого из торгашей, так ты переучивай, агитируй, а не маши руками, что беспорядок! Так-то! Я вот их обучаю, так они меня как любят!

Котляков возражал настойчиво и упрямо:

— Да, может быть, люди присланы с тайной целью. Куда их перевоспитывать, когда сами они агитаторы от белогвардейцев.

— Кто прислал! Питер прислал! Питерскому штабу видней, с вышки видней!

То же самое кричал Василию Шкуропатов.

Василий не сомневался в честности командира полка. Он понимал, что Семен Семенович Карнаухов никак не изменник, но от этого было не легче. В споре с командиром полка Котляков все же перестроил по-своему один батальон — тот, которым командовал Дремин. Он очистил этот батальон от сомнительных людей.

Когда был убит Костя Куклин, Карнаухов спал. Он спал отдохновенно, без сновидений, как спит человек с чистой совестью. Он даже не услышал выстрелов, до такой степени верил, что никаких боев тут и быть не может. Он не сразу сообразил, что случилось, и тогда, ко-

гда дежурный красноармеец самым невежливым образом растолкал его.

— Беляки! — повторял красноармеец. — Беляки рвутся!

— Не буянь, — тихо вымолвил Карнаухов, надевая штаны. Ему стало вдруг холодно, рука зачесалась, как при крапивнице. — Не ори! — приказал он осипшим голосом.

Он принялся натягивать сапоги, но руки не слушались, его как паралич хватил. Наконец, еле обувшись, он выскочил из землянки без гимнастерки, без фуражки, в распахнутой на груди рубахе, с револьвером в руке, и побежал по лесу туда, где щелкали выстрелы.

Но он никому не был нужен. Батальон Дремина, поддержанный верными людьми других батальонов, уже кончал дело. Мятежники бежали за болота, укрываясь в молодой зелени кустов и за кривыми стволами берез. Пули, настигая, валили их наземь.

Котляков бросился укреплять стык с соседним полком. Забежав вперед, он увидел, как незнакомый коренастый командир, встав спиной к толстоствольному клену, лихо отбивался от налетевших на него двух или трех мятежников. Он рубил шашкой и бил рукояткой револьвера, уже, очевидно, без патронов. Прodelывал он это молча, не призывая на помощь. Эта сумрачная фигура привлекла внимание Котлякова, он кинулся на выручку, и командир поспешил к своим, слова не сказав, даже не взглянув на спасителя.

Спотыкаясь о корни деревьев, тщетно пытаюсь застегнуть непослушными пальцами рубаху на голой груди, к Котлякову подходил полковой командир. Карнаухов чувствовал себя как во сне, не одетым среди одетых, и жалко было глядеть на его лицо с подрагивающими щеками, принявшими землистый, как у покойника, цвет, и с потухшими, без блеска глазами.

Дремин, в порыве удручающей жалости, двинулся навстречу командиру, но Котляков удержал:

— Оставь его! Ревтрибунал рассудит.

Он, видимо, вообразил, что Дремин хочет оскорбить или даже пристрелить провинившегося старика, и впервые Дремину пришло в голову, что вот так, всерьез, не как в детстве у позорного столба, любимый вожак в случае чего мигом отринет и его от своего сердца. Впервые

Василий Котляков стал ему по-настоящему страшен. Маня Колесникова глянула на комиссара и проговорила с вдруг вспыхнувшим прежним недружелюбием, после долгого перерыва нарушая дисциплину:

— Надо тоже и сердце иметь.

Котляков пошел на нее, наклонив голову вперед, как бешеный. Но вдруг остановился, провел рукой по лбу и, круто повернувшись, зашагал навстречу Севастьянову, который в своей длинной шинели направлялся к нему.

Севастьянов сегодня, как часто бывало, обходил позиции и вовремя оказался в соседнем с Котляковым полку. Он сказал:

— Тут ликвидировали, но фронт прорван в нескольких местах. — Он обернулся к стоявшему невдалеке сумрачному коренастому командиру, которого выручил на стыке полков Котляков. — Вы будете за командира полка. Вот ваш комиссар.

Он указал на Котлякова. На Карнаухова он и не взглянул, словно того и не было здесь. Он имел достаточно жалоб от Карнаухова на самочинные действия и «неправильное» поведение Котлякова. Жизнь решила спор, теперь было совершенно ясно, кто прав, а кто виноват.

Штаб бригады был разгромлен, но на позициях удалось выстоять. Мятеж в деревне Выра новым ударом отозвался на участке, где стояла бригада Севастьянова. Бригаде грозило полное окружение, и Севастьянов, поведя один из полков к Дивенской, приказал Котлякову со своей частью двигаться туда же, но другой дорогой.

VIII

Кровью заливало весеннюю землю. Во все дыры фронта рвались вражеские отряды, и всюду оказывались их пособники, рассыпанные, расставленные штабными и прочими изменниками. Аэроплан, который предназначался Косте Куклину, был уже дан белому офицеру, — изменником оказался и начальник воздушной обороны, так же как начальник автотранспорта, пустивший в ремонт чуть ли не все машины, инспектор артиллерии и другие. Измена ломала фронт, расчищала путь на Петроград царским генералам Юденичу и Родзянке.

— Виселица и порка! Кого не вешать, ваше превосходительство, — пороть! Я знаю свой народ! Отческое внушение — порка! Прекрасно действует на русского человека!

Тучный человек с жирной грудью так разгорячился, что лицо его стало багровым. Он был единственный штатский среди военных. Распахнутый серый летний пиджак, брюки с тщательно разглаженной складкой, сверкающие желтые полуботинки — все это вызывало снисходительную усмешку людей в кубанках и гимнастерках с черепами и скрещенными костями на рукавах. Сам генерал Родзянко, к которому обращался штатский, тоже улыбнулся:

— Я не хуже вашего знаю свой народ, — заметил он. — Коммунистов и всех советских служащих, всех большевиков и сочувствующих — повесить, а с крестьянами, какие останутся, поступайте как хотите. Ваши земли, ваши люди.

— Порка! — удовлетворенно сказал помещик, отходя от генерала. — Не все же были с большевиками! Нужно оставить для летних работ! Выпороть — и в поле! Превосходный, старинный, исконно русский обычай!

— Разрешите, ваше превосходительство?

К Родзянке, робея, подошел молодой человек во френче, с листками бумаги в руках. Родзянко поморщился.

— Литература?

Но взял из рук молодого человека листки.

— Так, так, — забормотал он, довольный. Морщины разгладились на его толстом лице. — Вы угадали. Да, так и надо — освобождаем русских братьев... так... свобода... против насильников и палачей... верно... германские агенты... так их, так... злодеи... хорошо... здорово расчихвостили большевиков... у вас есть талант... Чтоб сегодня же распечатать... идея верна — мы за народ, против иностранных агентов, поэтому — беспощадность к большевикам.

Он взглянул на молодого человека одобрительно. Тот скромно краснел от похвал командующего армией. Это был Таланов.

— Мне очень радостно, ваше превосходительство... — проговорил Таланов. — Но разрешите некоторые добавления к списку...

— К какому списку?

— При взятии Петербурга. Список особо выдающихся, подлежащих...

— А! Это где Максим Горький! Повесить всех!

— Отсутствуют некоторые...

— Добавьте.

И генерал отвернулся.

Таланов далеко пошел с той поры, как писал угрожающее письмо Ланговому. Теперь бы он просто убил не задумываясь, а тогда он только грозил, но еще не мог убить. Теперь он, исправляя старые ошибки, вставил Ивана Терентьевича в список подлежащих смертной казни в первую очередь.

Белогвардейский штаб занял дом на площади древнего русского города. Памятник Карлу Марксу, воздвигнутый после Октября посреди площади, был уже разрушен, и на его месте поставили виселицу.

Бой барабанов вызвал Родзянко на балкон.

С утра согнали на площадь оставшихся в городе жителей. Люди жались к стенам и заборам, отделенные цепью охранников от своих домов и от места казни. Сюда привели комбрига Николаева и поставили у виселицы. Старый боевой офицер стоял спокойно, внимательно оглядывая согнанных на площадь людей, и каждый, кто встретился взглядом с умными его глазами, запоминал этот взгляд на всю жизнь как неизгладимый ожог, как призыв к мести. Бывший царский генерал не слушал приговора и не обратил внимания на то, как сломана была его «генеральская шпага». Он был строг и задумчив, как человек, до конца выполняющий свой долг.

Унтер со шрамом на лбу толкнул его к табурету, стоявшему под виселицей. Комбриг старческим усилием встал на табурет, выпрямился, передохнул после сделанного усилия и неожиданно громким голосом командира воскликнул:

— Верю в свободную Россию!

Унтер схватил его за ворот, налаживая петлю, но Николаев спокойно отвел его руку, сам расстегнул воротник, медленно надевая петлю на свою шею со сморщенной, жесткой, поросшей седым волосом кожей, успел крикнуть все тем же привычным к команде голосом:

— Верьте большевикам, спасителям России!

Поручик Азанчеев с внезапно исказившимся от ярости лицом выбил табурет из-под ног Николаева и кула-

ком стукнул нерасторопного унтера по лицу. Унтер, злобно отирая с лица кровь, подскочил под виселицу и потянул повисшее тело комбрига за ноги. Толпа не ахнула, а только вздохнула единым вздохом. Но тотчас же какая-то молоденькая женщина закричала в ужасе, ей ответили еще крики и еще, и охрана навалилась на толпу, выхватывая из нее людей без разбору и кидая в сторону от остальных. Унтер, получивший по морде от поручика, выхватил из рук конвойного арапник и подошел к первой крикнувшей женщине, пытавшейся подняться с земли. Но его опередил Азанчеев. Поручик ударом сапога в спину уложил женщину лицом в пыль, одним махом оголил ее, и арапник врезался в белое тело — раз, два три...

— Это описывать не нужно, — проговорил Родзянко, обращаясь к Таланову, удостоившемуся тоже приглашения на балкон.

Таланов отвечал:

— Конечно, ваше превосходительство, я понимаю.

— Люблю понимающих интеллигентов, — сказал Родзянко и повернул в комнаты. — Зачинщиков ко мне, сюда, — приказал он.

Не прошло и десяти минут, как в комнату привели двоих мужчин, пригнанных из Нарвы рабочих Кренгольмской мануфактуры, с закрученными за спину руками и в кандалах. Их привели непосредственно из тюрьмы, где они сидели со всеми своими товарищами, схваченными в Нарве. Они не были зачинщиками происшествия на площади, но следовало же кого-нибудь доставить могущественному генералу, метившему на одно из ближайших мест к российскому императорскому престолу.

Допрос повел контрразведчик в погонах подполковника. Рабочие молчали и только в упор глядели то на того, то на другого из своих палачей. Их лица были испещрены шрамами и незажившими ранами, у одного выбит глаз.

Контрразведчик имел свой расчет. Он хотел оправдать свои неудачи.

— Применяли все меры, ваше превосходительство, — обратился он к Родзянке. — Поглядите на их пальцы, могу продемонстрировать ступни ног, ваше превосходительство.

Он произвел чуть заметное движение, раздался хруст кости, и один из рабочих, взлетев на воздух, упал. Он тотчас же сам поднялся и в упор глянул на мучителя своим единственным сверкающим глазом. Правая рука его висела ладонью вперед — она была сломана.

— Говори! — приказал подполковник.

Рабочий, собрав все силы, плюнул в него кровавой пеной, и офицер отшатнулся. Но тотчас же он проделал еще одно движение, и нарвский рабочий, гремя кандалами, вновь упал...

...Когда коммунистов уносили из штаба (они сами уже не могли двигаться), контрразведчик проговорил хмуро:

— Я же говорю — каменные. Их надо истреблять поголовно.

...Вечером Таланова послали в недалекое село, уже занятое белыми. С ним отправился небольшой отряд во главе с Азанчевым — там тоже надо было навести порядок. Дорога шла лесом. Они не проехали и трех километров, как скакавший рядом с Талановым солдат вдруг столкнул его наземь. Таланов не расслышал даже выстрелов, поваливших Азанчева, унтера и нескольких солдат. Или, может быть, их зарубили? Таланов очнулся, уже лежа поперек седла на луке, и его держал тот самый солдат, у которого унтер сорвал фуражку перед нападением на штаб бригады.

— Ну, больше не обманут, — возбужденно говорил этот солдат. — Теперь научены. А этот у них главный обманщик — «про свободу да за народ»!..

Их было еще трое. Все четверо помчались в сторону от дороги, ведущей на село. Они скакали долго, Таланова било и трясло на луке седла. Когда его сбросили наземь в лесной глухомани, он заплетающимся языком заговорил:

— Попытки — это бесчеловечно... Я буду верно служить народу...

Он валялся в ногах у солдат, умоляя:

— Я интеллигентный человек, я могу быть полезен вам...

— Живо к суду! — распоряжался солдат, на седле которого он бился всю дорогу.

Другой солдат выступил вперед, и Таланов убедился, что им известно почти все, что он натворил. В за-

готовленном обвинительном акте перечислялись все убийства, совершенные им лично, все пытки, в которых он самолично участвовал. Он понял, что солдаты, видно, захватили материалы контрразведки.

— Я не понимал, — бормотал он, — я не понимал, что делаю, я верил... Я интеллигентный человек... Моя мать революционерка...

— От имени матери присуждается к смертной казни! — сказал солдат, читавший приговор.

Мать Таланова, давно уже обретавшаяся в Париже и поносившая большевиков и Россию на всех собраниях, куда ее допускали, очень удивилась бы, если б узнала, что ее сына карают от ее имени. Но солдат продолжал:

— Твоей матери не знаем, а свою мать, нашу родину, знаем. Именем родины заслужил смертную казнь.

Таланов продолжал не верить. Он бился в руках солдат, и слезы текли по его щекам. Как! Ему, такому замечательному, умирать, как простому мужику?..

Когда солдаты вернулись к коням, с боковой дороги сворачивала колонна красноармейцев. Впереди шел рослый парень с бешеными глазами, в порванной гимнастерке, со звездой на фуражке. Солдаты переглянулись и, содрав с плеч погоны, двинулись навстречу. Те и другие молча, с подозрением, глядели друг на друга. Но невысказанное чувство сблизило их, и солдат, читавший приговор Таланову, сказал:

— Красные?

— Взять их! — приказал в ответ рослый парень (это был Котляков), и солдаты мигом были обезоружены. Они не сопротивлялись. Только самый молодой проговорил:

— Да мы ж к вам. Мы ж за вашего генерала!..

— Какого генерала?

— Да генерала Николаева повесили же! Не знаете?..

— Николаева! — воскликнул Котляков и обернулся к приземистому парню, стоявшему позади. Тот снял фуражку и молча опустил голову. Вслед за ним и все обнажили головы.

— А мы за него расплатились, — горячился солдат. — Вот, поглядите...

Он провел Котлякова и его товарищей к сосне, на которой висел Таланов. На груди Таланова — плакат, заранее, видно, заготовленный: «Холопу палачей и палачу».

— Ладно, — сказал Котляков, — пойдете с нами.

Сумрачный командир, которого Котляков выручил в бою с мятежниками, близко подошел к телу, висевшему на крепком суку, и вгляделся в лицо. Когда они продолжали свой путь, он сказал, вдруг обернувшись к Котлякову (Дремин слышал его слова):

— Этот мерзавец был мой однокурсник. Вместе в институте обучались.

Такие слова могли бы вызвать некоторые сомнения у Котлякова. Но он живо помнил, как бился этот человек с белыми. Сумрачный командир был Михаил Громов, злой и колючий ученик Ивана Терентьевича Лангового.

Дремин, уж во всяком случае, стал бы относиться к Громову с подозрением. Но казнь Николаева, до последней секунды бесстрашно верного Советской власти, перевернула ему душу. Да, бывает и так, что прощтрафится свой рабочий командир, а кто-нибудь даже из царских генералов окажется героем. Не так-то проста жизнь.

IX

В эти дни, после измен, после прорыва на фронте, после гибели Кости Куклина, все отлетело, — осталась для Котлякова только война. Как можно лучше воевать, истребить как можно больше убийц — вот и весь смысл его существования. Это и есть сейчас справедливость.

Котляков ожесточился в последние дни, а Дремин, напротив того, странным образом смягчился. Сердце его словно растопилось. Он даже стал уговаривать Маню, чтобы та уехала из армии в Питер, и это Мане решительно не понравилось. Нет, она не допустит его власти над собой, она сама знает, что ей делать, не мешанская жена.

В первый же день, после того как полк занял новые позиции, накануне прихода пополнений из Питера, Котляков имел неожиданный разговор с новым командиром полка Громовым.

Котляков сидел на пенечке с картой в руках, он тщательно, по привычке своей, изучал леса и болота, дороги и тропы в местах, занятых врагом. Карта вызывала у него сомнения, обход позиций показал, что в ней есть странные неточности, может быть сознательно сделанные в штабе. Он хотел поговорить об этом с Громовым, чтобы своими силами составить правильную карту и наметить пути для разведки.

Полковой штаб разместился временно у дуба, распростершего свою бледноватую зелень невдалеке от оврага, склоны которого буйно поросли папоротником. Поднявшись, Котляков направился к дубу, но Громов уже шел навстречу ему. Прежде чем Василий успел что-либо сказать, Громов протянул ему какую-то бумагу, проговорив:

— Вы до сих пор не затребовали данных обо мне, примите, пожалуйста, тут все есть.

Котляков взял бумагу и сунул в карман.

— С этим поспеется. Неважно. Я вот о чем хотел потолковать...

— Очень важно, — перебил Громов. — До сих пор было не до того, но вы, в сущности, меня не знаете, и я хочу не только в письменной форме, но и в устной...

— Да зачем! Я потом прочту. Или вы думаете, что я не знаю грамоты? Университетов действительно не кончал, но все-таки читать умею. Не такой уж невежда. Давайте лучше о делах.

Громов вдруг почернел, — это означало, что он взволновался.

— Вы напрасно подозреваете во мне чванливость или сомнения в вашей культуре. Так называемым образованным людям нечем хвастаться. Мой однокурсник Таланов тоже был образованный.

Котляков слушал с удивлением. Наконец перебил:

— Да ни в чем я вас не подозреваю! Что же касемо образованных, то среди них есть и порядочные.

— Никому не верю! — заявил Громов. — И вам не советую. Мне можете тоже не доверять, — добавил он резко.

Котляков нахмурился.

— Дремин понял, что нельзя мешать всех в одно, — сказал он, — но у него эта ошибка естественна, а у вас — как?

— У него — от незнания, а у меня — от чрезмерного знания, — возразил Громов.

— Перегибаете. — Котляков хмурился все больше и больше. Слова Громова напомнили ему речь сумасшедшего оратора в розинском космическом обществе. — Я такое уже слыхивал, вы это бросьте. Советская власть честных образованных людей уважает.

Ему было странно, что он защищал образованных людей перед этим образованным человеком. Но каких только положений не бывает на свете!

Громов не вступил в спор.

— Я хочу тотчас же рассказать о себе самое главное, — настанвал он, — а подробности прочтете. Вы обязаны знать, с кем имеете дело. В боях было некогда, а сейчас, когда завтра явится новый командир бригады и вообще новые люди, это необходимо.

Котляков пожал плечами.

— Рассказывайте.

Они медленно пошли по лесу.

Громов заговорил:

— Прежде всего — мои родичи гуляют в белогвардейских армиях, да будет это вам известно. Я единственный из всей фамилии — в стане большевиков. Перегибаю, может быть, но только потому, что меняю душу, — это занятие вам незнакомо, оно требует некоторых дополнительных усилий. Перед фронтом я работал на том самом заводе, что и вы, потому и попал в одну с вами бригаду, только в другой полк. На заводе я занимал место дяди, которого там убили.

— Это ваш дядя? А вы еще ругаете родичей.

— Не торопитесь. Насколько я понимаю, мой дядя собирался унести, точнее — украсть, некоторые материалы и заслужить этой покражей прощение сволочей. Об этом своем подозрении, точнее — убеждении, я тоже обязан доложить вам.

— Да что вы! Откуда вы знаете?

— Догадываюсь.

Котляков совсем иначе представлял себе нового командира полка, его недоумение росло, но вместе с тем рос интерес к незнакомому типу человека, с которым судьба свела его. Он возразил, ни в коем случае ни в чем не желая уступить:

— Ваш дядя был человек ругательный, но честный.

— В конечном счете — да. Но с колебаниями. Вот это и есть наше несчастье, вам незнакомое, — колебания. Тянет обратно в привычную среду. Каждый из нас должен это помнить, чтобы не прозевать самого себя.

— И вас тянет? — спросил Василий, не вполне поняв последней фразы Громова.

— Вот я и перегибаю, чтоб не тянуло. — Громова, видно, несколько не обидел его вопрос. — Я ищу для себя не механических, а органических перемен, потому даже сознательно перегибаю. Сейчас, когда армия столкнулась с таким количеством измен и предательств, вам необходимо знать все обо мне, красном командире из буржуазного класса. Все это я сообщал при вступлении в армию, но вы не знаете. Это не исповедь, конечно, а простая информация, которую, само собой, следует проверить.

Котляков очень серьезно взглянул на Громова.

— Слушай, друг, — сказал он, впервые называя Громова на ты и другом. — Я знаю тебя по твоим делам в такие дни, что, будь в тебе колебания, ты давно бы уже ушел от нас. Ты кровью спаялся с нами, кровью и проверен. Ты теперь как товарищ, и все.

Он остановился и хотел обнять Громова. Но тот не заметил, не понял, видно, его движения, даже в голову ему не пришло, что можно обняться и поцеловаться по случаю такого объяснения: сердечного — как понимал Котляков, официального — как понимал Громов.

«Суховатый он все же какой-то», — подумал Василий. Ему интересен был этот человек, первый сверстник из интеллигентов, с которым он сошелся.

— Вы своими делами заслужили наше полное доверие, — сказал он, чувствуя, что тут, в этом щекотливом разговоре, нужны очень точные слова, и вновь переходя на вы. — Уверен, что в дальнейшем будете без колебаний.

Он произнес это слово потому, что оно, очевидно, имело особое значение для Громова.

— Подробности вы найдете в бумаге, которую я вам передал, — промолвил Громов.

— Ладно. Прочту. А теперь вот что, — с некоторым облегчением перешел Котляков к очередным делам, — эта карта не годится, надо составить свою... Завтра придут новые люди, получим и командира бригады, но что можно подготовим сейчас...

И они пошли к штабу.

Эшелон из Питера ожидался ночью, от станции ходу часа два-три, — утром, значит, лес оживится новыми голосами. Василий ждал с эшелоном товарищей с Выборгской стороны, свежих новостей из Питера и, закончив все дневные дела, поспав немножко, пошел искать Дремина. Его тянуло к выборжцам, оставшимся в полку.

Дремин стоял хмурый, жевал травинку и печально глядел в папоротники, разросшиеся вокруг.

— А Маня где? — спросил Котляков.

— Да разве ее удержишь? — пожаловался Дремин. — Даже из моего батальона ушла: нельзя, мол, жене под командой мужа. Понимаю, что нельзя, но вот пошла в охранение. Чуть скажу ей слово — так она делает наоборот.

Роли явно переменялись, теперь Маня держала Виктора в строгости. А Дремин, видно, и забыл прежнюю свою склонность к полным и кротким девушкам, тощая и шумная победила его.

Котляков улыбнулся.

— Да, характерец у нее. На меня небось все еще сердится?

— Да, она пожалела того растяпу, — неопределенно отозвался Дремин. — «Сердце, сердце», — передразнил он. — Довольно ей воевать, ее бы в Питер, — закончил он неожиданно.

— Сегодня же поговорю с ней, — сказал Котляков. — Да кстати и разъясню, пусть понимает, что и жалеть надо умно. Мне, может быть, и самому хочется делать людям только доброе, да вот жизнь не позволяет, распустишься — так задушат нас с нашей жалостью, и все тут. Ты скажи, когда она вернется.

Он двинулся дальше вдоль позиций.

Налево — овраг, скрытый лесными породами. Лесные великаны вздымались вокруг, и чем дальше к болотам, тем тесней они сближались. Ели, раскинув до самой земли свои колючие, темно-зеленые, почти черные подолы, сидели здесь, может быть, уже долгие века. Над ближней низкорослой елью высился, сочась смолой, голый, бледно-желтый столб сосны с короткими недоростками ветвей, а дальше береза, выбрав место попросторней, щедро раскинула свою богатую зелень, как

хозяйка, которой ничего не жаль. Робкая осина, ольха и всякая мелкая поросль тянулись кверху в молчаливом и буйном соревновании. Стволы, толстые и тонкие, искривленные и прямые, коричневые, желтые, серые, белые с большими черными родинками, тронутые грибом и чистые, высились недвижной толпой, а земля изорвана была корнями. Корни, сплетаясь, прятались вглубь и вновь вырывались наружу, изгибаясь, как для прыжка, разрыхляя усыпанный иглами мох, уходя под кусты и папоротник. Это было дикое место, затерянное в лесной глубине. Утреннее солнце тронуло и его своими лучами, придавая едва приметные нежно-розовые тона коричневым и зеленым краскам.

Сзади шелкнули два выстрела. Они бодро, привычно прозвучали в лесной тишине. Василий пошел обратно на этот призыв. Подходя к дубу, он увидел Громова, которому дозорный докладывал что-то.

— Что у тебя? — спросил Котляков, свернув к командиру. Он то и дело сбивался на ты с этим новым товарищем.

— Перебежчика подстрелили, — отвечал Громов. — Молодец, — указал он на дозорного. — Обыскал и нашел кое-что.

Он раскручивал папиросу, в которую втиснут был клочочек бумажки, исписанный мельчайшими буквами. Но он не глядел на Котлякова, словно чего-то не договаривал, и дозорный стоял потупившись, как виноватый.

От оврага послышался хруст сучьев, и Котляков оглянулся. Дремин нес кого-то на руках и уложил на землю. Подошли несколько бойцов. Сняли шапки. Очевидно, здесь уже было известно нечто неизвестное Котлякову. Василий подошел к группе, сгрудившейся вокруг кого-то, недвижно лежащего на земле. Он никак не ожидал того, что увидел, не ожидал и силы удара, который пришелся в самое сердце.

На примятой траве лежала Маня Колесникова. Она была похожа и непохожа на обычную Манечку. Те же знакомые черты, только они потеряли подвижность, приняли сосредоточенное выражение. Те же черты — да не те. То ли у нее всегда был такой остренький нос, то ли он сейчас вдруг так заострился. А глаза, всегда сверкающие, сейчас глядели испуганно, изумленно, даже умоляюще, словно она, всегда бодрая, деятель-

ная и храбрая, впервые просила у товарищей утешения, поддержки, помощи.

Это она заметила перебежчика, погналась за ним и подстрелила, но выстрелом другого врага была убита. Убийцу удалось схватить, его вели, скрутив ему руки назад.

Красноармейцы стояли вокруг и старались не глядеть на Дремина, опустившегося на колени перед Манией и державшего ее руку в своей.

Ошеломенно, не понимая, что происходит, Василий неотрывно глядел на то, как мертвеет лицо подружки с Выборгской стороны. Навсегда уходили добрые и колкие словечки, блеск глаз, веселость. Уходила юность Василия, и трезвая зрелость стучалась в душу. Слезы брызнули из его глаз, и он отвернулся, чтобы никто не увидал его слабости.

Х

Маню Колесникову убил розовощекий племянник главы «национального центра», тот самый, который вел машину к штабу комбрига Николаева.

Памятью происшествие с Синюшкиным, Котляков не откладывал допроса. Усилием уже не юного, но зрелого человека, умеющего подавлять свои чувства, он заставил себя отойти от тела Мани Колесниковой и приказал привести пленного.

Сам он сидел на пенечке, вокруг разместились члены штаба. Ящик, перевернутый вверх дном, служил столом, и Громов положил на него листы, разграфленные для записей, — он знал стенографию. Юнец со связанными руками под охраной двух красноармейцев, стоял перед Котляковым. Вид он имел испуганный и растерянный. Голос его дрожал, когда он вымолвил:

— Я вам все сообщу. Если будут дополнительные вопросы, отвечу.

Котлякову странно было, что он хладнокровно допрашивает убийцу Мани Колесниковой. Он не ожидал этого от себя.

В конце допроса белогвардеец попытался оправдаться:

— Я не мог не выстрелить. Она мне помешала, и я...

Котляков не выдержал и так глянул на него, что тот оборвал свою речь.

Котляков приказал увести его.

Когда Громов расшифровал свои записи, Котляков взял их у него и прочел.

Они остались одни у ящика, заменявшего стол, и Котляков сказал:

— С расстрелом подождем. Подождем командира бригады; будет, очевидно, сформирован как следует особый отдел.

— Ты думаешь, что понадобится еще допрос?

Теперь и Громов, сам того не заметив, сказал Котлякову ты.

— Все возможно. Но какова тварь!

— Счастье твое, что тебе не пришлось расти среди таких, — мрачно отозвался Громов.

— Да нет, я всяких видал.

Громов проговорил:

— Да, твоя школа неповторима, мне уже ее не пройти.

— Зато я твоего института не кончал.

— Гимназия, институт — это учебники, книги, их никогда не поздно изучить, это не жизнь, которой уже не вернешь и не повторишь.

Они помолчали. Потом Громов вновь заговорил:

— С каким бы удовольствием я помог бы тебе всякими учебниками!..

— Это дело, — согласился Котляков, — но я стараюсь не думать сейчас о своем будущем. Я живу так, — сознался он, — словно меня завтра не будет, иначе можно и ослабеть. Ведь помянут нас добрым словом, если и мы, как Маня...

Голос его осекся.

Новые пополнения прибыли только после полудня. Привел их Балабин.

Выслушав доклады Севастьянова и командиров и комиссаров полков, Балабин распорядился доставить убийцу Мани Колесниковой, стенограмму допроса и шифрованную бумажку в Питер.

— Там идет большая расчистка, — сказал он. — Все становится на место. Владимир Ильич направил к нам серьезную помощь. Сами понимаете, значит, как теперь повернулись дела. Крутой поворот. Штабные предатели получают по заслугам, да и не только штабные. На

фронт пошли настоящие, рабочие пополнения. Все ваши материалы вместе с этим шпионом посылайте прямо в штаб, но с верным человеком.

«С Витей», — тотчас же подумал Котляков.

В этот же день похоронили Маню Колесникову. Гроб несли Дремин, Балабин, Севастьянов, Котляков, Громов. Когда были произнесены все речи и бойцы засыпали могилу землей, прогремел троекратный салют.

Дремин, расставив ноги, недвижно, с каменным, неживым лицом стоял у небольшого холмика, под которым навеки успокоилась неугомонная Маня Колесникова.

Котляков позвал его:

— Витя!

Впервые Дремин не отозвался на голос своего вожака. Котляков подошел ближе.

— Витя, — повторил он, — тебе поручается важное государственное дело.

Дремин поднял голову и взглянул на друга еще непонимающими глазами.

— Ты должен доставить в Питер живым и невредимым захваченного шпиона, — продолжал Котляков. — Говори — сможешь? Не сможешь — так пошлем другого. Я тебе не приказываю, я спрашиваю тебя.

Дремин выпрямился, и глаза его приняли осмысленное выражение.

— Сделаю все, — глухо отвечал он.

А уж раз он сказал «сделаю», то, значит, доставит в сохранности убийцу самого близкого ему человека.

— Конвой будет под твоей командой. На тебя возлагается персональная ответственность за исполнение приказа.

Дремин глянул на белогвардейца, стоявшего невдалеке под охраной, и испуганно наблюдавшего за ним исподлобья.

— Идем, Витя, дам все инструкции, — сказал Котляков.

Он разъяснил ему все, что надлежало сделать.

— Итак, — закончил он, — в путь!

Он передал ему пакет.

Дремин принял пакет и тщательно засунул его в секретный карман гимнастерки.

Часть четвертая

I

В начале девятнадцатого года Ланговой получил письмо, которое взволновало его. Оно было подписано прямыми, почти печатными буквами — «М. Горький».

Алексей Максимович приглашал профессора Лангового зайти в такое-то издательство, в такой-то день и час для переговоров о сотрудничестве в серии, посвященной биографиям замечательных русских ученых. Иван Терентьевич ощутил трепет, как некогда перед конкурсными экзаменами в институт.

Улицы в сугробах. Ни трамваев, ни извозчиков. На перекрестках — костры, к которым подходили редкие обмерзшие прохожие, чтобы погреться и брести дальше. Настороженная тишина нарушалась то выстрелом, то гудком мчавшегося грузовика, полного красноармейцев, матросов, рабочих. Под заваленными мерзлым снегом крышами потемневших угрюмых домов — безмолвие. Но это было обманчивое безмолвие, и улицы обманывали безлюдьем. Гревшиеся у костров красноармейцы не выпускали винтовок из рук — из каждой подворотни может выскочить враг.

По этому голодному, холодному, отбивающемуся от смертельных угроз городу шел профессор Ланговой к писателю Максиму Горькому для участия в создании биографий русских ученых. Иван Терентьевич исхудал, даже его могучее здоровье начало не выдерживать голода, к тому же все лучшее, что удавалось добыть, шло, конечно, детям.

Он явился в назначенный час к дому на Моховой улице и взошел на второй этаж. В приемной за столами сидели несколько женщин и чернявый юнец в солдатской гимнастерке. Иван Терентьевич назвал себя, и

юнец попросил его присесть. Иван Терентьевич опустился на диван.

Из двери напротив вышел знакомый Ланговому зоолог с шишковатой, лысой головой, человек очень ядовитый. Сейчас он имел вид прямо благостный и, оборачиваясь к кому-то высокому, кто провожал его, проговорил:

— Не беспокойтесь, Алексей Максимович, я готовлю в срок.

Дверь затворилась.

Юнец поднялся со стула, запнулся на пороге, явно испугавшись войти в кабинет, хотя входить и докладывать было его обязанностью, все же вошел и, вернувшись, пригласил Ивана Терентьевича к товарищу Горькому.

Иван Терентьевич своим зорким глазом инженера заметил заминку юнца на пороге, и вновь сердце его дрогнуло. Совершенно необычным для себя жестом он одернул пиджак, прошел в кабинет и сразу же успокоился, встретив сияющий взгляд синих глаз. Сначала он только и видел эти приветливо улыбающиеся глаза, всматривавшиеся в него с каким-то необыкновенным любопытством.

Он стоял лицом к лицу с высоким, чуть сутулым человеком, одетым в веселый серый костюм. Голубой воротничок облегал шею Горького, которая казалась очень тонкой. Иван Терентьевич почувствовал крепкое пожатие сильных пальцев («пальцы мастерового», — подумал он) и услышал голос:

— Прошу.

Горький коротким, точным жестом указал на кресло возле большого письменного стола и сам тоже прошел к столу. Весь он был гибкий, упругий и шагал по комнате мягко, неслышно, словно в туфлях. Когда он сел за стол, лицо его уже не улыбалось, он внимательно и строго взглянул на Ивана Терентьевича, тронул длинными пальцами правый ус, придвинул к себе листы бумаги и, чуть нахмурившись, проглядел их. Склоненный над планами издательства, он стал теперь похож на старого токаря, изучающего чертеж. Затем он поднял голову, и лицо его опять осветилось улыбкой, но уже другой улыбкой, не той, которой он встретил Ивана Терентьевича, а улыбкой товарища по работе, довер-

чивой и дружеской. У него было необычайно подвижное лицо, очень откровенное.

Первые же слова Горького объяснили Ивану Терентьевичу, для чего он позван. Алексей Максимович предложил Ланговому написать биографию профессора Кондакова. Книга о Павле Кондакове должна быть размером в десять листов, но если выйдет больше, то ничего. Общеизвестно, что Ланговой является прямым наследником Кондакова в русской науке. Никто не напишет о Кондакове лучше, чем Иван Терентьевич.

Тон у Горького был теперь деловой, лицо стало одновременно настороженным и требовательным. Он ждал ответа и, казалось, щедро вкладывал в это ожидание всю силу своей души. Он только и думал сейчас о биографии профессора Кондакова и о том, чтобы Ланговой согласился написать ее, — такое возникло у Ивана Терентьевича впечатление. Кто знает, может быть, находились господа, которые отказывали великому писателю или даже грубили ему!

Ланговой поспешно ответил:

— Да, да, очень охотно, для меня нет предложения более приятного и лестного, чем это.

Горький откинулся на спинку стула, лицо его опять засияло улыбкой, рука потянулась к коробке с папиросами. Он выбрал одну и закурил. Каждый жест его был точен, изящен, и, казалось, не только лицо, но даже и мизинец левой руки, чуть отодвинутый от других пальцев, выражал движения его души.

Началась беседа. Горький говорил о великом культурном наследстве, которое надо донести до масс. Он обнаружил специальные познания в механике и математике, чем удивил Ивана Терентьевича, не предполагавшего такой осведомленности даже у Горького.

Горький рассказал Ивану Терентьевичу о Ленине, о том, что Ленин лично занимается судьбой ученых, что Ленин озабочен привлечением ученых к работам, размах которых вырастет вскоре необычайно.

Горький делился с Ланговым мыслями и планами, как со старым знакомым, и Иван Терентьевич чувствовал себя легко и непринужденно. Вдруг лицо Алексея Максимовича нахмурилось, в потемневших глазах появился жесткий блеск, пальцы правой руки сердито застучали по столу, а левая рука тронула ус — он

упомянул об одном ученом, который не пожелал работать с Советской властью. «А он и в гневе хорош!» — подумал Иван Терентьевич. Можно сказать, что Иван Терентьевич был сейчас счастлив — он разговаривал с человеком, который считал осуществимой всякую научную фантазию, всякую хорошую мечту. И это — в голодном, замерзающем городе, в окружении врагов! Какая уверенность! Какая сила!

«В нем сила народа, — думал Иван Терентьевич. — Каков же должен быть Ленин!»

Ланговой вышел от Горького членом новой научной ассоциации, членом редсовета и разных других организаций, где, оказывается, обязательно требовалось его участие. Он вышел от Горького очень нужным человеком, совершенно необходимым везде и всюду.

Покручивая ус, улыбаясь своим мыслям, он шел по улице и уже не видел ни сугробов, ни спотыкающихся, еле бредущих прохожих. В его воображении асфальтированные улицы сияли электричеством, электричества было сколько угодно, заводы сверкали огнями, машина заменила во всех производствах физический труд, и приборы, его приборы по проникновению внутрь атома, действовали безотказно, извлекая огромные, неслыханные мощности.

Срок для написания книги о Кондакове был дан большой — год. Иван Терентьевич написал книгу о Кондакове к весне. Написал, прочел и понял, что не понесет ее Горькому. Все же он дал ее Ниночке в перепечатку. Ниночка перепечатывала молча, и это был дурной признак. Обычно она высказывалась о каждой работе мужа. Все дни, пока она занималась этой рукописью, она ходила скучная, помрачневшая, раздражалась по пустякам, все время ссорилась с Аглаей, вообще была на себя непохожа. Наконец Иван Терентьевич сказал, чтобы разрядить атмосферу:

— Книга у меня не получилась.

Он сказал это вечером, у себя в кабинете, когда Ниночка принесла и молча положила перед ним последние страницы перепечатанной рукописи.

— Да, не вышла, — вырвалось у Ниночки. Итак, верная его подруга и дочь профессора Кондакова тоже не одобряет его работу. Но тотчас же Ниночка смягчилась. Присев на диван, она начала размышлять

вслух. — Конечно, это можно напечатать, тут все сведения о работах папы и о жизни, но чего-то не хватает, сухоовато, вроде справочника.

— Не получилось, да, — хмуро отозвался Иван Терентьевич. — Надо дать ясную практическую перспективу работы твоего отца, связать с жизненными потребностями народа и страны. А у меня получилось абстрактно. Ничего, срок большой, а практику я найду.

Иван Терентьевич положил принесенные Ниночкой страницы в папку с остальными листами, тщательно завязал тесемки и засунул в то отделение бюро, где лежали незаконченные работы.

II

Промышленник Гучков в своем докладе Деникину ставил цель: «Задушить большевизм одним ударом, лишив его основных жизненных центров — Москвы и Петрограда». Деникин весной того же девятнадцатого года писал Колчаку: «Главное — не останавливаться на Волге, а бить дальше, на сердце большевизма, на Москву». Колчак стремился нанести главный удар — он шел на Москву с востока, из Сибири через Урал. С юга шел Деникин, надеявшийся соединиться с армией Колчака в Саратове. Юденич командовал из своего штаба в Выборге походом на Петроград.

Петрограду суждено было стать важным пунктом борьбы. В холодных и темных домах Сергиевской, Потемкинской, Таврической и прочих улиц аристократии и буржуазии, в угрюмых и малолюдных в те первые революционные годы центральных кварталах города, в огромных полупустых квартирах с богатой мебелью и коврами собирались санкт-петербургские заговорщики, ничего не забывшие, желавшие вернуть обратно все ими потерянное — земли, деньги, власть — и научившиеся только одному — скрывать свои планы, свои действия, свою злобу. «Национальный центр» во главе с бывшим банкиром Штейнингером действовал по указке заграничных хозяев. Паникеры при первых же наступательных действиях врага замыслили потопление Балтийского флота, парализацию питерских заводов, сдачу города.

Измена и предательство открыли фронт русским белогвардейцам и белоэстонцам генералов Родзянки и Булак-Балаховича, рванувшихся в наступление на нарвском и псковском участках фронта. В Финском заливе орудовали английские миноносцы и подводные лодки. Английская эскадра стояла наготове, чтобы немедленно двинуться для закрепления ожидаемых побед.

В Петрограде положение становилось критическим, и Ленин принял для спасения города немедленные меры, развязавшие силы петроградцев.

Бумажка, которую привез с фронта Дремин, оказалась запиской генералу Родзянке. В ней сообщались пароль и условные знаки, по которым можно было распознать врагов, затаившихся в тылу красных войск. Пароль «Вик» и «Во что бы то ни стало», а также прикосновение правой руки к правому уху обозначали участников и пособников заговора. Это не было детской игрой в приключения. Поимка на границе шпионов с письмами руководителей «национального центра», подписанных «Вик», подтверждала пароль. Все эти сведения были тотчас же использованы обновленным, очищенным от предателей, Штабом обороны.

Убийца Мани Колесниковой был допрошен вторично, но этот допрос мало что прибавил к присланной Котляковым стенограмме.

Дремин не был отпущен обратно на фронт. Его поставили во главе отряда, посещавшего барские квартиры без приглашения хозяев.

Иван Фомич, направленный на укрепление Чрезвычайной комиссии, рассылал по центральным кварталам города отряды, выделенные для совершения массовых обысков, как некогда рассылал красногвардейцев на розыски продовольствия на Выборгской стороне. Заговорщиков вылавливали одного за другим и целыми группами. Все ясней становилось, что враги рассчитывали не столько на свои войска, сколько на замаскированных белогвардейцев, изменников и предателей в тылу Красной Армии. Все данные указывали также на то, что некоторые из находившихся в Петрограде иностранных посольств нарушили нейтралитет.

Эве Бэлл, узнавая о новых и новых арестах, трепетал днем и ночью, не выходя из нейтрального посольства, в котором пребывал. Он отсчитывал дни, когда

откопанный из земли стальной ящик с документами и актами на владение домами и землями сделает его наконец миллионером, но вдруг все изменилось, и город, который уже почти давался в руки, взъерошился, стал смертельно страшным.

Эве Бэлл был злопамятен и мстителен, он запомнил развязный тон Шкуропятинова в вологодском разговоре. Он намеревался разделаться с этим лакеем как следует после того, как Антанта придет в Россию. Но когда он узнал об аресте Шкуропятинова, он не смог сохранить даже и видимость самообладания — этот арест грозил ему смертью.

Внезапное исчезновение Келдова заставляло его предполагать, что тот без него, самостоятельно успел спасти свою шкуру. И тогда он решился бежать, у него для этого еще оставались средства.

Приморское шоссе вьется вдоль берега, то близко придвигаясь к морю, то отдаляясь от него, и железнодорожный путь неизменно сопутствует ему. Дома, домики, дачи Лигова, Стрельны, Мартышкина, дворцы Петергофа и прочие жилые и музейные постройки толпятся в зелени садов и парков по дороге в Ораниенбаум. За Ораниенбаумом общий вид резко меняется. Вдруг распахиваются во всю ширь земля, море и небо. Море здесь суровей, чем смиренная петергофская «Маркизова лужа». Над шоссе и рельсами железной дороги, на обрывистых горюшках чернеют деревни, а за ними, на многие версты в глубь от берега, огромными, мощными массивами разрослись леса. Можно легко заблудиться в этих заболоченных дебрях, где нога проваливается в трясину там, где и не ждешь, возле какого-нибудь могучего бора мачтовых сосен или на солнечной полянке, заросшей кустами сочной черники.

Кольцо фортов в солнечные дни сверкает здесь ослепляющей желтизной песка и камня. По ночам грозными огнями блистает Кронштадт и, как одинокий разведчик, высланный вперед, бледно светит вдали огонь Толбухина маяка. Матросы Балтийского флота — хозяева этих водных, бурных, штормовых пространств.

Но и в ряды моряков проникли враги. В машине, мчавшейся из Питера по шоссе, у руля сидел морской командир, а рядом с ним — тоже в морской форме —

Эве Бэлл, с документами, составленными по всей форме. Машина промчалась к форту «Красная Горка», стоявшему на морском берегу, в нескольких десятках километров от Петрограда.

Машина умчала Эве Бэллу 12 июня, а в ночь на 13 июня бывшие царские офицеры захватили и «Красную Горку» и другой береговой форт — «Серую Лошадь», арестовав и убив коммунистов во главе с бывшим в тот день на «Красной Горке» председателем Кронштадтского Совета Мартыновым.

Главарем мятежа на «Красной Горке» был комендант, бывший поручик Неклюдов, человек, умевший под приятной внешностью, простецким обращением с матросами и пылкостью революционных речей скрывать истинную свою натуру. Неклюдов дал радиogramму в Биорке командующему английским флотом: «„Красная Горка“ в вашем распоряжении». Вторую телеграмму он радировал в Кронштадт: «Присоединяйтесь к нам, иначе Кронштадт будет уничтожен». Белые войска с суши придвигались к фортам.

Эве Бэлл еще выжидал, еще надеялся в безопасных для него тылах, когда начала бить по мятежному форту советская артиллерия. Но в ночь на 16 июня, когда только маленькая группа мятежников, едва вырвавшись, удирала лесными, болотными тропами, Эве Бэлл был уже далеко.

В Петрограде отряды готовились к обыскам в нарушивших нейтралитет посольствах.

Перед обыском Дремин, полный воспоминаний о Мане, не поспал и минуты. Он оставил спящих товарищей и вышел в коридор, длинный, без окон, бледно освещенный электрическими лампочками. Здесь он присел на деревянный решетчатый диванчик. Он доставил в Петроград, как приказано было, живым и невредимым убийцу своей верной подруги, но все же странно ему было, что у него хватило на это выдержки, сил.

Из-за поворота показалась девушка, знакомая еще по Выборгской стороне. Она остановилась возле него и спросила:

— Что же ты не приляжешь? Ведь тебе целую ночь не спать. Так нельзя. Тебе только через час отправляться.

Эта неожиданная забота тронула Дремина. Да к тому же девушка эта отдаленно напоминала Манечку Колесникову.

Он ответил:

— Да нет уж, сон не придет. О Мане думаю.

И он, человек в последнее время особенно замкнутый и неразговорчивый, вдруг заговорил о Мане — как она была и как долго он видел в ней только шумливую и надоедливую девчонку.

Начав, он уже не мог остановиться — ему необходимо было выговориться. Он откровенно и просто говорил о себе и своих чувствах, он рассказывал, как поженились они после Брестского мира в далекой от Питера деревне, как они любили друг друга, и в этой откровенности было громадное облегчение. Он не мог бы так говорить даже с Васей, а вот перед этой девушкой не постеснялся, она поймет.

Девушка слушала молча и внимательно. Когда он замолк, она вымолвила:

— Я бы хотела быть такой, как Маня. Очень хотела бы. — убежденно повторила она и тут же добавила: — Но я никогда не могла понять почему она тебя так полюбила. — Это было сказано в увлечении, наивно и резковато. — Конечно, тут не поймешь, почему вот этот нравится, а этот — нет. — Она склонила голову набок, морща гладенький лоб под светлой челкой. Глаза ее наливались слезами. — Ах, как жалко, — проговорила она. — Какое у тебя несчастье! Мы все тебе товарищи. Я тебя очень, очень понимаю...

Она мучилась, сидя рядом с ним, и Виктору стыдно стало, что он навалил на нее свое горе, словно не в силах сам нести его. Это на него непохоже. И он проговорил:

— Да ты успокойся, это я так...

Он поднялся с дивана и соврал:

— Пойду, действительно, отдохну...

Он сейчас особенно ощущал, кого он потерял в Мане Колесниковой. Вот эта тоненькая девушка — его товарищ и друг, она уважает и слушается его, но Манечкиной любви больше нет. Так вот как бывает в жизни! Вот какова она, жизнь! Простая жалость, уже без мысли о себе, жалость к Мане, хорошей девушке, деятельной, заботливой, незлобивой, любящей подруге:

с Выборгской стороны, владела им. Проклятые убийцы с их войсками и заговорами! Как они уродуют и калечат жизни! Нет, не может и не должно быть им никакой пощады!

Обыск в посольстве нейтрального государства обнаружил большие запасы оружия и подтвердил связь работников посольства с заговорщиками.

III

Зимой сугробы выросли на заводском дворе. Холодный ветер, врываясь в побитые окна, гулял по цехам. Дядя Яша, совершая свой ежедневный обход, скорбно озира́л кладбище станков и всякого вмерзшего в снег железного хлама, вздыхал и шел дальше медленным шагом.

Завод бездействовал. Только механический цех, куда являлись еще старые рабочие, утешал дядю Яшу. Двери в механический цех, распахнутые еще осенью, было невозможно закрыть всю зиму до самой весны — створки вмерзли в оледеневшие сугробы, на которые мело еще и еще снег. Стужа шла и в разверстые двери и в побитые окна.

Дядя Яша хранил списки рабочих и старался узнавать, кто где. Когда приходилось ему ставить крестик против фамилии погибшего, он снимал очки в стальной оправе, ватка с переносицы падала на бумагу, и он задумывался, вспоминая всю жизнь того, кто пал с винтовкой в руках в приморских болотах или в приволжских степях или затих в сыпнотифозном бреду на каком-нибудь глухом, занесенном снегами полустанке. Но пока стоял завод, пока еще тлела жизнь в механическом цехе, жил и дядя Яша. Было у него такое чувство, что он остался хранителем завода для будущих времен и потому умирать не имеет права, и это чувство передалось и Марье Кузьминишне. Катюша уходила с утра и возвращалась поздно, — она работала в Выборгском Совете.

Механический цех оживился весной. Дядя Яша взбодрился и даже хранил в секрете то, что делалось там. Он гордился механическим цехом и сам, тряхнув стариной, ходил туда помогать, оставляя в сторожке Марью Кузьминишну.

В мае на завод пришел страшный слух. Пришел слух, что все ценное с завода будет забрано и увезено из Питера. Пришел слух, что город сдадут царским генералам. Та же самая весть прошла по всем заводам.

Оставшиеся на заводе рабочие и не думали сдаваться или бежать, и районная партийная организация готовила отпор врагу. Но тревога осталась.

В один из последних дней мая человек в военной шинели, стянутой поясом, при кобуре с револьвером на боку, сильно дернув дверь, вошел в сторожку.

— Узнаете, Яков Самсонович? — спросил он, весело глянув на старичка. Это был высокий, плечистый мужчина. На его чисто выбритом лице светились серые пристальные глаза.

— Владимир Николаевич!

— Живы мы с вами, — промолвил Макшеев, словно отвечая на постоянный вопрос дяди Яши. — А как тут?

Дядя Яша хотел сказать этому человеку что-нибудь радостное и даже знал, что сказать, но неожиданно выговорилось другое, захотелось пожаловаться:

— Знакомцев мало найдете, — проговорил он. — Обезлюдело. Кто в силах — с винтовкой бедует, а кто и здесь голодует. Обезлюдело, — повторил он. Но лицо его при этом улыбалось так, словно он произносил самые радостные, приветственные слова.

— Слышал я, что кое-что делается тут у вас, Яков Самсонович, — отвечал Макшеев не на грустные слова, а на радость, озарившую лицо старичка.

Но у дяди Яши еще не иссякла охота жаловаться, и он отозвался, счастливо улыбаясь:

— Радостей не увидите.

— Погляжу грусть, — бодро согласился Макшеев. — Авось не заплачу.

— Плачут, у кого слезы есть, — поучительно заметил дядя Яша и больше жаловаться уже не хотел. Держа руку Макшеева в своей, он жал се своими ослабевшими пальцами и почти влюбленно глядел на неожиданного посетителя. Перед ним стоял тот, который не согнулся в прежние страшные годы, кто не боялся ни заводчика, ни Лызлова, ни черной, ни белой сотни, кто всегда бился за рабочий народ и никогда не сомне-

вался. Он-то не пустит заводчика с Лызовым обратно на завод. — Гость дорогой, — проговорил старичок, и стекла очков его запотели от выступивших слез. Пришлось снять их и протереть. — Марья! — крикнул он.

В дощатой перегородке отворилась дверь, и вошла Марья Кузьминишна. Макшеев, не ожидавший увидеть ее, уже без улыбки, нежно и почтительно глядя на пожилую женщину в коричневой ситцевой кофте, подошел к ней, взял ее мягкую руку и ни о чем не спросил, сказал только:

— Вот мы с вами и свиделись.

Марья Кузьминишна глядела на него своими синими глазами, и ямочки на ее молодых щеках вспомнились Макшееву. Только год прошел, как уехал Макшеев из Питера, а казалось ему, что он десять лет не был здесь.

Дяде Яше уже не терпелось показать желанному гостю самую главную радость завода.

— Угодно вам в механический? — спросил он.

— Угодно, — отозвался Макшеев и вдруг подмигнул Марье Кузьминишне. Видно, человек знает, что там делается, а не хочет мешать сюрпризу.

В механическом цехе работали старики, инвалиды, подростки. Макшеев сразу же заметил две пушки, стоявшие в стороне, новенькие, только что, видно, отремонтированные. В цехе совершалось необходимейшее дело — ремонт орудий.

Старики, только что оттащившие лафет разобранной пушки в сторону, настороженно оглянулись на незнакомца, пришедшего с дядей Яшей, признали в нем очередное начальство, и один, щуря глазки, глубоко упрятанные на заросшем соломенной бороде лице, сказал, ни к кому специально не обращаясь:

— Комиссар заявился. Ломать нас будет, будто мы немятые.

Другой, помоложе, рыжебородый, коренастый, изобразил, будто обрывает грубияна; подмигивая товарищам, он принялся увещевать:

— Тебя бы за язык да на вешалку. Пришел хороший человек, сейчас будет сообщать, что, мол, то-то и то-то, ввиду событий и прочее, убирайтесь-ка вы добром, а то и в шею можно. Что, мол, нету больше наших

сил, дерем, задравши штаны, от генералов, куда Макар не гоняет, а Питер отдаем кому следует. Нету, мол, никаких сил, и это противоречие мировым событиям — защищать Питер. С миром пришел человек, а ты обидно разговариваешь, невежливо выражаешься.

Кто-то сзади поддал сиплым голосом:

— А ты бы его самого вежливенько за грудки да вытряхнул бы в речку. Чай, ограды на Неве нету.

Макшеев молчал. Он и внимания не обращал на их грубости, приглядываясь к работе в полуразрушенном цехе.

— Значит, вдруг работать начали? — сказал он.

Красивый белобородый старик с печальными и гневными глазами вышел вперед и проговорил, тряхнув седой гривой волос:

— Начали и не бросим. Так и знай.

Сиплый голос сзади поддал:

— Знаем, чего скажет. Начала, мол, баба пироги печь, да теста нету. Говорю — за грудки его да прочь! Путаются тут, дьяволы.

Дядя Яша переставал уже понимать, почему Макшеев не разъясняет, кто он такой и с чем пришел. И вдруг схватило за сердце: а что, если и Макшеев пришел с тем же, что и другие говорили? Что, если и ему охота сдать Питер с заводом вместе? Что тогда? Свету конец? У него высохло во рту и задрожали колени.

— А инженер у вас есть? — спросил Макшеев.

«Через инженера прикажет», — подумал дядя Яша и, беспомощно озираясь, присел на лафет. У него отнимались ноги.

— Кто тут мешает? — послышался зычный голос с другого конца цеха. — Что за черт! Не можете сами выбросить вон?

И к Макшееву вышел грузный, мускулистый мужчина в совершенно перепачканном, замасленном кителе, первоначальный цвет которого невозможно было разгадать. Лицо было изборозжено полосами — черными, коричневыми и черт его знает еще какими. И все-таки это был профессор Ланговой, Иван Терентьевич.

— Ну? — грозно осведомился Ланговой, и запачканные усы его величественно зашевелились. — Что вам угодно?

И тут же осекся. Он узнал Макшеева. Тот тоже во все глаза глядел на старого институтского товарища, которого никак не ждал встретить тут, да еще в таком виде. Он намечал урвать часок, чтобы повидаться с ним, а вот как привелось встретиться. Это для Макшеева действительно оказался сюрприз — о Ланговом ему никто не говорил, и сам тот не сообщал,

— Вот ты где! — сказал наконец Макшеев.

— А что? — отвечал Иван Терентьевич, сразу настрожившись.

— Да нет, ничего, — как можно проще отозвался Макшеев, вспомнив вспыльчивость старого знакомого, готового увидеть обиду и там, где ее совершенно нет. — Просто рад, собирался к тебе.

Старики слушали с недоумением, а дядя Яша ждал и ждал решения судьбы. Если заводу конец, если все отсюда вывозить, а город сдавать, то кончена дяди Яшина жизнь.

Ланговой обернулся к старикам и сказал:

— Эх вы! Макшеева не узнали!

Никто здесь не знал Макшеева в лицо до этого дня, но имя-то было известное.

— Работайте! Работайте! — говорил Макшеев. — Отвлекать не буду! Дело горячее!

В этих его словах заключался ответ на все недоумения и страхи.

— Кто тут хотел за грудки выкидывать? — сказал рыжебородый, словно сам-то он вел себя как подобает.

Но обладатель сиплого голоса, спрятавшись за спинами товарищей, делал вид, будто только и занят тем, что отвинчивает от лафета какую-то пуствяковину.

А Макшеев говорил:

— Что вы пушки ремонтируете — это замечательно. Путиловцы — те танки делают.

Он объяснил Ивану Терентьевичу:

— Я, вот видишь, послан из Москвы, обхожу заводы, собираю, что называется, данные и, если где панические слухи, что город сдаем, говорю истину. Не сдаем и не сдадим, вот и вся недолга. Ваня, — обратился он к Ланговому, — я тебе сейчас мешать не буду, но встретимся, если не возражаешь.

— Ты какой-то вежливый стал, — фыркнул Иван Терентьевич.

Дядя Яша, внимательно слушавший и уже привставший с лафета, вставил свое слово.

— Владимир Николаевич, — сказал он, — значит, следует понимать так, что завод остается? Это я для верности спрашиваю, — пояснил он, — чтоб было точно. Да или нет?

— Да, Яков Самсонович, да, — отвечал Макшеев. — Заводчику завод не отдадим.

И вновь обернулся к Ивану Терентьевичу.

— Вот уж не ожидал увидеть тебя тут. Значит, ты пушки ремонтируешь? И это умеешь?

— Я тут пишу книгу, — отрезал Иван Терентьевич. Макшеев не понял его и промолчал.

— Пишу книгу, да, — повторил Иван Терентьевич и сердито фыркнул по своей новой привычке. — Проверю на практике, как действует твой закон и что получается, если завод принадлежит рабочим.

— Ну и как?

— Интересный эксперимент, — отвечал Ланговой. — Бесспорна новизна, результаты пока благоприятные. Общие итоги определяю в книге о Кондакове.

— Ну-ну, — промолвил Макшеев, с большим любопытством приглядываясь к Ивану Терентьевичу. — А ты, знаешь, как-то помолодел.

Ланговой насупился.

— Я еще не был стариком, не знаю, как это молодуют.

Он, очевидно, хотел взять реванш за последний разговор, и Макшеев очень охотно уступил ему:

— Да, видишь ли, это я старею, и мне обидно видеть молодых сверстников. Но ты скажи, чем я могу тут помочь. Что тут нужно?

— Многое нужно.

И Ланговой самым требовательным, даже ругательным тоном начал деловой разговор. Он чувствовал, что теперь он наконец имеет право поругать Макшеева за непорядки, за равнодушие к нуждам и вообще за все, в чем тот даже и виноват не был. Но Макшеев — начальник, по новым обычаям он должен терпеть — и пусть терпит, черт возьми!

Не было рядом Вити Дремина, вместе с другими питейскими рабочими направленного на укрепление Чрезвычайной комиссии в Петрограде, не было Манечки Колесниковой, погибшей и навсегда памятной, не было Кости Куклина, вдруг найденного и столь же внезапно потерянного. Не было рядом и других друзей детства. Но стало еще легче, чем прежде, сходитьсь с новыми людьми, рабочими и крестьянскими бойцами, понятными как-то сразу, с первых же слов, в своих хороших, а подчас и дурных свойствах. Очевидно, накопился жизненный опыт, выросло умение судить о людях.

Вновь сформированный полк, в котором Громов был командиром, а Василий Котляков — комиссаром, с боями продвигался на запад. Котляков полюбил беседы с людьми полка. Может быть, кое-что в этом его напряженном интересе к каждому новому человеку было от неосознанного желания победить горькую боль о Мане Колесниковой и Косте Куклине.

Был один из ясных теплых вечеров начала июля. Полк прошел по березовой аллее к небольшому поселку, состоявшему из одной только короткой и широкой улицы. Здесь, в своем движении к тому самому городу, в котором был зверски убит комбриг Николаев, полк расположился на ночь, на короткий отдых. Василий стоял в дверях занятого штабом домика, когда на крыльцо, стуча сапогами, бодрым и решительным шагом вошел молоденький, с серьезными карими глазами красноармеец, подтянутый, даже несколько щеголеватый. Вытянувшись, он четко отрапортовал:

— Звoryкина, прибыла в ваше распоряжение по мобилизации Петроградского комитета Российского Коммунистического Союза Молодежи.

Катюша Звoryкина, подруга Мани Колесниковой, в аккуратно пригнанной форме красноармейца, стояла перед Котляковым. Это родная Выборгская сторона прибыла к нему. Катюшина папаха неизменно сопровождала его во всех походах и сейчас обреталась в вещевом мешке. Сдержаться было невозможно. Василий шагнул к девушке, воскликнув:

— Катюша! Ты!

Он решительно забыл, в каких они были отношениях, ему казалось сейчас, что они друзья детства. Ведь Катюша жила в Питере с его матерью, она и учебники ему прислала...

— Катюша.

Он хотел обнять ее, но она отстранилась. Лицо ее приняло до мрачности строгое выражение, и на Котлякова так и пахнуло холодом. Она ответила жестким и звонким голосом:

— Жду ваших распоряжений, товарищ комиссар.

Все, что резко отличало ее от Мани Колесниковой, тотчас же вспомнилось Василию, и недоброжелательство вспыхнуло в нем. Он сказал:

— Распоряжения получите от командира полка товарища Громова.

Он повернулся и вошел в дом. Все чувства и воспоминания, возникшие с появлением этой девушки, словно отсекло. Он даже не спросил ее о матери, он опустился на лавку с таким хмурым лицом, что веселый сотрудник политотдела, писавший в газету статьи, которые, к его огорчению, всегда под рукой редактора превращались в краткие заметки, вышел на цыпочках сразу помрачневший. Настроения комиссара, которым он восхищался, отражались на этом впечатлительном человеке тотчас же и в преувеличенной форме. Он и в статьях любил преувеличивать, отчего они и подвергались жестокому сокращению.

— Что с тобой? — спросил Громов, подойдя к крыльцу с каким-то красноармейцем.

— Да что! — уныло ответил политотдельщик, безнадежно передернув плечами. — Ничего не получается.

Он не мог бы объяснить, что не получается, но Громов и не спрашивал: ему было известно, что этот юноша — зеркало комиссара и что, следовательно, Василий Котляков почему-то в дурном расположении духа.

— Ничего, — усмехнулся он. — Комиссар сейчас развеселится. Дорогого гостя веду.

— Вася, — сказал он, входя, — вот тебе новый связист взамен выбывшего. Знакомый.

Катюша остановилась на пороге, прямо глядя на Василия своими округлившимися то ли от испуга, то ли

просто от настороженности глазами. Но виноватого выражения, которое ожидал прочесть на ее лице Василий, не было. Совершенно ясно, что она, явившись к Громову, и слова не сказала о том, что уже была у комиссара. Ясно также, что она зато не скрыла, что знакома с Котляковым по Выборгской стороне, может быть, и о Мане Колесниковой помянула и о Васиной матери. И, уж во всяком случае, ясно, что никакой вины она не чувствовала. Очевидно, она считала, что дала правильный отпор порыву Василия.

— Уже видались, — сдержанно отозвался Котляков. — Ты назначаешь ее ко мне связистом?

— Да.

Громов не понимал, что значит холодный тон комиссара.

Но тут вступила в разговор Катюша.

— Разрешите, товарищ комиссар? Разрешите доложить, что направлена согласно характеристике, полученной на работе. Разрешите обратиться с просьбой, товарищ комиссар, считаться с моей работой невзирая на то, что я девушка.

«„Разрешите“, „невзирая“... С ума сойти!»

— Разрешите передать вам пакет.

«О господи...»

Катюша передала ему пакет, то есть, попросту говоря, письмо от Марьи Кузьминишны. Хотелось, чтобы она рассказала о матери, о друзьях, но она стояла перед ним забронированная самой отъявленной официальной, и ходу к ней не было.

Распечатывая письмо, Котляков проговорил:

— Девушкам на фронте лучше не быть. Вам бы в тыл.

Краска бросилась в лицо Катюше, глаза вспыхнули, и она ответила четко и упрямо:

— Направлена в строй, товарищ комиссар!

Тут политотдельщик рискнул улыбнуться, потому что на лице комиссара мелькнуло что-то вроде усмешки. Василий обернулся к нему и распорядился:

— Товарищу Зворыкиной надо отдохнуть с дороги. Устройте все, что нужно. Организуйте отдельную комнату.

Юноша радостно бросился исполнять приказ комиссара.

Катюша получила на ночь комнатку в том же домике, что и Котляков. Василий, прочтя немногословное письмо матери, прошел к девушке. Все-таки, может быть, с нее слетела уже вся эта натянутость, которую он понял по-своему. «Бережется среди мужиков, — думал он. — За кого ж она нас принимает? Бесчинствовать, что ли, будем?»

Чуть он вошел, Катюша вскочила со стула и — руки по швам — осведомилась:

— Товарищ комиссар, разрешите спросить: если вас потребуют — будить?

На столе стоял брошенный белыми телефонный аппарат. Василий уже приказал забрать его утром с собой, а сейчас и внимания на него не обратил. Он злился на девушку, которая взяла с ним официальный тон и не позволяет потолковать по-человечески. Очевидно, пока что этот тон с нее не сойдет.

— Будить, — буркнул он, повернулся и, махнув рукой, вышел.

Рано утром, когда он зашел к ней (авось она наконец стала человеком), она сидела на подоконнике и глядела на телефон с возмущением. Увидев Василия, она вытянулась и отрапортовала, прожигая его взглядом своих карих негодующих глаз:

— Разрешите доложить, что требований по телефону не было, ввиду того что поставлена на дежурство при испорченном аппарате без проводов.

— Что вы! — удивился Котляков. — Никто вас не ставил на дежурство. Вы что — не спали?

— На мой вопрос было отвечено: «Будить», — отрапортовала Катюша. — Разрешите приказы в боевой обстановке не принимать за пустяк, товарищ комиссар.

Она была формально права, но Василий не чувствовал себя виноватым. Он начинал серьезно сердиться, но не мог найти вины и у нее. «Что за черт!» — подумал он.

— Вот что, — мягко сказал он, — приказываю вам лечь и спать. Вас разбудят, когда нужно.

О том, чтобы пойти на фронт, Катюша думала давно. Но с того дня, когда в сторожку пришло страшное известие о гибели Манечки Колесниковой, она решила окончательно.

Василий Котляков, о котором она много слышала на заводе, представлялся ей героем, и она, преодолев ужас перед войной, добилась того, чтобы ее отправили именно к нему в полк.

Она обдумала свое поведение со всей тщательностью. Надо держаться храбро, подтянуто, как мужчина, главное — не распускаться, не допускать никаких лишних размягчающихся мыслей и разговоров, тогда она, может быть, и выдержит. И лучше всего — забыть на все время, пока она будет на фронте, о Выборгской стороне, о сторожке, о подружках, обо всем и обо всех. Она решила так, потому что чувствовала страх. Она боялась, что окажется трусихой, и тянула на себя, как могла, самое не подходящее ей обличье.

Она не задумывалась над тем, почему отскочила от Василия, когда тот попытался обнять ее, ей было не до того, и она совершенно не способна была сейчас думать о том, какое впечатление производит ее поведение на других, потому что изо всех своих силенок держала себя в узде, все время ожидая, что начнется стрельба и она постыднейшим образом перепугается.

Котляков не понимал этого ее состояния. Он решил пока что тоже держаться с ней официально. Приказав ей поспать, он заглянул к ней через пять минут и убедился, что приказ исполнен — девушка спала беспробудно, раскинувшись на столе.

«Слава богу! — подумал он, прислушиваясь к ее дыханию. — Хотя это у нее получается по-человечески. — У него пробудилась нежность к ней, как к ребенку. — Устала бедняжка... — И он тихо затворил дверь. — Кто кому связист — неизвестно», — подумал он, усмехаясь, и решил, что как бы ненароком, под предлогом какого-нибудь важного дела, он отправит эту смешную девушку в тыл.

Но в тыл они отправились вместе.

В нескольких километрах от поселка, в низких, сырых, извилистых берегах протекала речка. С утра похолодало, стал накрапывать дождик, словно осенью, и когда полк подошел к переправе, то мелкая пронизывающая дрянь сыпала с неба — дождь не дождь, а черт знает что такое. Василий успел заметить, что на этом куске приморской земли погода плохая даже тогда, когда в самом Питере солнце и жара. Ему казалось,

что вообще плохая погода варится в Лужской губе и оттуда распространяется по всей губернии. Но, может быть, это казалось ему потому, что в Лужской губе было средоточие сил врага — морских и сухопутных.

Разваленный сарайчик гнил невдалеке, тонкие березки, цепляясь корнями за кочки, подбежали к самому берегу речки, две-три ивы клонились к воде. Дождь шел все сильнее и сильнее.

Василий обернулся к Катюше, чтобы отослать ее с каким-нибудь поручением в тыл, но в этот момент бухнула пушка, вражеский снаряд шлепнулся в мокрую землю, разбрызгивая грязь и раскидывая смертоносные осколки, и начался бой. Наши части на том берегу ринулись в атаку. Василий побежал на ту сторону по мокрым бревнам, кое-как переброшенным через узенькую речку, у самого того берега поскользнулся и сорвался в воду по пояс. Отяжелевшая, мокрая шинель тянула книзу. Котляков уцепился за торчавшую корягу, подтянулся и лег животом в чавкнувшую под ним траву. Все было пропитано влагой, небо поливало, как из огромной лейки, мелким дождем.

— Ложись! — скомандовал он.

Но ту же команду уже дал Громов. Оба они разом удержали неопытного командира передовой части от самоубийственной атаки. Команда была дана вовремя. Затрещали пулеметы, и пули понеслись над залегшими в канавах и ложбинах красноармейцами. Василий отдышался и вспомнил своего нового связиста. «Что, если убило?» Он поглядел вправо и влево. Нет, Катюша живая лежала рядом, зарывшись в мокрую землю. «Как бы ее услатить? И куда?» Теперь и назад идти было опасно.

До ночи теснили белых и у рощицы залегли. Шумел ветер, тьма была полна шорохов, плесков, шелестов. Ухо улавливало каждый чуть слышный звук, и слух заменял зрение, по дыханию угадывались люди. Дождь почти прекратился.

Справа от рощицы в поле загорелся огромный глаз прожектора. Широкий луч протянулся по полю. Луч медленно двинулся, отнимая у ночи и вновь отдавая ей одну за другой полосы болотных, поросших кустами

низин. Не стало ни дыхания, ни плеска. Едва слышная жизнь замерла, все стихло, только ветер шумел. Яркий свет выхватил Василия из тьмы и, казалось ему, поднял его кверху. И опять тьма.

Под утро вновь прошла по полю лапа прожектора, затем засверкали огни, словно красноглазые дьяволы проснулись во мраке, и земля грохнула — это заговорила вражеская батарея. Теперь надо было выбить врага из рощицы и засесть там. Это и командовал Громов.

Цепкие сучья кустов, коварные пеньки, вся корявая дрянь, какую поросла сырая земля, ополчилась на людей, хватая за ноги, за полы, за рукава, злорадно била по коленям и лицу, хлестала и сбивала с ног. Высокий офицер вырос перед Василием, взмахнул шашкой, но Василий ударом приклада уложил его наземь и бросился дальше...

...Снаряды грузно шлепались в мокрую землю, забрасывая грязью; сверкали осколки, врезываясь в стволы деревьев, и пулеметный ливень перещелкивался с ними. Трещали и валялись березки, вздымались в воздух фонтаны тяжелой земли, щепок, травы, стлался дым, и пахло гарью.

Робко, с неохотой, начинал пробиваться сквозь толщу угрюмых облаков утренний свет. Он просачивался в рощицу, и грустно выступали из сумрака побитые березы. «Жива ли?» — пронзило вдруг Василия, совсем забывшего о Катюше. Но она была тут, рядом, она, как верный связной, умудрялась не отставать от него.

В первые секунды боя, когда надо было бежать вперед, Катюша старалась только не отбиться от Котлякова: ей казалось, что если она отстанет, то гибель неминуема. Страх отстать от него, потерять его в грохочущей тьме увлекал ее все вперед и вперед и побеждал страх боя.

Ей стало спокойней, когда Котляков взглянул наконец на нее, но тотчас же ей в лицо бросило грязью, навалило сзади земли, а когда она, освободив руки, тронула Василия за плечо, он не шевельнулся. Он был без сознания, плечо взмокло от крови. Теперь она знала без приказа, что должна делать. Осторожно оглянувшись, чтобы рассчитать путь обратно к

реке, она увидела человека, ползшего прямо на нее. За ним выполз другой человек с красноармейской звездой, третий... Все вокруг насыщалось людьми — это резервный батальон шел на подмогу. Бой ушел вперед.

Катюша принялась за дело. Она скинула с себя шинель, с помощью одного из красноармейцев уложила на нее Котлякова, привязала ремнями к шинели, а конец ремня прикрепила к своему поясу. Затем она потащила Котлякова к берегу. По дороге ее словно что ужалило в руку, но она и внимания на это не обратила. Это были самые трудные и страшные минуты в ее жизни, когда она, выбиваясь из сил, до крови закусив губу, тянула бесчувственного, может быть умирающего Василия.

Недалеко от берега фельдшер подобрал лежавшего на земле, распластав руки, красноармейца и рослого сухощавого командира, стонавшего на скомканной, темной от влаги крови шинели. Оба были без сознания. Левый рукав красноармейца насквозь промок от крови. По документам узнали их имена и фамилии — Василий Котляков и Екатерина Зворыкина.

V

В дореволюционные времена Иван Терентьевич Ланговой столкнулся с проблемой, которая казалась ему тогда неразрешимой. Станным образом оказывалось, что изобретения и открытия, совершаемые учеными, шли не на пользу людям, а во вред им. Например, автоматический станок, созданный Ланговым в молодости и примененный за границей, был причиной увольнения рабочих, причиной их нищеты, их несчастья. Этот случай был очень памятен Ивану Терентьевичу еще и потому, что его изобретение было присвоено владельцем иностранной фирмы, на службе которой состоял в те времена Ланговой. Он порвал с фирмой, вступил в спор, но потерпел поражение.

Работая на заводе, он убедился, что в основе своей проблема решена — всякая машина бесспорно пойдет сейчас на пользу, а не во вред людям. Это верно. Когда можно будет заняться производством машин для

мирного труда, начнется, возможно, расцвет техники, какого и быть не могло раньше.

Летом Макшеев категорически потребовал, чтобы Иван Терентьевич оставил работу на заводе.

— Смешно же, слушай, — злился он, зайдя на завод перед своим отъездом в Москву. — Крупный ученый круглые сутки тратит на нужную, но все же мелкую работу. Тебе необходим масштаб. А сюда пришли своего Кругликова. Почему ты его заменил?

— Я экспериментатор, — возразил Иван Терентьевич. — Прощу в мой научный метод не вмешиваться. Куда годится ученый без практики? — Он помолчал. — Теперь-то, пожалуй, я пришлю сюда Кругликова. — Он опять помолчал. — Нет, он зануда. Пускай преподает прикладную механику. Я подберу из других своих учеников, которые пободрей.

— А книга готова?

— Да теперь-то только разок переписать, теперь ясно.

Иван Терентьевич с осени начал очередной курс в институте, а кроме того, читал лекции на курсах Балтфлота и милиции. Он посещал заводы, воинские части, корабли.

Осенью, когда белогвардейцы Юденича вновь подступили к городу и канонада слышалась на улицах, книга его о Кондакове была готова. Он понимал, что не время сейчас сдавать ее Горькому, не до каких-то там книг, когда город в опасности, но его неудержимо тянуло к Алексею Максимовичу, первое свидание с которым, он чувствовал, навеки запомнилось ему. Перед тем как отправиться на завод (в эти дни он вновь связался с заводом), он пошел в издательство. Ходили слухи, что Юденич везет список подлежащих немедленной казни и первым в этом списке стоит имя Горького. Иван Терентьевич не знал, что и он сам тоже состоит в этом списке, вставленный рукой Талана.

Тот же чернявый юнец пригласил его в кабинет. Горький был уже в пальто, — очевидно, он собирался уходить. Плоская широкополая шляпа весело и молодо, чуть набекрень, сидела на его голове, он улыбался, разговаривая с каким-то сухошавым седым человеком в очках. Он сразу узнал Лангового, что удивило

Ивана Терентьевича, и пошел к нему с протянутой рукой. Опять сияющие синие глаза покорили Лангового, но Алексей Максимович тотчас же перевел взгляд на папку, в которой Иван Терентьевич принес рукопись.

— Готова?

Он говорил слегка на «о».

Алексей Максимович потирал руки, как человек, еле сдерживающий нетерпение. Он не играл. Все было естественно и правдиво в писателе, палачи которого придвинулись к самым воротам города.

Иван Терентьевич вышел вместе с Горьким на улицу. Необыкновенно бодрое, молодое чувство вновь, как при первом посещении, владело им.

Через несколько дней, когда разгромленные банды Юденича уже катились назад, на запад, Ланговой получила второе в своей жизни письмо от Горького. Алексей Максимович благодарил его за прекрасную книгу. Книга принята, одобрена и пошла в печать.

На то, что делалось дома, Иван Терентьевич совершенно перестал обращать внимание, и Аглая властвовала здесь.

Аглая собирала пайки и возмущалась, что Иван Терентьевич до сих пор еще не академик. Почему это? Ясно — интриги и зависть. Нельзя же терпеть, чтобы какой-нибудь сынок замшелого философа, только своего Будду и знающего, занюсился перед Павликом: «Мой папа академик, а твой — нет». Ниночка собиралась подарить Аглае (Аглая считала, что именно ей) третьего ребенка, — Аглая хотела на этот раз девочку.

Кормился от щедрот Ивана Терентьевича и рыжий василеостровский дворник Игнатий Игнатьевич Карпов, который уже не был дворником и не жил на Васильевском острове. Осенью, в боях с белыми, при втором бесславном походе Юденича на Петроград, Карпов потерял левую руку, после чего прижился у своей тетки, то есть фактически у Лангового. Иван Терентьевич собирался пристроить его сторожем в какое-нибудь научное учреждение, но никто его с этим делом не торопил, и он сам не торопился. Карпов с той поры, как проходивший человек убил его маленького братишку, бросил мысли о наживе. В Митиной гибели он видел кару судьбы за свое, как он выражался, воровство и лихо-

имство. Он верил, что судьба накажет злодея, убившего Митю.

— Есть на земле правда! — восклицал он. — Есть! Правда себя окажет!

Он был одним из самых деятельных ораторов во дворе дома, в котором жил Иван Терентьевич. А во дворе обсуждались все мировые проблемы и происходили ожесточеннейшие философские споры, причем обычным противником Карпова выступал старый флейтист из семнадцатой квартиры, скептик и брюзга.

Однажды Ланговой проходил по двору Дома ученых, где вились три очереди: почтенных ученых — на ученый паек первой степени, менее заслуженных — на вторую ступень и других научных работников — на третью. В последней очереди гордо стоял Юрий Петрович Кругликов. Он ценил не столько крупную муку, сколько выраженное в продуктах питания признание своих заслуг перед наукой, — третья степень тоже была важным достижением, она давалась не каждому.

Иван Терентьевич шел к Кругликову, не обращая внимания на Аглаю, которая уже затеяла перебранку с женой какого-то академика (Аглая всегда вспыхивала при виде родни академиков). Некая ученая дама, стоявшая впереди Юрия Петровича, поносила Родэ, того самого, который некогда содержал знаменитую в Петербурге «Виллу Родэ», а теперь был привлечен к пайковому делу как крупный специалист. Родэ действительно знал толк в пище и сам очень любил хорошо покушать, но ученая дама, к удовольствию слушателей, называла его мошенником, который выдает хорошие пайки только своим приятелям. Конечно, надо быть ловкачем и пройдохой, чтобы тебя назначили мировым ученым, а такие подлинно мировые ученые, как она, например, слишком бескорыстны, слишком преданы науке, и потому их оскорбляют третьей степенью, затирают, втоптывают в грязь.

Кругликов, обиженный таким поношением своей третьей степени, пытался возражать ей:

— Советская власть и без того слишком много забот уделяет ученой публике, когда рабочие недоедают.

Как всегда, он говорил в нос, как простуженный, и, как всегда, повторял мысли Ивана Терентьевича.

Ивана Терентьевича по дороге к Кругликову перехватил знакомый физик, получавший вторую степень. С мешком под мышкой и рюкзаком за плечами, высокий, в длинной дохе и порядочно истасканной мягкой шляпе, он ухватил Ивана Терентьевича за локоть. Вид он имел одновременно удрученный и возбужденный. В голосе его звучали восторг и почти отчаяние, когда он говорил.

— Я как раз думал о вас, я собирался к вам сегодня... Есть надежды практически подойти к расщеплению атома, нужна ваша помощь... Опыт Резерфорда...

Иван Терентьевич остановился на полпути к Кругликову и заговорил веско и серьезно:

— Макшеев пишет мне, что идет работа над большим научным планом, есть некоторые задания. Если б на нас не напали со всех сторон, если б не война... Но не поздно, не поздно... Конечно, мы добьемся чего хотим...

Он разговаривал как бы с самим собой.

— У нас подобралась группа, — сказал физик, — мы бы хотели покрепче соединиться с вами...

— Готов, готов! — подтвердил Иван Терентьевич. — Я выкрою время. Выкрою. Да! Знаете ли вы, что Линевиц вернулся?

— Да ведь он удрал!

— Я получил от него письмо. Он плутал по югу, побывал даже в Константинополе, пишет, что их там турки изолировали, как зараженный скот, загоняли в какие-то бани... В общем, кается. Надо было, видите ли, человеку смотаться в турецкие бани, чтоб очухаться. Черт с ним, надо его попробовать в работе, я советовался. Ничего, говорят, можно, а он ведь серьезный ученый. Теперь пойдут покаяния — победа ведь не за горами. Очевидно, насколько я слышал, большевики многих простят. Н-да, с людьми нелегко, это вам не машины...

VI

После вторичного разгрома банд Юденича Катюша была откомандирована из армии обратно в Питер, в Совет Выборгской стороны, на прежнюю работу. Когда она появилась в заводской сторожке, строгая и деловая, в затянутой поясом шинельке, и сняла ушанку, открыв

по-мужски остриженную голову, Марья Кузьминишна, раскрасневшись от радости, сама отстегнула ее заплечный мешок, хлопотала так, что девушка почувствовала себя здесь опять совершенно как дома. Вот странно — у такой доброй женщины такой недобрый сын!

Василий перестал быть для Катюши героем. В госпитале ему рассказали, что это именно она спасла его, но он не обнаружил никакой особой благодарности, он только справился об ее ране и, узнав, что рана легкая, больше не тревожился о своей благодетельнице.

Катюша поселилась по-прежнему в сторожке, уж очень приятно было жить, как в семье, вместе с Марьей Кузьминишной. Но вскоре она стала подумывать о том, чтобы переехать куда-нибудь, потому что Марья Кузьминишна уж очень полна была своим Васенькой. Она ходила к сыну в госпиталь и после каждого посещения подробно рассказывала Катюше о Васином здоровье, о том, как его уважают даже доктора, и с восхищением — о его занятиях науками, как будто все это ужасно как интересно Катюше. Марья Кузьминишна говорила девушке, словно утешая ее:

— Сейчас только меня и пускают к нему. Но скоро, как встанет с кровати, так и тебе можно будет зайти...

Она, кажется, не сомневалась в том, что Катюша жаждет увидеться с Василием, и это было обидно.

Однажды Марья Кузьминишна размышляла:

— Васенька только и знает, что учится, кругом — книги, книги, тетрадки, все что-то чертит, пишет, ему бы только найти теперь хорошую образованную барышню, чтоб понимала...

Оказывается, этому Васеньке пара только какая-нибудь принцесса, а всякая другая должна за честь считать, что он допускает ее до своей особы. Может быть, и Катюша должна благодарить его за то, что он решил ей спасти ему жизнь?

Катюша стала всячески избегать рассказов Марьи Кузьминишны о ее Васеньке, а в Совете по всей форме подала ходатайство о комнате. В то же время накопило желание выложить этому Васеньке в лицо все, что она о нем думает.

Марья Кузьминишна ничего не замечала. Вернувшись однажды из госпиталя, она радостно сообщила:

— Ну, Катюша, можешь в воскресенье идти к Васеньке. Ему дали свою палату, он теперь один, никто ему не мешает, и он тоже хочет увидаться. Он и раньше спрашивал про тебя, — добавила Марья Кузьминишна, — да ведь все равно нельзя было видаться. А ты, поди, и без меня все знаешь? — вдруг улыбнулась она.

Катюша не возражала. Зачем огорчать добрую женщину? Катюша сохраняла неизменную благодарность Марье Кузьминишне за ее любовь и заботы.

Василий Котляков действительно получил отдельную малюсенькую палату, этакую боковушку, где он мог без помех предаваться своим новым работам. В этот период вынужденного бездействия книги захватили его. Впервые в жизни он по-настоящему дорвался до учения и отдался ему с той страстью, с какой до того дрался на фронте.

Макшеев очень внимательно подобрал для него книги и прислал из Москвы. Не прекращалась переписка с Громовым, который со своей стороны рекомендовал обычные для прежних конкурсных экзаменов учебники. Среди раненых в госпитале оказался один студент-технолог, который всегда готов был разъяснить все неясное и непонятное.

Котляков жил в мире чисел, геометрических фигур, простых и сложных машин. Что касается высшей математики, то она поражала его. Ее откровения, как представлялось ему, придавали всему удивительные формы, все превращали в движение.

Как всякий впервые всерьез приступивший к изучению законов вселенной, Василий, конечно, уверен был, что именно он откроет все до сих пор не открытые тайны. Но когда он, нарушая назначенный Макшеевым порядок, перескакивая через многое, соблазнился работой Лангового по новой механике, он смирился. Он ничего не понял или, уж во всяком случае, почти ничего. Он попытался представить себе бесконечное число бесконечно малых вселенных, которых и в себе самом не сочтешь, и почувствовал себя совершенно глупым невеждой. Что ж! Надо иметь, значит, в виду, что может оказаться у него этакий предел понимания, выше которого ему не подниматься. Вообще предела для людей нету, а у него может обнаружиться. Так он успокоил себя, сам тому, конечно,

не веря. Втайне он полагал, что для него-то никаких пределов нет, он все постигнет. Но с того дня он стал строго придерживаться макшеевского расписания занятий.

Однажды, гуляя по коридору, он увидел Смирнова и радостно пошел к нему.

— Ты! Ну как?

— Да ничего. А про тебя я слышал.

— Да как ты живешь?

— Женился, понимаешь.

— Ну? На ком?

Василий опять совершенно забыл об Олечке Воронец, он и не догадался, что Смирнов своим ответом нарочно проверил его.

— Ладно, — сказал Смирнов. — Тысячу раз докладывать не буду, все ясно.

Он шел к своей Олечке, которая лежала в этом же госпитале. Василий в недоумении следовал за ним.

— Что ты злишься? В чем дело?

Смирнов обернулся и вымолвил мрачно, без прежней насмешливости:

— У меня тут дело не для тебя, ты отойди...

Василий остановился и тут вдруг вспомнил встречу у Выборгского Совета, гимназистку, учредилку... У товарища целая жизнь, которой он как-то не приметил... Он заспешил вслед Смирнову, заметил, в какую палату он свернул, и заглянул туда. Худенькая женщина в сереньком халатике, вся засветившись, шла навстречу Смирнову. Рука у нее была на перевязи.

Василий вышел в коридор, исполненный пренебрежительной уверенности, что Смирнов на этот раз не простит его забывчивости. «Огрубел я все-таки на войне...»

У своей палаты он увидел Катюшу.

— А! Наконец-то! Спасительница! Героиня! Гордилась, не ходила ко мне. Или за что-нибудь тоже злишься? Все на меня стали злиться.

Эти неожиданные слова смутили Катюшу. Она говорила мягче, чем предполагала:

— На вас нельзя не сердиться.

Они вошли в палату. В белом халате, с косынкой на голове, Катюша держалась прямо, в больших карих глазах ее не было улыбки. Удивительно серьезная девушка.

— Что ж? Ругайся! Чего ж ты замолчала?

Но ей уже не хотелось никаких откровенных разговоров, и она ответила со всей проснувшейся в ней прежней любезностью:

— Вам не вредно так заниматься? Вы же еще не вылечились.

— Лечусь работой. А ты, говорят, молодец. Знаешь, ведь ради тебя я согрешил. Надо было тебе хоть замечание сделать.

— За что? — не поняла Катюша.

— Как за что? Связистка оставила свой пост, чтобы спасти такую важную особу, как некий комиссаришка Котляков. Для таких дел существует фельдшер.

Катюша вспыхнула и поднялась с табурета.

— Фельдшера нигде рядом не было.

— Знаю, что в полку тебя хвалили, — продолжал Василий. — Это все из-за Громова, он еще многого не понимает. Преувеличивал меня и других убедил. Но ладно — это у тебя от неопытности.

Катюша не сдержалась:

— Вы все видите с одного только боку. — Тут ей стало так обидно, что она вымолвила: — Уж и не знаю, есть ли у вас сердце...

И она пошла к выходу.

Василий вспомнил Манечкино «нету сердца» и ухватил Катюшу за руку.

— погоди. Я тебя не хотел обидеть. Давай разберемся.

— Разберемся?

И Катюша в гневе выложила ему все, что накопило.

Он не прерывал. Только когда она замолкла, сказал:

— Ага! Значит, надо было кланяться и благодарить? Такие, значит, тонкости? А меня, видишь ли, никто за всю жизнь не благодарил, и я сам не говорил спасибо, но запоминал. И ежели хочешь знать, то и про тебя запомнил. А тебе, значит, обязательно нужны слова? В словах, значит, вся тонкость? Очень хорошо. Полный порядок. Вот и Витька ко мне не ходит, может быть, за то, что я ему не позволил пропасть из-за Манечки? А не дать бы ему тогда дела в руки, так он мог бы свихнуться, сошел бы с ума.

Катюша перебила:

— Дремин на днях придет. Я его видела, он был в особом отделе на фронте, сейчас только вернулся.

— А что ему сказать в утешение? Ничего не сумею. Самому, знаешь, бывает невесело, а вот стараюсь, живу; теперь вот учусь, поскольку вышибло из военного строя, учусь, чтобы делать свое большевистское дело. Хочу пойти в науку, ученый по-нашему, а не с тонкостями, не с поклонами, как раньше бы пришлось, чтоб какой-нибудь индюк слюнявил: вот, мол, какой одержимый талантами выходец из народа! — Он нарочно говорил как можно резче. — Бывало, конечно, что и раньше выбивались без поклонов, да какую для этого надо было иметь силу в голове! Один Ломоносов выбьется, а тысячи пропадут. Макшеев — той же породы силачей. А я не силач, я рядовой рабочий парень, без революции пропал бы, как многие.

Катюша сидела на табурете как пришибленная. Он вспомнил ее папаху, ее появление на фронте; мелькнуло, что ведь она действительно выручила его в бою, спасла... Зачем же он так кричит, отгоняет ее от себя?.. И он выговорил горько:

— У нас, Катюша, свои тонкости. Помогаем друг другу без благодарностей, жалеем без лишних слов, без слов понимаем. Война кончается, да покоя нам нет и не будет. Эти господа с тонкими переживаниями постараются угробить нас, невежд и грубиянов, если не пулей, так вот хоть этим. — Он хлопнул по книгам. — Вот сам учусь и всем скажу учиться. Может быть, с детства хочется, тянет — да ведь куда там! — вырвалось у него. — Нет, Катюша, сердце у меня есть, только не с теми тонкостями, каких ты хочешь. Не с теми.

Катюша вдруг встала и пошла к двери.

Он удержал ее.

— Да хоть простимся. А то встала и пошла. Невежливо.

Он усмехнулся, но усмешка получилась невеселая.

— Я уж, видно, всех растеряю, — проговорил он. — Не нравлюсь людям. Сердца, видишь ли, нету.

Катюша отвечала отрывисто:

— Я завтра приду к вам.

«Не придет», — подумал Василий.

Лызлов вернул себе свою истинную фамилию, вообще вполне легализовался. Уже появлялись люди, которые даже сражались в белых армиях, а теперь каялись, шли на советскую службу, и большевики прощали их. Лызлов в белых войсках официально не служил, он покался только в своем дореволюционном прошлом и был принят на работу на один из заводов. Свои действия он согласовывал с Эве Бэллом, засевшим в Стокгольме.

Ему предстоял визит к Ланговому.

У него было для Лангового очень важное сообщение. Оно сразу убедит его в искренности Лызлова. Конечно, Лызлов сделает это от себя, а не от фирмы, которая ему поручила. Фирма находит это выгодным. Ланговой может быть использован так, что и сам не будет об этом знать. Мало ли какие бывают дела!.. Ведь идет вопрос о восстановлении промышленности, война еще не закончена, но в результатах ее сомневаться больше не приходится, и фирма готовит планы своего участия в экономическом наступлении на Россию. Хозяйство в России разрушено, и фирма наметила захват некоторых участков русской промышленности. Дело в дальнейшем пахнет возможностью концессий.

...Все прошлые беды вспомнились Ивану Терентьевичу Ланговому, когда в его кабинет вошел Лызлов, гонитель рабочих, человек, по воле заводчика травивший его в прессе, обокравший его. Иван Терентьевич никак не ожидал увидеть его здесь, в Петрограде, да еще и у себя на дому. Лызлов держался с достоинством.

— Я понимаю ваше удивление, — заговорил он, — но разрешите высказаться.

Иван Терентьевич не приглашал его сесть. Они стояли друг против друга посреди кабинета, и Лызлов, несколько не смущаясь этим, словно признавая такой прием со стороны Лангового вполне естественным, продолжал:

— Я все помню, я ничего не забыл и понимаю ваши чувства. Я служил на иностранном заводе в Петербурге. Я выполнял волю заводчика и способствовал тому, что у вас было украдено ваше изобретение. Автором вашего автоматического станка был объявлен брат заводчика, инженер, и так это и оставалось по сей день. Вы порвали

с заводом, и мы с той поры не встречались. Я не буду говорить лишних слов, бить себя в грудь и прочее. Я хочу только вручить вам конкретное доказательство того, что я прозрел и осуждаю прежнюю свою жизнь. Мне стоило большого труда раздобыть этот документ, но я отыскал его. Разрешите вернуть вам и России авторство на ваш станок. Добавлю, что я при этом ничего у вас не прошу, мне ничего не нужно от вас, я только выполняю сейчас долг политически прозревшего гражданина.

Он раскрыл портфель и вынул акт о принятии изобретения от инженера Лангового. Акт был оформлен самым законным образом. Этот акт хранился у Лызлова все эти годы «на всякий случай» в числе других документов, и вот пришла пора использовать его. Новый, английский хозяин фирмы не усомнился в интересах дела скомпрометировать этим актом прежнего владельца. Надо задобрить крупных специалистов в России.

Отвечая на невысказанный вопрос Ивана Терентьевича, Лызлов показал Ланговому свое удостоверение.

— Советская власть простила меня, — заявил он, — я своего прошлого не скрывал. А теперь разрешите откланяться. Долг мой исполнен, и я спешу на завод.

Иван Терентьевич, несколько ошеломленный посещением, не задерживал его.

Лызлов был очень доволен своим поступком, особенно тем, что ничего не попросил. Ланговой запомнит этот случай, и, кто знает, когда-нибудь это может пригодиться.

Он вышел во двор (парадная дверь была еще заколочена). У ворот шумела кучка людей. Однорукий оратор кричал:

— Нет, ты скажи-и! Ты мне прямо ответь, не вертись, а напрямки скажи-и...

Когда Лызлов проходил мимо, однорукий оратор вдруг замолк, подался к нему, схватил за плечо и повернул к себе.

— Это что такое! — вскрикнул Лызлов с возмущением. Он оттолкнул однорукого и хотел пройти, но тот вновь ухватил его за плечо, всматриваясь с каким-то ожесточенным, радостным и отчаянным вниманием. Внезапно он всей грудью бросился на Лызлова и обхватил его единственной своей рукой.

— Держи-и! — закричал он рыдающим голосом. — Убил! Держи-и!..

Лызлов вновь отбросил его.

— Митька! Косточка! — вопил однорукий. — Убил братишку! В деревне Вилки! Братцы! Вот она, правда! К германцам шел, убил! Митька!..

— Да он с ума сошел! — воскликнул Лызлов. — Уберите его!

Люди молчали, наблюдая, что будет дальше.

Лызлов помнил, как он пробирался к немцам, как дошел до них, как ему удалось завязать выгодные связи с одной немецкой фирмой (о чем не знал и Эве Бэлл). Но при чем тут какой-то Митька и этот однорукий болван? Мало ли кто встречается на пути, запоминаешь только то, что важно для дела.

— Убил! Убил! — вопил однорукий (это был Игнатий Игнатьевич Карпов). — Убил маленького мальчонка!

Лызлов вдруг побелел. Он вспомнил и сразу оценил всю опасность неожиданной встречи с одноруким обличителем. Он быстро пошел прочь. Но Карпов повис на его плече, крича с отчаянием:

— Правда себя окажет! Правда е-есть! Держи-и!

«Пришибить его», — подумал Лызлов. Он не верил, что после необычайных опасностей, через которые он благополучно прошел, такой глупый случай может погубить его. Этого не может быть. Но ничего толкового не приходило в голову, чтобы избавиться от припадочного. И тут он совершил ошибку. Отшвырнув Карпова так, что тот всей спиной ударился о стену, он побежал за угол. За ним сразу же погнались и схватили его.

VIII

Катюша пришла. Она пришла и на следующий день, и еще через день, и еще. Она, видимо, перешагнула через все грубости Василия и что-то нашла за ними такое, что привлекало ее. Она добилась у Василия признания, что написать хоть одно письмо из госпиталя следовало. Сама она созналась, что боится героев и знаменитых людей и что по-настоящему она оценила Василия только тогда, когда тот был ранен и лежал без сознания. Только тогда она убедилась, что он тоже может нуждаться

в помощи. Вообще она любит людей попроще и считает, что каждого человека надо уважать и к каждому относиться внимательно.

— Ты не на жалобах ли сидишь в Совете? — спросил Василий.

— На жалобах. А что?

— Наконец-то Иван Фомич нашел подходящую девушку.

— Какой Иван Фомич?

Вот те на! Она не знала, кто такой Иван Фомич! И он рассказал ей о нем.

— С бородой? С поговорками? Один похожий старичок приходил ко мне, только, конечно, не Иван Фомич, а так себе, странный какой-то. «Сейчас, говорит, товарищ еще подойдет, подожду его, разрешите». Сел в сторонке, слушает (а у меня как раз прием) и молчит. Я с полчаса терпела, но потом сомнение взяло, хотя ничего секретного, а все-таки... Спрашиваю: «Что же вы, товарищ? Так получается неудобно. Скажите хоть, кто такой». А он как-то странно ответил, что дело не волчок, бывает и молчок, что-то такое смешное; я кликнула товарища из соседней комнаты, тот пришел, а старичок к нему: «А вот он мне и нужен!» — «Что ж, я говорю, не спросили, к кому вам. Я бы объяснила сразу, если вы плохо грамотный». А он извинился, пожал руку и пошел.

— Да он самый и есть. Иван Фомич. Сразу узнал. — Василий рассмеялся. — Значит, приходил проверять твою работу. Он ведь теперь опять на Выборгской. Ну, ты, я вижу, действительно сторонись начальства, даже в лицо не знаешь.

— А зачем? Я делаю свое дело. Только это был не начальник, не Иван Фомич.

Она, кажется, немножко испугалась.

— Ладно, ладно, не он, — быстро сказал Василий, чтобы успокоить ее. — Только ты еще плохо понимаешь наше начальство. Если б Иван Фомич был тобой недоволен, ты бы сразу почувствовала. Он умеет кричать! Огорчается, гневается.

Однажды Марья Кузьминишна явилась к Василию с кошелкой, раскрыла ее с таинственным видом и сообщила:

— Вот берегла тебе, чтоб, когда женишься, не было бы нужды. Гляди.

И Василий увидел в кошелке грудку денег, — тут были и царские ассигнации, рублей на двадцать, и куча керенок. На лице матери было написано такое торжество, что Василий поперхнулся и не посмел ничего сказать об этом бумажном хламе. Он препоручил это щекотливое дело Катюше и даже не осведомился, как она обошлась с Марьей Кузьминишной. Должно быть, уладила все как следует.

Весной они записались, и теперь пригодилась полученная Василием квартирка. В армию Василия не брали — он еще прихрамывал, и раненое плечо до сих пор давало о себе знать.

В один из весенних дней к ним явился гость, совершенно седой человек, сутулый, с резким выражением горя на обветренном лице. Василий и Катюша не сразу признали в нем отца Манечки Колесниковой, человека, которого они помнили бодрым, энергичным, с чуть подернутыми сединой волосами. Он только на днях вернулся в Петроград с одного из фронтов и тут узнал о своем несчастье. Он заплакал, когда начал расспрашивать о гибели своей дочери, и не просто слушал, а словно впитывал в себя все, что рассказывали ему Василий и Катюша. Марья Кузьминишна не было дома.

Когда он ушел, Василий долго ходил из комнаты в комнату, словно не находя себе места.

— Васенька, — сказала наконец Катюша, — не могу видеть, как ты мучаешься. Я бы все для него сделала, — но что надо, что?

Характер у нее оказался вообще деловой, строгий. «Самостоятельная», — говорили о ней в Совете. Но когда нельзя было помочь делом, она терялась, не знала, что сделать. Может быть, и за Василия она вышла, чтобы делом помочь ему? Почувствовала, что ему трудно и что он может пропасть без нее? Вот сейчас он мучается, но ничего не скажет. Как успокоить Васю? Манечка ведь и сама всегда делала свое дело, что бы ни случилось.

Макшеев писал Василию, чтобы тот пошел к Ланговому, — Ланговой согласился проверить его познания. Катюша на следующий день после того, как у них был Манечкин отец, отправилась сама к Ивану Терентьевичу и условилась о встрече с Василием. Вернувшись, она сообщила мужу, что профессор Ланговой

ждет его во вторник в институте. Василий кивнул головой.

— Ладно.

Он даже не спросил, как это она узнала. Значит, привык к ее заботам.

Во вторник Катюша до блеска начистила ему сапоги и посоветовала надеть военную гимнастерку — штатский пиджак оказался чересчур потертым.

Входя в подъезд института, Котляков поневоле вспомнил, как два с лишним года назад он явился сюда с Дреминым. Сколько всякого случилось с той поры! И сам он теперь другой, не тот.

Иван Терентьевич сидел в аудитории за столом совершенно один, потому что лекция его уже кончилась. В накинута на плечи пальто он писал что-то, когда на пороге появился Василий. Иван Терентьевич поднял голову.

Василий, по всей форме, так, как приказала Катюша, отрапортовал:

— Разрешите, товарищ профессор? Котляков. Явился по...

— Знаю, — перебил Иван Терентьевич. — Пожалуйста, Василий Тимофеевич, прошу сесть. Итак, вы явились, — продолжал Ланговой и провел пальцами по усам — новая привычка. — По каким учебникам вы готовились?

Котляков коротко ответил:

— По учебникам Шмулевича.

— А! Все всегда готовились к конкурсным экзаменам по учебникам Шмулевича. Хорошо. Сколько же лет вы предполагаете отдать учению?

— Год или два, — заявил Василий. — Но буду совмещать со службой.

— Год? — повторил Иван Терентьевич. — Год? — воскликнул он и встал. — В один год стать инженером! — Лицо его побавровело, и он вдруг стукнул кулаком по столу. — В таком случае вы, молодой человек, Василий Тимофеевич, ошиблись адресом, не туда пришли. Вам надо к мошеннику, к знахарю, а вы — ко мне. Вы ко мне явились по ошибке! Да!

Котляков поднялся и молча пошел к выходу. Бешенство забирало его.

— Вернитесь! — приказал Иван Терентьевич, и Василий остановился. — Я вас не выгонял, — продолжал Ланговой. — Успеете уйти, когда выгоню. Но в год стать инженером!.. — Пальто свалилось с плеч, он подобрал его с полу и бросил на стол. — Почитал Шмулевича и решил, что все знает! Пять лет! — выкрикнул он. — Пять лет, и еще всю жизнь, до последнего дыхания, — вот как надо учиться! Вы забываете об ответственности перед народом! Пять лет в институте, и потом еще всю жизнь — вот как учатся порядочные люди! — повторил он. — Согласны? Если нет, то разговор кончен.

— Согласен, — угрюмо ответил Василий, — только я не по одному Шмулевичу занимался. Вот тут...

И он показал список присланных Макшеевым книг.

Ланговой прочел этот список очень внимательно, потом взглянул на Василия и спросил каким-то странным тоном:

— И все это вы изучили?

— Может быть, и плохо, да изучил.

— Ну-ка, проверим.

Полчаса подряд Василий с неожиданным для себя наслаждением отвечал на его вопросы. Наконец Ланговой проговорил:

— Так, для первого раза хватит. Н-да, удивительный случай. Почему же вы назвали одного только Шмулевича?

Василий пожал плечами.

— Думал, что так полагается. А остальное, думал, поможет, если поступлю. Зачем, думал, лишнее говорить?

— «Лишнее»? Так. Потому и сказали «год»?

— Потому и сказал.

— Год не год, но на третий, может быть даже на четвертый курс... Ладно, посмотрим. Вы и раньше обучались или только в последние месяцы?

— Урывками.

— Неужели мою работу тоже поняли? — не выдержал наконец Иван Терентьевич. Он заметил в списке свою небольшую книжку по новой механике.

— Нет, не очень понял.

— Я подведу вас к ней. Я лично займусь вами. Против совмещения со службой не могу возражать, но и я с вас буду требовать много. Где будете служить?

— Уже работаю. В Совнархозе.

— Я лично подготовлю вас к осеннему приему в институт. Там видно будет, на какой курс. Можно и перескочить. Согласны?

— Спасибо, — ответил Василий, которого Катюша все-таки научила благодарить вовремя, а не через год.

— Вы, я вижу, тоже вспыльчивый, — смягчился Иван Терентьевич. — Встал, пошел, не соображаете, что я старше вас и могу покричать! Придете ко мне на квартиру в пятницу, в семь часов вечера. С супругой. Она мне понравилась. Вы удачно женились.

Этой неожиданной и несколько странной похвалой Иван Терентьевич закончил разговор.

Так началась новая полоса в жизни Василия Котлякова.

1954

Примечания

•

В третий том входят романы М. Слонимского 1950-х годов «Инженеры» и «Верные друзья», представляющие собой первую и вторую часть трилогии (окончание трилогии см. в четвертом томе).

Инженеры. Роман. Впервые опубликован в журнале «Новый мир», 1950, № 3.

Верные друзья. Роман. Впервые (в сокращенном варианте) опубликован в журнале «Звезда», 1951, № 7. Отдельное издание (под названием «Друзья») вышло в издательстве «Советский писатель», Л. 1954.

Содержание

<i>Инженеры. Роман.</i>	5
<i>Верные друзья. Роман</i>	201
Примечания	445

Михаил Леонидович Слонимский
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, т. 3

Редактор А. Б и х т е р

Художественный редактор
А. Г а с н и к о в

Технический редактор
В. А л е к с е е в а

Корректор Э. У р и ц к а я

Сдано в набор 1/VIII-1969 г. Подписано
к печати 19/XI-1969 г. Тип. бумага № 1.
Формат 84×108¹/₃₂—14 печ. л. 23,52 усл.
печ. л. Уч.-изд. л. 23,369. Тираж 50 000 экз.
Заказ № 486, Цена 90 к. Издательство
«Художественная литература». Ленин-
градское отделение, Ленинград, Нев-
ский пр., 28. Отпечатано в Ордена Тру-
дового Красного Знамени Ленинград-
ской типографии № 2 им. Евг. Соколовой
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР. Измай-
ловский проспект, 29, с матриц типо-
графия им. Володарского. Лениздата,
Фонтанка, 57

